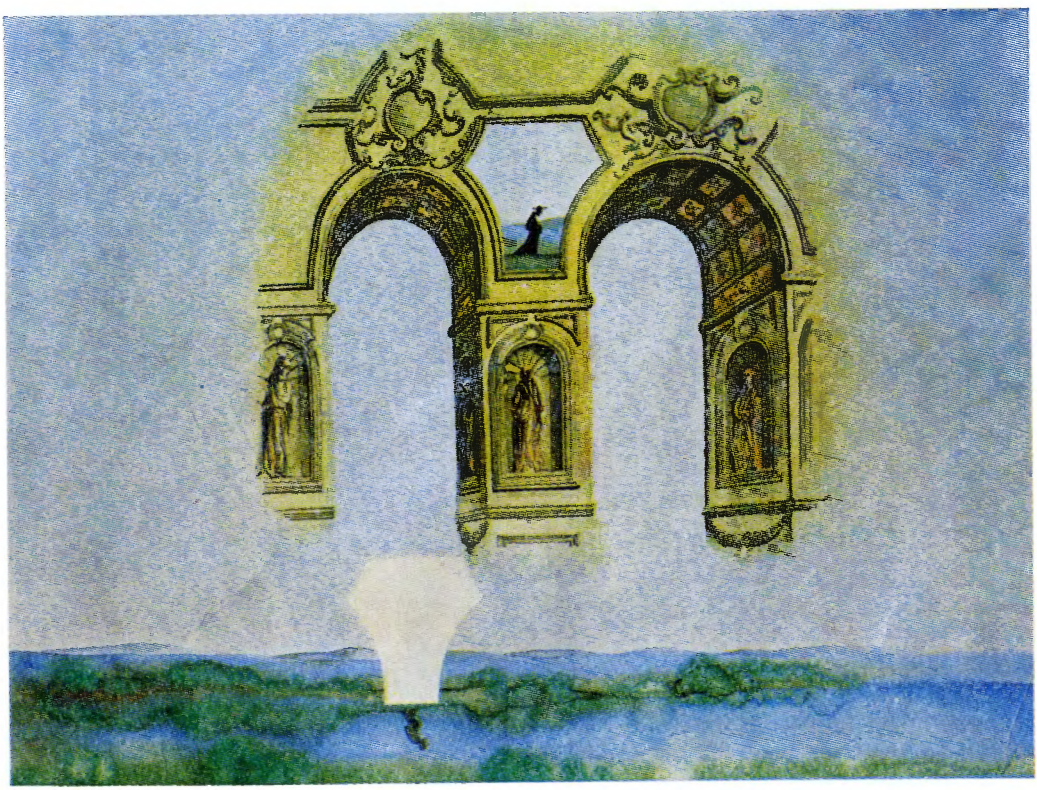
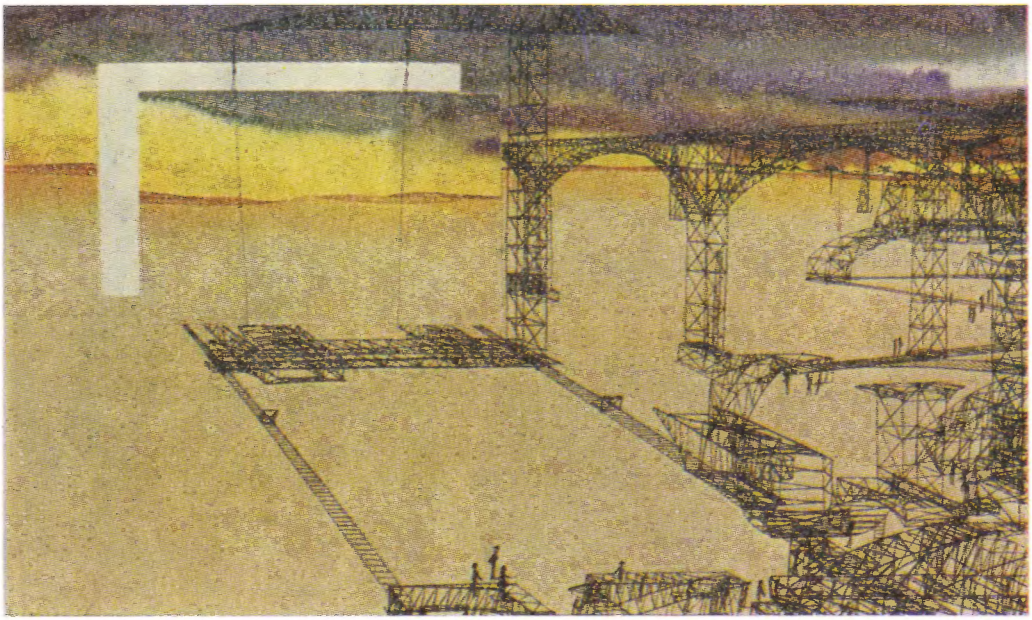
ISSN 0130 – 6545

10.1990

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА





**Покоряйте природу!**

**На 1-й и 4-й страницах обложки —**
**По ту сторону. Воскресенье.**

*Цветные иллюстрации номера —*
*работы немецкого художника*
*Ханса-Георга Рауха*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

**С. С. АВЕРИНЦЕВ**
**А. М. АДАМОВИЧ**
**Н. А. АНАСТАСЬЕВ**
Первый заместитель
главного редактора
**О. С. ВАСИЛЬЕВ**
Заместитель главного
редактора
**Л. Н. ВАСИЛЬЕВА**
**Т. П. ГРИГОРЬЕВА**
**Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**
**А. М. ЗВЕРЕВ**
**И. Ф. ЗОРИНА**
**Т. П. КАРПОВА**
**Т. В. ЛАНИНА**
**Т. Л. МОТЫЛЕВА**
**В. Ф. ОГНЕВ**
**П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**
**В. С. ПЕРЕХВАТОВ**
**Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ**
**А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**
Ответственный секретарь
**К. А. ЧУГУНОВ**
Заместитель главного
редактора
**Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ**

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

**10** октябрь 1990


## СОДЕРЖАНИЕ


АЛЬБЕР КАМЮ — Осадное положение *(Представление в трех частях. Перевод с французского И. Кузнецовой)* 5

РИЧАРД УИЛБЕР — Из старых и новых стихов *(Переводы с английского Иосифа Бродского и Андрея Сергеева. Послесловие Ричарда Уилбера)* 49

ДАВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС — Любовник леди Чаттерли *(Роман. Продолжение. Перевод с английского И. Багрова и М. Литвиновой)* 58

МИЛАН КУНДЕРА — Шутка *(Роман. Окончание. Перевод с чешского Нины Шульгиной)* 126

**Критика**

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — Бегство от революции 205

**Публицистика**

РОБЕРТ ФУЛГАМ — Все самое важное для жизни я узнал в детском саду *(Перевод с английского А. Волкова)* 217

**К нашим иллюстрациям**

Косс ван Веринг — Ханс-Георг Раух *(Перевод с нидерландского И. Ланина)*. 251

**Авторы этого номера** 255


© «Иностранная литература», 1990

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-61-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 03.08. 1990. Подписано в печать 14.11.1990. Формат $70\times108^{1}/_{16}$. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 25,69.

Тираж 328700 экз. (1-й завод. 1—258700 экз.). Цена 1 р. 80 к.

Типография ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна». 252006. Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2. Зак. 0290.

# АЛЬБЕР КАМЮ

# *Осадное положение*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ТРЕХ ЧАСТЯХ

*Перевод с французского И. КУЗНЕЦОВОЙ*

## Предисловие

*В 1941 году у Жана-Луи Барро возник замысел спектакля, основой которого должен был стать миф о чуме, привлекавший в свое время и Антонена Арто. Позднее Барро решил, что проще всего использовать для этой цели великую книгу Даниеля Дефо «Дневник чумного года», и набросал план постановки.*

*Узнав, что я собираюсь публиковать роман на ту же тему, он предложил мне написать диалоги по намеченной им канве. Я не во всем был с ним согласен и, в частности, считал, что лучше отказаться от инсценировки и вернуться к первоначальному замыслу самого Барро.*

*Задача заключалась, по существу, в том, чтобы сочинить миф, доступный пониманию широкого зрителя 1948 года. «Осадное положение» и есть такая попытка, заслуживающая, как я имею слабость полагать, некоторого интереса.*

*Но:*

*во-первых, подчеркиваю, «Осадное положение», что бы ни говорилось на сей счет, ни в малейшей степени не является сценическим вариантом моего романа;*

*во-вторых, это не пьеса с традиционной структурой, но представление, где намеренно взято за принцип смешение всех драматических форм выражения — от лирического монолога до массовых сцен, включая пантомиму, обычный диалог, фарс и хор;*

*и в-третьих, хотя я действительно являюсь автором всего текста, имя Жана-Луи Барро должно было бы по справедливости стоять рядом с моим. Это оказалось невозможным по причинам, которые я счел уважительными. Но должен со всей определенностью заявить, что в этом смысле я остаюсь его должником.*

*20 ноября 1948*
*А. К.*

**Действующие лица**

**Чума**
**Секретарша**
**Нада**
**Виктория**
**Судья Касадо**
**Жена судьи**
**Диего**
**Губернатор**
**Алькальд**
**Рыбак**
**Дети судьи**
**Мужчины**
**Женщины**
**Перевозчик трупов**

## Часть первая

## Пролог

Звучит увертюра. В ней отчетливо слышна тема, напоминающая сигнал воздушной тревоги. Занавес поднимается. На сцене полная тьма.

Увертюра кончается, но издали по-прежнему доносится тревожный вой сирены. Внезапно справа, в глубине, появляется комета и медленно проплывает над сценой. Она выхватывает из темноты очертания крепостных стен испанского города и силуэты людей, которые, запрокинув голову, неподвижно стоят спиной к публике и смотрят на комету. Часы бьют четыре. Диалог звучит приглушенно, неразборчиво:

— Конец света!
— Да брось ты!
— Мир гибнет...
— Брось, приятель. Мир, но не Испания!
— Испания тоже может погибнуть.
— На колени!
— Комета — знамение беды!
— Только не Испания, приятель, только не Испания!

Некоторые оглядываются. Один-два человека опасливо переходят на другое место, и снова все застывают. Сигнал тревоги раздается совсем близко, в пронзительном завывании сирены звучит угроза. Одновременно комета начинает расти и достигает невероятной величины. Душераздирающий женский вопль. Музыка умолкает, и комета уменьшается до прежних размеров. Женщина в смятении убегает. На площади начинается суматоха. Диалог звучит резче, с отчетливым шипением и присвистом, но слова по-прежнему разобрать трудно:

— Это предвестие войны!
— Уж точно!
— Да какое там предвестие!
— Еще увидишь!
— Что вы все заладили? Это предвестие жары!
— Нашей испанской жары!
— Хватит вам!
— Эта комета слишком уж громко свистит!
— Просто оглушает!
— Она наведет на Кадис порчу.
— Ай! Порчу на Кадис!
— Тише! Тише!

Все снова смотрят на комету. В тишине внятно звучит голос Офицера городской стражи.

ОФИЦЕР. Расходитесь по домам! Нечего глаза таращить! Насмотрелись, хватит. Только галдите попусту! Много шума из ничего. Что ему сделается, вашему Кадису!

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЫ. Но ведь это же знамение! Знамений ни с того ни с сего не бывает.

— О великий и страшный Бог!

— Скоро война, вот что значит эта комета!

— Дубина ты! Кто в наше время верит в кометы! Мы, слава богу, не дураки.

— Вот-вот, такие умники, что скоро без головы останемся. Бараны безмозглые, вот мы кто. А бараны на то и есть, чтобы их резать.

ОФИЦЕР. По домам! Война вас не касается. Это наше дело, а не ваше.

НАДА (*калека*). Ох, если бы так! Но ведь нет же, офицеры-то умирают в своей постели, а животы протыкают нам!

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Нада, Нада пришел. Придурок явился!

ДРУГОЙ ГОЛОС. Ну, Нада, ты все знаешь. Скажи-ка нам, что значит эта комета?

НАДА. Вам не понравится то, что я скажу. Вы вечно надо мной насмехаетесь. Спросите у студента, он будущий врач. А я лучше побеседую с бутылкой. (*Подносит ко рту бутылку.*)

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Диего, на что он намекает?

ДИЕГО. Какая разница? Не трусьте, и все будет в порядке.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Надо спросить, что думает офицер.

ОФИЦЕР. Офицер думает, что вы нарушаете общественный порядок.

НАДА. Стражникам можно позавидовать. Они мыслят просто.

ДИЕГО. Смотрите, опять...

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. О, великий и страшный Бог!

Снова слышится вой сирены. Комета проплывает второй раз.

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЫ. Хватит, хватит!

— Довольно!

— О Кадис!

— Она воет!

— Это порча...

— На наш город...

— Тише! Тише!

Бьет пять часов. Комета исчезла. Светает.

НАДА (*стоя на каменной тумбе, насмешливо*). Ну вот! Я, умнейший и образованнейший человек в городе, пьяница, потому что мне на все плевать и я брезгую вашими почестями, всеобщее посмешище, ибо я сохранил свободу открыто все презирать,— я, сам Нада, желаю после этого фейерверка сделать вам бесплатное предостережение. Итак, имею вам сообщить, что дело наше плохо и, дайте срок, будет еще хуже. Заметьте себе, что дело наше плохо уже давно. Но осознать это дано было только пьянице. Чем же оно плохо? Это уж вы, мои благоразумные сограждане, должны угадать. А я остаюсь при своих взглядах, я давно пришел к выводу, что между жизнью и смертью большой разницы нет, а человек — просто щепка, которая отлично горит в костре. Верьте мне, у вас будут неприятности. Комета — дурной знак. Это сигнал тревоги! Вам не верится? Я так и знал. Вы думаете, если вы едите три раза в день, отрабатываете свои восемь часов и содержите двух жен, то все в порядке. Но вы не в порядке, вы в строю! Благодушные, аккуратно построенные в затылок, вы вполне созрели для беды. Ну, люди добрые, я вас предупредил, совесть моя чиста. Впрочем, можете не волноваться, вами наверху занимаются. Чем это пахнет, вы сами знаете: с Ним шутки плохи!

СУДЬЯ. Прекрати богохульствовать, Нада! Ты уже давно позволяешь себе преступные вольности в отношении неба.

НАДА. Разве я сказал хоть слово о небе, судья? Кто-кто, а я одобряю все, что оно творит. Я тоже судья на свой лад. Я читал в книжках, что лучше быть пособником неба, чем его жертвой. К тому же, небо, по-мое-

му, тут ни при чем. Когда люди начинают крушить все вокруг, в том числе и друг друга, выясняется, что Господь Бог, который тоже мастер по этой части, по сравнению с ними просто дитя.

СУДЬЯ. Вот из-за безбожников вроде тебя небо и шлет нам знамения беды. Ибо это и вправду предостережение. Но оно послано тем, у кого развращены души. Страшитесь все, как бы на нас не обрушились ужасные бедствия, и молите Бога, чтобы он простил ваши прегрешения. На колени! На колени, приказываю вам!

Все опускаются на колени, кроме Нады.

СУДЬЯ. Устрашись, Нада, и преклони колени!

НАДА. Не могу, у меня нога не сгибается. А страшиться мне нечего, я все предвидел, даже самое худшее — я имею в виду твои поучения.

СУДЬЯ. Неужели ты ни во что не веришь, несчастный?

НАДА. Ни во что на всей земле, кроме вина. И ни во что на небе.

СУДЬЯ. Прости ему, Господи, ибо он не ведает, что говорит, и смилуйся над этим городом, ибо в нем живут дети Твои!

НАДА. Ite, missa est[1]. Угости меня, Диего, бутылочкой вина в трактире «Комета». И расскажи заодно, как идут твои любовные дела.

ДИЕГО. Я женюсь на дочери судьи, Нада. И прошу тебя больше не оскорблять отца моей невесты. Этим ты оскорбляешь и меня.

Трубят трубы. Входит Глашатай в окружении стражников.

ГЛАШАТАЙ. Приказ губернатора! Всем разойтись и вернуться к своим занятиям! Хороший губернатор — такой губернатор, в чье правление ничего не случается. Наш губернатор тоже желает, чтобы в его правление ничего не случалось и он оставался бы вечно хорошим губернатором, каков он и есть и был всегда. Посему гражданам Кадиса надлежит принять к сведению: ничего, что могло бы взбудоражить или напугать население, сегодня не случилось. С этой минуты всякие упоминания о какой-то комете, якобы появлявшейся над городом, объявляются ложными слухами. Каждый, кто нарушит этот приказ и станет говорить о кометах иначе, как о космическом явлении минувших или будущих времен, понесет наказание по всей строгости закона.

Трубят трубы. Глашатай уходит.

НАДА. Ну, Диего, каково? Здорово придумано.

ДИЕГО. Глупо придумано! Ложь — всегда глупость!

НАДА. Нет, это не глупость, это политика. И я за такую политику всей душой, потому что она отменяет все, что только можно отменить. Губернатор у нас — просто чудо! Если у него дефицит бюджета или жена ему изменяет, он объявляет дефицит несуществующим и отрицает адюльтер. Рогоносцы, радуйтесь, ваши жены вам верны! Паралитики, вы можете ходить! А вы, слепцы, взгляните вокруг: настал момент истины!

ДИЕГО. Смотри не накаркай беды, старый ворон! Момент истины — это момент смерти!

НАДА. Именно! Смерть миру! Ах, если бы я мог схватиться с миром один на один, как с быком, когда у того подрагивают ноги, маленькие глазки налиты ненавистью, а на морде, на розовых губах — грязное кружево пены! Ай! Какая минута! Хоть я и стар, моя рука не дрогнула бы! Я бы рассек ему шейные позвонки одним ударом, и огромное сраженное мною животное падало бы и падало до скончания времен сквозь бесконечные пространства!

ДИЕГО. Ты презираешь слишком многое, Нада. Побереги свое презрение, оно тебе еще может понадобиться.

НАДА. Мне ничего не может понадобиться. А презрения мне хватит до самой смерти. И ничто на свете — ни короли, ни кометы, ни мораль — никогда не будет для меня выше, чем я сам!

[1] Идите, месса окончена (*лат.*).

ДИЕГО. Успокойся! Не заносись так высоко. А то тебя не будут любить.

НАДА. Я выше этого, выше всего, мне ничего не надо.

ДИЕГО. Никто не может быть выше чести.

НАДА. Что такое честь?

ДИЕГО. То, что не дает мне ослабеть.

НАДА. Честь — это космическое явление минувших или будущих времен. Отменяю!

ДИЕГО. Ладно, Нада, мне пора. Меня ждет невеста. Поэтому я не верю в беду, которую ты предрекаешь. Я должен заняться своим счастьем. Счастье — долгая работа, для нее нужен покой городов и селений.

НАДА. Я же говорил, сынок,— наше дело плохо. Надеяться не на что. Комедия вот-вот начнется. Не знаю даже, успею ли я добежать до базара, чтобы выпить за всеобщую погибель.

Свет гаснет.

*Конец пролога*

Свет. На площади оживление. Актеры более подвижны, общий ритм действий не такой замедленный, как в прологе. Играет музыка. Лавочники открывают ставни своих лавок, и тем самым убирается передний план декорации. Перед нами рыночная площадь. Ее постепенно заполняет радостный народ. Он образует Хор, который ведут рыбаки.

ХОР. Ничего не случилось, ничего не случилось. Покупайте свежую рыбу! Нам мерещилась беда, а это летняя звезда! (*Возглас ликования.*) Едва успела кончиться весна, как золотой апельсин лета, пущенный с размаху в небо, повис в зените и, лопнув, затопил Испанию медовым дождем. И сейчас же все плоды летнего мира — налитой виноград, дыни цвета сливочного масла, кровавые смоквы, пылающие абрикосы — покатились на прилавки наших базаров. (*Возглас ликования.*) О плоды! Здесь, в плетеных корзинах, завершился их долгий стремительный бег из селений, где они наливались соком и сахаром над голубыми от зноя лугами и над свежими струями тысяч блестящих от солнца ключей, орошающих землю живою водой молодости. По корням и стволу эта влага находит свой путь к сердцевине плодов, питает их сладостью, как неиссякаемый медоносный родник, и они на глазах тяжелеют. Тяжелеют все больше и больше! И, созрев, опадают дождем, катятся по пышной траве, уплывают по рекам, тянутся по дорогам со всех сторон света под радостные крики народа и пение летних рожков. (*Играют рожки.*) Они приходят толпой в города возвестить нам, что земля, как и прежде, мягка, а благодатное небо, верное обещанию, явилось и в этом году на свидание с летом. (*Всеобщее ликование.*) Нет, ничего не случилось! То была летняя звезда! Лето — подарок, а не беда. Зима наступит не скоро, черствый хлеб ждет нас только потом! А сегодня — дорады, сардины, лангусты! Рыба, свежая рыба из спокойных морей! Сыр, сыр с розмарином! Козье молоко пенится, как мыло в тазу у прачки, а на мраморных прилавках кровью сочится мясо в кружевных розетках из белой бумаги: оно пахнет люцерной и дарит нашей утробе кровь, силу и солнце. Поднимем же чашу! Выпьем из чаши лета! Станем пить и забудемся! Ничего не случится!

Крики «ура!». Радостные возгласы. Трубят трубы. Музыка. На базаре разыгрываются в разных местах небольшие сценки.

ПЕРВЫЙ НИЩИЙ. Подайте, добрый человек! Подайте, бабушка!

ВТОРОЙ НИЩИЙ. Лучше рано, чем никогда!

ТРЕТИЙ НИЩИЙ. Намек ясен!

ПЕРВЫЙ НИЩИЙ. Ничего, разумеется, не случилось!

ВТОРОЙ НИЩИЙ. Но может и случиться! (*Крадет у прохожего часы.*)

ТРЕТИЙ НИЩИЙ. Однако милостыню все равно лучше подать! Будьте милосердны, на всякий случай!

В рыбных рядах.

РЫБАК. Дорада, свежая, как гвоздика! Цветок морей! А вы еще недовольны!

СТАРУХА. Это не дорада, а настоящая морская собака!

РЫБАК. Морская собака? Ах ты ведьма! Пока ты не явилась, морских собак в этой лавке не бывало.

СТАРУХА. Ай, недоносок! Седин бы моих постыдился!

РЫБАК. Пошла вон, старая комета!

Все замирают, прижав палец к губам.
Окно Виктории. За прутьями решетки стоит Виктория, Диего — на улице.

ДИЕГО. Как давно я тебя не видел!

ВИКТОРИЯ. Глупый, мы же расстались сегодня утром в одиннадцать!

ДИЕГО. Да, но с нами был твой отец.

ВИКТОРИЯ. Мой отец сказал «да»! Мы думали, он скажет «нет».

ДИЕГО. Я правильно сделал, что пошел прямо к нему и честно посмотрел ему в лицо.

ВИКТОРИЯ. Да, ты правильно сделал. Пока он размышлял, я закрыла глаза и слушала, как мчатся, сотрясая все мое существо, невидимые кони, как они приближаются все быстрее и быстрее, пока не начала дрожать всем телом. И тут отец сказал «да». Тогда я открыла глаза. Это было первое утро творения. В углу комнаты я увидела вороных коней любви, они еще вздрагивали, но уже стояли на месте. Они ждали нас с тобой.

ДИЕГО. Я не слеп и не глух. Но слышал лишь только стук крови в висках. Моя радость вдруг освободилась от нетерпения. О царство света! Тебя отдали мне на всю жизнь, до той минуты, пока земля не призовет нас. Завтра мы умчимся с тобой отсюда в одном седле.

ВИКТОРИЯ. Да! Говори нашим с тобой языком, неважно, если другие сочтут нас безумными. Завтра ты поцелуешь меня в губы. Я смотрю на твой рот, и щеки мои горят. Скажи, это подул южный ветер?

ДИЕГО. Да, он опаляет и меня. Где тот родник, который меня исцелит?

Подходит совсем близко к окну. Просунув руки между прутьями решетки, она обнимает его за плечи.

ВИКТОРИЯ. Ах, мне больно, так я тебя люблю! Подойди еще ближе!

ДИЕГО. Как ты прекрасна!

ВИКТОРИЯ. Какой ты сильный!

ДИЕГО. Чем ты умываешься по утрам? Отчего лицо у тебя белое, как цвет миндаля?

ВИКТОРИЯ. Я умываюсь только чистой водой, вся красота моя от любви.

ДИЕГО. Твои волосы свежи, как ночь.

ВИКТОРИЯ. Это оттого, что все ночи напролет я жду тебя у окна.

ДИЕГО. Может быть, это вода и ночь подарили тебе благоуханье цветов лимона?

ВИКТОРИЯ. Нет, это ветер твоей любви. От него я расцвела за один день!

ДИЕГО. Цветы когда-нибудь опадут!

ВИКТОРИЯ. Тогда тебя ждут плоды!

ДИЕГО. Но придет и зима!

ВИКТОРИЯ. Я встречу ее вместе с тобой. Помнишь, что ты пел мне в первый день? Или это уже не так?

ДИЕГО. После смерти моей через сотню лет
Если спросит меня земля,
Смог ли я наконец позабыть тебя,
Я, как прежде, отвечу нет!

Виктория молчит.

ДИЕГО. Ты молчишь?

ВИКТОРИЯ. У меня от счастья перехватило дыхание.

В шатре астролога.

АСТРОЛОГ *(женщине)*. Солнце, красавица моя, находилось в созвездии Весов в миг твоего рождения, поэтому твоей звездой можно считать Венеру, тем более что на тебя влияет и созвездие Тельца, а, как всем известно, Телец тоже подчиняется Венере. Значит, натура у тебя эмоциональная, любящая и мягкая. Радуйся этому, хотя Телец предрасполагает к безбрачию и есть опасность, что такие прекрасные качества могут пропасть задаром. Я вижу конъюнкцию Венеры с Сатурном, что неблагоприятно для заключения брака и рождения детей. Эта конъюнкция предвещает также необычные склонности и заставляет опасаться болезней желудка. Но ты поменьше думай об этом и стремись к солнцу, ибо оно укрепляет дух и нравы и исцеляет желудочные расстройства. Выбирай друзей среди тех, кто родился под созвездием Тельца, и не забывай, детка, что расположение звезд для тебя благоприятно и может принести тебе радость. Шесть франков. *(Берет у женщины деньги.)*

ЖЕНЩИНА. Спасибо. А ты уверен, что все так и будет, как ты сказал?

АСТРОЛОГ. Конечно, деточка, конечно. Правда, тут есть одно «но»! Сегодня утром, разумеется, ничего не случилось. Но то, что не случилось, может спутать весь твой гороскоп. Я не отвечаю за то, чего не было.

Женщина уходит.

АСТРОЛОГ *(зазывает публику.)* Хотите знать свой гороскоп? Прошлое, настоящее и будущее, предопределенное расположением неподвижных звезд. Подчеркиваю: неподвижных! *(В сторону.)* Если в дело начнут вмешиваться кометы, работать станет невозможно. Придется сделаться губернатором.

ЦЫГАНЕ *(говорят все одновременно)*. Друг, который хочет тебе добра...

— Брюнетка нежная, как аромат апельсина...

— Дальняя дорога в Мадрид...

— Наследство в Америке...

ОДИН ИЗ ЦЫГАН. После смерти друга-блондина ты получишь письмо от брюнета.

В глубине сцены, на подмостках, бьют в барабан.

АКТЕР. Обратите к нам взгляды ваших прекрасных глаз, очаровательные дамы, а вы, сеньоры, прислушайтесь! Перед вами величайшие и знаменитейшие актеры Испании, которых я не без труда уговорил покинуть королевский двор, дабы приехать к вам на базар. Они сыграют для вас священную драму бессмертного Педро де Лариба «Духи». Это удивительное сочинение, вознесенное одним взмахом крыльев гения на высоту мировых шедевров! Потрясающая пьеса, столь любимая нашим королем, что он приказывал играть ее для него дважды в день! Он смотрел бы ее и сейчас, если бы я не взял на себя труд разъяснить сей великолепной труппе, что необходимо безотлагательно представить этот шедевр на вашем базаре для услаждения публики Кадиса, самой искушенной публики во всей Испании! Спешите, спешите, представление начинается!

Представление действительно начинается, но актеров не слышно, крики рыночных торговцев заглушают их голоса.

— Свежая рыба! Свежая рыба!

— Женщина-омар, полуженщина-полурыба!

— Жареные сардины! Жареные сардины!

— Сюда! Спешите видеть! Король ловкачей! Сокрушитель цепей!

— Купи моих помидоров, красавица, они нежные, как твое сердечко!

— Кружева, белье для новобрачных!

— Педро зубы рвет, как бог! Не успеешь крикнуть «ох!»

НАДА *(пьяный, выходит из таверны)*. Давите всё! Выжмите сок из помидоров и из сердца! В кандалы короля ловкачей! Выбьем зубы Педро! Смерть астрологу, который не прочел свою гибель по звездам! Съедим женщину-омара и уничтожим все остальное, за исключением того, что можно выпить.

Иноземный Торговец, богато одетый, выходит на базарную площадь в окружении толпы девушек.

ТОРГОВЕЦ. Покупайте, покупайте ленты «Комета»!

ВСЕ. Тсс! Тсс! *(Шепотом объясняют торговцу, чем он рискует.)*

ТОРГОВЕЦ. Покупайте, покупайте космические ленты!

Все подходят и покупают.

Ликование. Музыка. Появляется Губернатор со свитой. Все обступают его.

ГУБЕРНАТОР. Ваш губернатор приветствует вас и выражает радость, оттого что вы собрались, как обычно, на этой площади и заняты делами, приносящими Кадису мир и процветание. Ничего не изменилось, и это прекрасно. Перемены меня раздражают, я дорожу своими привычками!

ПРОСТОЛЮДИН. Да, губернатор, ты прав: ничего не изменилось. Мы, бедняки, можем тебя в этом заверить. К концу месяца мы едва сводим концы с концами. Лук, оливки и хлеб — по-прежнему наша единственная пища, а что до куриного супа, то мы радуемся, когда по воскресеньям его едят другие. Сегодня утром в городе и на небе был большой шум. Честно говоря, мы испугались. Испугались, вдруг что-нибудь изменится и нищим придется питаться шоколадом. Но ты позаботился о нас, добрый правитель, ты сказал, что ничего не случилось, что нам померещилось. И мы сразу же успокоились.

ГУБЕРНАТОР. Я рад этому. От нового никогда не бывает добра.

АЛЬКАЛЬДЫ. Правильно говорит губернатор! От нового не бывает добра. Нам, алькальдам, удостоенным этого звания за свою мудрость и седины, хочется верить, что наши славные бедняки не иронизируют. Ирония — свойство разрушительного ума. Хороший правитель всегда предпочтет ему созидательную глупость.

ГУБЕРНАТОР. Пусть все остановится! Я — царь неподвижности!

ПЬЯНИЦЫ *(выходят из таверны и толпятся вокруг Нады)*. Да, да, да! Нет, нет, нет! Пусть все остановится, добрый губернатор! Все кружится, все идет колесом, это настоящая пытка! Мы за неподвижность! Долой движение! Отмени все, кроме вина и безумства!

ХОР. Ничего не изменилось! Ничего не происходит, ничего не произошло! Времена года движутся по кругу, а в безмятежном небе вращаются благонравные светила, послушные законам геометрии. Им противны шальные, сумасбродные звезды, которые поджигают небесные степи своей лохматой огненной шевелюрой, расстраивают тревожным воем нежную музыку планет, поднимают ветер и нарушают вечное движение по вечным орбитам, расшатывают созвездия, порождая на перекрестках неба роковые столкновения светил. Поистине все в порядке, мир приходит в равновесие! Стоит полдень года, высокая пора неподвижности! О счастье, счастье! Лето, благодать! Что нам за дело до всего другого? Гордиться счастьем нам дано опять!

АЛЬКАЛЬДЫ. За то, что у неба есть свои привычки, надо поблагодарить вашего губернатора, ибо он король привычки. Он тоже не любит распущенных волос. Все его подданные гладко причесаны!

ХОР. Смирение! Мы всегда будем смирными, ведь ничто никогда

не изменится. Зачем нам развевающиеся по ветру волосы, горящие глаза и пронзительный голос? Мы будем гордиться счастьем других!

ПЬЯНИЦЫ *(вокруг Нады)*. Отмените движение, отмените, отмените! Не двигайтесь! Замрем! Пусть себе текут часы, это правление не будет иметь истории! Высокая пора неподвижности — это вечное время нашего сердца, ибо оно самое жаркое и вызывает жажду!

Музыкальная тема тревоги негромко звучит уже несколько минут. Внезапно она сменяется пронзительным воем сирены. Одновременно раздаются два глухих удара. Один из актеров, исполняющий на подмостках пантомиму, выходит вперед, шатается и падает прямо в толпу, которая мгновенно его обступает. Полная тишина. На несколько секунд все замирают. Затем начинается суматоха. Диего пробирается через толпу, люди расступаются, и мы видим распростертое на земле тело. Появляются двое врачей, осматривают лежащего и, отойдя в сторону, начинают взволнованно совещаться. Молодой человек из толпы требует у одного из врачей объяснения, но тот качает головой, отказываясь отвечать. Юноша настаивает и, ободряемый народом, пытается заставить врача говорить. Он трясет его, приникает к нему в мольбе, и в конце концов его губы прижимаются к губам врача. Юноша шумно вдыхает, изображая, будто вытягивает ответ из уст врача. Внезапно отшатывается и с огромным усилием, будто слово столь огромно, что застревает у него в глотке, произносит:

— Чума.

Народ падает на колени. Каждый повторяет это слово все громче и быстрее. Люди начинают разбегаться по сцене, описывая широкие круги вокруг стоящего на возвышении губернатора. Они кружат как безумные, все ускоряя и ускоряя бег, и вдруг разом останавливаются при звуке голоса старого Священника.

СВЯЩЕННИК. В храм! В храм! Вот она, божья кара! Древний недуг обрушился на Кадис! Небо насылает его на развращенные города, чтобы покарать их смертью за смертный грех. В ваших лживых устах пресечется крик, и пылающая печать ляжет на ваше сердце. Молите теперь справедливого Бога, чтобы он забыл и простил! Спешите в храм!

Кто-то бросается в церковь. Остальные под звуки набата механически кружат по сцене.

АСТРОЛОГ *(в глубине сцены, невозмутимо, словно делая доклад губернатору)*. На небе вырисовывается коварное совпадение враждебных планет. Оно предвещает засуху, голод и чуму...

Его речь заглушает болтовня женщин:

— У него на горле сидело какое-то огромное животное и сосало кровь, пыхтя, как насос.

— Это был паук, гигантский черный паук!

— Да нет, он был зеленый!

— Никакой не паук, а морская ящерица.

— Ты не разглядела! Это был спрут, огромный спрут величиной почти с человека.

— Диего, где Диего?

— Теперь мертвецов будет столько, что живых не хватит их хоронить!

— Ай! Если б только я могла уехать!

— Уехать! Уехать!

ВИКТОРИЯ. Диего! Где Диего?

Во время этой сцены в небе появляются зловещие знамения. Сигнал тревоги звучит все громче, нагнетая ужас. Какой-то человек с просветленным лицом, словно на него снизошло откровение, выбегает из дома с криком: «Через сорок дней конец света!» Люди в панике снова начинают бегать по кругу, повторяя: «Через сорок дней конец света!» Стражники хватают ясновидца, а в это время с другой стороны появляется Колдунья и предлагает лечебные снадобья.

КОЛДУНЬЯ. Мелисса, мята, шалфей, розмарин, чабрец, шафран, лимонная цедра, миндальная паста... Не проходите мимо! Чудодейственные средства!

Солнце начинает клониться к западу, поднимается холодный ветер. Все смотрят на небо.

КОЛДУНЬЯ. Ветер! Вот и ветер подул! Чума боится ветра! Все уладится, вот увидите!

Ветер внезапно стихает. Вой сирены становится еще пронзительнее. Раздаются подряд два глухих удара. Два человека в толпе валятся наземь. Все падают на колени и начинают пятиться от лежащих тел. Посреди сцены остается только колдунья, и у ее ног — двое лежащих мужчин с отметинами в паху и на горле. Больные корчатся и, сделав несколько движений, испускают дух. На толпу, которая продолжает отступать к краям сцены, медленно опускается ночь. Полная тьма.

Свет в церкви и в доме судьи. Прожектор направлен на дворец. Действие разворачивается поочередно в разных местах.

Во дворце.

ПЕРВЫЙ АЛЬКАЛЬД. Ваша честь, эпидемия растет с невероятной быстротой, врачи не справляются. Жилые кварталы заражены сильнее, чем люди предполагают, и, думаю, надо скрыть от них правду любой ценой. К тому же болезнь пока свирепствует в основном на бедных и перенаселенных окраинах. Это единственное, что может еще утешать нас в нашей беде.

Одобрительный шепот присутствующих.

В церкви.

СВЯЩЕННИК. Подходите, и пусть каждый публично исповедуется в своих самых черных делах. Откройте ваши сердца, несчастные! Расскажите друг другу о содеянном вами зле и о зле, которое вы замышляли, иначе яд греха непременно убьет вас и отправит в ад так же верно, как ненасытный спрут чумы... Я лично каюсь в том, что не всегда был милосерден...

Три исповеди-пантомимы сменяют друг друга во время следующего диалога.

Во дворце.

ГУБЕРНАТОР. Все обойдется. Досадно только, что я собирался на охоту. Такие штуки вечно случаются, когда у вас неотложные дела. Как же быть?

ПЕРВЫЙ АЛЬКАЛЬД. Не отменяйте охоту, ваша честь, хотя бы для примера другим. Народ должен знать, что вы умеете встречать превратности судьбы с безмятежным челом.

В церкви.

ВСЕ. Прости нам, Господи, все, что мы совершили и чего не совершали.

В доме судьи.

Судья читает псалмы в окружении своей семьи.

СУДЬЯ. «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится.

Говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»

Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы...» [1]

ЖЕНА СУДЬИ. Касадо, нельзя ли нам выйти погулять?

СУДЬЯ. Ты уже достаточно погуляла в своей жизни, жена. Это не принесло нам счастья.

ЖЕНА. Виктория не вернулась. Я боюсь, не приключилось ли с ней чего дурного.

СУДЬЯ. Жаль, что ты не боялась, как бы чего дурного не приключилось с тобой самой! И потеряла честь. Сиди дома, это самое надежное место среди бедствия. Я все предусмотрел. Мы запрем двери на время чумы и дождемся, пока она кончится. С Божьей помощью, мы не пострадаем.

[1] Псалом 90.

ЖЕНА. Ты прав, Касадо. Но мы не одни. Другие страдают. Виктория, быть может, в опасности.

СУДЬЯ. Оставь в покое других и подумай о семье. О своем сыне, к примеру. Вели доставить в дом столько провизии, сколько возможно. Заплати любую цену. Но запасай, жена, запасай. Настало время сберегать! *(Читает.)* «...Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю...»

В церкви.

Молящиеся продолжают тот же псалом.

ХОР. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень».

ГОЛОС. О великий и страшный Бог!

Свет на площади. Люди движутся по сцене в ритме коплы.

ХОР. На сыром песке и на море
Свое имя ты написал.
Мне осталось одно лишь горе...

Входит Виктория. Прожектор освещает площадь.

ВИКТОРИЯ. Диего, где Диего?

ЖЕНЩИНА. Он подле больных. Помогает тем, кто его зовет.

Виктория бежит к кулисам и сталкивается с Диего. Он в маске врача, работающего с зачумленными. Виктория отшатывается и вскрикивает.

ДИЕГО *(мягко)*. Я напугал тебя, Виктория?

ВИКТОРИЯ *(кричит)*. О, Диего! Наконец-то! Сними скорей эту маску и обними меня. Прижми меня к себе, и никакая чума меня не возьмет.

Диего не двигается.

ВИКТОРИЯ. Что-то изменилось, Диего? Вот уже много часов я ищу тебя, бегаю по всему городу в ужасе от мысли, что ты, быть может, заразился, и наконец вижу тебя в этой маске болезни и страдания! Сбрось, сбрось ее, умоляю тебя, и прижми меня к груди! *(Диего снимает маску.)* Я взглянула на твои руки, и у меня пересохло во рту. Поцелуй меня.

Диего не двигается.

ВИКТОРИЯ *(тише)*. Поцелуй меня, я умираю от жажды. Неужели ты забыл, что мы вчера обручились? Всю ночь я ждала сегодняшнего дня, когда ты должен был меня поцеловать. Скорей, скорей!...

ДИЕГО. Я полон жалости, Виктория.

ВИКТОРИЯ. Я тоже, но только к нам с тобой. Потому-то я и искала тебя, звала на всех улицах, бежала, протягивая к тебе руки, чтобы сплести их с твоими! *(Делает шаг к Диего.)*

ДИЕГО. Не прикасайся ко мне, отойди!

ВИКТОРИЯ. Почему?

ДИЕГО. Я сам себя не узнаю. Никогда ни один человек не внушал мне страха, а тут я не могу с собой совладать, это сильнее меня, и даже мысль о чести не придает мне мужества. *(Виктория делает еще шаг к нему.)* Не прикасайся ко мне! Возможно, я уже ношу в себе болезнь и могу тебя заразить. Подожди немного. Дай мне перевести дух, я потрясен, мне трудно дышать. Я даже не знаю, как приподнять этих людей и перевернуть их в постели. У меня руки трясутся от ужаса, и жалость застилает глаза. *(Слышатся крики, стоны.)* Они зовут меня, слышишь? Я должен идти к ним. Но береги себя, береги нашу любовь. Это рано или поздно кончится, иначе не может быть.

ВИКТОРИЯ. Не покидай меня!

ДИЕГО. Обязательно кончится! Я слишком молод и слишком сильно тебя люблю. Мне отвратительна смерть.

ВИКТОРИЯ *(бросаясь к нему)*. Но ведь я-то живая!
ДИЕГО *(отступая)*. Стыдно, Виктория, как стыдно!
ВИКТОРИЯ. Стыдно? Почему?
ДИЕГО. Потому что я, кажется, боюсь.

Слышатся стоны. Диего бежит в ту сторону.
Народ движется по сцене в ритме коплы.

ХОР. Где правда? Где обман? Не верьте
Словам людским. Цена им грош.
Нет истины на свете, кроме смерти.
Все остальное — ложь.

Прожектор освещает церковь и дворец губернатора.
В церкви поют псалмы, молятся. Первый Алькальд обращается из дворца к народу.

ПЕРВЫЙ АЛЬКАЛЬД. Приказ губернатора. С сегодняшнего дня, в знак покаяния перед лицом общей беды и дабы избежать опасности заражения, все публичные сборища запрещаются и всяческие увеселения отменяются. В то же время...

ЖЕНЩИНА *(кричит из толпы)*. Ай-ай! Они прячут мертвеца! Его нельзя так оставлять! Он отравляет воздух. Позор вам, мужчины! Его надо предать земле.

Суматоха. Двое мужчин уволакивают женщину.

АЛЬКАЛЬД. В то же время губернатор может успокоить горожан относительно дальнейшего развития неожиданной эпидемии, обрушившейся на наш город. По мнению всех врачей, достаточно, чтобы подул ветер с моря, и чума отступит. С Божьей помощью...

Два страшных глухих удара прерывают его речь. За ними следуют еще два. Оглушительно звучит похоронный звон, из церкви доносится громкое пение молящихся. Потом люди в ужасе умолкают. В тишине входят двое незнакомцев, Мужчина и Женщина. Все взоры устремляются на них. Мужчина тучен, он в военной форме, без головного убора, с орденом на груди. На женщине тоже форма, но только с белым воротничком и белыми манжетами. В руках она держит блокнот. Они подходят к воротам дворца и приветствуют губернатора.

ГУБЕРНАТОР. Что вам угодно, чужеземцы?
МУЖЧИНА *(учтиво)*. Занять ваше место.
ВСЕ. Что? Что он говорит?
ГУБЕРНАТОР. Вы неудачно выбрали время для шуток, и эта дерзость может дорого вам обойтись. Но мы, вероятно, вас неверно поняли. Кто вы такие?
МУЖЧИНА. Ни за что не угадаете!
ПЕРВЫЙ АЛЬКАЛЬД. Не знаю, откуда вы явились, зато знаю, где вы кончите!
МУЖЧИНА *(спокойно)*. Вы меня пугаете! Как вы считаете, друг мой, сказать им, кто я?
СЕКРЕТАРША. Обычно мы более церемонно знакомимся.
МУЖЧИНА. Однако эти господа очень настойчивы.
СЕКРЕТАРША. Возможно, у них есть на то свои причины. В конце концов, мы здесь в гостях и должны подчиниться местным порядкам.
МУЖЧИНА. Согласен. Но не внесем ли мы тем самым некоторое смятение в умы этих милейших людей?
СЕКРЕТАРША. Лучше внести смятение, чем быть невежливыми.
МУЖЧИНА. Убедительный довод. Но меня все-таки кое-что смущает...
СЕКРЕТАРША. Одно из двух...
МУЖЧИНА. Слушаю вас...
СЕКРЕТАРША. Или вы скажете им, или не скажете. Если вы скажете, они узнают. Если не скажете, догадаются.
МУЖЧИНА. Вы освободили меня от последних сомнений.
ГУБЕРНАТОР. Довольно! Прежде чем принять надлежащие меры,

я в последний раз приказываю вам объяснить, кто вы такие и чего хотите.

МУЖЧИНА *(по-прежнему непринужденно)*. Я — чума. А вы?

ГУБЕРНАТОР. Чума?

МУЖЧИНА. Да, и мне необходимо как можно скорее занять в городе ваш пост. Поверьте, я очень сожалею, но у меня много дел. Если я дам вам, скажем, два часа? Вам хватит двух часов, чтобы передать мне полномочия?

ГУБЕРНАТОР. На сей раз вы зашли слишком далеко и поплатитесь за самозванство. Стража!

МУЖЧИНА. Минуту! Я никого не хочу неволить. Мой принцип — быть корректным. Вполне понятно, что мое поведение вас удивляет, ведь вы, в сущности, меня совсем не знаете. Но я и в самом деле хочу, чтобы вы уступили мне свой пост, не вынуждая меня прибегать к доказательствам. Неужели вы не можете поверить на слово?

ГУБЕРНАТОР. Я не могу больше терять на вас время, ваша шутка затянулась. Арестуйте этого человека!

МУЖЧИНА. Ничего не поделаешь. Хотя это, право, досадно. Друг мой, не соблаговолите ли вы произвести вычеркивание?

Мужчина указывает на одного из стражников. Секретарша с нажимом вычеркивает что-то в своем блокноте. Раздается глухой стук. Стражник падает. Секретарша подходит и осматривает его.

СЕКРЕТАРША. Все в порядке, ваша честь. Все наши отметины налицо. *(Присутствующим, любезно.)* Один знак чумы на теле — и вы подозрительны. Два — вы заражены. Три — приговорены к вычеркиванию. Нет ничего проще.

МУЖЧИНА. Ах, да! Я забыл представить вам свою секретаршу. Впрочем, вы с ней знакомы. Но попадается столько людей, которые...

СЕКРЕТАРША. Это простительно! К тому же, не бывает так, чтобы меня в конце концов не узнали.

МУЖЧИНА. Счастливый характер! Веселая, опрятная, никогда не жалуется...

СЕКРЕТАРША. В этом нет никакой особой заслуги. Работать всегда легче среди свежих цветов и улыбок.

МУЖЧИНА. Прекрасный принцип! Но вернемся к нашим баранам. *(Губернатору.)* Удалось ли мне доказать вам, что я не шучу? Молчите? Я, конечно, напугал вас. Поверьте, я не хотел. Я предпочел бы уладить дело полюбовно, заключить соглашение, основанное на взаимном доверии, подкрепленное вашим и моим честным словом, если можно так выразиться, договор чести. Ну, ничего, лучше поздно, чем никогда. Двухчасовой отсрочки вам хватит?

Губернатор отрицательно мотает головой.

МУЖЧИНА *(поворачиваясь к секретарше)*. Как неприятно!

СЕКРЕТАРША *(качая головой)*. Упрямец! Очень огорчительно!

МУЖЧИНА *(губернатору)*. Мне хотелось бы тем не менее получить ваше согласие. Я ничего не хочу делать насильно, это противоречит моим принципам. Поэтому моя сотрудница произведет столько вычеркиваний, сколько потребуется, чтобы добиться от вас свободного одобрения той маленькой реформы, которую я намерен произвести. Вы готовы, друг мой?

СЕКРЕТАРША. Сейчас, только очиню карандаш, а то он у меня затупился, и все будет к лучшему в этом лучшем из миров.

МУЖЧИНА *(вздыхает)*. Если бы не ваш оптимизм, это ремесло было бы для меня просто невыносимым!

СЕКРЕТАРША *(затачивая карандаш)*. Хорошая секретарша никогда не сомневается в том, что все можно как-то уладить. Нет такой бухгалтерской ошибки, которую нельзя было бы исправить, а несостоявшуюся деловую встречу всегда можно перенести на другой день. Нет

худа без добра. Война и та имеет положительные стороны. Даже кладбища могут быть выгодным предприятием, когда приобретение участков в вечное пользование объявляется недействительным каждые десять лет.

МУЖЧИНА. Золотые слова... Карандаш очинен?

СЕКРЕТАРША. Очинен, можно начинать.

МУЖЧИНА. Итак! *(Указывает ей на выступившего вперед Наду, но тот разражается пьяным смехом.)*

СЕКРЕТАРША. Позволю себе заметить: он явно из тех, кто ни во что не верит, а мы всегда нуждаемся в таких людях.

МУЖЧИНА. Совершенно справедливо. Возьмем тогда кого-нибудь из алькальдов.

Паника среди алькальдов.

ГУБЕРНАТОР. Стойте!

СЕКРЕТАРША. Хороший признак, ваша честь!

МУЖЧИНА *(с готовностью)*. Чем могу служить, губернатор?

ГУБЕРНАТОР. Если я уступлю вам свой пост, вы не тронете меня, мою семью и алькальдов?

МУЖЧИНА. Ну, конечно, помилуйте, это было бы нарушением всех правил!

Губернатор совещается с алькальдами, затем обращается к народу.

ГУБЕРНАТОР. Граждане Кадиса! Надеюсь, вы понимаете, что обстановка изменилась? Заботясь о вашем благе, я, очевидно, должен буду передать город в руки новой власти, заявившей о себе на ваших глазах. Соглашение, которое я собираюсь заключить с этой властью, позволит, несомненно, избежать самого худшего, и вы, к тому же, будете иметь за городскими стенами правительство, которое впоследствии может вам оказаться полезным. Должен ли я объяснять, что, поступая так, я пекусь не о собственной безопасности, но...

МУЖЧИНА. Извините, что перебиваю вас. Но я был бы рад, если бы вы публично подчеркнули, что соглашаетесь на эти полезные меры без всякого принуждения и что речь, разумеется, идет о соглашении добровольном.

Губернатор оглядывается на них. Секретарша подносит карандаш к губам.

ГУБЕРНАТОР. Конечно, я заключаю это соглашение совершенно добровольно. *(Бормочет что-то невнятное, пятится и убегает. Свита обращается в бегство.)*

МУЖЧИНА *(первому алькальду)*. Будьте так добры, не спешите уходить. Мне нужен человек, облеченный доверием народа, чтобы я мог его устами объявлять свою волю. *(Алькальд колеблется.)*. Вы, разумеется, согласны... *(Секретарше.)* Друг мой...

ПЕРВЫЙ АЛЬКАЛЬД. Ну, разумеется, это большая честь для меня.

МУЖЧИНА. Вот и прекрасно. В таком случае, друг мой, вы будете передавать алькальду те наши постановления, которые надлежит знать этим добрым людям, дабы начать вести упорядоченный образ жизни.

СЕКРЕТАРША. Предписание, разработанное и обнародованное первым алькальдом и его советниками...

ПЕРВЫЙ АЛЬКАЛЬД. Но я пока еще ничего не разработал...

СЕКРЕТАРША. От этих хлопот мы вас избавляем. По-моему, вам должно быть лестно, что наши службы берут на себя труд составлять документы, которые вы будете иметь честь подписывать.

ПЕРВЫЙ АЛЬКАЛЬД. Конечно, конечно, но...

СЕКРЕТАРША. Итак, настоящее предписание в соответствии с волей возлюбленного нашего повелителя имеет силу утвержденного закона и включает в целях регламентации жизни, а также оказания помощи гражданам, подвергшимся заражению, перечень устанавливаемых пра-

вил и учреждаемых должностей для таких лиц, как надзиратели, охранники, палачи и могильщики, которые приносят присягу неукоснительно исполнять полученные ими указания...

ПЕРВЫЙ АЛЬКАЛЬД. Что за способ выражаться, скажите на милость?

СЕКРЕТАРША. Это чтобы люди не слишком вникали. Чем меньше они будут понимать, тем лучше будут подчиняться. Вот вам указы. Прикажите огласить их в городе один за другим, не торопясь, дабы любые тугодумы могли хорошенько их усвоить. А вот и наши глашатаи. Их приятные лица помогут лучше запомнить все, ими сказанное.

Появляются глашатаи.

НАРОД. Губернатор уезжает! Губернатор уезжает!

НАДА. Правильно делает, правильно делает. Государство — это он, нужно же спасать государство!

НАРОД. Государство — это он, но он уже никто. Раз он уезжает, значит, теперь государство — это Чума.

НАДА. Какая вам разница, Чума или губернатор? Государство есть государство.

Народ разбредается и явно ищет выхода из города. От толпы отделяется глашатай.

ПЕРВЫЙ ГЛАШАТАЙ. Все зараженные дома должны быть помечены на двери черной звездой радиусом в один фут, с надписью: «Все люди братья». Звезду запрещается ликвидировать до снятия с дома карантина под страхом наказания по всей строгости закона. *(Уходит.)*

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Какого закона?

ДРУГОЙ ГОЛОС. Нового, конечно.

ХОР. Наши правители обещали нам свою защиту, но они покинули нас. Зловещие туманы сгустились над городом, они поглощают ароматы фруктов и роз, гасят сияние лета, душат радость счастливой поры. Ах, Кадис, морской город! Еще вчера из-за моря прилетал к нам ветер пустыни, подхватив по пути благоухание африканских садов, он нес нежную истому нашим девушкам. Но сегодня ветер стих, а ведь только он может очистить воздух от отравы. Правители говорили, что никогда ничего не случится, но правы оказались не они, а пьяница. Что-то случилось, наше дело плохо, и надо бежать, бежать как можно скорее, пока ворота не захлопнулись и нас не заперли наедине с бедой!

ВТОРОЙ ГЛАШАТАЙ. Все продукты первой необходимости будут отныне находиться в распоряжении общины, иначе говоря, будут распределяться поровну и в ничтожно малых количествах между теми, кто сумеет доказать новому обществу свою благонадежность.

Первые городские ворота захлопываются.

ТРЕТИЙ ГЛАШАТАЙ. Все осветительные приборы должны быть выключены в девять часов вечера. Частным лицам запрещается находиться в ночное время в общественных местах или передвигаться по улицам без специального пропуска, выписанного в надлежащей форме, который будет выдаваться только в исключительных случаях и всегда по произволу администрации. Нарушители будут наказаны по всей строгости закона.

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЫ (*все громче и громче*). Ворота закрывают!

— Их уже закрыли!

— Нет, пока не все!

ХОР. Ах, бежим скорее к тем, что еще открыты! Мы дети моря. Скорее туда, в край без стен и ворот, к нехоженым пляжам с прохладным, как губы, песком, где открыты такие дали, что глаза устают смотреть. Бежим навстречу ветру! К морю! Скорее к морю! К вольному морю, к воде, смывающей все, к ветру, дарующему свободу!

ГОЛОСА. К морю! К морю!

Люди бросаются бежать.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГЛАШАТАЙ. Строжайше запрещено оказывать помощь пораженным болезнью лицам иначе как путем доноса властям, которые о них позаботятся. Доносы членов семьи друг на друга особо рекомендуются и будут поощряться двойным продуктовым пайком, именуемым «паек гражданина».

Вторые ворота захлопываются.

ХОР. К морю! К морю! Море спасет нас! Что ему болезни и войны! Оно повидало и погребло немало правительств! Оно дарит нам лишь алые рассветы и зеленоватые сумерки да нескончаемый плеск волн по ночам, когда звезды переполняют небо. О безлюдье, пустыня, крещение солью! Остаться наконец один на один с морем, на ветру, лицом к солнцу, вырваться из городов, замурованных в камень, как склепы, не видеть человеческих лиц, запертых на засовы страха! Скорее! Скорее! Кто спасет меня от человека и его страха? Я радовался апогею года, один среди плодов, спокойной природы, ласкового лета. Я любил мир. Были только Испания и я. Но я больше не слышу шума волн. Кругом вопли, паника, бесчестье и низость, мои братья в поту и в смятении, они отяжелели и стали неповоротливыми от страха, их уже невозможно взвалить на плечи и нести. Кто вернет мне моря забвения, спокойные воды океана, его текучие пути и сомкнувшиеся борозды? К морю! К морю, пока ворота еще не закрылись!

ГОЛОСА. Не прикасайся к нему, он был возле мертвецов.

— На нем знак чумы! Он меченый!

— Прочь! Прочь от нас!

Бьют меченого. Третьи ворота захлопываются.

ГОЛОС. О великий и страшный Бог!

ДРУГОЙ ГОЛОС. Скорей! Бери все необходимое, матрац, клетку с птицами! Не забудь собачий ошейник! И горшочек с мятой! Мы будем жевать ее, пока не доберемся до моря!

ТРЕТИЙ ГОЛОС. Держите вора! Он украл вышитую скатерть, которую мне подарили на свадьбу!

Погоня. Вора догоняют и бьют. Четвертые ворота захлопываются.

ГОЛОС. Спрячь получше нашу провизию!

ДРУГОЙ ГОЛОС. У меня нет ни крошки еды в дорогу. Дай мне хлеба, брат! Я отдам тебе взамен свою гитару с узором из перламутра.

ТРЕТИЙ ГОЛОС. Хлеба! Весь кошелек — за один-единственный хлебец!

Пятые ворота захлопываются.

ХОР. Скорей! Только одни ворота еще открыты! Беда опережает нас. Море ей ненавистно, она не хочет нас отпускать. Морские ночи тихи, звезды скользят над мачтой. Что там делать чуме? Ей хочется держать нас в своей власти, она любит нас на свой лад. Она пытается сделать нас счастливыми, как она это понимает, но не так, как хотим мы сами. Это радость по команде, существование без тепла, пожизненное наказание счастьем. Жизнь застывает, мы больше не чувствуем на губах свежего вкуса ветра.

НИЩИЙ. Святой отец, не покидай меня, я твой нищий!

Священник пытается убежать.

НИЩИЙ. Он бежит! Бежит! Не оставляй меня! Твой долг позаботиться обо мне! Если я потеряю тебя, то потеряю все!

Священник вырывается. Нищий с криком падает.

НИЩИЙ. Христиане Испании! Вас бросили на произвол судьбы!

ПЯТЫЙ ГЛАШАТАЙ *(чеканя каждое слово)*. И наконец, последнее.

Чума, Секретарша и чуть позади них Алькальд улыбаются, одобрительно кивают, поздравляют друг друга с успехом.

ПЯТЫЙ ГЛАШАТАЙ. Во избежание заражения воздушным путем — ибо даже слова способны переносить инфекцию — каждому жителю города надлежит постоянно держать во рту пропитанный уксусом тампон, который предохраняет от заболевания и одновременно способствует сдержанности и немногословию.

Все засовывают в рот носовые платки, и по мере того как количество звучащих голосов уменьшается, оркестр играет все тише и тише. От хора постепенно остается всего один голос, а затем и он сменяется пантомимой, разыгрываемой в полной тишине: рты у людей заткнуты.

Последние ворота с грохотом захлопываются.

ХОР. Горе! Горе! Мы остались одни, одни наедине с Чумой! Последние ворота закрылись! Мы больше ничего не слышим. Море недосягаемо. Скорбь стала нашим уделом, нам остается лишь бесцельно кружить по тесному городу без воды и деревьев, с высокими неприступными воротами, запертыми на замок, по городу, где мечутся ревущие толпы, по нашему Кадису, похожему на черно-красную арену цирка, где скоро будут совершаться ритуальные убийства. Братья, бедствие страшнее нашей вины, мы не заслужили такого заточения! Наши сердца не были невинны, но мы любили землю, любили лето — это должно было спасти нас! Однако ветры застряли в пути, и небо опустело! Мы умолкаем надолго. Но перед тем как кляп страха окончательно заткнет нам рот, давайте же в последний раз возопим в пустыне!

Стенания, затем тишина.

Оркестр смолк. Слышится лишь колокольный звон. Снова звучит тревожная музыкальная тема кометы. Во дворце губернатора появляются Чума и Секретарша. Секретарша под барабанную дробь вычеркивает на ходу одно за другим имена из своего блокнота. Нада ухмыляется. Со скрипом проезжает первая повозка с трупами. Чума поднимается на возвышение и делает знак рукой. Все застывают. Полная тишина.

ЧУМА. Я царствую, это факт, а значит — право. Право, которое не подлежит обсуждению: вам придется свыкнуться с этим.

Впрочем, не заблуждайтесь, я царствую на свой лад, точнее было бы сказать — функционирую. Все вы, испанцы, немного романтики и, конечно, предпочли бы видеть меня в облике какого-нибудь черного короля или страшного сказочного насекомого. Известное дело, вы не можете без патетики! Так вот, обойдетесь! У меня нет скипетра, и я принял вид унтер-офицера. Я сделал это нарочно, чтобы вас уязвить, это полезно: вам еще многому предстоит научиться. У вашего короля грязь под ногтями и уставной мундир. Он не восседает на троне, он заседает. Его дворец — казарма, а охотничий домик — зал суда. Город отныне на осадном положении.

Когда прихожу я, патетика уходит. Я упраздняю ее вместе с некоторыми другими бреднями, такими, как дурацкая тоска по счастью, глупые физиономии влюбленных, эгоистическое созерцание красот природы или преступная ирония. Взамен всего этого я несу вам порядок. Поначалу он будет вас немного стеснять, но потом вы поймете, что хороший порядок лучше плохой патетики. Чтобы проиллюстрировать эту замечательную мысль, я начну с того, что изолирую мужчин от женщин. Это будет иметь силу закона. *(Стражники выполняют приказ.)* С глупыми играми покончено! Пора стать серьезными! Полагаю, теперь вы кое-что поняли. С сегодняшнего дня вы будете учиться умирать организованно. До сих пор вы умирали по-испански, случайно, как бог на душу положит. Вы умирали, оттого что было жарко и вдруг стало холодно, оттого что споткнулся ваш мул, оттого что вершины Пиренеев очень уж заманчиво голубеют, а река Гвадалквивир весной притягивает одиноких или оттого что на свете существуют безмозглые грубияны, которые

убивают ради денег или ради чести, хотя куда изысканнее убивать ради логики! Да, умирали вы скверно, ничего не скажешь: один там, другой сям, тот в постели, этот на арене — сплошная распущенность. Но можете радоваться, теперь это будет решаться в административном порядке. Одна смерть для всех, по списку, в порядке строгой очередности. На каждого мы заведем карточку, и никто больше не будет умирать, как ему вздумается. Судьба поумнела и завела канцелярию. Вы все будете учтены статистикой и наконец хоть на что-то сгодитесь. Да, чуть не забыл вам сказать: вы, разумеется, умрете, это дело решенное, и будете подвергнуты последующей кремации или даже предварительной — это гигиеничнее и тоже входит в программу. Испания превыше всего!

Построиться в шеренги, чтобы умереть надлежащим образом,— вот основная задача! Этим вы можете снискать мою благосклонность. Но берегитесь бредовых мыслишек, порывов души, как вы выражаетесь, легкого возбуждения, которое порождает большие мятежи! Отныне все это слюнтяйство запрещается и заменяется логикой. Я не терплю отклонений от единообразия и от разумного порядка. С сегодняшнего дня вы все будете вести себя разумно и начнете носить специальные значки. Если вы получили одну отметину, вы должны публично носить чуть ниже плеча чумную звезду — по ней в вас будут узнавать одну из ближайших жертв. Другие — те, кто, полагая, будто это их не касается, стоят в воскресенье в очереди за билетами на корриду,— станут вас сторониться, ибо вы будете в числе подозрительных. Но не огорчайтесь: их это касается. Они тоже в списке, я не забываю никого. Подозрительны все, вот из чего следует исходить.

Все это, впрочем, не мешает мне быть сентиментальным. Я люблю птичек, первые фиалки, свежие губки девушек. Временами это очень бодрит, и вообще я, по правде сказать, идеалист. Мое сердце... Но я, кажется, расчувствовался, не стоит продолжать. Давайте только подведем итоги. Я принес вам молчание, порядок и абсолютную справедливость. Благодарности не требуется, ибо то, что я для вас делаю, совершенно естественно. Но требуется активное сотрудничество со мной. Итак, я вступаю в должность!

Занавес

## Часть вторая

Площадь в Кадисе. Слева — кладбищенская контора. Справа — набережная. Рядом с набережной — дом судьи.

Могильщики в тюремной одежде подбирают мертвецов. За кулисами слышен скрип повозки. Она выезжает на середину сцены и останавливается. Заключенные нагружают ее трупами. Она вновь движется к кладбищу. Звучит военный марш, и передняя стена конторы отъезжает, открывая внутреннее помещение. Контора напоминает школьный зал для игр. На возвышении восседает Секретарша. Чуть пониже расставлены столы наподобие тех, где выдаются продовольственные карточки. За одним из столов сидит седоусый первый Алькальд в окружении чиновников. Музыка становится громче. С противоположной стороны сцены стражники загоняют народ в контору, мужчин и женщин отдельно.

Прожектор направлен в центр сцены. Из своего дворца Чума отдает распоряжения невидимым рабочим, чья деятельность угадывается по движению и шуму за сценой.

ЧУМА. Эй, вы там, живей поворачивайтесь! В этом городе все делается на редкость медленно. Ленивый народ! Сразу видно, не любит работать. Я признаю безделье только в казармах и в очередях. Такое безделье благотворно, от него мертвеют сердца и ноги. Потому что это безделье бессмысленное. Поторапливайтесь! Надо поскорее закончить строительство моей башни, наладить надежную охрану. Натяните вдоль городских стен колючую проволоку! У каждого своя весна, моя цветет железными розами. Стража! Отметьте звездами дома, которыми я собираюсь заняться. А вы, друг мой, приступайте к составлению списков и организуйте выдачу справок о существовании. *(Выходит направо.)*

РЫБАК *(он же корифей)*. Справка о существовании? Это еще зачем?

СЕКРЕТАРША. Как зачем? Разве можно жить без справки о существовании?

РЫБАК. До сих пор прекрасно жили.

СЕКРЕТАРША. Просто до сих пор вами не управляли. А теперь управляют. Главный принцип нашего управления именно в том и состоит, что человеку всегда требуется справка. Можно обойтись без хлеба и без жены, но без заверенной надлежащим образом справки на любой случай жизни обойтись нельзя никак!

РЫБАК. Из поколения в поколение мы рыбачили и отлично справлялись с сетями без всяких бумажек, уж в этом я вам клянусь!

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. Я мясник, как мой отец и дед. Чтобы резать баранов, справки ни к чему.

СЕКРЕТАРША. Вы привыкли к анархии, вот и все! Заметьте, мы ничего не имеем против боен, как раз наоборот! Но мы усовершенствовали их работу с помощью учета. В этом наше преимущество. Что же касается сетей, то вы еще увидите, что мы тоже неплохо умеем их расставлять. Господин алькальд, у вас есть бланки анкет?

АЛЬКАЛЬД. Вот они.

СЕКРЕТАРША. Стража, помогите-ка этому господину подойти к столу.

Рыбака выталкивают к столу.

АЛЬКАЛЬД *(читает)*. Имя, фамилия, род занятий.

СЕКРЕТАРША. Пропустите формальности. Господин заполнит эти пункты сам.

АЛЬКАЛЬД. Куррикулюм витэ.

РЫБАК. Не понял.

СЕКРЕТАРША. Вы должны указать главные события вашей жизни. Чтобы мы могли с вами познакомиться!

РЫБАК. Моя жизнь никого не касается. Это мое частное дело. И нечего в нее лезть!

СЕКРЕТАРША. Частное дело! Для нас эти слова лишены всякого смысла. Речь, разумеется, идет о вашей официальной жизни. Единственной, кстати, которая допускается нашими законами. Господин алькальд, переходите к подробностям.

АЛЬКАЛЬД. Женат?

РЫБАК. С тридцать первого года.

АЛЬКАЛЬД. Мотивы вступления в брак?

РЫБАК. Мотивы! Я просто с ума сойду!

СЕКРЕТАРША. Здесь так написано. Это хороший способ сделать частное официальным!

РЫБАК. Я женился потому, что я мужчина.

АЛЬКАЛЬД. Разведен?

РЫБАК. Вдовец.

АЛЬКАЛЬД. Вторично женат?

РЫБАК. Нет.

СЕКРЕТАРША. Почему?

РЫБАК *(кричит)*. Я любил свою жену!

СЕКРЕТАРША. Странно. За что?

РЫБАК. Разве можно все объяснить?

СЕКРЕТАРША. В хорошо организованном обществе — можно!

АЛЬКАЛЬД. Привлекался ли к ответственности?

РЫБАК. К какой еще ответственности?

СЕКРЕТАРША. Были вы судимы за грабеж, клятвопреступление, изнасилование?

РЫБАК. Никогда в жизни!

СЕКРЕТАРША. Порядочный человек, я так и думала! Господин алькальд, пометьте у себя: взять под наблюдение.

АЛЬКАЛЬД. Гражданские убеждения?

РЫБАК. Я всегда честно служил своим согражданам. Я никогда не отпускал нищего без хорошей рыбины.

СЕКРЕТАРША. Такой ответ не принимается.

АЛЬКАЛЬД. О, этот пункт я могу ему объяснить! Гражданские убеждения, это, сами понимаете, по моей части! Мы хотим знать, любезный, принадлежите ли вы к тем, кто уважает существующий порядок по той единственной причине, что он существует?

РЫБАК. Да, если это порядок справедливый и разумный.

СЕКРЕТАРША. Звучит сомнительно. Запишите, что его гражданские убеждения сомнительны! И переходите к последнему вопросу.

АЛЬКАЛЬД *(с трудом разбирая написанное)*. Причина существования.

РЫБАК. Пусть моя мать в гробу перевернется, если я что-нибудь понимаю в вашей тарабарщине.

СЕКРЕТАРША. Нас интересует, какие вы можете представить основания, чтобы оставаться в живых.

РЫБАК. Основания! Какие тут могут быть основания?

СЕКРЕТАРША. Вот видите! Пометьте, господин алькальд: нижеподписавшийся признает свое существование необоснованным. В нужный момент это упростит процедуру. А вы, нижеподписавшийся, имейте в виду: ваша справка о существовании временная и выдается на определенный срок.

РЫБАК. Временная или не временная, давайте ее сюда, и я пойду наконец домой! Меня ждут.

СЕКРЕТАРША. Разумеется, дадим. Но сначала вы должны представить справку о здоровье, которую вам выпишут после некоторых формальностей на втором этаже, в управлении текущих дел. Бюро волокиты, секция контроля.

Рыбак уходит. К воротам кладбища вновь подъезжает повозка с трупами. Ее разгружают. С повозки с воплем спрыгивает пьяный Н а д а.

НАДА. Да говорю же вам, я не умер!

Его пытаются забросить назад. Он уворачивается и врывается в контору.

НАДА. Да что ж творится! Если бы я умер, сразу было бы видно. О, извините!

СЕКРЕТАРША. Ничего, ничего. Подойдите сюда.

НАДА. Они запихали меня в повозку! Но я просто перепил, вот и все! Нет, надо упразднять!

СЕКРЕТАРША. Упразднять что?

НАДА. Все, красавица, все! Чем больше упразднять, тем лучше. А если упразднить все, вот рай-то будет! Влюбленных, например! Вот кого не выношу! Когда они проходят мимо, я в них плюю. В спину, конечно, потому что ведь попадаются склочные! И детей, разумеется. Вот гнусное отродье! Цветы с их дурацкими лепестками, реки, тупо текущие в одну сторону! О! Упразднять, упразднять! Это моя философия! Бог отвергает мир, а я отвергаю Бога. Да здравствует ничто, ибо это единственное, что действительно существует!

СЕКРЕТАРША. А как же все это упразднить?

НАДА. Пить, пить до смерти, и все исчезнет!

СЕКРЕТАРША. Плохой способ! Наш лучше. Как тебя зовут?

НАДА. Ничто [1].

СЕКРЕТАРША. Как-как?

НАДА. Ничто.

СЕКРЕТАРША. Я спрашиваю: как тебя зовут?

НАДА. Да так и зовут.

СЕКРЕТАРША. Отлично. Человек с таким именем всегда найдет с нами общий язык. Перейди сюда и сядь за стол. Ты будешь у нас го-

[1] Nada — ничто *(исп.)*

сударственным чиновником. (*Входит рыбак.*) Господин алькальд, будьте добры, введите в курс дела нашего друга Ничто. А стража пусть пока займется продажей значков. Не хотите ли купить значок?

ДИЕГО. Какой значок?

СЕКРЕТАРША. Как какой? Значок чумы. (*Пауза.*) Вы вольны, впрочем, отказаться. Это не обязательно.

ДИЕГО. Тогда я отказываюсь.

СЕКРЕТАРША. Превосходно. (*Подходит к Виктории.*) А вы?

ВИКТОРИЯ. Я вас не знаю.

СЕКРЕТАРША. Отлично. Я только хочу поставить вас в известность, что те, кто отказывается носить этот значок, обязаны носить другой.

ДИЕГО. Какой?

СЕКРЕТАРША. Значок для тех, кто отказывается носить значок. Чтоб сразу было видно, с кем имеешь дело.

РЫБАК. Прошу прощения...

СЕКРЕТАРША (*Диего и Виктории*). До скорой встречи! (*Рыбаку.*) Что опять не так?

РЫБАК (*с нарастающей яростью*). Я был на втором этаже, и мне там сказали, что я должен вернуться сюда и взять справку о существовании, потому что без нее они не имеют права выдать мне справку о здоровье.

СЕКРЕТАРША. Все правильно!

РЫБАК. То есть как правильно?

СЕКРЕТАРША. Правильно. Это свидетельствует о том, что в вашем городе наконец заработала настоящая администрация. По нашим понятиям, вы все виноваты. Виноваты в том, что вами приходится управлять. Но нужно, чтобы у вас у самих появилось чувство вины. А чувство вины не появится, пока вас не измотают. Вас изматывают, вот и все. Когда вам вымотают всю душу, дальше дело пойдет как по маслу.

РЫБАК. Так могу я, по крайней мере, получить эту окаянную справку о существовании?

СЕКРЕТАРША. В принципе нет, потому что для этого необходима справка о здоровье. Положение, как видите, безвыходное.

РЫБАК. Как же быть?

СЕКРЕТАРША. Остается надеяться только на нашу прихоть. Но она непостоянна, как всякая прихоть. Вы получите эту справку как особую милость. Но она будет действительна всего неделю. А через неделю посмотрим.

РЫБАК. Что значит — посмотрим?

СЕКРЕТАРША. Посмотрим, есть ли основания ее продлевать.

РЫБАК. А если вы не продлите?

СЕКРЕТАРША. Поскольку ваше существование не будет иметь подтверждения, то, вероятно, произведем вычеркивание. Господин алькальд, распорядитесь выписать справку в тринадцати экземплярах.

АЛЬКАЛЬД. В тринадцати?

СЕКРЕТАРША. Да, в тринадцати. Один для заинтересованного лица и двенадцать для канцелярии.

**Свет в центре сцены.**

ЧУМА. Мы должны как можно скорее развернуть широкое строительство бесполезных сооружений. А вы, друг мой, подготовьте сводку о ходе депортации и концентрации. Ускорьте зачисление невиновных в категорию виновных, чтобы обеспечить нас рабочей силой. Всех исключительных отправьте в заключение. Скоро наверняка начнется нехватка людей! Как идет взятие на учет?

СЕКРЕТАРША. Как нельзя лучше. По-моему, эти достойные люди меня поняли!

ЧУМА. Вы слишком мягкосердечны, друг мой. Вам хочется, чтобы вас понимали. В нашем деле это профессиональный недостаток. «До-

стойные люди», как вы выражаетесь, разумеется, не поняли ничего, но это совершенно неважно! Пусть не понимают, пусть бьются и казнятся, так даже лучше. Ха! Это неплохо звучит! Вы не находите?

СЕКРЕТАРША. Что неплохо звучит?

ЧУМА. Биться, казниться. Эй, вы, казнитесь, казнитесь! Ну как? Чудесное слово!

СЕКРЕТАРША. Великолепное!

ЧУМА. Поистине великолепное! И такое емкое! В нем присутствует и образ казни, сам по себе умилительный, и, главное, идея сотрудничества казнимого с палачом — цель и фундамент всякой прочной власти.

Шум в глубине сцены.

ЧУМА. Что происходит?

Волнение в хоре женщин.

СЕКРЕТАРША. Женщины волнуются.

ХОР. Она хочет что-то сказать.

ЧУМА. Выйди вперед.

ЖЕНЩИНА *(выходя вперед)*. Где мой муж?

ЧУМА. Вот тебе и раз! Таково человеческое сердце, как говорится! Что же стряслось с нашим муженьком?

ЖЕНЩИНА. Он не вернулся домой.

ЧУМА. Обычная история! Не тревожься. Он нашел себе постель потеплее.

ЖЕНЩИНА. Он настоящий мужчина и привык вести себя достойно.

ЧУМА. Ну, конечно, жар-птица! Разберитесь, пожалуйста, друг мой.

СЕКРЕТАРША. Имя, фамилия!

ЖЕНЩИНА. Антонио Гальвес.

Секретарша заглядывает в блокнот и что-то шепчет на ухо Чуме.

СЕКРЕТАРША. Ну вот! Радуйся, мы сохранили ему жизнь.

ЖЕНЩИНА. Какую жизнь?

СЕКРЕТАРША. Царскую, за счет казны!

ЧУМА. Да, я отправил его куда следует вместе с некоторыми другими, которые подымали шум, но я решил их пока просто обезвредить.

ЖЕНЩИНА *(пятясь)*. Что вы с ними сделали?

ЧУМА *(в истерической ярости)*. Я их сконцентрировал! До сих пор они жили рассеянно и бездумно, в некотором, так сказать, растворении. Теперь они, благодаря мне, сконцентрировались, стали тверже!

ЖЕНЩИНА *(бросается к хору, который расступается и принимает ее)*. О горе! Горе мне!

ХОР. Горе! Горе нам!

ЧУМА. Молчать! Не стойте без дела! За работу! Нечего хорониться друг за друга! *(Мечтательно.)* Люди концентрируются, казнятся, хоронятся! Отличная штука — грамматика, годится на все случаи жизни!

Яркий свет в конторе. За столом сидят Нада с Алькальдом. Перед ними очередь из просителей.

ПЕРВЫЙ ПРОСИТЕЛЬ. Жизнь подорожала, люди не в состоянии прожить на зарплату.

НАДА. Нам это известно. Мы как раз только что приняли новое постановление.

ПЕРВЫЙ ПРОСИТЕЛЬ. Какой же предполагается процент роста зарплаты?

НАДА. Все очень просто. *(Читает.)* Постановление номер 108. «Постановление о пересмотре межпрофессиональной оплаты труда предусматривает упразднение основной заработной платы и создание неограниченной подвижной шкалы, вследствие чего становится возможным ус-

тановить максимальную заработную плату, которая будет определена в дальнейшем. Повышение за вычетом надбавок, фиктивно предоставленных постановлением номер 107, будет по-прежнему устанавливаться (за исключением изменений, относящихся непосредственно к пересмотру шкалы заработной платы) исходя из основной заработной платы, ранее упраздненной».

ПЕРВЫЙ ПРОСИТЕЛЬ. Но на сколько же повышается зарплата?

НАДА. Повышение будет позднее, на сегодняшний день мы имеем только постановление. Зарплата увеличивается на постановление, вот и все.

ПЕРВЫЙ ПРОСИТЕЛЬ. Но что нам делать с этим постановлением?

НАДА *(орет)*. Можете его есть! Следующий! *(К столу подходит второй проситель.)* Ты хочешь открыть магазин? Отличная мысль, ничего не скажешь. Для начала заполни этот бланк. Обмакни пальцы в чернила. Так, теперь приложи их сюда. Превосходно.

ВТОРОЙ ПРОСИТЕЛЬ. Чем можно вытереть?

НАДА. Чем вытереть? *(Листает досье.)* Ничем. Это не предусмотрено уставом.

ВТОРОЙ ПРОСИТЕЛЬ. Но не могу же я так ходить!

НАДА. Почему не можешь? Какая тебе разница, если ты все равно не имеешь права прикасаться к жене? И вообще, тебе это только полезно.

ВТОРОЙ ПРОСИТЕЛЬ. Почему полезно?

НАДА. Потому! Унизительно, значит, полезно. Вернемся, однако, к твоему магазину. Что ты предпочитаешь: воспользоваться статьей двести восемь шестьдесят второго раздела циркуляра номер шестнадцать, иначе называемого Пятым Общим уставом, или же параграфом двадцать семь статьи двести седьмой циркуляра номер пятнадцать, считающегося Особым уставом?

ВТОРОЙ ПРОСИТЕЛЬ. Но я не знаю, о чем в этих параграфах говорится!

НАДА. Конечно, приятель! Разумеется, ты не знаешь. Я сам не знаю. Но раз уж надо на что-то решаться, давай воспользуемся обоими сразу.

ВТОРОЙ ПРОСИТЕЛЬ. О, обоими сразу! Спасибо тебе, Нада.

НАДА. Не за что. Ведь, кажется, один из этих пунктов дает право открыть лавку, а другой запрещает в ней что-либо продавать.

ВТОРОЙ ПРОСИТЕЛЬ. Но как же так?

НАДА. Таков порядок!

К столу подходит Просительница в полном отчаянии.

НАДА. Что случилось, женщина?

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. У меня реквизировали дом!

НАДА. Хорошо.

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Его отдали под учреждение.

НАДА. Само собой!

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Меня выбросили на улицу и обещали переселить.

НАДА. Вот видишь, все предусмотрено!

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Да, но для этого я должна подать прошение, которое будет проходить обычным порядком все инстанции. А моим детям негде жить!

НАДА. Тем более надо подать прошение! Вот, заполни этот бланк.

ПРОСИТЕЛЬНИЦА *(берет бланк)*. Но как скоро это будет?

НАДА. Скоро, при условии, что ты представишь юридические основания срочности.

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Что это такое?

НАДА. Письменный документ, удостоверяющий, что для тебя вопрос особой срочности — не жить больше на улице.

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Мои дети ночуют под открытым небом! Что может быть более срочного, чем дать им кров?

НАДА. Никто тебе не даст жилье только потому, что твоим детям негде жить. Тебе его дадут, если ты представишь документ, удостоверяющий, что им негде жить. Это не одно и то же.

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Я ничего не смыслю в вашем языке. Чертовщина какая-то!

НАДА. Это не случайно, женщина. Это делается затем, чтобы люди перестали понимать друг друга, говоря на одном и том же языке. Можешь поверить, мы уже близки к тому идеальному положению, когда люди будут говорить, ни у кого не встречая ответа; два языка, которые схлестнулись в этом городе, взаимно уничтожат друг друга в непримиримой борьбе, и история в конце концов найдет свое полное завершение в немоте и смерти.

Два следующих монолога Просительница и Нада произносят одновременно.

ПРОСИТЕЛЬНИЦА. Справедливость требует, чтобы дети ели досыта и не мерзли. Справедливость требует, чтобы мои малыши жили. Я родила их на счастливой земле. Воду для крещения дало им море. Им не нужны никакие другие богатства. Я ничего не прошу для них, кроме хлеба насущного и убогого крова. Совсем немного, однако и в этой малости вы им отказываете! Но если вы отказываете несчастным в хлебе, то никаким богатством, никакими хитроумными словами или загадочными посулами вам вовек не купить прощения!

НАДА. Сочтите за лучшее жить на коленях, вместо того чтобы умирать стоя,— тогда в мире, безупречно размеченном экером виселиц, останутся лишь безмятежные мертвецы да послушные муравьи и он превратится в подобие пуританского рая, где несут патрульную службу крылатые ангелы в полицейских мундирах, охраняя покой блаженных, сытых одной лишь бумагой да питательными постановлениями, покой святых праведников, распростертых во прахе пред Господом Богом, орденоносным разрушителем жизни, не шутя задавшимся целью развеять древние бредни о слишком прекрасном мире!

НАДА. Да здравствует ничто! Никто больше никого не понимает! Идеал достигнут!

Освещается центр сцены. Видны очертания бараков за колючей проволокой, дозорных вышек, еще каких-то сооружений лагерного типа. Входит Диего в маске. Вид у него затравленный. Он замечает постройки, народ и Чуму.

ДИЕГО *(обращаясь к Хору)*. Где наша Испания? Где Кадис? Такие постройки не могут принадлежать никакой стране! Мы попали в другой мир, где человек жить не может. Почему вы молчите?

ХОР. Мы боимся! Ах, если бы только поднялся ветер...

ДИЕГО. Я тоже боюсь. Это помогает — кричать о своем страхе! Кричите, ветер вам ответит.

ХОР. Мы были народом, а стали массой! Раньше нас приглашали, теперь нас вызывают! Мы продавали друг другу молоко и хлеб, теперь мы снабжаемся. Мы топчемся на месте! *(Топчутся.)* Топчемся и твердим сами себе, что никто не может ничего изменить и каждый должен ждать на своем месте, в указанном ему ряду! Какой смысл кричать? Лица наших женщин больше не похожи на цветы, как прежде, когда мы задыхались от желания, глядя на них. Испания погибла! На месте шагом марш! О горе! Мы топчем самих себя! Мы умираем от удушья в этом наглухо замурованном городе! Ах, если бы только поднялся ветер...

ЧУМА. Вот это я понимаю, благоразумие! Подойди сюда, Диего, теперь, я думаю, ты все понял.

В небе сверкают молнии.

ДИЕГО. Мы ни в чем не виновны!

Чума разражается хохотом.

ДИЕГО *(кричит)*. Тебе знакомо, палач, слово «невиновность»?

ЧУМА. Невиновность? Что это такое?

ДИЕГО. Тогда подойди! Пусть тот из нас, кто сильнее, убьет другого!

ЧУМА. Сильнее — я, невинный. Взгляни!

Чума делает знак стражникам, те надвигаются на Диего. Диего убегает.

ЧУМА. Взять его! Не дайте ему удрать! Тот, кто убегает, по праву принадлежит нам! Пометьте его знаком чумы!

Стражники бегут за Диего. Разыгрывается пантомима погони. Свистки. Вой сирен.

ХОР. Он бежит! Он боится. Признался сам, что боится. Он не владеет собой, он потерял голову. А мы стали благоразумны. Нами теперь управляют. Но в безмолвии канцелярий слышен нескончаемый затаенный крик разлученных сердец. Они кричат о море под полдневным солнцем, о вечернем аромате тростника, о прохладных руках женщин. Наши рты закрыты наглухо, каждый наш шаг на виду, каждый час учтен и расписан по минутам, но сердце восстает против молчания. Оно отвергает списки и номера, отвергает бесконечные стены, решетки на окнах, рассветы, ощетинившиеся винтовками. Отвергает, как этот беглец. Он бежит, спасаясь от цифр и теней, пытаясь укрыться в каком-нибудь доме. Но единственное спасение — это море, от которого нас отделяют стены. Пусть же поднимется ветер, чтобы мы смогли наконец вздохнуть...

Диего и в самом деле бросается в какой-то дом. Стражники останавливаются перед дверью и ставят там часовых.

ЧУМА *(орет)*. Пометьте его чумным знаком! Пометьте их всех! Они не говорят ни слова, но слышно, о чем они думают! У них уже нет сил протестовать, но они очень громко молчат! Зажмите им рты! Заткните кляпом! Заставьте их учить слова-заклинания, пока они сами не начнут механически повторять одно и то же и не станут наконец благонадежными гражданами, которые нам нужны!

С колосников обрушивается дождь раскатистых лозунгов, выкрикиваемых через громкоговорители. С каждым повторением они становятся все громче и громче и заглушают умолкающий хор, пока не воцаряется полная тишина.

Чума и народ едины! Концентрируйтесь, казнитесь, хоронитесь! Одна хорошая чума лучше двух демократий! Ссылайте, пытайте — враги всегда останутся!

Свет в доме судьи.

ВИКТОРИЯ. Нет, отец, вы не можете выдать властям нашу старую служанку под тем предлогом, будто она заразилась. Неужели вы забыли, что она меня вырастила и безропотно служила вам всю жизнь?

СУДЬЯ. Я так решил, и никто не смеет мне противоречить!

ВИКТОРИЯ. Вы не можете один решать все. У страдания тоже есть свои права.

СУДЬЯ. Мой долг — уберечь этот дом от заразы. Я...

Вбегает Диего.

СУДЬЯ. Кто позволил тебе войти сюда?

ДИЕГО. Меня пригнал страх! Я бегу от Чумы.

СУДЬЯ. Ты не бежишь от нее, а несешь ее с собой. *(Указывает Диего на знак чумы, который появился у того под мышкой. Пауза. Вдали слышатся свистки.)* Покинь наш дом!

ДИЕГО. Позволь мне остаться! Если ты меня выгонишь, они бросят меня к остальным, в общую свалку смерти.

СУДЬЯ. Как служитель закона, я не могу дать тебе приют в своем доме.

ДИЕГО. Ты служил старому закону. А новому ты служить не обязан.

СУДЬЯ. Я служу закону не ради того, что́ он гласит, а потому что это — закон.

ДИЕГО. А если закон преступен?

СУДЬЯ. Если преступление становится законом, оно перестает быть преступлением.

ДИЕГО. И в этом случае наказуема порядочность?

СУДЬЯ. Да, если она имеет дерзость выступать против закона.

ВИКТОРИЯ. Отец, тобою движет сейчас вовсе не любовь к закону, а страх!

СУДЬЯ. Ему тоже страшно.

ВИКТОРИЯ. Но он пока никого не предал!

СУДЬЯ. Не предал, так предаст. Все предают, потому что все боятся. Все боятся, потому что никто не чист.

ВИКТОРИЯ. Отец, я с вашего согласия принадлежу этому человеку. Не можете же вы отнять его у меня после того, как вчера сами нас соединили!

СУДЬЯ. Мое согласие касалось не твоего брака, а твоего отъезда.

ВИКТОРИЯ. Я всегда знала, что вы не любите меня!

СУДЬЯ *(глядя ей в лицо)*. Все женщины до единой вызывают у меня отвращение. *(Громкий стук в дверь.)* Кто там?

СТРАЖНИК *(за дверью)*. Дом взят под арест, здесь укрывают подозрительного. Все обитатели берутся под наблюдение.

ДИЕГО *(хохочет)*. Закон милостив, конечно! Но он немного изменился, и ты с ним еще плохо знаком. Судья, обвиняемые, свидетели — все мы теперь братья.

Входят Жена судьи, его маленький сын и вторая дочь.

ЖЕНА СУДЬИ. Нам заколотили снаружи дверь!

ВИКТОРИЯ. Дом взят под арест.

СУДЬЯ. Из-за него! Но я его выдам! Тогда они нас освободят.

ВИКТОРИЯ. Честь не позволит вам этого, отец.

СУДЬЯ. Честь — дело мужское, а мужчин в нашем городе больше не осталось.

Слышатся свистки, приближается топот бегущих. Диего прислушивается, в панике озирается по сторонам и вдруг хватает ребенка.

ДИЕГО. Смотри, служитель закона! Если ты сделаешь хоть один шаг, я ткну твоего сына лицом в знак чумы!

ВИКТОРИЯ. Диего, это подло!

ДИЕГО. Ничто не подло в городе подлецов.

ЖЕНА СУДЬИ *(бросаясь к мужу)*. Обещай, Касадо! Обещай этому сумасшедшему все, что он потребует.

ДОЧЬ СУДЬИ. Не подчиняйся ему, отец! Нас с тобой это не касается.

ЖЕНА. Не слушай ее! Ты же знаешь, что она ненавидит брата!

СУДЬЯ. Она права. Это нас не касается.

ЖЕНА. Ты тоже ненавидишь моего сына.

СУДЬЯ. Вот именно, твоего сына.

ЖЕНА. О, это не по-мужски — напоминать о том, что ты давно простил.

СУДЬЯ. Я не простил. Я покорился закону, по которому в глазах людей я являюсь отцом этого ребенка.

ВИКТОРИЯ. Это правда, мама?

ЖЕНА СУДЬИ. Ты тоже презираешь меня!

ВИКТОРИЯ. Нет. Но для меня все рушится разом. Душа теряет последние опоры.

Судья направляется к двери.

ДИЕГО. Душа теряет последние опоры, но нас поддерживает закон, не так ли, судья? Все люди братья! *(Поднимает ребенка и держит его перед собой.)* И ты мне брат, вот я и поцелую тебя по-братски!

ЖЕНА СУДЬИ. Постой, Диего, умоляю тебя! Не будь таким, как мой муж, он ожесточился сердцем. Но он смягчится! *(Бежит к двери и преграждает судье дорогу.)* Ты же уступишь ему, правда?

ДОЧЬ СУДЬИ. Почему он должен уступать? Какое ему дело до этого маленького ублюдка, из-за которого житья никому нет в доме!

ЖЕНА СУДЬИ. Замолчи, тебя просто гложет зависть, ты вся от нее почернела! *(Судье.)* Но ты! Ведь твой век уже недолог, и ты прекрасно знаешь, что ничего нет на свете достойного зависти, кроме хлеба и спокойного сна! Ты знаешь, что будешь плохо спать в своей одинокой постели, если это допустишь.

СУДЬЯ. На моей стороне закон. Кто соблюдает закон, тот спит спокойно.

ЖЕНА СУДЬИ. Я плюю на твой закон! На моей стороне право, право любящих на то, чтобы их не разлучали, право виновных на прощение и раскаявшихся — на честь! Да, я плюю на твой закон! Разве ты поступал по закону, когда малодушно извинялся перед тем капитаном, который вызвал тебя на дуэль за то, что ты нечестным путем увильнул от призыва в армию? Разве закону ты служил, когда делал гнусные предложения девушке, которая судилась с негодяем-хозяином?

СУДЬЯ. Замолчи, жена!

ВИКТОРИЯ. Мама!

ЖЕНА СУДЬИ. Нет, Виктория, я не замолчу. Я молчала все эти годы. Я молчала во имя чести и любви к Богу. Но чести больше нет. И один волосок с головы этого ребенка мне дороже, чем само небо. Я не замолчу! Я, по крайней мере, скажу ему, что право никогда не было на его стороне, потому что право, слышишь, Касадо, на стороне тех, кто страдает, плачет и надеется. Оно не с теми — не может быть с теми,— кто рассчитывает и копит.

Диего отпускает ребенка.

ДОЧЬ СУДЬИ. Это право неверных жен на адюльтер!

ЖЕНА СУДЬИ *(кричит)*. Я не отрицаю своей вины, я готова кричать о ней на весь свет! Но я страдала и поняла, что вина плоти — это всего лишь ошибка, зато вина сердца — это уже преступление. То, что совершается в пылу любви, заслуживает снисхождения.

ДОЧЬ СУДЬИ. Будем же снисходительны к сучкам!

ЖЕНА СУДЬИ. Да! Потому что их лоно создано для наслаждения и для зачатия!

СУДЬЯ. Жена! Твоя оправдательная речь неудачна! Я выдам этого человека, который принес в наш дом раздор! Я выдам его с двойным удовольствием, ибо сделаю это во имя закона и во имя ненависти.

ВИКТОРИЯ. Горе тебе, потому что ты сказал правду! Ты всегда судил лишь именем ненависти, которую красиво называл законом. Даже самые лучшие законы приобретали нехороший привкус в твоих устах, ибо это желчные уста человека, который никогда ничего не любил. О, я задыхаюсь от отвращения! Давай, Диего, обними нас всех, и сгнием все вместе! Но сохрани жизнь тому, для кого она — наказание.

ДИЕГО. Оставь меня! Мне стыдно за то, что мы стали такими!

ВИКТОРИЯ. Мне тоже стыдно. Я готова умереть от стыда!

Диего внезапно бросается к окну и выпрыгивает на улицу. Судья бежит за ним. Виктория выскальзывает через потайную дверь.

ЖЕНА СУДЬИ. Настало время, когда бубоны должны прорваться. Не мы одни стали такими! Весь город в бреду.

СУДЬЯ. Сука!

ЖЕНА СУДЬИ. Судья!

Темнота. Свет в конторе. Н а д а и А л ь к а л ь д собираются уходить.

НАДА. Все районные коменданты получили приказ обеспечить новому правительству победу на выборах.

АЛЬКАЛЬД. Это не так просто. Ведь кто-то может проголосовать и «против».

НАДА. Нет. Если следовать верным принципам, это исключено.

АЛЬКАЛЬД. Что же это за принципы?

НАДА. Мы исходим из того, что выборы свободные. Иначе, говоря, голоса, отданные правительству, рассматриваются как свободное волеизъявление. Что же касается прочих, дабы исключить возможность скрытого принуждения, препятствующего подлинной свободе выборов, они, согласно предпочтительной системе, вычитаются из общего числа голосов и подсчитываются с помощью коэффициента, полученного в результате деления числа неподанных голосов на число бюллетеней, признанных недействительными. Вы поняли?

АЛЬКАЛЬД. Понял... Да, кажется, понял.

НАДА. Я восхищен вами, алькальд. В общем, поняли вы или нет, главное, запомните: суть этой безотказной системы состоит в том, что бюллетени, поданные против правительства, аннулируются.

АЛЬКАЛЬД. Но вы же сказали, что выборы свободные?

НАДА. Они и есть свободные. Просто мы исходим из того, что голосование «против» не является свободным. Оно продиктовано чувством и, следовательно, находится в плену страстей.

АЛЬКАЛЬД. Такое мне в голову не приходило!

НАДА. Все потому, что у вас до сих пор было неправильное представление о свободе.

Освещается центр сцены. Диего и Виктория выбегают на авансцену.

ДИЕГО. Я хочу бежать отсюда, Виктория. Я уже не знаю, в чем состоит мой долг. Я ничего больше не понимаю.

ВИКТОРИЯ. Не покидай меня! Долг в том, чтобы быть с теми, кого любишь. Не падай духом!

ДИЕГО. Гордость не позволяет мне тебя любить, не уважая самого себя.

ВИКТОРИЯ. А кто тебе мешает себя уважать?

ДИЕГО. Ты, потому что ты по-прежнему безупречна.

ВИКТОРИЯ. Ах, не говори так ради нашей любви, или я упаду перед тобой наземь, и ты увидишь все мое малодушие. Ты ошибаешься. Я вовсе не сильная. Я слабею, делаюсь совершенно беспомощной, стоит мне вспомнить о тех днях, когда я могла беззаветно тебе довериться. Где то время, когда я чувствовала, что тону, словно в океане, если при мне произносили твое имя? Где то время, когда чей-то голос кричал мне «Земля!», едва ты появлялся? Да, я беспомощна, я умираю от малодушного сожаления о прошлом. И если я еще держусь, то только потому, что сила любви толкает меня вперед. Но если тебя не будет со мной, мой бег прервется и я упаду.

ДИЕГО. Ах, если бы я мог соединиться с тобой хотя бы затем, чтобы наши сплетенные тела вместе погрузились на дно вечного сна!

ВИКТОРИЯ. Я готова!

Диего медленно идет к Виктории, она идет ему навстречу. Они не сводят друг с друга глаз. Они сходятся почти вплотную, но тут между ними словно из-под земли вырастает Секретарша.

СЕКРЕТАРША. Чем вы тут занимаетесь?

ВИКТОРИЯ *(кричит)*. Любовью, чем же еще!

Страшный грохот в небе.

СЕКРЕТАРША. Тсс! Есть слова, которые нельзя произносить вслух. Вам следовало бы знать, что это запрещено. Смотрите! *(Легонько ударяет Диего, и у него появляется второй знак чумы с другой стороны.)* Вы были подозрительным. Теперь вы зараженный. *(Смотрит на Диего.)* Жаль! Такой красавчик! *(Виктории.)* Извините, но я больше люблю мужчин, чем женщин, нас с ними многое связывает. Прощайте!

Диего в ужасе смотрит на новый знак чумы. Обезумев, он бросается к Виктории и стискивает ее в объятиях.

ДИЕГО. Ненавижу твою красоту, ненавижу, потому что она меня переживет! Будь она проклята за то, что послужит другим! *(С силой прижимает Викторию к себе.)* Вот так-то! Теперь я умру не один! Что мне в твоей любви, если она не сгинет вместе со мной!

ВИКТОРИЯ *(отбиваясь)*. Мне больно! Отпусти!

ДИЕГО. Ага! Испугалась? *(Хохочет как безумный, трясет Викторию.)* Где же вороные кони любви? Ты влюблена, пока времена хорошие, но приходит несчастье, и кони уносятся прочь. Умри, по крайней мере, вместе со мной!

ВИКТОРИЯ. Умереть с тобой — да! Но по своей воле! Мне противно это чужое лицо, искаженное ненавистью и страхом! Отпусти! Где твоя былая нежность? Дай мне вновь отыскать ее в тебе. Тогда сердце мое заговорит опять.

ДИЕГО *(сжимает ее уже не так крепко)*. Я не хочу умирать один. Но та, что мне дороже всего на свете, отвернулась от меня и отказывается последовать за мной!

ВИКТОРИЯ *(бросается к нему на грудь)*. Ах, Диего, да хоть в преисподнюю, если нужно! Я вновь обретаю тебя... У меня ноги дрожат, когда я прижимаюсь к тебе. Поцелуй меня, заглуши поцелуем крик, который поднимается во мне и уже готов вырваться... О-о!

Диего страстно целует ее, потом отшатывается и оставляет ее одну, дрожащую, посреди сцены.

ДИЕГО. Посмотри на меня! Нет, на тебе нет никаких отметин! Никаких знаков чумы! Тебе не придется расплачиваться за это безрассудство!

ВИКТОРИЯ. Вернись, теперь я дрожу от холода! Секунду назад твоя грудь обжигала мне руки, кровь в жилах была горяча, как огонь! А сейчас...

ДИЕГО. Нет, оставь меня! Я все равно не смогу утешиться.

ВИКТОРИЯ. Вернись! Мне ничего другого не надо, только сгореть в одном жару с тобой, страдать от общей боли и кричать с тобой одним криком!

ДИЕГО. Нет! Отныне я с другими, с теми, кто несет на себе знаки чумы! Их страдание ужасает меня, вызывает во мне отвращение, до сих пор гнавшее меня от них прочь. Но теперь у нас с ними общая беда, и они нуждаются во мне.

ВИКТОРИЯ. Если тебе суждено умереть, то я завидую даже земле, которая обнимет твое тело!

ДИЕГО. Ты по другую сторону, ты с теми, кто остается жить!

ВИКТОРИЯ. Но я могу быть и с тобой, если ты станешь долго целовать меня!

ДИЕГО. Они запретили любовь! Ах, всей душой я сожалею о том, что потерял тебя!

ВИКТОРИЯ. Нет! Нет! Я поняла, чего они хотят. Они всеми средствами добиваются того, чтобы сделать любовь невозможной. Но я буду сильнее их!

ДИЕГО. А я нет! И не поражение мечтал я разделить с тобой.

ВИКТОРИЯ. Мной владеет только любовь! Я ничего не хочу знать, кроме нее! Мне ничего не страшно. Пусть хоть небо рухнет — я погибну, крича о своем счастье, если только буду держать тебя за руку.

Слышится крик.

ДИЕГО. Другие тоже кричат!

ВИКТОРИЯ. Я глуха ко всему на свете!

ДИЕГО. Оглянись!

Мимо проезжает повозка с мертвецами.

ВИКТОРИЯ. Глаза мои больше ничего не видят! Их ослепляет любовь.

ДИЕГО. Но страдание разлито в самом небе, которое гнетет нас.

ВИКТОРИЯ. Я слишком занята — я несу свою любовь! И не стану обременять себя страданием мира! Это мужское дело, одно из ваших мужских дел, пустых, бесплодных, тщетных, вы затеваете их, чтобы отвлечься от той единственной борьбы, которая действительно трудна, от единственной победы, которой можно гордиться.

ДИЕГО. Что же я должен победить в этом мире, кроме учиненной над нами несправедливости?

ВИКТОРИЯ. Ту беду, которая у тебя внутри! Остальное получится само собой.

ДИЕГО. Я одинок. Эта беда слишком велика для меня.

ВИКТОРИЯ. Я рядом, и у меня есть оружие!

ДИЕГО. Как ты прекрасна, и как бы я тебя любил, если бы только не боялся!

ВИКТОРИЯ. Как бы ты был смел, если бы хотел меня любить!

ДИЕГО. Я тебя люблю. Но я не знаю, кто из нас прав.

ВИКТОРИЯ. Тот, кто не боится. А мое сердце не трусливо! Оно все горит одним пламенем, ярким и высоким, как те костры, которыми подают друг другу сигнал привета наши горцы. Оно зовет тебя... Взгляни же, это настоящий костер, как в праздник святого Иоанна!

ДИЕГО. Праздник посреди боен!

ВИКТОРИЯ. Бойни или цветущие луга — какая разница для моей любви? Она, по крайней мере, никому не приносит зла, она щедра! А твое безумие, твое бесплодное самопожертвование — кому они принесут благо? Уж наверняка не мне, ведь ты убиваешь меня каждым своим словом!

ДИЕГО. Не плачь, мятежница! О, отчаяние! За что обрушилась на нас эта беда! Я бы выпил эти слезы, остудил губы, обожженные их горечью, я бы обрушил на это лицо столько поцелуев, сколько листьев на оливковом дереве!

ВИКТОРИЯ. О, наконец-то я тебя узнаю! Это наш с тобой язык, ты его совсем забыл. *(Протягивает к нему руки.)* Дай мне снова почувствовать в тебе прежнего Диего...

Диего отступает, указывая на знаки чумы. Она хочет дотронуться до них, но рука ее нерешительно застывает.

ДИЕГО. Ты тоже боишься...

Виктория прикладывает ладонь к знакам. Диего пятится, потрясенный. Она вновь протягивает к нему руки.

ВИКТОРИЯ. Иди скорей ко мне! Ничего больше не бойся!

Стоны и проклятия звучат еще громче, Диего озирается словно безумный и убегает.

ВИКТОРИЯ. О! Одиночество!

ХОР ЖЕНЩИН. Мы хранительницы! Эта история выше нашего понимания, и мы ждем, когда она кончится. Мы будем хранить нашу тайну до зимы, до часа свободы, когда крики мужчин смолкнут и наши мужчины вернутся к нам, чтобы обрести то, без чего не могут обойтись: память о свободных морях, о пустынном летнем небе и вечном запахе любви. А пока мы подобны опавшим листьям под сентябрьским ливнем: минуту они кружат в воздухе, потом капли прибивают их к земле. Мы тоже прибиты к земле. Поникнув, мы ждем, когда стихнут боевые клички, и слушаем, как внутри нас тихо вздыхает неторопливый прибой счастливых морей. Когда облетевшие миндальные деревья покроются цветами инея, мы слегка распрямимся, почувствовав первый ветер надежды, и вскоре воспрянем в этой второй весне. Тогда те, кого мы любим, двинутся к нам, как прилив к застрявшим в прибрежном песке лодкам. Остро пахнущие морем, скользкие от воды и соли, лодки встречают

приближение первых волн, которые, покачивая, приподнимают их и постепенно выносят на широкий морской простор. Ах, пусть поднимется ветер, пусть поднимется ветер...

Темнота.

Освещается набережная. Входит Диего и окликает кого-то, глядя в сторону моря.

ДИЕГО. Э-ге-ге!

ГОЛОС. Э-ге-ге!

Появляется Лодочник: над гранитом набережной видна только его голова.

ДИЕГО. Что ты перевозишь?

ЛОДОЧНИК. Провизию.

ДИЕГО. Ты снабжаешь город?

ЛОДОЧНИК. Нет. Город снабжает администрация. Карточками, разумеется. А я снабжаю молоком и хлебом. Там, в открытом море, стоят на якоре корабли. На них укрылись от чумы люди. Я вожу в город их письма и доставляю на корабли провизию.

ДИЕГО. Но это же запрещено!

ЛОДОЧНИК. Да, запрещено администрацией. Но я не умею читать, а когда глашатаи объявляли о новом законе, я был в море.

ДИЕГО. Возьми меня с собой.

ЛОДОЧНИК. Куда?

ДИЕГО. В море. На корабль.

ЛОДОЧНИК. Это запрещено!

ДИЕГО. Но ты же не читал закона и не слышал, когда его оглашали на улицах.

ЛОДОЧНИК. Это запрещено не администрацией, а теми, кто укрылся на кораблях. Вы ненадежный.

ДИЕГО. Что значит ненадежный?

ЛОДОЧНИК. Вы можете принести их с собой.

ДИЕГО. Кого принести?

ЛОДОЧНИК. Тише! *(Оглядывается по сторонам.)* Микробов, конечно.

ДИЕГО. Я заплачу сколько надо.

ЛОДОЧНИК. Не уговаривайте меня. Я слабохарактерный.

ДИЕГО. Любые деньги!

ЛОДОЧНИК. А вы отвечаете за последствия?

ДИЕГО. Разумеется!

ЛОДОЧНИК. Садитесь. На море спокойно.

Диего собирается спрыгнуть в лодку. За его спиной появляется Секретарша.

СЕКРЕТАРША. Никуда вы не поплывете!

ДИЕГО. Что?

СЕКРЕТАРША. Это не положено. К тому же, я вас знаю, вы не сбежите.

ДИЕГО. Никто меня не остановит!

СЕКРЕТАРША. Мне стоит только захотеть! А я хочу, потому что вы мой должник. Вы же знаете, кто я такая!

Она отступает на несколько шагов назад, как бы маня его за собой. Он следует за ней.

ДИЕГО. Умереть — пустяк. Но умереть запятнанным...

СЕКРЕТАРША. Понимаю вас. Я ведь только исполнительница. Однако мне даны на вас права. Право вето, если угодно. *(Листает блокнот.)*

ДИЕГО. Такие, как я, принадлежат только земле!

СЕКРЕТАРША. Именно это я имела в виду. Вы в некотором смысле принадлежите мне! Но только в некотором смысле. Быть может, не в том, в каком мне хочется... когда я на вас смотрю. *(Просто.)* Вы мне очень нравитесь, знаете. Но у меня есть указания. *(Поигрывает блокнотом.)*

ДИЕГО. По мне, лучше ваша ненависть, чем ваши улыбки. Я презираю вас.

СЕКРЕТАРША. Как угодно. К тому же, этот наш разговор не очень-то укладывается в уставные рамки. От усталости я становлюсь сентиментальной. Вся эта канцелярщина довела меня до того, что вечерами я начинаю распускаться. *(Вертит в руке блокнот. Диего делает попытку выхватить его.)*

СЕКРЕТАРША. Нет, право, милый, не надо. Да и что там читать? Блокнот как блокнот, этим все сказано, наполовину дневник, наполовину регистрационный журнал. *(Смеется.)* Заметки для памяти, вот и все! *(Протягивает к нему руку, словно хочет погладить. Диего бросается к лодке.)*

ДИЕГО. Ах! Он уплыл!

СЕКРЕТАРША. Надо же, и в самом деле уплыл! Еще один простак, который мнит себя свободным, не подозревая, что и он тоже значится в списках.

ДИЕГО. Каждое ваше слово двусмысленно. Вы отлично знаете, что именно этого человек и не может выдержать. Давайте кончать поскорее!

СЕКРЕТАРША. Но тут нет ничего двусмысленного. Я говорю правду. Для каждого города существует свой реестр. Это реестр Кадиса. Уверяю вас, что все организовано как нельзя лучше и никто в этих списках не пропущен.

ДИЕГО. Никто не пропущен, но все от вас ускользают.

СЕКРЕТАРША *(возмущенно)*. Ничего подобного! *(Задумчиво.)* Впрочем, исключения бывают. Изредка кто-то оказывается забыт. Но в конце концов они всегда чем-нибудь да выдают себя! Стоит им перевалить за сто лет, как они начинают хвалиться этим, глупцы. О них тут же начинают кричать газеты. Это лишь вопрос времени. Когда я по утрам за завтраком просматриваю прессу, то беру их имена на заметку, сверяю с картотекой. Мы называем это «заморить червячка». И конечно, в итоге мы их не упускаем.

ДИЕГО. Но на протяжении ста лет они вас не признают, как не признает весь наш город!

СЕКРЕТАРША. Сто лет — ничто. Вам кажется, будто это много, потому что вы смотрите со слишком близкого расстояния. А я вижу все в совокупности, понимаете? Что значит, скажите на милость, в картотеке на триста семьдесят две тысячи имен один человек, даже если он прожил сто лет! К тому же, мы наверстываем упущенное за счет тех, кому нет двадцати. Так что в среднем ничего не меняется. Вычеркиваем чуть раньше намеченного срока, и все! Вот так... *(Вычеркивает строчку в своем блокноте. Со стороны моря слышится крик и громкий всплеск.)* О, я сделала это машинально! Надо же, оказалось, лодочник! Чистейшая случайность!

Диего встает и смотрит на нее с отвращением и ужасом.

ДИЕГО. Меня от вас тошнит, вы отвратительны!

СЕКРЕТАРША. У меня неблагодарное ремесло, я знаю. Очень утомительное, требует усердия. Поначалу, например, я чувствовала себя неуверенно. Теперь рука у меня твердая. *(Подходит к Диего.)*

ДИЕГО. Не подходите ко мне!

СЕКРЕТАРША. Скоро ошибки вообще будут исключены. Есть у нас один секрет. Новое усовершенствованное устройство. Вы увидите.

Шаг за шагом она постепенно подходит к нему почти вплотную. Внезапно Диего хватает ее за воротник, дрожа от ярости.

ДИЕГО. Хватит! Прекратите эту грязную комедию! Чего вы ждете? Делайте свое дело и не потешайтесь надо мной, все равно я выше вас. Убейте же меня наконец, это единственный способ спасти вашу замечательную систему, где нет места случайностям. Ах, да! Вас ведь занимают только совокупности! Сто тысяч человек — вот что для вас интерес-

но. Это ведь уже статистика, а статистика нема. Из ее данных можно выстраивать графики, чертить кривые, а? Вы занимаетесь целыми поколениями, это проще! Работа тихая, чернильная. Но, предупреждаю вас, отдельный человек — это куда беспокойнее, он кричит о своей радости и о своей предсмертной муке. Пока я жив, я буду нарушать ваш прекрасный порядок случайностью криков. Я вас отвергаю, отвергаю всем своим существом!

СЕКРЕТАРША. Милый мой!

ДИЕГО. Замолчите! Я из породы людей, которые чтили смерть так же, как и жизнь. Но вот пришли ваши хозяева, и с этой минуты жизнь и смерть превратились в одинаковое бесчестье...

СЕКРЕТАРША. По правде говоря...

ДИЕГО *(трясет ее)*. По правде говоря, вы врете и будете врать до скончания времен! Да! Я раскусил наконец вашу систему. Вы заставляете людей страдать от голода и разлуки с любимыми, чтобы отвлечь их от бунта. Вы доводите их до изнеможения, пожираете их время и силы, чтобы у них не осталось ни досуга, ни энергии для ярости! Они топчутся на месте, радуйтесь! Они одиноки, как одинок я сам, хотя они — масса. Каждый из нас одинок из-за трусости остальных. Но я, такой же раб, как и они, терпящий те же унижения, объявляю вам, что вы — ничто и вся ваша власть, которая вроде бы не имеет границ и чуть ли не застит нам небо,— это всего лишь упавшая на землю тень, и ветер ярости скоро ее развеет. Вы думаете, будто можно все уложить в цифры и анкеты! Но вы забыли включить в свой прекрасный реестр дикую розу, таинственные знаки в небе, лики лета, громкий голос моря, минуты страдания и гнева людей! *(Она смеется.)* Не смейся! Не смейся, идиотка. Вам пришел конец, говорю вам. В ваших самых эффектных победах уже заложено поражение, потому что в человеке — посмотрите на меня!— есть сила, которую вам не обуздать, трезвое бешенство, замешенное на страхе и отваге, стихийное и победоносное. Эта сила скоро поднимется, и вы узнаете тогда, что ваше господство — просто дым. *(Секретарша смеется.)* Довольно смеяться!

Секретарша продолжает смеяться. Диего дает ей пощечину. Все мужчины из хора сразу же вытаскивают изо рта кляпы и испускают долгий крик ликования. Замахиваясь, Диего стер рукавом знаки чумы. Он прикасается к тому месту, где они были, и смотрит на свои пальцы.

СЕКРЕТАРША. Великолепно!

ДИЕГО. Что это значит?

СЕКРЕТАРША. Вы великолепны в гневе! И нравитесь мне еще больше.

ДИЕГО. Что произошло?

СЕКРЕТАРША. Вы же сами видите! Знаки исчезли. Продолжайте в том же духе, вы на верном пути.

ДИЕГО. Я выздоровел?

СЕКРЕТАРША. Открою вам маленький секрет... Система у них действительно замечательная, вы правы, но в этом механизме есть один изъян.

ДИЕГО. Не понимаю.

СЕКРЕТАРША. В механизме есть изъян, милый. Всегда, насколько я помню, достаточно было человеку преодолеть в себе страх и взбунтоваться, чтобы машина заскрипела. Я не хочу сказать, что она останавливается совсем, нет-нет. Но она скрипит, а иногда может даже и вправду испортиться.

Пауза.

ДИЕГО. Почему вы мне это рассказываете?

СЕКРЕТАРША. Знаете, у каждого есть свои слабости, даже при таком ремесле, как мое. И потом, вы ведь сами догадались.

ДИЕГО. Вы пощадили бы меня, если бы я вас не ударил?

СЕКРЕТАРША. Нет. Я пришла, чтобы вас прикончить, согласно уставу.

ДИЕГО. Значит, я все-таки сильнее!

СЕКРЕТАРША. Вы еще боитесь?

ДИЕГО. Нет.

СЕКРЕТАРША. Тогда я бессильна против вас. Это тоже записано в нашем уставе. Но могу твердо сказать, что это первый случай, когда я подчиняюсь уставу с удовольствием.

Секретарша тихо уходит. Диего ощупывает место, где были знаки, снова смотрит на руку. Потом резко оборачивается, услышав стоны. Он молча направляется к больному с кляпом во рту. Немая сцена. Диего протягивает руку к кляпу и вынимает его. Больной оказывается знакомым нам рыбаком. Они в безмолвии смотрят друг на друга.

РЫБАК *(с трудом выговаривая слова)*. Здравствуй, брат. Я так давно не разговаривал.

Диего улыбается ему.

РЫБАК *(глядя на небо)*. Что это?

Небо очистилось. Поднялся легкий ветерок, распахнул какую-то дверь, где-то заколыхались занавески. Вокруг Диего и рыбака столпились люди без кляпов, глядя на небо.

ДИЕГО. Ветер с моря...

Занавес

## Часть третья

Жители Кадиса работают на площади. С небольшого возвышения Диего руководит их действиями. Сцена ярко освещена. Постройки Чумы теперь достроены и выглядят менее устрашающими.

ДИЕГО. Сотрите черные звезды! *(Кто-то стирает звезды.)* Откройте окна! *(Окна распахиваются.)* Воздуху! Воздуху! Созовите сюда больных! *(Люди собираются на площади.)* Не бойтесь, вот главное условие. Встаньте все, кто может стоять! Будьте решительнее! Подымите головы, настал час гордости! Выбросьте ваши кляпы и кричите вместе со мной, что вы больше не боитесь. *(Воздевает руки.)* О, священный бунт, живительное негодование, честь народа, дайте этим безгласным силу кричать!

ХОР. Брат, мы жалкие бедняки, питаемся оливками и хлебом, мул для нас — это целое состояние, мы пьем вино дважды в год, в день рождения и в день свадьбы, и вот мы, нищие, слушая тебя, начинаем надеяться! Но застарелый страх еще не выветрился из наших сердец. Оливки и хлеб придают жизни вкус! И мы боимся потерять вместе с жизнью даже то малое, что имеем!

ДИЕГО. Вы потеряете и оливки, и хлеб, и жизнь, если допустите, чтобы все осталось по-прежнему! Вы должны победить страх, если хотите сохранить для себя хотя бы хлеб. Проснись, Испания!

ХОР. Мы нищие и неученые. Но мы слыхали, что чума тоже следует дорогами года. У нее бывает своя весна, когда она вызревает и прорастает, лето, когда она плодоносит. Потом придет зима, и чума, быть может, умрет. Но пришла ли зима, брат, уверен ли ты, что это зима? Верно ли, что ветер дует с моря? Мы вечно расплачивались за все нищетой. Неужели теперь мы должны платить кровью?

ХОР ЖЕНЩИН. Опять мужские затеи! Мы рядом, чтобы напомнить вам о минуте самозабвения, красной гвоздике жизни, черной шерсти овец, о духе Испании, наконец! Мы слабы, вы больше и сильнее, нам с вами не справиться. Но что бы вы ни делали, не забывайте в затеянной вами схватке теней о цветах нашей плоти!

ДИЕГО. Чума превращает нас в тени, это чума разлучает любовников и иссушает цветок жизни! С ней и надо бороться.

ХОР. Разве это зима? В наших лесах дубы по-прежнему покрыты

блестящими желудями, а по их стволам текут ручьи ос! Нет, зима еще не настала!

ДИЕГО. Пусть настанет для вас зима гнева!

ХОР. Но найдем ли мы надежду в конце пути? Или нам придется умереть в безнадежности?

ДИЕГО. Забудьте об этом! Кляп во рту — вот что такое безнадежность. Гром надежды разрывает сейчас тишину нашего осажденного города. Молнии счастья засверкали над ним. Вставайте, говорю вам! Если вы хотите сохранить хлеб и надежду, порвите ваши справки, разбейте окна контор, покиньте очереди запуганных просителей, кричите на весь свет, что вы свободны!

ХОР. Беднее нас нет никого. Надежда — наше единственное богатство. Разве можем мы от нее отказаться? Долой кляпы, брат! *(Всеобщий крик освобождения.)* Ах, словно первый дождь хлынул на потрескавшуюся от зноя землю! Вот и осень! Дует свежий морской ветер. Надежда вздымает нас, как волна.

Диего уходит в глубь сцены.
На возвышении, где стоял Диего, с противоположной стороны поднимается Чума. За Чумой следуют Секретарша и Нада.

СЕКРЕТАРША. Это что еще такое? Поболтать вздумали? Ну-ка извольте все вставить кляпы!

Кое-кто повинуется. Но большинство мужчин переходят на сторону Диего и спокойно продолжают работать.

ЧУМА. Народ, кажется, зашевелился.

СЕКРЕТАРША. Да, обычная история.

ЧУМА. Что ж! Надо ужесточить меры!

СЕКРЕТАРША. Давайте ужесточим! *(Открывает блокнот и нехотя листает его.)*

НАДА. Давайте, давайте! Мы на правильном пути! Соответствие или несоответствие уставу — вот вся мораль и вся философия! Но, по-моему, ваша честь, мы недостаточно решительны в своих действиях.

ЧУМА. Ты слишком много говоришь!

НАДА. Просто я энтузиаст. И я многому научился, работая с вами. Упразднение — вот мое Евангелие. Но прежде у меня не было достойного повода. Теперь у меня повод самый что ни на есть уставной.

ЧУМА. Устав упраздняет не все. Берегись, ты уклоняешься от правильной линии!

НАДА. Уставы, заметьте, всегда были основой основ. Оставалось придумать лишь некий обобщенный устав, так сказать итоговый, где на человеческую природу наложен запрет, жизнь заменена схемой, вселенная уволена в запас, небо и земля наконец-то обесценены...

ЧУМА. Займись своим делом, пропойца! И вы тоже, начинайте!

СЕКРЕТАРША. С чего же начинать?

ЧУМА. Со случайности. Это потрясает сильнее всего!

Секретарша вычеркивает две фамилии. Раздаются два глухих удара. Двое падают. Толпа отхлынула. Работавшие в потрясении застывают. Стражники бросаются вперед, снова ставят на домах знаки чумы, закрывают окна, сваливают в кучу трупы и т. д.

ДИЕГО *(в глубине сцены, спокойно)*. Да здравствует смерть! Мы больше ее не боимся!

Народ возвращается. Мужчины снова принимаются за работу. Стражники отступают. Вся пантонима разыгрывается в обратном порядке. Когда народ наступает, дует ветер; когда стражники возвращаются, ветер стихает.

ЧУМА. Вычеркните его!

СЕКРЕТАРША. Невозможно!

ЧУМА. Почему невозможно?

СЕКРЕТАРША. Он перестал бояться!

ЧУМА. Ах вот как? А он знает?

СЕКРЕТАРША. Догадывается. *(Вычеркивает какие-то имена.)*

Глухой стук падающих тел. Толпа отшатывается.
Сцена отступления повторяется.

НАДА. Великолепно! Они мрут как мухи! Ах, если бы можно было взорвать всю землю!

ДИЕГО *(спокойно)*. Окажите помощь упавшим.

Толпа возвращается. Пантомима наступления.

ЧУМА. Он много себе позволяет!

СЕКРЕТАРША. Да, много.

ЧУМА. Почему вы говорите это так мечтательно? Уж не вы ли его просветили?

СЕКРЕТАРША. Нет. Сам, вероятно, понял. Вообще у него есть дар!

ЧУМА. У него — дар, а у меня — возможности. Что ж, попробуем по-другому. Предоставляю действовать вам. *(Уходит.)*

ХОР *(отшвырнув кляпы)*. О! *(Вздох облегчения)*. Это первый просвет, гаррота чуть-чуть ослабла, небо очищается, становится легче дышать. Вот уже снова слышно журчание источников, иссушенных черным солнцем чумы. Лето уходит. Больше не будет у нас винограда, дынь, зеленых бобов, свежего салата. Зато вода надежды смягчит затверделую почву. Она сулит нам приход спасительной зимы, жареные каштаны, первый маис с еще зелеными зернами, орехи с мыльным привкусом, молоко у огня...

ЖЕНЩИНЫ. Мы неученые. Но мы знаем, что цена этих богатств не должна быть слишком высокой. В любом краю, при любых хозяевах, всегда найдутся для нас свежие плоды, простое вино, сухая лоза, чтобы развести огонь в очаге и подле него переждать, пока все кончится...

Из дома судьи выпрыгивает через окно его младшая дочь. Она бежит к женщинам и смешивается с их хором.

СЕКРЕТАРША *(спускаясь с возвышения к толпе)*. Можно подумать, будто тут революция, честное слово! Но сами-то вы отлично знаете, что это не так! И потом, разве революции в наши дни совершает народ? Это ужасно старомодно. Для революции давно уже не нужны восставшие массы. Теперь все делает полиция, даже свергает правительства. По-моему, так куда удобнее, разве нет? Народ может не утруждаться, несколько умных голов думают за него и решают, какая доза счастья будет для него благоприятна.

РЫБАК. Я сейчас кишки выпущу этой подлой щуке!

СЕКРЕТАРША. Ну, полно, друзья мои, давайте-ка покончим со всем этим. Менять установившийся порядок всегда чересчур накладно. Но если уж этот порядок кажется вам невыносимым, вероятно, можно будет договориться о некоторых послаблениях.

ЖЕНЩИНА. О каких послаблениях?

СЕКРЕТАРША. Откуда мне знать? Но вы-то, женщины, ведь не можете не понимать, что любой переворот обходится слишком дорого и худой мир порой куда лучше доброй ссоры.

Женщины подходят к ней ближе. Несколько мужчин отделяются от группы Диего.

ДИЕГО. Не слушайте ее! Это все у них заранее придумано!

СЕКРЕТАРША. Что придумано? Я призываю людей мыслить трезво, вот и все.

МУЖЧИНА. О каких послаблениях вы говорили?

СЕКРЕТАРША. Это надо, разумеется, еще обдумать. Мы могли бы, к примеру, создать вместе с вами комитет, который будет решать большинством голосов, кого следует вычеркивать. Блокнот, в котором производятся вычеркивания, перейдет в полную собственность этого комитета. Я, конечно, говорю это только для примера...

Секретарша держит блокнот в вытянутой руке и помахивает им. Один из мужчин его выхватывает.

СЕКРЕТАРША *(с притворным негодованием)*. Отдайте блокнот! Вы же знаете, какая это ценность! Стоит только вычеркнуть в нем чье-нибудь имя, и один из ваших соотечественников умрет на месте.

Мужчины и женщины обступают того, кто завладел блокнотом. Всеобщее оживление.

— Всё! Блокнот наш!
— Довольно смертей!
— Мы спасены!

Внезапно появляется Дочь судьи, вырывает блокнот и убегает с ним в укромное место. Там она быстро листает его и что-то вычеркивает. В доме судьи раздается крик и стук упавшего тела. Мужчины и женщины набрасываются на похитительницу.

ГОЛОС. У, проклятая! Тебя самое надо уничтожить!

Чья-то рука выхватывает у нее блокнот. Все вместе листают его, находят ее имя и вычеркивают. Дочь судьи падает, не издав ни единого крика.

НАДА *(вопит)*. Вперед! Вперед, сплоченные уничтожением! Превратим уничтожение в самоуничтожение! Наконец-то все мы объединились! Угнетенные и угнетатели взялись за руки! Алле! Бык! Начинаем вселенскую чистку! *(Уходит.)*

МУЖЧИНА *(огромного роста, с блокнотом в руке)*. Он прав, кое-какую чистку стоит произвести! Очень уж удобный случай повычеркивать некоторых гадов, которые как сыр в масле катались, пока мы подыхали с голоду!

Возвращается Чума и, видя происходящее, разражается громким хохотом. Секретарша скромно встает на свое место рядом с ним. Люди на возвышении застывают и молча смотрят, как стража рассыпается по площади и восстанавливает всю обстановку и знаки чумы.

ЧУМА *(обращаясь к Диего)*. Ну вот! Они сами делают нашу работу! Ты по-прежнему считаешь, что стоит ради них так стараться?

Диего и Рыбак влезают на возвышение и бросаются на человека с блокнотом. Они бьют его и опрокидывают на землю. Диего хватает блокнот, рвет его.

СЕКРЕТАРША. Бессмысленно! У меня есть дубликат.

Диего подталкивает людей в другую сторону.

ДИЕГО. Скорей за дело! Вас обманули.

ЧУМА. Когда они боятся, то боятся за себя. А ненавидят почему-то всегда других.

ДИЕГО *(встает прямо напротив Чумы)*. Ни страха, ни ненависти больше нет — это и есть наша победа.

Стражники медленно отступают под натиском сторонников Диего.

ЧУМА. Молчать! Я тот, кто превращает вино в уксус и иссушает на деревьях плоды. Я убиваю лозу, если на ней наливается виноград, и покрываю ее зеленью, если она предназначена для разведения огня в очаге. Мне ненавистны простые человеческие радости. Мне ненавистна эта страна, где люди воображают себя свободными, не будучи богатыми. В моих руках тюрьмы, палачи, сила и кровь! Я смету этот город с лица земли, и на его обломках история будет агонизировать в прекрасном безмолвии идеального общества. Молчать, или я уничтожу все!

Пантомима борьбы среди ужасного грохота, скрежета гарроты, воя сирены, стука падающих тел и потока раскатистых лозунгов. По мере того как сторонники Диего начинают побеждать, грохот стихает и звучание хора, хотя и невнятное, заглушает шумы, производимые Чумой.

ЧУМА *(в ярости)*. Что ж, у меня остаются заложники!

Делает знак страже. Стражники покидают сцену; сторонники Диего наводят порядок в своих рядах.

НАДА *(сверху, из дворца)*. Что-то да остается в любом случае. То что не имеет продолжения, продолжается. И мои конторы тоже продолжают работать. Если даже рухнет город, расколется небесный свод и люди исчезнут с лица земли, конторы все равно будут открываться в положенное время, чтобы управлять небытием. Вечность — это я, в моем раю есть свои архивы и пресс-папье. *(Уходит.)*

ХОР. Они бегут! Лето кончилось победой. Значит, бывает, что человек одерживает верх! И тогда победа облекается в плоть наших женщин под ливнем любви. Вот она, счастливая плоть, теплая и блестящая сентябрьская гроздь, где жужжит шершень. На лоно сыплется урожай винограда. Виноград пламенеет на кончиках хмельных грудей. О любовь моя, желание наливается, как спелый плод, и гордая сила тел наконец прорывается. Отовсюду таинственные руки протягивают цветы, и желтое вино течет неиссякаемыми фонтанами. Это празднество победы, пойдемте же к нашим женщинам!

В тишине выносят носилки, на которых лежит Виктория.

ДИЕГО *(бросается к ней)*. О! за это хочется убивать — или умереть самому! *(Подбегает к носилкам, где лежит неподвижное тело.)* О! Великолепная, победоносная, дикая, как сама любовь, обрати ко мне свое лицо! Вернись, Виктория! Не дай увлечь себя на ту сторону мира, где я не смогу быть рядом с тобой! Не покидай меня, под землей так холодно! Любовь моя, любовь моя! Держись, держись изо всех сил за этот краешек земли, где мы еще вместе. Не тони! Если ты умрешь, для меня всю жизнь будет темно в полдень!

ХОР ЖЕНЩИН. Наконец настало время правды! До сих пор все было несерьезно. Но теперь перед ним страдающее тело в судорогах боли. Сколько восклицаний, какие красивые слова: «Да здравствует смерть!» И вот она пронзает грудь той, кого любишь! Тут-то и возвращается любовь, когда уже слишком поздно.

Виктория стонет.

ДИЕГО. Не поздно, нет, она встанет! Ты снова будешь стоять передо мной, прямая, как факел, с черным пламенем волос и искрящимся любовью лицом — его сияние я нес в себе во тьме схватки. Да, ты была все это время во мне, моего сердца хватало и на борьбу, и на любовь.

ВИКТОРИЯ. Ты забудешь меня, Диего, я знаю. Твоего сердца не хватит на разлуку. Его ведь не хватило на то, чтобы справиться с бедой. Ах, это ужасно — умирать, зная, что тебя ждет забвение. *(Отворачивается.)*

ДИЕГО. Я не смогу тебя забыть! Моя память будет жить дольше, чем я сам.

ХОР ЖЕНЩИН. О страдающее тело, когда-то столь желанное, царственная красота, отблеск солнца! Мужчина просит о невозможном, женщина принимает на свои плечи все возможное страдание. Склонись, Диего! Кричи о своем горе, вини себя, настал миг раскаяния! Дезертир! Это тело было твоим отечеством, без которого ты теперь ничто! Память ничего не искупит!

Чума тихо приближается к Диего. Их разделяет только тело Виктории.

ЧУМА. Итак, мы отступаем?

Диего в отчаянии смотрит на Викторию.

ЧУМА. Ты потерял свою силу! У тебя блуждающий взгляд. Зато у меня неподвижный взгляд властелина!

ДИЕГО *(после паузы)*. Оставь ей жизнь и убей меня!

ЧУМА. Что?

ДИЕГО. Я предлагаю тебе сделку.

ЧУМА. Какую сделку?

ДИЕГО. Я хочу умереть вместо нее.

ЧУМА. Такие мысли могут прийти в голову только тому, кто устал. Брось, умирать совсем не так приятно, а для нее самое тяжелое уже позади. Давай поставим на этом точку.

ДИЕГО. Такие мысли приходят в голову тому, кто сильнее!

ЧУМА. Да посмотри же на меня! Сила — это я!

ДИЕГО. Сними форму!

ЧУМА. Ты спятил!

ДИЕГО. Разденься! Когда представители силы снимают мундир, они оказываются в жалком виде!

ЧУМА. Возможно. Но их сила в том и состоит, что они изобрели форму!

ДИЕГО. А моя сила в том, чтобы ее не признавать. Я настаиваю на своем предложении.

ЧУМА. Ты хоть сначала подумай! Жизнь — недурная штука.

ДИЕГО. Моя жизнь — ничто. Важно, зачем жить. Я же не собака.

ЧУМА. Первая сигарета — это, по-твоему, ничто? Запах пыли в полдень на насыпи, вечерний дождь, женщина, которой ты еще не знаешь, второй стакан вина — все это для тебя ничто?

ДИЕГО. Нет, но она сумеет прожить лучше, чем я!

ЧУМА. Ничего подобного, если, конечно, ты бросишь заниматься чужими делами.

ДИЕГО. Я вступил на путь, где остановиться уже нельзя, даже если захочешь. Я тебя не пощажу!

ЧУМА *(меняет тон)*. Послушай! Если ты отдаешь мне свою жизнь в обмен на жизнь этой женщины, я вынужден согласиться, и она будет жить. Но я предлагаю тебе другой обмен. Я оставляю ее в живых и даю вам обоим возможность бежать, лишь бы вы не мешали мне навести порядок в этом городе.

ДИЕГО. Нет! Я знаю, в чем моя сила.

ЧУМА. В таком случае буду с тобой откровенен. В моей власти должны быть все, иначе я не удержу никого. Если ты ускользнешь от меня, я потеряю весь город. Таков закон. Старый закон, сам не знаю, откуда он взялся.

ДИЕГО. Зато я знаю! Он существует испокон веков, он выше, чем ты сам, выше, чем твои виселицы. Это закон природы. Мы победили!

ЧУМА. Нет еще! В моих руках ее жизнь, она моя заложница. Заложники — мой последний козырь. Посмотри на нее! Если есть в мире женское лицо, похожее на саму жизнь, то это ее лицо. Она достойна жизни, и ты хочешь, чтобы она жила. Я вынужден отдать ее тебе. Но только в обмен на твою собственную жизнь или на свободу этого города. Выбирай.

Диего смотрит на Викторию. В глубине сцены — невнятный ропот людей с кляпами во рту. Диего поворачивается к Хору.

ДИЕГО. Тяжело умирать!

ЧУМА. Тяжело.

ДИЕГО. Но умирать тяжело не только мне.

ЧУМА. Идиот! Десять лет любви такой женщины стоят дороже, чем век свободы всех этих людишек.

ДИЕГО. Любовь Виктории лежит в царстве моей собственной жизни. Здесь правлю я сам. А свобода этих людей принадлежит им. Я не могу ею распоряжаться.

ЧУМА. Нельзя добиться счастья, не причиняя зла другим. Такова земная справедливость.

ДИЕГО. Я не так устроен, чтобы согласиться на эту справедливость.

ЧУМА. Да кто спрашивает твоего согласия?! Устройство мира не изменится по твоему хотению! Если ты задумал его изменить, брось свои мечты и исходи из того, что есть в действительности.

ДИЕГО. Нет. Знаю я эти рецепты! Убивать, чтобы покончить с убийством, прибегать к насилию, чтобы установить справедливость! Это тянется столетиями! Столетиями владыки вроде тебя растравляют язвы нашего мира под тем предлогом, будто исцеляют их, и продолжают как ни в чем не бывало расхваливать свой метод, потому что никто не смеется им в лицо!

ЧУМА. Никто не смеется, потому что я добиваюсь реальных результатов. Я действую эффективно.

ДИЕГО. Эффективно! Еще бы! И надежно! Как топор.

ЧУМА. Да ты посмотри на людей! Сразу видно, что для них хороша любая справедливость.

ДИЕГО. С тех пор как захлопнулись городские ворота, я только и делаю, что на них смотрю.

ЧУМА. Тогда тебе должно быть ясно, что они в любой момент готовы бросить тебя одного. А в одиночку человек погибает.

ДИЕГО. Неправда! Если бы я был один, все было бы просто. Но они волей-неволей со мной.

ЧУМА. Вот уж, право, прекрасное стадо, только уж очень вонючее!

ДИЕГО. Да, они не чисты, я знаю. Но и сам я не чист. К тому же я родился среди них. Я живу для своих сограждан, для своего времени.

ЧУМА. Время рабов!

ДИЕГО. Время свободных людей!

ЧУМА. Неужели? Что-то они мне не попадаются, сколько я ни ищу. Где же они?

ДИЕГО. У тебя на каторге, на твоих бойнях. А на тронах восседают рабы.

ЧУМА. Одень твоих свободных людей в форму моей полиции, и ты увидишь, во что они превратятся.

ДИЕГО. Да, они бывают порой и ничтожными, и жестокими. Поэтому у них прав на власть не больше, чем у тебя. Нет на свете человека настолько безупречного, чтобы доверить ему абсолютную власть. Но эти люди имеют право на сострадание, в котором тебе будет отказано.

ЧУМА. Быть ничтожным — значит быть как они, жалким и суетливым, жить, не умея подняться выше среднего уровня.

ДИЕГО. Вот такие, средние, они мне и близки. Если я не буду верен скромной правде, общей и для меня, и для них, то как же смогу я быть верен тому, что есть во мне самого высокого и неповторимого?

ЧУМА. Единственное, чему стоит быть верным, так это своему презрению. *(Указывает на поникший хор, без сил сидящий на земле.)* Взгляни, их есть за что презирать!

ДИЕГО. Я презираю только палачей. Что бы ты ни сделал, эти люди всегда будут выше тебя. Если им и случится кого-нибудь убить, то лишь в минуту безумия. Ты же убиваешь, следуя правилам и логике. Не насмехайся над их поникшей головой — ведь из века в век над ними проносились кометы страха. Не насмехайся над их боязливым видом, потому что из века в век они гибли и их любовь разбивалась. Самое страшное их преступление всегда можно оправдать. Но нельзя оправдать преступления, которые во все времена совершались против них и которые ты в конце концов узаконил, возведя их в систему. *(Чума приближается к нему.)* Я не опущу глаза!

ЧУМА. Не опустишь, я вижу. Что ж, тогда могу сказать тебе, что ты выдержал и последнее испытание. Если бы ты согласился уступить мне город, то погубил бы и эту женщину, и сам пропал бы вместе с ней. А так у твоего города есть все шансы получить свободу. Видишь, достаточно одного безумца вроде тебя... Безумец, конечно, погибает. Однако благодаря ему рано или поздно все остальные бывают спасены! *(Мрачно.)* Но остальные не заслуживают спасения.

ДИЕГО. Безумец погибает...

ЧУМА. А? Уже передумал? Хотя нет, все идет как положено: классическая секунда колебания! Гордыня возьмет верх.

ДИЕГО. Я мечтал о чести. Неужели я обрету ее лишь среди мертвецов?

ЧУМА. Я же говорил, их убивает гордыня! Но все это слишком утомительно для стареющего человека вроде меня. Готовься!

ДИЕГО. Я готов!

ЧУМА. Вот мои знаки. Они причиняют боль. *(Диего с ужасом смотрит на знаки чумы, снова появившиеся у него на теле.)* Так! Помучайся чуть-чуть перед смертью! Таково мое правило. Когда меня жжет ненависть, чужое страдание для меня живительно, как роса. Придется немного постонать, я это люблю. Дай мне насмотреться на твои муки перед тем, как я покину этот город. *(Поворачивается к секретарше.)* Теперь дело за вами!

СЕКРЕТАРША. Что ж, если так надо!

ЧУМА. Притомились уже, а?

Секретарша кивает и в тот же миг преображается. Перед нами старуха в традиционном обличье смерти.

ЧУМА. Я всегда чувствовал, что вам не хватает ненависти. Зато моя ненависть требует свежей жертвы. Поторопитесь мне ее предоставить! А потом начнем все сначала в другом месте.

СЕКРЕТАРША. Ненависть и в самом деле не может служить мне поддержкой, она вообще не входит в мои обязанности. Но в этом отчасти виноваты и вы. Когда так долго копаешься в картотеках, пропадает всякий энтузиазм.

ЧУМА. Это все слова! А если вам так уж нужна поддержка... *(Указывает на Диего, который падает на колени).* Что ж, возьмите его во имя радости уничтожения. Это входит в ваши обязанности.

СЕКРЕТАРША. Ладно, уничтожим. Но мне не по себе.

ЧУМА. По какому праву вы оспариваете мои приказы?

СЕКРЕТАРША. По праву памяти. У меня есть кое-какие давние воспоминания. До вас я была свободна и связана лишь со случаем. Тогда никто не презирал меня. Я была завершительницей судеб, придавала всякой жизни законченность, а любви — неизменность. Я всегда была верна себе. А вы заставили меня служить логике и уставу. Я потеряла сноровку, которая бывала подчас спасительна.

ЧУМА. Кто же это просил вас о спасении?

СЕКРЕТАРША. Те, кто слабее своего горя. То есть почти все. С ними мне случалось действовать в согласии, это была моя форма существования. Сегодня я совершаю над людьми насилие, и все они до последнего вздоха отвергают меня. Вероятно, поэтому я и полюбила того, кого вы приказываете мне убить. Он выбрал меня добровольно. Он меня пожалел на свой лад. Я люблю тех, кто сам назначает мне свидание.

ЧУМА. Поостерегитесь меня раздражать! Мы не нуждаемся в жалости.

СЕКРЕТАРША. Кто же нуждается в жалости, как не те, кто ни в ком не встречает сочувствия! Когда я говорю, что люблю его, это значит — я ему завидую. Для нас, завоевателей, этот убогий вид любви — единственно возможный. Поэтому нас стоит хоть немного пожалеть, и вы отлично это знаете.

ЧУМА. Приказываю вам замолчать!

СЕКРЕТАРША. Вы отлично это знаете! И знаете, что, когда много и долго убиваешь, невольно начинаешь завидовать невинности убитых. Ах, позвольте мне хоть на секунду отбросить надоевшую логику и представить себе, будто я обрела наконец настоящее тело. У меня отвращение к теням. И я завидую этим несчастным, да, да, завидую — всем, даже этой женщине, которая получит жизнь лишь затем, чтобы кричать, как раненый зверь! Она по крайней мере найдет опору в своем страдании.

Диего почти упал. Чума поднимает его.

ЧУМА. Встань, человек! Конец не наступит, если она не совершит того, что положено. А она, как видишь, расчувствовалась. Но не беспокойся! Она сделает свое дело, таковы ее закон и обязанность. Машина слегка заскрипела, вот и все. Пока она совсем не испортилась, радуйся, глупец, я отдаю тебе этот город!

Хор издает возгласы ликования. Чума поворачивается к Хору.

ЧУМА. Да, я ухожу. Но не торжествуйте, я собой доволен. Здесь, как и везде, мы поработали неплохо. Я люблю, когда обо мне много говорят, и знаю, что теперь вы не забудете меня никогда. Взгляните на меня! Взгляните в последний раз на единственную подлинную силу в этом мире! Признайте своего истинного владыку и научитесь бояться! *(Смеется.)* Раньше вы якобы боялись Бога и посылаемых им случайностей. Но ваш Бог — анархист, он действовал бессистемно. Ему хотелось быть могущественным и добрым одновременно. В этом нет ни логики, ни прямоты. Зато я откровенно выбрал для себя одно могущество. Я выбрал подавление — как видите, это посерьезнее, чем его ад.

Тысячелетиями я устилал трупами ваши поля и города. Мои трупы удобряли пески Ливии и Эфиопии. Моими стараниями земля Персии и поныне тучна от кровавого пота мертвых тел. В Афинах благодаря мне не угасал очистительный огонь, я усеял пляжи сотнями погребальных костров, усыпал греческие моря пеплом человеческих тел, так что волны поседели. Бедные боги, их мутило от отвращения! А когда на смену языческим храмам пришли христианские соборы, мои черные всадники наполнили их воющей людской массой. На пяти континентах из века в век я хладнокровно убивал не покладая рук.

Это, конечно, неплохо, в этом была своя идея. Но идея, так сказать, в зародыше... Мертвец, если хотите знать мое мнение,— это, конечно, приятно, но от него нет никакой пользы. Короче, он не стоит даже раба. Идеал — получить как можно больше рабов с помощью минимума правильно отобранных мертвецов. Сегодня эта техника доведена до совершенства. Уничтожив или сломив нужное количество людей, мы поставим на колени целые народы. Никакая красота, никакое величие не в силах нам противостоять! Мы восторжествуем надо всем!

СЕКРЕТАРША. Надо всем, кроме человеческой гордости.

ЧУМА. Чувство гордости может и притупиться... Человек умнее, чем кажется. *(Вдали звучат трубы и слышится шум.)* Слышите? Это идут мои благодетели. Возвращаются ваши прежние хозяева, равнодушные к чужим ранам, одуревшие от бездействия и забывчивости. Вы снова изо дня в день будете видеть, как глупость торжествует без борьбы. Жестокость рождает возмущение, а глупость — упадок духа. Слава дуракам, ибо они подготавливают мой приход! Они дают мне силу и надежду! Возможно, настанет такой день, когда всякая жертва покажется вам напрасной и нескончаемый крик вашего гнусного бунта наконец стихнет. В этот день я воцарюсь безраздельно среди навсегда замолчавших рабов. *(Смеется.)* Нужно лишь терпение, не так ли? Но будьте покойны, у меня низкий лоб упрямца. *(Отходит в глубину сцены.)*

СЕКРЕТАРША. Я старше вас и знаю, что их любовь тоже упряма.

ЧУМА. Любовь? Что это такое? *(Уходит.)*

СЕКРЕТАРША. Встань, женщина! Я устала. Пора кончать.

Виктория встает. Диего в ту же секунду падает. Секретарша отступает в темноту. Виктория бросается к Диего.

ВИКТОРИЯ. Ах, Диего, что ты сделал с нашим счастьем?

ДИЕГО. Прощай, Виктория. Я рад.

ВИКТОРИЯ. Не говори так, любимый. Это мужские слова, ужасные мужские слова. *(Плачет.)* Никто не имеет права радоваться смерти.

ДИЕГО. Я рад, Виктория. Я сделал то, что должен был сделать.

ВИКТОРИЯ. Нет! Ты должен был предпочесть меня самому небу! Между мной и всем миром надо было выбирать меня.

ДИЕГО. Я свел счеты со смертью, в этом моя сила. Но эта сила пожирает все, она не оставляет места для счастья.

ВИКТОРИЯ. На что мне твоя сила? Я любила в тебе человека.

ДИЕГО. Меня иссушила эта борьба. Я больше не человек, и это правильно, что я умираю.

ВИКТОРИЯ *(бросается к нему.)* Тогда возьми меня с собой!

ДИЕГО. Нет, ты нужна этому миру. Ему нужны наши женщины, чтобы снова научиться жить. А мы никогда ничего не умели, разве что умирать.

ВИКТОРИЯ. О, это было бы для тебя слишком просто — молча любить и терпеть все, что выпало на нашу долю! Лучше бы ты продолжал бояться!

ДИЕГО *(смотрит на Викторию)*. Я любил тебя всей душой.

ВИКТОРИЯ *(кричит)*. Этого мало! О, этого мало! Что бы я стала делать с одной твоей душой!

Секретарша протягивает руку к Диего. Пантомима агонии. Женщины спешат к Виктории и обступают ее.

ЖЕНЩИНЫ. Горе ему! Горе всем, кто бежит от тепла наших тел! И мука для нас, покинутых, годами нести на своих плечах этот мир, который их гордыня силится переделать. Ах! Если нельзя спасти все, то научимся же спасать хотя бы дом, где живет любовь! Пусть приходит чума или война, мы запрем все двери и вместе с вами, плечом к плечу, будем защищаться до конца. Тогда вместо одинокой смерти, украшенной идеями, начиненной словами, вы встречали бы смерть вместе с нами в неистовом объятии любви! Но для мужчин идея превыше всего! Они покидают мать, отрываются от любимой и бегут неведомо куда, изнемогая от несуществующих ран, зарезанные без кинжала. Охотники за тенями, одинокие певцы под немым небом, вы призываете людей к недостижимому объединению и идете, каждый особняком, к последнему одиночеству, к смерти в пустыне!

Диего умирает.
Женщины причитают. Ветер начинает дуть сильнее.

СЕКРЕТАРША. Не плачьте! Земля мягка для тех, кто ее крепко любил. *(Уходит.)*

Виктория и женщины уносят Диего. Шум в глубине сцены усиливается. Звучит музыка. На городских укреплениях кричит Н а д а.

НАДА. Вот они! Вот они, прежние, вчерашние, вечные, никуда не ведущие, истуканы, успокоители, любители удобств и лизания пяток — в общем, сама традиция, устоявшаяся, процветающая, свежевыбритая. Вздохнем же с облегчением: можно все начинать сначала! С нуля! Вот они, ловкие портняжки, умеющие кроить из пустоты! Все вы будете одеты по мерке. Но не беспокойтесь, их принцип самый верный. Вместо того чтобы затыкать рты кричащим от горя, они затыкают собственные уши. Мы были немы, теперь будем глухи. *(Фанфары.)* Смотрите все! Возвращаются творцы истории. Они позаботятся о героях. Отправят их в холодок. Под могильные плиты. Не ропщите: над плитами остается отнюдь не самое избранное общество.

В глубине сцены совершаются какие-то официальные церемонии.

Поглядите-ка! Что бы вы думали, они там делают? Награждают друг друга! Пиршество ненависти продолжается, истощенная земля покрыта лесом виселиц, кровь тех, кого вы именуете праведниками, еще пылает на стенах, а они увешивают себя орденами! Ликуйте, сейчас начнутся торжественные речи награжденных! Но пока они не взошли на трибуну,

я хочу коротко сказать свою. Тот, кого я против воли любил, умер напрасно!

Рыбак бросается на Наду. Стража останавливает его.

Видишь, рыбак, правительства приходят и уходят, а полиция остается. Есть в мире справедливость!

ХОР. Нет, справедливости нет, есть пределы. И те, кто якобы не ограничивает нас ни в чем, как и те, кто для всего устанавливает ограничения, одинаково переходят пределы. Распахните же ворота, пусть соленый ветер очистит наш город!

Ворота распахиваются. Ветер дует все сильней и сильней.

НАДА. Справедливость есть, та, что вызывает у меня отвращение. Да, вы начнете все сначала. Но это меня уже не касается. Не рассчитывайте на меня в качестве идеального виновника. Я не мастер постных мин. О старый мир, пора уходить, твои палачи устали, их ненависть остыла. Я знаю слишком много, даже презрение уже отжило свой век. Прощайте, добрые люди, когда-нибудь вы поймете, что нельзя хорошо жить, чувствуя, что человек — ничто, а божий лик ужасен.

Под порывы штормового ветра Нада бежит по молу и бросается в море. Рыбак бежит за ним.

РЫБАК. Упал! Разъяренные волны бьют его и душат своими гривами. Его лживый рот заполняется солью, голос его скоро наконец умолкнет совсем. Взгляните, бушующее море окрасилось в цвет анемон. Оно мстит за нас. Его гнев — это наш гнев. Оно трубит сбор всех людей моря, сбор всех одиноких. О вода, о море, отечество повстанцев, вот твой народ, и он никогда не отступит. Высокий вал, рожденный горечью вод, унесет навеки ваши страшные города.

*Занавес*

# РИЧАРД УИЛБЕР

## *Из старых и новых стихов*

*С английского*

### Из книги «Земное» (1956)

*Перевод ИОСИФА БРОДСКОГО*

### *После последних известий*

После последних известий темно
В окнах, и город без лишних слов,
Ныряя в подушки, идет на дно
В Атлантиду, полную частных снов.

Поднимается ветер и гонит вдоль
Обнаженных аллей и безлюдных троп
Ежедневную жвачку. Печатный вздор
Распинает себя на оградах, чтоб

Тотчас воскреснуть. Мятежный сонм
Мечется в парке, заносит пруд,
Злые крылья по честным устам
Хлещут немой монумент, скребут

Благородное имя. На пустырях
Смятость, скрученность в жгут, рванье
Наших газет представляет крах
Всего, что мы думаем, чье вранье

Мы поглотили. Пускаясь в пляс,
К пяткам патрульных вся эта мразь
Липнет. Так снег кулаками тряс
Бронзе копыт, превращаясь в грязь,

В злобе бессильной металл кляня.
Когда ж, очнувшись от забытья,
Вспорет морозную пленку дня
Голос диктора, ты и я —

Мы к жизни вернемся сквозь пасть метро
От смуты сердечной и дел пустых
С газетой, вышедшей поутру,
В парк, где похожие на святых

Люди с мешками, склонившись ниц,
Вонзают копья в отживший сор,
И шум их шагов превращает птиц,
На ветках общественных спящих, в хор.

## *Черный индюк*

Отряд из девяти цыплят —
Все молоды, белы, как на подбор —
Бредет через засыпанный мякиной
И стружкой двор,

И поднятая ими пыль,
Поскольку полдень солнечен и сух,
Расцвечивает всей палитрой спектра
Их нежный дух.

Не ярок и не тускл,
Во двор индюк вступает в этот миг,
Таинственный, величественный, словно
Туз пик.

Сам собственный кортеж,
Чтоб не застала смерть его врасплох,
Он репетирует дрожащим зобом
Последний вздох.

Сопровождая плеск
Хвоста и старых перьев взмах
Тем хладным шумом, с коим ветер гонит
Бумажный прах,

Над кривизною ног
Огромный, черный движется живот,
Как туча над кустом, как бриг поверх
Мятежных вод.

Костистая глава
На шее, отдающей синевой,
Как маска, снятая с лица святого, тусклый
И суетности чуждый свой

Взор устремляет на
Весь этот кукарекающий сброд,
Чьи вопли, день за днем, с вульгарным пылом
Творят восход.

## *Животные*

Животные, благодаря своей
Свободе, ночью мирно дремлют. Чайке
На камне грезится гладь моря в лунном свете,
И рыба лунная лицом на камне спит,
Внимая водяную песню,

Чьей музыке созвучен всплеск
Не оставляющих следов копыт оленьих,
Писк мыши вспоротой в когтях совы, парящей
Над лунной гладью. Ибо нет здесь той
Кромешной темноты и боли,

Чьи маски эта самая луна,
Дробясь в окошках, зрит, усугубляя
Терзанья оборотня, впившегося в мокрый
Диванный валик, дабы вспомнить, что́
Он чувствовал в мужском обличье.

Но вспоминанье переходит в сон;
И, ткнувшись в жесткий для лица, но мягкий
Для морды мех, он острым слухом внемлет
Стенанье ветра, панику листвы,
Гул затихающего водопада.

В плену стекла тем временем, вдали
От логов, падей, чащ, жрецы искусства
Томятся бдением. Но, воссоздать пытаясь
Красу небес щемящую, лучи
Луны, таящегося зверолова,

Ужасные они лелеют для
Сердец виденья, воронье сажая
На темя статуям, вводя в дома чудовищ
И рыбам скармливая целые флоты
В глухих пучинах.

## *Голос из-под стола*

***Роберту и Джейн Брукс***

Как жен познать, как поглощать вино?
Наш мир неплох; но я взалкал, узрев
Графином солнце как поглощено,
Познать иной, чья норма — перегрев.
Мой тост искрист за птиц в огне древес,
Столь искренне поющих, что пьяны;
Весь фосфор моря выхлебав, я весь
На дно печали свергнут с вышины.

Ты не забыл, прямоходящий люд,
Когда любовь гнала нас из лесов,
Как ветр взывал *О вы!* от скорби лют,
И подкосил мне ноги этот зов.
И в жажде сей преодолеть испуг
Я окунулся в речевой родник.
Но и святых прикосновенья рук
К моей спине усугубляли крик.

Затем богиня и решилась всплыть
И над волной бутылочной восстать,
Чтоб вкусом тайны жажду утолить
И к Югу жар любви адресовать.

И зрел я деву подле этих вод,
Чья кожа точно влажный сердолик,
И моря зеленеющий живот,
Приблизясь к ней, воспламенялся вмиг.

«В прозрачных пальцах миртовый росток
И зыбкой тенью волосы до плеч...»
Не создан ли был вызвавший восторг
Тот свет из тьмы, нас жаждущей облечь?
Не бормотал ли Архилох [1] спьяна?
Не жажда ли возвысила слова?
Все это так; но ясно, что она
Была прекрасна, а теперь мертва.

Елена столь абстрактной не была,
О чем скрипят в симпозиумах, но
Из тех она беглянок, чьи тела
Пленить мужским орудьем не дано.
Кусай же ногти, Трою ли круши,
Но жажда вечно превышает дно.
А что до краха чувств или души,
Они, по мысли дьявола, одно.

Оставь же дурнем, Господи. В дыму,
Средь грязных луж. Смиренью не учи.
Я — мученик, терпенью Твоему
Горизонтальный памятник в ночи.

Полупомеркший возвышая взгляд
И пол залитый пальцами скребя,
Я ляжек подавальщиц зрю парад,
О мир тщеты,— я возвращусь в тебя.

## *Барочный фонтан в стене на вилле Шарра*

Из-под бронзы венца,
Столь громоздкой для мраморных мелких кудрей
Херувима, чьи пятки прожорливый змей
Поглощает, струя, щебеча и залив до конца

Чашу первую, из
Этой чаши стремится в другую, но, бросив пустой,
Низвергается вниз
Шумной прядью в массивную третью; из той,

Перепрыгнувши чрез
Край зубчатый, дробится на нити, и вот, невесом,
Плещет летний навес
Над семейкою фавнов и их одиноким гусем.

И счастливый, о да,
В этом щебете, блеске и пляске воды,
Как герой чехарды,
Козлоногий божок без труда

[1] Архилох (вторая половина VII в. до н. э.) — древнегреческий лирический поэт. *(Здесь и далее прим. ред.)*

Подпирает собой
Пирамиду из раковин, слушая визг
Увлеченных борьбой
Своих отпрысков в отблесках брызг.

А фавнесса его,
Теплой плотью мерцая и впав в забытье,
Созерцает бегущего кружева бликов почти волшебство,
И улыбка ее

Преломляется на
Дне песчаном, где сеть из рябящих теней сплетена,
Что хмельнее вина
Для сетчатки зрачка, а для мысли она

Бесконечней нулей,
Наслажденья являющих сумму. Но раз
Этот пир пузырей
Лишь одно наслажденье, не лучше ли нас

Воплощает иной
Заурядный фонтан, что Мадерны [1] воздвигла рука
У Святого Петра — ибо там главный столб водяной
Рвется к небу, пока,

Успокоенный фактом движения ввысь,
Сам не склонит чело.
Это — тяжесть, рожденная, чтоб вознестись
К небесам, где светло

Преломиться, слепя
Глаз, и вниз шелковистой скользнуть бахромой,
Продолжая себя
И в камнях аплодируя щедро себе же самой.

Если в этой черте,
Если в этих святых водяных наша цель и итог,
Образец areté [2],
Что тогда эти мокрые фавны и весь их чертог?

То — сама полнота,
Непрерывность желанья того, что дано.
Не томит их жара, ни назойливых струй суета,
Ни морщинами — дно.

Нашей скуки отврат
Ненасытностью к жизни в бессменном кругу
Порицают они. Так Франциск [3], у пресыщенных врат
Замерзая в снегу

И хваля вместе с тем
Небеса, в этом был бы увидеть готов
Не безделье, но тень
Благодати — ту землю терпимых цветов,

---

[1] Карло Мадерна (1556—1629) — итальянский архитектор.
[2] Греческое слово, обозначающее добродетель, доблесть.
[3] Св. Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226). Легенды о нем собраны в анонимном сборнике «Цветочки Св. Франциска Ассизского».

Обетованный край,
Где глаза стоят солнца и пальцы — воды,
Куда сердце стремится и где невзначай
Оставляет следы.

## Из «Новых стихотворений» (1987) *

*Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА*

### *Скачка*

Конь мой, казалось мне,
Сам различает путь
Сквозь бешенство снега во сне;
Всю леденящую жуть

От меня отстраняли сполна
Ритм усердных подков,
Дыхания пелена
И пар от жарких боков.

Целую ночь в темноте
Не пригождалась узда
Скакавшему по пустоте
В крошащееся никуда.

Я летел легчайшей рысцой,
Словно вело волшебство,
И видел перед собой
Лишь острую гриву его.

И вдруг распахнулся простор,
Потянуло еловым дымком,
Блеснул постоялый двор
Заиндевелым окном —

И я проснулся. О как
На миг себя победить,
Вернуться в мороз и мрак
И конюха разбудить,

— И пока я вдомек не возьму,
Что конь мой из сна возник,—
Дать вволю сена ему,
Воды и ввести в денник.

---

* © by Richard Wilbur, 1987

## *Вылавливаю из голубизны*

Как прыткие стрижи, как методично
Вспухающая эмбрионом тучка,
Так и пронзительная эта рыба,
Чья красота и сила привлекли нас,—
Всё к осознанью сущности людской.

Оставим в стороне бездумность рыбы,
Полеты над водой и отклоненья
На нерестилища за сотни миль,—
Под лязг машин отдавшись созерцанью,
Мы в толще водной создаем картину:

В голубизне воды — голубизна,
Иначе говоря, цвет размышлений,
В мерцающих теченьях — невесомость,
Предел вниманья на краю броска,
Сосредоточенность и хладнокровье,

А может, так примыслил голубой
Глаз разуменья нашего,— а рыба
Рванулась и впилась и рвет добычу
И вместе с ней воображенье наше,
Отброшенное к водорослям дна,

В кромешный древний сон палеозоя,
Где еле брезжат проблески сознанья
В борьбе без особей, без ощущений,
Без жалости, без отдыха,— из коей
Непредставимо вышли мы с тобой.

## *Под кроной*

Сатира устрашась, лесная дева
Пускала корни, превращалась в древо,

Прекрасное, как древо, но, к несчастью,
Ужасное, как образ сладострастья,

Которое, по нашему сужденью,—
Плетенье и сплетенье солнца с тенью,

Причем листва в привольном беспорядке
В себя, искрясь, вбирает ветра прядки

И отдается радостно и живо
Во власть отдавшегося ей порыва.

## *Закон*

Что таинство священия елея
Всегда свершается в Страстной четверг
Самим епископом — таков закон.
Ты этим возмущен? Ну что ж, ты волен
Засесть под смертоносной манцинеллой [1],
С которой каплет яд, и уповать,
Что вроде бы избегнул благодати.
Решил — и делай, так или иначе.

[1] Манцинелла — тропическое дерево, растет в Америке, сок его ядовит. *(Прим. перев.)*

## *Конченый человек*

Из четверых, его столкнувших в море,
Троих уж нет, и в их загробном взоре
Он до сих пор ныряет и глотает.
Лицо четвертого с годами тает.

И надо полагать, давно на свете
Не стало дамы — той, что на банкете
Усмешку стерла быстрою рукою,
Когда он ляпнул черт-те что такое.

Позор бы вышел перед всей конторой,
Да промолчал покойный клерк, который,
Смущаясь, уличил его в обмане.
Свидетельства все зыбче и туманней.

И вот, благообразный, богомольный,
Он открывает комплекс баскетбольный,
Где колледж письменами золотыми
Над раздевалкой вывел его имя.

Когда б воспоминанья не карали,
А мертвецы и вправду умирали,
И деньги не были безгласным тленом,
Он сам себя считал бы джентльменом.

## *Памяти У. Х. Одена*

Теперь я лучше знаю, куда они —
Железнодорожник, трясущийся в товарняке;
Красотки, машущие руками с борта,
Когда корма уже взрыла и скомкала воду;

Школьницы в форме, которых монахиня
Ведет сквозь вокзальный гул; ученый, ушедший
С головою в раздумья на лесенке у стеллажа;
Индейцы, уснувшие по двое под одеялом;

И арестованный немцами, вздрогнувший
На выхлоп, когда грузовик тронулся с места,—
Про них, увиденных и отмеченных памятью,
Теперь я знаю, что все они двигались к смерти,

Ибо ты, во время разрухи сберегший
Дар цивилизованной речи, поэт городов,
Как бы ни был отличен от нас, ты тихонечко вышел,
Как все, как всегда в ту же общую дверь.

# О старых и новых переводах

*Ричард Уилбер не нуждается в представлении русскому читателю. Переводы его стихотворений есть во всех антологиях американской поэзии, их дважды печатала «Иностранная литература» (1966, № 9; 1979, № 10).*

*Во время недавнего приезда поэта в нашу страну редакция попросила его написать несколько слов к новой публикации в журнале. Характерно, что Ричард Уилбер, отдавший много сил и времени поэтическому переводу, предложил нам заметки о своих русских переводчиках. Надеемся, что эти заметки будут любопытны нашему читателю, по-новому высветят и облик самого нашего автора — бесспорно, одного из крупнейших американских поэтов XX века.*

Когда в 1961 году в редакции «Иностранной литературы» я познакомился с Андреем Сергеевым, меня поразило его глубинное знание американской литературы, самого ее языка. Ни разу не побывав в Соединенных Штатах, он был способен в разговоре обронить, что Роберт Фрост употребил слово «interval» на манер старого янки. Сергеев был не только прав, что Фрост лукаво поиграл этим словом, чтобы передать идеи как времени, так и пространства,— Сергеев сделал наблюдение, на которое были бы не способны многие современные урбанизованные жители Новой Англии. При новых встречах с Андреем Сергеевым в Америке и в России я еще больше уверился в его профессиональной высококлассности. Это переводчик, который после тщательной лингвистической подготовки погружается в переводимого автора и овладевает переводимым стихотворением, позволив этому стихотворению овладеть им, переводчиком. Насколько я понимаю рабочий метод Сергеева, этот метод требует не только точности, но и перевоплощения, вживания в образ — так, как делал Дюпен, великий сыщик из рассказов Эдгара По. Хотя я знаю по-русски всего несколько слов, я могу с уверенностью сказать, что, когда я слышу, как Сергеев читает свой перевод из Фроста или из меня, я понимаю, что это стихотворение обрело свой аутентичный русский голос.

Иосиф Бродский посетил нас с женой в Массачусетсе вскоре после приезда в Америку, и с тех пор я знаю его как прекрасного друга и сотоварища по поэтическим чтениям и дискуссиям о переводе. От разных людей я слышал, что Иосиф в свои ленинградские дни перевел несколько стихотворений из моей третьей книги и что это точные и блистательные переводы, которые не увидели свет только потому, что переводчик тогда находился на осадном положении[1]. И когда профессор Мичиганского университета Карл Проффер предложил мне перевести с его помощью, по подстрочнику «Похороны Бобо» Бродского, я из чувства благодарности старался выполнить поручение как можно лучше; старался я еще и потому, что знал, что Бродский, хорошо владеющий английским языком, чрезвычайно суров со своими переводчиками. После месячной работы над стихотворением я не без трепета подал перевод; меня особенно заботила одна фраза, которой не было в оригинале и которая вошла в перевод по требованиям контекста. К счастью, Иосиф одобрил мою работу, как позднее одобрил мой перевод стихотворения «Шесть лет спустя». Во втором переводе Бродский вместе с тринидадским поэтом Дереком Уолкоттом во время полета из Оклахомы в Нью-Йорк сделал несколько исправлений в третьей строфе. Я никоим образом не возражал, ибо исправления были явно на пользу, а кроме того, я разделяю уверенность Бродского, что главное в переводе — не «я» переводчика, а точность и убедительность, с какими воссоздается оригинал. По мнению некоторых американских поэтов-переводчиков, Бродский чересчур резко нападает на их переводы, не сохраняющие формальные структуры, например, переводы из Ахматовой — свободным стихом. Я полностью на стороне Бродского и полагаю, что он в интересах искусства всего лишь требует от других той же строгости и упорства, какие всегда требует от себя. Я счастлив, что его старые переводы моих стихов будут наконец опубликованы. Мне хотелось бы лучше знать русский язык, чтобы прочесть себя самого в наилучшем виде.

**РИЧАРД УИЛБЕР**

---

[1] Переводы эти были подготовлены для «Иностранной литературы» в 1971 году. (*Прим. ред.*)

# ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС

# *Любовник леди Чаттерли*

РОМАН

*Перевод с английского И. БАГРОВА и М. ЛИТВИНОВОЙ*

## Глава 10

Теперь Конни часто оставалась одна, гости заезжали в Рагби реже. Клиффорду они больше не нужны. Даже своих закадычных друзей он не жаловал вниманием — сделался странным. Предпочитал общество радиоприемника — дорогой забавы по тем временам,— и не без успеха: даже здесь, в беспокойном сердце Англии, ему порой удавалось слушать Мадрид или Франкфурт.

Часами просиживал он в одиночестве перед истошным громкоговорителем. Конни лишь ошеломленно взирала, как муж с отрешенным и зачарованным лицом маньяка сидит перед приемником и вожделенно приемлет.

Впрочем, слышал ли он? Или, может, сидел в трансе, а в голове свершалась напряженная работа? Конни не знала наверное. В такие часы она затворялась у себя в комнате или убегала в лес. Порой ее охватывал ужас: все разумные существа на белом свете мало-помалу впадают в безумие.

Да, Клиффорд отдалялся все больше, поглощенный новой причудой — он вознамерился стать промышленником. И из существа разумного превращался едва ли не в тварь, с твердым панцирем и желейным нутром, в этакого рака или краба, коих наплодил современный промышленный и финансовый мир, удивительнейших представителей семейства беспозвоночных. Прочные, будто из стали, панцири — как кожухи станков — и студенистое тело. Конни не видела для себя никакого выхода.

Клиффорд отказывал ей даже в свободе, требуя, чтоб она постоянно была рядом. От страшной мысли, что жена может уйти, его била дрожь. Все его на удивление рыхлое, бесхребетное естество, все чувственное начало, вся его человеческая суть целиком и полностью зависели от Конни — так чудовищно беспомощен бывает ребенок или умственно неполноценный. И потому ее место — только в Рагби, в усадьбе должна быть хозяйка, а у Клиффорда — жена. Иначе он пропадет, как недоумок в болоте.

Конни почуяла эту удивительную зависимость и исполнилась ужаса. Она слышала, как он разговаривал с управляющими на шахтах, в совете директоров, с молодыми учеными; поразительно, как вникал Клиффорд в суть дела, как пользовался властью, а власть у него над деловыми людьми была прямо колдовская. Он и сам превратился в делового человека, точнее в хитроумного дельца, в могущественного хозяина. Конни считала, что превращением этим он обязан миссис Болтон — она оказалась рядом с Клиффордом в очень трудное для него переломное время.

---

Продолжение. Начало см. в № 9.

Но куда исчезали его хитрость, его практичный ум, когда он оставался наедине со своими чувствами? Клиффорд делался недоумком, боготворившим жену, почитавшим ее за высшее существо — так поклоняется божеству дикарь-язычник, поклоняется, трепеща от страха, ненавидя своего идола за всемогущество. Идолище страха. И от Конни он хотел лишь одного — клятвенного обещания не оставлять его, не предавать.

— Послушай, Клиффорд,— обратилась она к нему как-то (в то время у нее уже был ключ от сторожки),— а ты впрямь хочешь, чтоб я в один прекрасный день родила?

Он пристально посмотрел на нее: в голубых навыкате глазах мелькнула затаенная тревога.

— Я был бы не против, коль скоро это вреда не принесет.

— Какого вреда?

— Вреда нашим отношениям, вреда нашей любви. А если ребенок принесет раздор, то буду решительно возражать! И потом, не исключено, что со временем у нас и свой ребенок появится.

Конни ошеломленно воззрилась на него.

— То есть,— поправился он,— возможно, скоро ко мне вернутся силы.

Конни все смотрела на мужа, тому даже стало неловко.

— Значит, ты все-таки не хочешь, чтобы я родила? — проговорила она наконец.

— Повторяю,— тут же отозвался он (так сразу взлаивает собака, чуя беду),— я очень хочу ребенка, лишь бы не пострадала наша любовь. А если пострадает, то убей меня, я против.

Что возразить? У Конни стыла душа от страха и презрения. Мужнины слова — ровно лепет идиота. Он сам не понимает, что говорит.

— Не беспокойся, мои чувства к тебе не изменятся,— сказала она не без яда.

— Ну, вот и ладно! Это самое главное! — воскликнул он.— В таком случае я не возражаю. Наоборот: очень даже мило слышать, как по дому топочет малыш, сознавать ответственность за его будущее. Родишь ребенка, дорогая, и согласись, у меня появится цель в жизни. А твой ребенок — все равно что мой собственный. Ибо кто как не мать дает жизнь?! Ты-то, я надеюсь, это понимаешь. А меня вообще можно сбросить со счетов. Я — ноль. Вся моя значимость — в тебе! Так устроена жизнь. Ведь ты же это и сама знаешь! Видишь, каково мое положение. Без тебя я — ничто! Я живу ради тебя, ради твоего будущего. Сам по себе я — ноль.

Конни слушала, а в душе нарастали отвращение и ужас. Такая вот полуправда и отравляет человеческую жизнь. Найдется ли мужчина в здравом рассудке, чтобы говорить такое женщине! Но нынешние мужчины потеряли здравый рассудок. Останься у мужчины хоть капелька чести, неужели он возложит на женщину страшную ношу — ответственность за жизнь — и оставит ее в пустоте, без опоры и поддержки?

Дальше — больше. Через полчаса Конни услышала, как Клиффорд горячо — насколько хватало запала в его холодной натуре — изливал душу миссис Болтон, точно она была ему и любовницей, и матерью. А та заботливо облачала его в вечерний костюм — в усадьбе ждали важных деловых гостей.

В такие минуты Конни казалось, что она вот-вот умрет, ее раздавит непосильное бремя изощренного мужнина притворства и поразительных по жестокости и недомыслию признаний. Она благоговела и удивлялась его необъяснимой деловой хватке и страшилась его преклонения перед ней, слабой женщиной. Их ничто не связывало. В последнее время ни она, ни он даже не коснулись друг друга. Он больше не брал ее ласково за руку, не держал ее ладонь в своей. Но когда порвалась даже эта тонкая ниточка, он вдруг начал истязать ее своим поклонением. Жестокость

эта исходила от его полного бессилия. И Конни чувствовала: либо она тронется умом, либо умрет.

Как только выпадала возможность, она убегала в лес. Однажды за полдень она сидела подле Иоаннова ключа и задумчиво смотрела, как, пузырясь, бьет холодная струя. Вдруг к ней подошел егерь.

— Ваша милость, я выполнил заказ,— сказал он и козырнул.

— Большое вам спасибо! — смешавшись от неожиданности, поблагодарила Конни.

— Простите, в сторожке не очень-то чисто. Я прибрал там как мог.

— Право, я не хотела вас беспокоить.

— Какое там беспокойство. Через неделю посажу квочек яйца высиживать. Вас они не испугаются. Правда, мне придется по утрам и вечерам за ними присматривать, но я уж постараюсь вам не докучать.

— Да не будете вы мне докучать! — взмолилась она.— Скорее я вам работать помешаю, так что, может, мне в сторожке лучше и не появляться.

Он с любопытством взглянул на нее. Голубые глаза приветливы, но, как прежде, отчуждены. Но зато перед ней здравомыслящий, нормальный человек, хотя и исхудалый, и нездоровый на вид. Его бил кашель.

— Вы больны! — заметила Конни.

— Пустяки! Чуток простыл. Как-то воспаление легких схватил, с тех пор чуть что — кашляю. Но это пустяки!

По-прежнему он держался отчужденно и никак не шел на сближение.

Конни часто наведывалась в сторожку, когда утром, когда после обеда, но ни разу не заставала егеря. Очевидно, он сознательно избегал ее, старался уберечь свое уединение.

Он прибрал в сторожке, поставил у камина маленький стол и стул, сложил кучкой щепу для растопки и охапку дров. Убрал подальше инструменты и капканы, чтобы ничто не напоминало о нем. На поляне перед сторожкой устроил навес из веток и соломы, под ним — пять клетей с гнездами. А однажды, придя в сторожку, Конни увидела двух рыжих куриц — они ревниво и бдительно высиживали фазаньи яйца, важно распушив перья, утвердившись в исполненности своего материнского естества. Конни едва не заплакала. Никому-то она не нужна, ни как мать, ни как женщина. Какая она женщина — так, средоточие страхов.

Скоро занятыми оказались все пять гнезд, в них восседали три рыжие, пестрая и черная курицы. Нахохлились, нежно и бережно распушили перья, укрывая яйца,— инстинкт материнства присущ любой самке. Блестящие глаза-бусинки внимательно следили за Конни — она примостилась подле гнезд. Квочки сердито и резко вскудахтывали — самку, ждущую детеныша, лучше не сердить.

В сторожке Конни нашла банку с зерном, насыпала на ладонь, протянула курам. Лишь одна злобно клюнула ладонь. Конни даже испугалась. Но ей так хотелось угостить чем-нибудь наседок, ведь они не отлучались от гнезд ни поесть, ни попить. Она принесла воды в жестянке, одна наседка попила, и Конни обрадовалась.

Она стала заглядывать в сторожку каждый день. Наседки — единственные существа на свете, согревавшие ей душу. От мужниных клятвенных признаний она холодела с головы до пят. И от голоса миссис Болтон по спине бежали мурашки, и от разговоров «деловых» гостей. Даже редкие письма от Микаэлиса пронизывали ее холодом. Она чувствовала, что долго такой жизни не выдержит.

А весна меж тем брала свое. В лесу появились колокольчики, зелеными дождевыми капельками проклюнулись молодые листья на орешнике. Ужасно: наступает весна, а согреть душу нечем. Разве что куры, важно восседающие в гнездах, теплые, живые, исполняющие природное назначение. Конни казалось, что и ее разум вот-вот померкнет.

Однажды чудесным солнечным днем — в лесу под лещиной вовсю цвели примулы, а вдоль тропок выглянули фиалки — Конни пришла в сторожку и увидела, что у одного из гнезд вышагивает на тоненьких ножках крохотный фазаненок, а мама-клушка в ужасе зовет его обратно. В этом буром крапчатом комочке таилось столько жизни! Она играла, сверкала, как самый драгоценный алмаз. Конни присела и восторженно засмотрелась на птенца. Жизнь! Жизнь! У нее на глазах начиналась новая, чистая, не ведающая страха жизнь. Новая жизнь! Такое крохотное и такое бесстрашное существо! Даже когда, внимая тревожным призывам наседки, он неуклюже взобрался в гнездо и скрылся под материнским крылом, он не ведал страха. Для него это игра. Игра в жизнь. Вскоре маленькая остроконечная головенка высунулась из пышного золотисто-рыжего оперенья и уставилась на Конни.

Конни любовалась малышом и в то же время, как никогда мучительно остро, ощущала свою ненужность — ненужность женщины! Невыносимо!..

Лишь одно желание было у нее в те дни: поскорее уйти в лес, к сторожке. А все остальное в жизни — мучительный сон. Иногда, правда, ей приходилось целый день проводить в Рагби, исполнять роль гостеприимной хозяйки. В такие дни она чувствовала, как пуста ее душа, пуста и ущербна.

А однажды она сбежала из дома в пять часов, после чая, даже не узнав, ожидают ли вечером гостей. Она едва не бегом бежала через парк, словно боялась: вот-вот окликнут, вернут. Когда она дошла до леса, солнце уже садилось. Но закатный румянец будет еще долго играть в небе, поэтому Конни решительно пошла дальше, не замечая цветов под ногами.

К сторожке она прибежала раскрасневшись, запыхавшись, едва помня себя. Егерь, в одной рубашке, как раз закрывал клетки с выводком на ночь, чтоб их маленьким обитателям покойно спалось. Лишь три тонконогих птенчика бегали под навесом, не внимая призывному кудахтанью заботливых матерей.

— Мне непременно нужно увидеть малышей! — еще не отдышавшись, проговорила она и смущенно взглянула на егеря, хотя в эту минуту он для нее почти не существовал.— Сколько их уже?

— Пока тридцать шесть! Совсем неплохо! — ответил егерь.

Он тоже с необъяснимой радостью смотрел на новорожденных.

Конни присела перед крайней клеткой. Трое малышей тут же спрятались, выставив любопытные головки из-под золотистых материнских крыльев. Вот двое скрылись совсем, остался лишь один — на фоне пышного тела наседки темная головка его казалась маленькой бусинкой.

— Так хочется их потрогать! — Она робко просунула ладонь меж прутьями клетки. Наседка тут же яростно клюнула ладонь, и Конни, вздрогнув, испуганно отдернула руку.

— Ой! Больно! За что ж она меня так не любит? Ведь я их не обижу! — изумленно воскликнула она.

Егерь, стоявший подле нее, рассмеялся, присел, спокойно и уверенно, не торопясь, сунул руку в клетку. Старая курица хоть и клюнула его, но не так злобно. А он спокойно, осторожно, зарывшись пальцами в оперенье квочки, вытащил в горсти слабо попискивающего птенца.

— Вот, пожалуйста! — раскрыл ладонь и протянул его Конни. Она взяла щуплое, нежное существо обеими руками. Цыпленок попытался встать на тоненькие ножки, Конни чувствовала, как бьется сердце в этом почти невесомом тельце. Но вот малыш поднял красиво очерченную головку, смело, зорко огляделся и слабо пискнул.

— Какой прелестный! Какой отважный! — тихо проговорила Конни.

Егерь, присев на корточки рядом, тоже с улыбкой смотрел на маленького смельчака в руках Конни. Вдруг он заметил, как ей на запястье капнула слеза.

Он сразу же поднялся, отошел к другой клетке. Внезапно внутри

вспыхнуло и ударило в чресла пламя, которое, как он надеялся, потухло навеки. Он постарался справиться с искушением, отвернувшись от Конни. Но пламя не унималось, оно опускалось все ниже, оплетая колени.

Он вновь повернулся, взглянул на Конни. Она по-прежнему стояла на коленях у клетки, вытянув руки, очевидно, чтобы птенчику было удобнее перебраться к матери-наседке. И столько во всем ее облике невысказанной тоскливой неприкаянности, что все внутри у него перевернулось от жалости к ней.

Не сознавая, что делает, он быстро подошел, присел рядом, взял из ее рук птенца — она по-прежнему боялась наседкиного клюва — и посадил его в клетку. А пламя в паху все разгоралось и разгоралось.

Он с опаской поглядел на Конни. Она сидела, отвернувшись, закрыв глаза, выплакивая всю боль и одиночество своего поколения. Сердце у него дрогнуло, наполнилось теплом, словно кто заронил искру, он протянул руку, положил ей на колено.

— Не нужно плакать,— тихо проговорил он.

Она закрыла лицо руками — надломилось что-то в душе, а все остальное не столь важно.

Он положил руку ей на плечо и начал нежно-нежно гладить по спине, не понимая, что делает. Рука бессознательно двинулась вниз, дошла до ложбинки меж ягодицами и стала тихонечко, как в полусне, ласкать округлое бедро.

Конни отыскала скомканный носовой платок и принялась вытирать слезы. Она тоже ничего не видела вокруг.

— Может, зайдете в сторожку? — донесся до нее спокойный, бесстрастный голос егеря.

Обняв ее за плечо, он помог ей подняться и неспешно повел в сторожку. Только там снял руку с плеча, отодвинул в сторону стул, стол, достал из шкафчика с инструментами бурое солдатское одеяло, аккуратно расстелил на полу. Конни стояла как вкопанная и не сводила глаз с его лица — бледного и застывшего, как у человека, который смирился перед судьбой.

— Ложитесь,— тихо произнес он и закрыл дверь — в сторожке сразу стало темным-темно.

С необъяснимой покорностью легла она на одеяло. Почувствовала, как нежные руки, не в силах унять страстную дрожь, касаются ее тела. Вот рука на ощупь нашла ее лицо, стала осторожно поглаживать — с беспредельным, уверенным спокойствием. Вот щекой она почувствовала прикосновение губ.

Она лежала не шевелясь, словно в забытьи, словно в волшебном сне. Вдруг затрепетала — его рука, путаясь в складках одежды, неуклюже тянулась к застежкам. Но, найдя их, стала действовать умело и сноровисто. Медленно и осторожно освободил он ее от узкого шелкового платья, оставил его в ногах. Затем, не скрывая сладостного трепета, коснулся ее теплого тела, поцеловал в самый пупок. И, не в силах сдерживаться долее, овладел ею. И сразу же, вторгшись в ее нежную, словно спящую плоть, он исполнился почти что неземным покоем. Да, в близости с этой женщиной он испытал наивысший покой.

Она по-прежнему лежала недвижно, все в том же полузабытьи; отдала ему полностью власть над своим телом, и собственных сил уже не было. Его крепкие объятья, ритмичное движение тела и, наконец, его семя, упругой струей ударившее внутри,— все это согрело и убаюкало Конни. Она стала приходить в себя, лишь когда он, устало дыша, прильнул к ее груди.

Только сейчас у нее в сознании тускло промелькнула мысль: а зачем это все? Почему так вышло? Нужно ли это? Почему близость с этим человеком всколыхнула ее, точно ветер — облако, и принесла покой? Настоящее ли это чувство?

Современная женщина не в силах отключить разум, и бесконечные мысли — хуже всяких пыток. Так что ж это за чувство? Если отдаешь

себя мужчине всю, без остатка — значит, чувство настоящее; если душа твоя точно замкнутый сосуд — любая связь пуста и ничтожна. Конни чувствовала себя старой-престарой, прожившей миллионы лет. И душа ее как свинцом налилась — нет больше сил выносить самое себя. Нужно, чтобы кто-то разделил с ней эту ношу. Да, разделил ношу.

Мужчина рядом лежит молча. Загадка. Что он сейчас чувствует? О чем думает? Ей неведомо. Он чужой, она его пока не знает. И нужно лишь терпеливо дожидаться — нарушить столь загадочную тишину у нее не хватает духа. Он по-прежнему обнимал ее, она чувствовала тяжесть его потного тела, такого близкого и такого незнакомого. Но рядом с ним так покойно. Покойно лежать недвижно в его объятиях.

Конни поняла это, когда он пошевелился и отстранился от нее, точно покидал навсегда. Нашел в темноте ее платье, натянул ей до колен, встал, застегнулся и оправил одежду на себе. Потом тихо открыл дверь и вышел.

Конни увидела, что на верхушках дубов догорают закатные блики, а в небе уже стоит молодой серебряный месяц. Она вскочила, застегнула платье, проверила, все ли опрятно, и направилась к двери.

Кустарник подле дома уже сокрылся в сумеречных тенях. Но небо еще светло и прозрачно, хотя солнце и зашло. Егерь вынырнул из темных кустов, белое лицо выделялось в густеющих сумерках, но черт не разобрать.

— Ну что, пойдемте? — спросил он.

— Куда?

— Провожу до ворот усадьбы.

Наскоро прибравшись, он запер дверь и пошел вслед за Конни.

— Вы не жалеете, что так вышло? — спросил он, поравнявшись с ней.

— Нет! Нет! А вы?

— Нисколько! — И чуть погодя прибавил: — Хотя много всяких «но».

— Каких «но»? — не поняла Конни.

— Сэр Клиффорд. Все прочее. Да мало ли нервотрепки.

— Почему нервотрепки? — огорчилась Конни.

— Так уж испокон веков. И вам нервы помотают тоже. Испокон веков так.— И размеренно зашагал дальше.

— Значит, вы все-таки жалеете? — переспросила она.

— Отчасти,— взглянув на небо, ответил он.— Думал, что уж навсегда с этим разделался. И на тебе — все сначала!

— Что — все сначала?

— Жизнь.

— Жизнь?! — эхом повторила она, и голос дрогнул.

— Да, жизнь,— сказал он.— От нее не спрячешься. А если и удается тихую заводь найти, почитай, что и не живешь, а похоронил себя заживо. Ладно, если кому суждено снова мне душу всю разворотить, значит, так тому и быть.

Конни все представлялось по-иному, и все же...

— Даже если это любовь? — улыбнулась она.

— Что бы ни было,— ответил он.

Почти до самых ворот они шли по темному лесу молча.

— Я вам не противна? — спросила она задумчиво.

— Нет, конечно же нет! — И он вдруг крепко прижал ее к груди, страсть снова потянула его к этой женщине.— Нет, мне было хорошо, очень хорошо. А вам?

— И мне было хорошо,— немного слукавила она, ибо тогда почти ничего не чувствовала.

Он нежно-нежно поцеловал ее, нежно и страстно.

— Как жаль, что на свете так много других людей,— грустно заметил он.

Конни рассмеялась. Они подошли к калитке. Меллорс открыл, впустил Конни.

— Дальше я не пойду,— сказал он.

— Хорошо! — Она протянула на прощанье руку. Но он сжал ее в своих ладонях.

— Прийти ли мне еще? — неуверенно спросила она.

— Конечно! Конечно!

И Конни направилась через парк к дому.

Он отошел за ворота и долго смотрел ей вслед. Серые на горизонте сумерки сгущались подле дома, и в этой мгле все больше растворялась Конни. Она пробудила в нем едва ли не досаду: вроде бы совсем отгородился от жизни, а Конни снова вовлекает его в мир. Дорого придется ему заплатить — свободой, горькой свободой отчаявшегося человека. И нужно ему лишь одно: оставаться в покое.

Он повернулся и пошел темным лесом. Кругом спокойно, безлюдно, на небе уже властвует луна. И все-таки чуткое ухо улавливало ночные звуки: далеко-далеко на шахте чухают маленькие составы вагонеток, шуршат по дороге машины. Не спеша взлез он на плешивый пригорок. Оттуда видна долина: рядами бежали огоньки на «Отвальной», чуть поменьше — на «Тивершольской». Кучка желтых огней — в самой деревне. Повсюду рассыпались огни по долине. Совсем издалека прилетали слабые розоватые сполохи сталеплавильных печей. Значит, в эти минуты по желобу устремляется огненно-белая струя металла. «Отвальная» светит резкими, недобрыми электрическими огнями. В них — средоточие зла, хотя словами это не объяснить. В них — напряженная и суетливая рабочая ночь. Вот в подъемники на «Отвальной» загрузилась очередная партия углекопов — шахта работает в три смены.

Он снова нырнул во мрак леса: там уединение и покой. Нет, ничего подобного, он, похоже, пытается себя обмануть. Уединение его нарушается шумом шахт и заводов, злые огни вот-вот прорежут тьму, выставят его на посмешище. Нет, нигде не сыскать человеку покоя, нигде не спрятаться от суеты. Жизнь не терпит отшельников. А теперь, сблизившись с этой женщиной, он вовлек себя в новую круговерть мучений и губительства. Он знал по опыту, к чему это приводит.

И виновата не женщина, не любовь, даже не влечение плоти. Виновата жизнь, что вокруг: злобные электрические огни, адский шум и лязг машин. В царстве жадных механизмов и механической жадности, там, где слепит свет, льется раскаленный металл, оглушает шум улиц, и живет страшное чудовище, виновное во всех бедах, изничтожающее всех и вся, кто смеет не подчиниться. Скоро изничтожится и этот лес и не взойдут больше по весне колокольчики. Все хрупкие, нежные создания природы обратятся в пепел под огненной струей металла.

С какой нежностью вдруг вспомнилась ему женщина! Бедняжка. До чего ж обделена вниманием, а ведь красива, хоть и сама этого не понимает. И, уж конечно, не место такой красоте в окружении бесчувственных людей; бедняжка, душа у нее хрупка, как лесной гиацинт, не в пример нынешним женщинам: у тех души бесчувственные, точно из резины или металла. И современный мир погубит ее, непременно погубит, как и все, что по природе своей нежно. Да, нежно! В душе этой женщины жила нежность, сродни той, что открывается в распустившемся гиацинте; нежность, неведомая теперешним пластмассовым женщинам-куклам. И вот ему выпало ненадолго согреть эту душу теплом своего сердца. Ненадолго, ибо скоро ненасытный бездушный мир машин и мошны сожрет и их обоих.

Он пошел домой, ружье за спиной да собака — вот и все его спутники. В доме темно. Он зажег свет, затопил камин, собрал ужин — хлеб, сыр, молодой лук да пиво. Он любил посидеть один, в тишине. В комнатке чистота и порядок, только уюта недостает. Впрочем, ярко горит огонь в камине, светит керосиновая лампа над столом, застеленным белой клеенкой. Он взялся было за книгу об Индии, но сегодня что-то

не читалось. Сняв куртку, присел к камину, но, изменив привычке, не закурил, а поставил рядом кружку пива. И задумался о Конни.

По правде говоря, он жалел о случившемся. Ему было страшно за нее. Бередили душу дурные предчувствия. Нет, отнюдь не сознание содеянного зла или греха. Из-за этого совесть его не мучила. Ибо что такое совесть, как не страх перед обществом или страх перед самим собой. Себя он не боялся. А вот общества — и это он сознавал отчетливо — нужно бояться. Чутье подсказывало, что общество — чудовище злобное и безрассудное.

Вот если б на всем белом свете остались только двое: он и эта женщина! Снова всколыхнулась страсть, птицей встрепенулось его естество. Но вместе с этим давил, гнул к земле страх — нельзя показываться Чудищу, что злобно таращится электрическим глазом. Молодая страдалица виделась ему лишь молодой женщиной, которой он овладел и которую возжелал снова.

Он потянулся, зевнул (неужели зевают и от страсти?). Вот уже четыре года живет отшельником — ни мужчины, ни женщины рядом. Он встал, снова надел куртку, взял ружье, прикрутил фитиль в лампе и вышел; на темном небе горели россыпи звезд. Собака увязалась следом. Страсть и страх перед злокозненным Чудищем погнали его из дома. Медленно, неслышно обошел он лес. Так приятно укрываться в ночи, прятать переполняющую его страсть, прятать, точно сокровище. И тело его чутко внимало чувству, в чреслах вновь занимался огонь! Эх, если б у него нашлись соратники, чтоб одолеть сверкающее электрическое чудище, чтоб сохранить нежность жизни, нежность женщин и дарованные природой богатства — чувства. Если б только у него нашлись соратники! Увы, все мужчины там, в мире суеты, они гордятся Чудищем, ликуют, а жадные механизмы и механическая жадность сокрушают людей.

Констанция же спешила тем временем через парк домой и ни о чем не задумывалась. Пока не задумывалась. Успеть бы к ужину.

У входа она досадливо поморщилась: дверь заперта, придется звонить. Открыла ей миссис Болтон.

— Наконец-то, ваша милость! Я уж подумала, не заблудились ли вы? — игриво защебетала она.— Сэр Клиффорд, правда, еще о вас не справлялся. У него в гостях мистер Линли, они сейчас беседуют. Вероятно, гость останется на ужин?

— Вероятно,— отозвалась Конни.

— Прикажете задержать ужин минут на пятнадцать? Чтобы вы успели не торопясь переодеться.

— Да, пожалуйста.

Мистер Линли — главный управляющий шахтами,— пожилой северянин, по мнению Клиффорда, недостаточно напорист. Во всяком случае по теперешним, послевоенным, меркам и для работы с теперешними шахтерами, которым главное — «не особенно надрываться». Самой Конни мистер Линли нравился, хорошо, что приехал без льстивой жены.

Линли остался отужинать, и Конни изобразила столь любимую мужчинами хозяйку: скромную, предупредительную и любезную, в больших голубых глазах — смирение и покой, надежно скрывающие истинное состояние. Так часто приходилось играть эту роль, что она стала второй натурой Конни, ничуть не ущемляя натуру истинную. Очень странно: во время «игры» из сознания Конни все остальное улетучивалось.

Она терпеливо дожидалась, пока сможет подняться к себе и предаться наконец своим мыслям. Похоже, долготерпение — самая сильная ее сторона.

Но и у себя в комнате она не смогла сосредоточиться, мысли путались. Что решить, как ей быть? Что это за мужчина? Впрямь ли она ему понравилась? Не очень, подсказывало сердце. Да, он добр. Теплая, простая доброта, нежданная и внезапная, подкупила не столько ее душу,

сколько плоть. Но как знать, может, и с другими женщинами он добр, как и с ней? Пусть, все равно, ласка его чудесным образом успокоила, утешила. И сколько в нем страсти, крепкого здоровья. Может, не хватает ему самобытности, ведь к каждой женщине нужен свой ключ. А он, похоже, одинаков со всеми. Для него она всего лишь женщина.

Может, это и к лучшему. В конце концов, он в отличие от других мужчин увидел в Конни женщину и приласкал. Прежде мужчины видели в ней лишь человека, а женского начала попросту не замечали или, того хуже,— презирали. С Констанцией Рид, или леди Чаттерли, мужчины были чрезвычайно любезны, а вот на ее плоть любезности не хватало. Этот же мужчина увидел в ней не Констанцию, или леди Чаттерли, а женщину — он гладил ее бедра, грудь.

Назавтра она снова пошла в лес. День выдался тихий, но пасмурный. У зарослей лещины на земле уже показался сочно-зеленый пушок, деревья молча тужились, выпуская листья из почек. Она чувствовала это всем своим телом: накопившиеся соки ринулись вверх по могучим стволам к почкам и дали силу крохотным листочкам, огненно-бронзовым капелькам. Словно полноводный поток устремился вверх, к небу, и напитал кроны деревьев.

Она вышла на поляну, но егеря там не было. Да она и не очень-то надеялась встретить его. Фазанята уже выбирались из гнезд и носились, легкие как пушинки, по поляне, а рыжие куры в гнездах тревожно кудахтали. Конни села и принялась ждать. Просто ждать. Она смотрела на фазанят, но вряд ли видела их. Она ждала.

Время едва ползло, как в дурном сне. Егеря все не было. Да она и не очень-то надеялась встретить его. После обеда он обычно не приходил. А ей пора домой, к чаю. Как ни тяжко, нужно идти.

По дороге ее захватило дождем.

— Что, снова льет? — спросил Клиффорд, увидев, что жена отряхивает шляпу.

— Да нет, чуть моросит.

Чай она пила молча, поглощенная своими мыслями. Как хотелось ей увидеть сегодня егеря, убедиться, что все — самая взаправдашняя правда.

— Хочешь, я почитаю тебе? — спросил Клиффорд.

Она взглянула на мужа. Неужели что-то почуял?

— Весной со мной всегда непонятное творится. Пожалуй, я немного полежу.

— Как хочешь. Надеюсь, ты не заболела?

— Ну что ты. Просто сил нет — так всегда по весне. Ты позовешь миссис Болтон поиграть в карты?

— Нет. Лучше я послушаю радио.

И в его голосе ей почудилось недовольство. Она поднялась в спальню. Услышала, как заверещал приемник — дурацким бархатно-въедливым голосом диктор распространялся об уличных зазывалах и сам весьма усердствовал: любой глашатай стародавних времен позавидует. Конни натянула старый лиловый плащ и шмыгнула из дома через боковую дверь.

Изморось кисеей накрыла все вокруг — в парке таинственно, тихо и совсем не холодно. Она шла быстро, ей даже стало жарко — пришлось распахнуть легкий дождевик.

Лес стоял под теплым вечерним дождем, молчаливый, спокойный, загадочный; зарождается жизнь и в птичьих яйцах, и в набухающих почках, и в распускающихся цветах. Деревья голые, черные, словно сбросили одежды, зато на земле уже выстлался зеленый-зеленый ковер.

На поляне по-прежнему никого. Птенцы укрылись под крыльями квочек, лишь два-три самых отчаянных бродили по сухому пятачку под соломенным навесом. На ножках держались они еще неуверенно.

Итак, егерь не объявлялся. Значит, нарочно обходил сторожку. А может, что случилось? Может, наведаться к нему домой?

Видно, ей на роду написано ждать. Своим ключом она отперла дверь. В сторожке чисто. В банке — зерно, в углу — аккуратно сложена свежая солома. На гвозде висит фонарь-«молния». Стол и стул на том месте, где вчера лежала она.

Конни села на табурет у двери. Как все покойно! По крыше шуршит дождь, на окне — паутина мелких капель, ни ветерка. В сторожке и в лесу тихо. Богатырями высятся деревья, темные в сумеречных тенях, молчаливые, полные жизни. Все вокруг живет!

Скоро ночь, значит, пора уходить. Егерь, видно, избегает ее.

И тут он неожиданно появился на поляне, в черной клеенчатой куртке, какие носят шоферы, блестящей от дождя. Взглянул на сторожку, приветственно поднял руку и круто повернул к клеткам. Молча присел подле них, внимательно оглядел, тщательно запер на ночь. И только потом подошел к Конни. Она все сидела на табурете у порога. Он остановился у крыльца.

— Значит, пришли! — по-местному тягуче проговорил он.

— Пришла! — Она посмотрела ему в лицо.— А вы что-то припоздали.

— Да уж...— И он отвел взгляд в сторону леса.

Она медленно встала, отодвинула табурет и спросила:

— А вы хотели прийти?

Он пытливо посмотрел на нее.

— А что люди подумают? Дескать, чего это она наладилась сюда по вечерам?

— Кто что подумает? — Конни растерянно уставилась на егеря.— Я ж вам сказала, что приду. А больше никто не знает.

— Значит, скоро узнают. И что тогда?

Она снова растерялась и ответила не сразу:

— С чего бы им узнать?

— А о таком всегда узнают,— обреченно ответил он.

Губы у нее дрогнули.

— Что ж поделать,— запинаясь, пробормотала она.

— Да ничего. Разве что не приходить сюда... если будет на то ваша воля,— прибавил он негромко.

— Не будет,— еще тише ответила она.

Он снова отвел взгляд, помолчал.

— Ну, а когда все-таки узнают? — наконец спросил он.— Подумайте хорошенько. Вас с грязью смешают: надо ж, с мужниным слугой спуталась.

Она взглянула на него, но он по-прежнему смотрел на деревья.

— Значит ли это...— она запнулась,— значит ли это, что я вам неприятна?

— Подумайте! — повторил он.— Прознают люди, сэр Клиффорд, пойдут суды-пересуды.

— Я могу и уехать.

— Куда?

— Куда угодно. У меня есть свои деньги. От мамы мне осталось двадцать тысяч, я уверена, Клиффорд к ним не притронется. Так что я могу и уехать.

— А если вам не захочется?

— Мне все равно, что со мной будет.

— Это так кажется! Совсем не все равно! Безразличных к своей судьбе нет, и вы не исключение. Не забудете вы, ваша милость, что связались с егерем. Будь я из благородных — дело совсем иное. А так — как бы вам жалеть не пришлось.

— Не придется. На что мне всякие титулы! Терпеть их не могу! Мне кажется, люди всякий раз насмехаются, обращаясь ко мне «ваша милость». И впрямь ведь насмехаются! Даже у вас и то с насмешкой выходит.

— У меня?!

Впервые за вечер он посмотрел ей прямо в лицо.

— Я над вами не насмехаюсь.

И она увидела, как потемнели у него глаза, расширились зрачки.

— Неужто вам все равно, даже когда вы так рискуете? — Голос у него вдруг сделался хриплым.— Подумайте. Подумайте, пока не поздно.

В словах его удивительно сочетались угроза и мольба.

— Ах, да что мне терять,— досадливо бросила Конни.— Знали б вы, чем полнится моя жизнь, поняли б, что я рада со всем этим расстаться, но, быть может, вы боитесь за себя?

— Да, боюсь! — резко заговорил он.— Боюсь! Всего боюсь.

— Например?

Он лишь дернул головой назад — дескать, вон, кругом все страхи.

— Всего боюсь! И всех! Людей!

И вдруг нагнулся, поцеловал ее печальное лицо.

— Не верьте. Мне тоже наплевать. Будем вместе, и пусть все катятся к чертовой бабушке. Только бы вам потом жалеть не пришлось!

— Не отказывайтесь от меня,— истово попросила она.

Он погладил ее по щеке и снова поцеловал — опять так неожиданно — и тихо сказал:

— Тогда хоть пустите меня в дом. И снимайте-ка плащ.

Он повесил ружье, стащил с себя мокрую куртку, полез за одеялами.

— Я еще одно принес. Так что теперь есть чем укрыться.

— Я совсем ненадолго,— предупредила Конни.— В половине восьмого ужин.

Он взглянул на нее, тут же перевел взгляд на часы.

— Будь по-вашему.— Запер дверь, зажег маленький огонек в фонаре.— Ничего. Мы свое еще возьмем, успеется.

Он аккуратно расстелил одеяла, одно скатал валиком ей под голову. Потом присел на табурет, привлек Конни к себе, обнял одной рукой, а другой принялся гладить ее тело. Она почувствовала, как у него перехватило дыхание. Под плащом на Конни были лишь нижняя юбка да сорочка.

— Да такого тела и коснуться — уже счастье! — прошептал он, нежно оглаживая ее торс — кожа у Конни была шелковистая, теплая, загадочная. Он приник лицом к ее животу, потерся щекой, стал целовать бедра. Она не могла взять в толк, что приводит его в такой восторг, не понимала красы, таившейся в ней, красы живого тела, красы, что сама — суть восторг! И откликается на нее лишь страсть. А если страсть спит или ее нет вообще, то не понять величия и великолепия тела, оно видится едва ли не чем-то постыдным. Она ощущала, как льнет его щека то к ее бедрам, то к животу, то к ягодицам. Чуть щекотали усы и короткие мягкие волосы. У Конни задрожали колени. Внутри все сжалось — будто с нее сняли последний покров. «Зачем, зачем он так ласкает? — в страхе думала она.— Не надо бы». Его ласки заполоняли ее, обволакивали со всех сторон. И все же она напряженно выжидала.

Но вот он вторгся в ее плоть, неистово, жадно, словно торопился сбросить тяжкое бремя, и сразу исполнился совершенным покоем; она все выжидала, чувствуя себя обойденной. Отчасти сама виновата: внушила себе эту отстраненность. Теперь, возможно, всю жизнь страдать придется. Она лежала не шевелясь, чувствуя глубоко внутри биение его сильной плоти. Вот его пронзила дрожь, струей ударило семя, и мало-помалу напряжение стало спадать. Как смешно напрягал он ягодицы, стараясь глубже внедриться в ее плоть. Да, для женщины, да еще причастной ко всему этому, сокращение ягодиц, да и все телодвижения мужчины кажутся в высшей степени смешными. Да и сама поза мужчины, и все его действия так смешны!

Однако Конни лежала не шевелясь, и душа ее не корчилась от омерзения. И когда он кончил, она даже не попыталась возобладать над

ним, чтобы самой достичь удовлетворения (как некогда с Микаэлисом). Она лежала не шевелясь, и по щекам у нее катились слезы.

Он тоже лежал тихо, но по-прежнему крепко обнимал ее, старался согреть ее худые голые ноги меж своими. Тесно прижавшись к ней, он отдавал ей свое тепло.

— Замерзла? — прошептал он нежно, как самой близкой душе. А душа эта меж тем была далеко, чувствуя себя обойденной.

— Нет. Мне пора,— тихо отозвалась она.

Он вздохнул, еще крепче обнял и отпустил. О том, что она плакала, он и не догадывался. Он думал, что она здесь, рядом, не только телом, но и душой.

— Мне пора,— повторила она.

Он приподнялся и, стоя на коленях, поцеловал ей ноги. Потом оправил на ней юбку, застегнул одежду на себе. Делал он все механически, даже не глядя по сторонам — фонарь на стене слабо освещал его.

— Заглядывай ко мне, когда захочется,— сказал он, глядя на нее сверху вниз, и лицо у него было ласковое, покойное и уверенное.

Конни недвижно лежала на полу, смотрела на егеря и думала: нет, этот мужчина чужой, чужой! В душе даже шевельнулась неприязнь.

Он надел куртку, поднял упавшую шляпу, повесил на ружье.

— Ну же, вставай! — И взгляд его был все так же ласков и покоен.

Она медленно поднялась. Ей не хотелось уходить. Но и оставаться тошно. Он накинул ей на плечи тонкий плащ, оправил его. Потом открыл дверь. За порогом уже стемнело. Собака у крыльца вскочила и преданно уставилась на хозяина. С мглистого неба сыпал унылый дождь. Близилась ночь.

— Может, мне фонарь засветить? — спросил егерь.— Все равно в лесу никого нет.

Он шагал впереди, освещая узкую тропу фонарем, держа его низко, над блестящей от дождя травой, над свитыми в змеиный клубок корневищами, над поникшими цветами. А все вокруг за кисеей измороси тонуло в кромешной тьме.

— Заглядывай в сторожку, когда захочется,— повторил он.— Хорошо? Все одно: семь бед — один ответ.

Сколь удивительна и непонятна его ненасытная тяга к ней. Ведь их же, по сути, ничто не связывало. Он толком ни разу с ней не поговорил. А то, что он говорил, резало слух Конни (хотя в душе она сопротивлялась) — грубостью, просторечием. Это его «заглядывай ко мне», казалось, обращено не к ней, Конни, а к простой бабе. Вот под лучом фонаря мелькнули листья наперстянки, и Конни сообразила, где они находятся.

— Сейчас четверть восьмого,— успокоил он,— ты успеешь.

Почувствовав, что его речь отвращает ее, он заговорил по-иному. Вот и последний поворот аллеи, сейчас покажутся заросли орешника, а за ними — ворота. Он потушил фонарь.

— Здесь уже не заблудимся,— сказал он и ласково взял ее под руку.

Идти в темноте трудно, не угадать, что под ногами — кочка или рытвина. Егерь шел едва ли не на ощупь — ему не привыкать — и вел ее за собой. У ворот он дал ей свой электрический фонарик.

— В парке-то хоть и не так темно, все ж возьми, вдруг с тропинки собьешься.

И верно, деревья в парке росли реже, и меж ними курилась серебристо-серая призрачная дымка. Вдруг егерь привлек Конни к себе, сунул холодную, мокрую руку ей под плащ и принялся гладить ее теплое тело.

— За то, чтоб такой женщины, как ты, коснуться, жизни не пожалею.— Голос у него сорвался.— Подожди, ну хоть минутку подожди.

И вновь она почувствовала его неуемную страсть.

— Нет-нет, мне и так бегом придется бежать.— Конни даже слегка испугалась.

— Понимаю,— кивнул он, понурился и отпустил ее.

Она уже на ходу вдруг задержалась на мгновенье и обернулась:

— Поцелуй меня.

Во тьме его было уже не различить, она лишь почувствовала, как его губы коснулись левого глаза. Чуть отвела голову, нашла его губы своими, и он скоро и нежно поцеловал ее. Раньше он терпеть не мог целоваться в губы.

— Я приду завтра,— пообещала она отходя,— если смогу.

— Хорошо! Только не так поздно,— донеслось до нее из тьмы. Мглистая ночь поглотила егеря.

— Спокойной ночи! — попрощалась она.

— Спокойной ночи, ваша милость! — откликнулась мгла.

Конни остановилась, пристально вглядываясь в дождливую ночь. Но разглядела лишь темный силуэт егеря.

— Почему ты так сказал? — спросила она.

— Да так,— донеслось до нее.— Покойной ночи. Тебе нужно спешить.

И она нырнула в кромешную мглу. Боковая дверь дома оказалась открытой, и ей удалось незаметно прошмыгнуть наверх. Не успела она закрыть за собой дверь, как прозвучал гонг — пора ужинать. Нет, сперва она примет ванну, нужно непременно принять ванну. «Ни за что больше не буду опаздывать! — пообещала она самой себе.— Только нервы трепать».

На следующий день она не пошла в лес, а поехала с Клиффордом в Атуэйт. Изредка он позволял себе выезжать с усадьбы. Шофером у него служил крепкий парень, способный в случае надобности вынести хозяина из машины. Клиффорду вдруг захотелось повидать своего крестного отца, Лесли Уинтера. Он жил в усадьбе Шипли неподалеку от Атуэйта. Был он уже очень немолод, богат — из тех шахтовладельцев, кто процветал при короле Эдуарде. Его величество и сам наведывался в Шипли поохотиться. Сердце усадьбы — старинный дом, изукрашенный лепниной, со вкусом обставленный: мистер Уинтер жил холостяком и весьма гордился убранством дома. Впечатление портили только бесчисленные шахты окрест. Клиффорда он любил, но особого уважения как к писателю не питал — уж слишком часто мелькали в газетах и журналах имя и фотографии крестника. Старик, как неколебимый эдвардианец, считал, что жизнь есть жизнь и всякие щелкоперы к ней касательства не имеют. С Конни старый джентльмен держался неизменно любезно. Он считал ее красивой, скромной женщиной, и жизнь ее с Клиффордом, конечно же, лишена смысла. Весьма прискорбно, что ей не доведется дать жизнь наследнику Рагби. У самого Уинтера наследника не было.

Интересно, думала Конни, что старик скажет, узнай он о ее связи с мужниным егерем, который предлагает «заглянуть в сторожку когда захочется». Наверное, поморщится с досады. Он не выносил, когда чернь тщилась попасть «из грязи в князи». Будь у нее любовник ее круга, он бы и словом не попрекнул: ведь у Конни такой дар — женственность в сочетании со скромностью и смирением, именно в этом ее суть. Уинтер звал ее «милая моя девочка» и буквально навязал ей в подарок красивую миниатюру, портрет дамы в костюме восемнадцатого века.

Конни невольно сравнивала каждого с егерем. Вот мистер Уинтер — настоящий джентльмен, светский, воспитанный человек, относится к ней как к личности, выделяет ее среди прочих, для него она не просто одна из тысячи обыкновенных женщин, он не позволит себе обратиться к ней на «ты».

Не пошла она в лес и через день, и через два. Пока он ждет ее, пока вожделеет (как ей представлялось), она не пойдет. Однако на четвертый день она не находила себе места, ее охватила тревога. Нет, все

равно не пойдет в лес, не отдаст свое тело этому мужчине. Надо себя чем-то занять: поехать ли в Шеффилд, навестить ли кого. Однако даже думать об этом невыносимо. Наконец она решила прогуляться, но пошла не к лесу, а в противоположную сторону — через железные воротца в другом конце парка. Тихий, пасмурный весенний денек, совсем не холодно. Она шла, погрузившись в раздумья, ненарочные, неосознанные. Шла, ничего не замечая вокруг. Но вот залаяла собака, и Конни от неожиданности вздрогнула — она забрела во владения соседей, на ферму Мэрхей. Их пастбища примыкали к парку Рагби. Давненько Конни сюда не забредала.

— Милка! — позвала она большого белого бультерьера.— Милка! Ты меня не узнала? Неужели забыла?

Конни боялась собак. Милка чуть отступила и продолжала неистово лаять. Не пройти Конни к охотничьему заповеднику.

Вышла миссис Флинт, ровесница Констанции, в прошлом — учительница. Конни она не нравилась, чувствовалась в ней неискренность.

— Никак, леди Чаттерли! Надо ж! — Глаза у миссис Флинт заблестели, она смущенно, по-девичьи зарделась.— Эх, Милка! Как не стыдно лаять на леди Чаттерли! Ну-ка, замолчи! — Она подбежала к собаке и огрела ее тряпкой. Только потом подошла к Конни.

— Раньше она меня признавала,— заметила Конни, пожимая руку соседке. Семья Флинтов арендовала у Чаттерли землю.

— Да она и сейчас вас помнит. Просто норов показывает,— расплывшись в улыбке, не сводя с Конни чуть смущенного взгляда, сказала миссис Флинт.— Да и впрямь, давненько она вас не видела. Надеюсь, вы себя лучше чувствуете?

— Благодарю вас. Я здорова.

— Мы ведь всю зиму вас, можно сказать, и не видели. Не соизволите ли в дом, я вам свою малышку покажу.

— Хорошо, зайду. Но только на минутку.

Миссис Флинт ринулась вперед — наводить порядок, Конни медленно пошла следом; войдя на кухню, нерешительно остановилась. На плите в чайнике кипела вода. Подоспела миссис Флинт.

— Вы уж меня простите, ради Бога. Заходите, пожалуйста.

Они вошли в комнату. Перед камином на коврике сидела маленькая девочка. Стол на скорую руку накрыт к чаю. Неуклюжая и робкая молодая служанка спряталась в коридоре. Малышка была бойкой, рыжеволосой — в отца, с голубыми пытливыми глазами и явно не из пугливых. Она сидела меж подушек, на полу валялись тряпичные куклы и, как теперь принято в семьях, множество игрушек.

— Ой, какая славная девочка! И как выросла! Совсем большая!

Когда малышка появилась на свет, Конни подарила ей шаль, а к Рождеству — целлулоидных утят.

— Ну-ка, Джозефина, посмотри, кто к нам пришел! Кто это, а? Это леди Чаттерли, ты ее узнала?

Отважная кроха беззастенчиво уставилась на Конни — в дворянских титулах она пока не разбиралась.

— Иди ко мне, маленькая! Ну? — и Конни протянула руки.

Девочке, очевидно, было все равно. Конни подхватила ее с пола и усадила к себе на колени. До чего ж приятно чувствовать теплое, нежное тельце, трогать мягкие ручонки, безотчетно сучащие ножки!

— Я только что села чаю попить. Люк уехал на рынок, вот я свободой и пользуюсь. Выпейте со мной чашечку, а? Вы, конечно, не к такому чаю привыкли, но все ж не откажите.

Конни не отказала, хотя ее и укололо замечание хозяйки — мало ли, какой чай она пьет. Миссис Флинт принялась накрывать на стол заново, выставила лучшие чашки, самый нарядный чайник.

— Только вы, Бога ради, не хлопочите,— попросила Конни.

Но для миссис Флинт в этих хлопотах — самая радость. Конни забавлялась с малышкой. Поразительно: такая кроха, а уже проснулось

женское своеволие. Конни доставляло поистине чувственное наслаждение это маленькое, теплое тельце. Новая жизнь! Такая беззащитная, а потому и не ведающая страха! А взрослых страх держит в узилище! Она выпила чашку крепкого чаю, съела ломоть вкусного хлеба с маслом и вареньем из чернослива. Миссис Флинт и стыдливо краснела, и сияла от счастья, и волновалась, точно перед ней не Конни, а храбрый рыцарь. Они разговорились, разговор получился задушевный, истинно женский, и обе остались довольны.

— Вы уж простите за плохой чай,— вздохнула миссис Флинт.

— Что вы! Он много вкуснее, чем дома! — ответила Конни и не слукавила.

— Ну уж! — Миссис Флинт, конечно, не поверила.

Но вот Конни поднялась.

— Мне пора,— сказала она.— Муж знать не знает, где меня искать. Еще подумает что-нибудь.

— Ему и в голову не придет, что вы у нас.— Миссис Флинт возбужденно хохотнула.— Придется ему по всей округе гонцов рассылать.

— До свидания, Джозефина.— Конни поцеловала малышку и взъерошила рыжие жесткие кудерьки.

Миссис Флинт по столь торжественному случаю бросилась открывать наглухо запертую и заставленную вещами парадную дверь, что выводила в палисадник, огороженный кустами бирючины. По обеим сторонам тропинки рядами выстроились пышные бархатные примулы-аврикулы.

— Какие красивые! — похвалила Конни.

— Мой Люк их примусы называет,— рассмеялась миссис Флинт.— Возьмите-ка с собой.

И принялась с готовностью срывать лимонно-желтые, с пушком, цветы.

— Хватит! Хватит! — остановила ее Конни.

Они подошли к садовой калитке

— Вы каким путем пойдете? — поинтересовалась миссис Флинт.

— Через заповедник.

— Подождите, посмотрю, загнали коров или нет. Нет еще. Ворота заперты, вам придется через ограду перелезать.

— Ничего, перелезу.

— Давайте-ка я вас хоть до загона провожу.

Они пошли по скудной — после кроличьих набегов — лужайке. В лесу птицы уже завели радостные вечерние песни. Пастух скликал отбившихся коров, и они медленно возвращались по исхоженной, с проплешинами луговине.

— Припоздали они сегодня с доением,— с упреком заметила миссис Флинт,— пользуются тем, что Люк затемно вернется.

Они подошли к ограде, за которой топорщил иголки молодой густой ельник. Калитка оказалась запертой. С другой стороны на траве стояла пустая бутылка.

— Это егерь оставил, для молока,— пояснила миссис Флинт. Мы ему сюда молоко носим, а он потом забирает.

— Когда?

— Да когда ему случится мимо идти. Чаще по утрам. Ну что ж! До свидания, леди Чаттерли! Приходите, не забывайте. Мы вам всегда рады.

Конни перелезла через ограду и оказалась на тропе меж густых молодых елей. А миссис Флинт бегом поспешила через пастбище домой. На голове у нее была смешная, старомодная шляпка, одно слово — учительница. Конни не понравился молодой ельник: очень мрачно, и дышать тяжело. Она ускорила шаг и опустила голову. Вспомнилась дочурка миссис Флинт. До чего ж милое дитя. Правда, ноги кривоваты — в отца. Уже сейчас заметно, хотя, может, с годами выправится. Как греет сердце ребенок! Как полноценна жизнь матери! И как

бесстыдно миссис Флинт хвастала своим материнством! У нее есть то, чего нет и скорее всего никогда не будет у Конни. Да, миссис Флинт гордилась, и еще как! И Конни — совсем против воли — позавидовала ей, пусть чуть-чуть, но позавидовала.

Вдруг она вздрогнула и даже вскрикнула от страха. На тропе стоял мужчина! Стоял недвижно, упрямо, точно Валаамова ослица, и преграждал ей путь. Это был егерь.

— Ты как здесь очутилась? — изумленно спросил он.

— А ты как? — еще не отдышавшись, прошептала Конни.

— Ты откуда? Из сторожки?

— Нет. Я была на ферме Мэрхей.

Он внимательно, испытующе посмотрел на нее, и она виновато потупилась.

— А сейчас куда? В сторожку? — сурово спросил он.

— Нет. Уже некогда. Я просидела у соседей, а дома не знают, где я. И так опаздываю. Впору бегом бежать.

— Ты меня избегаешь, что ли? — насмешливо спросил он.

— Нет, что ты! Мне только...

— Только что? — оборвал ее егерь. Подступил к ней, обнял. Она почувствовала, как он прижимается животом к ее телу, как шевелится, пробуждается его ненасытная плоть.

— Нет, не надо! Не сейчас! — выкрикнула она, отталкивая его.

— Почему ж не сейчас? Только шесть. Еще есть полчаса. Не уходи! Не уходи! Мне без тебя плохо.

Он еще крепче обнял ее, и она почувствовала, сколь велико его желание. Первое побуждение Конни, укоренившееся с юности,— бороться. Вырваться на свободу. Но странное дело: что-то удерживало, не пускало, точно внутри тяжелые гири. Она чувствовала нетерпение его плоти, и сил бороться уже не осталось.

Егерь огляделся.

— Пойдем! Пойдем вон туда!— он углядел в чаще ельника прогалину с совсем юными деревцами. И позвал взглядом Конни. Но во взгляде его, неистовом и горячем, она не нашла любви. Впрочем, силы уже покинули ее. Ни шагу ступить, ни руки поднять. Она подчинилась ему.

Меллорс потащил ее сквозь колючий, стеной стоявший ельник. С трудом добрались они до прогалины, нашли кучу валежника. Егерь разворошил ее, расстелил куртку и жилет, сам остался в рубашке и брюках. Он застыл, точно зверь перед прыжком, и взгляд — точно у загнанного судьбой зверя. Но звериную страсть свою смирил: бережно-бережно помог ей лечь. Конни словно окаменела, и, раздевая ее в нетерпении, Меллорс порвал застежки.

Распахнул рубашку, и Конни почувствовала прикосновение его голой груди. С минуту он лежал на женщине не шевелясь, тело его напряглось и подрагивало. Потом неистово заходило вверх-вниз. И, не в силах сдержать накопившееся сладострастие, он почти тут же разрядил себя. Как чутко Конни вняла этому: во чреве одна за другой покатились огненные волны. Нежные, легкие, ослепительно-сверкающие; они не жгли, а плавили внутри — ни с чем не сравнимое ощущение. И еще: будто звенят-звенят колокольчики, все тоньше, все нежнее — так что вынести невмоготу. Конни даже не слышала, как вскрикнула в самом конце. Но до чего ж быстро — слишком быстро! — все разрешилось. Раньше она попыталась бы своими силами достичь удовлетворения, однако сейчас все совсем по-другому. Непослушны руки, неподвластно тело — не получится у нее больше использовать мужчину как орудие. Ей остается лишь ждать смиренно и, чувствуя, как внутри убывает и слабеет его плоть, лишь горестно стенать про себя. И вот настает ужасный миг — тела уже разъяты, а все ее естество еще нежно внемлет чудесному гостю, взывает ему вслед — так актиния, эта морская хризантема, каждым лепестком тянется за убывающей в отлив водой: вернись, вернись, напои меня и насыть! Конни бессознательно подалась вперед, снова прильнув к телу

мужчины, и он застыл, долее не отстраняясь! Конни вновь почувствовала в себе его плоть. Словно внутри постепенно распускался прекрасный цветок — наливался силой и врастал в глубь ее чрева, все дальше и дальше, заполняя все вокруг. И не чувствует уже Конни, как ритмично движется тело мужчины, снова волна за волной накатывает блаженство и все полнее и мощнее; они достают до сокровеннейших уголков плоти и души, и вот уже волны эти захлестнули, поглотили без остатка, и крики, безотчетные и бессловесные, рвутся из груди Конни. Из чрева самой ночи рвется наружу жизнь! И мужчина, благоговея и робея, внял ей и выплеснул свои животворящие соки. С ними выплеснулась вся его страсть. Он затих, приходя в себя, разомкнулись и ее объятия, она тоже лежала неподвижно. Вряд ли они сейчас чувствовали друг друга рядом, страсть ослепила и оглушила обоих. Вот он пошевелился, видно, вспомнил, что лежит голый, беззащитный — в лесу. И Конни почувствовала, как разделяются их тела, как вновь она остается одна. Нет, нет, не смирится душа с этим! Он должен ее согревать и защищать всегда.

Но он поднялся, прикрыл Конни, оделся сам. А она засмотрелась на еловые лапы, не находя еще сил подняться. Он застегнул брюки, огляделся. Пусто, тихо в ельнике — ни звука, даже собака недоуменно и испуганно замерла, положив морду на лапы. Он присел на кучу валежника и молча взял Конни за руку.

Она повернулась, взглянула на него.

— Сегодня мы кончили одновременно,— сказал он.

Она промолчала.

— Какое счастье! — продолжал он.— Сколько мужей с женами всю жизнь проживут, а такого не изведают,— говорил он протяжно, как в полусне, и вид у него был блаженный.

Конни не спускала с него глаз.

— Как же они живут? — удивилась она.— А ты рад, что у нас так получилось?

Он взглянул ей в глаза.

— Рад... Впрочем, что об этом говорить.— Ему не хотелось, чтобы она продолжала. Нагнувшись, он поцеловал ее. Конни почувствовала: вот как нужно целовать. Пусть целует ее так всю жизнь.

Однако пора и ей подниматься.

— А что, разве мужчины и женщины редко кончают в одно время? — с простодушным любопытством спросила она.

— Многие и знать не знают, что это такое,— он уже жалел, что затеял такой разговор.

— А тебе это со многими женщинами удавалось?

Он с улыбкой поглядел на нее.

— Откуда мне знать?

И она поняла: он никогда не расскажет того, чего не захочет. Она вгляделась в его лицо, и вновь внутри все зашлось — и вновь от страсти. Изо всех сил воспротивилась она вновь нахлынувшему чувству, ибо поддаться — значит потерять к себе всякое уважение,

Он надел жилет, куртку и пошел торить путь сквозь ельник, пронизанный косыми закатными лучами.

— Я, пожалуй, не пойду тебя провожать,— решил он,

Перед тем как уйти, она долго смотрела на него. Собаке уже не терпелось домой, да и хозяину вроде бы прибавить больше нечего. Ничего не осталось.

Медленно брела Конни к усадьбе; она поняла, что перемена в ней произошла глубокая. В недрах плоти народилась иная женщина — страстная, мягкая, податливая, души не чающая в егере. Настолько он ей люб, что ноги подгибаются, не хотят нести прочь. Все ее женское естество ожило, пришло в движение, открылось, не опасаясь своей уязвимости и беззащитности. В слепом обожании мужчины — любовь всякой простой души. Будто у меня во чреве дитя, казалось ей, и уже шевелится! Так все и было. Только понесла она не во чреве, а в душе, до сей поры

запертой и тоже, как и чрево, ненужной. А сейчас она наполнилась новой жизнью; Конни почти ощущала ее бремя, но бремя любимое и дорогое. «Вот был бы у меня ребенок,— мечтала она,— или был бы этот мужчина моим ребенком!» И жарче бежала кровь в жилах. Поняла она и другое: родить ребенка вообще и родить от мужчины, о котором тоскует плоть,— далеко не одно и то же. В первом случае — она обычная женщина, в другом — совершенно иная, не похожая на былую Конни. Словно она прикоснулась к самой сути женского естества, к самому началу жизни.

Отнюдь не страсть была ей внове, а какое-то неутолимое обожание. Конни всю жизнь страшилась этого чувства, ибо оно лишало сил. Опасалась она и сейчас: если ее обожание слишком велико, она просто потеряет себя, исчезнет как личность, станет рабыней, как самая последняя дикарка. Но рабыней становиться нельзя. И она страшилась своего чувства к Меллорсу, однако бороться с этим чувством пока нет сил. Но побороть его можно. В сердце у Конни закалилась железная воля, которая в два счета справится с очевидным плотским влечением. Уже сейчас можно бы ополчиться на него — во всяком случае Конни так казалось,— подчинить страсть своей воле.

Да, можно уподобиться вакханке и стремглав нестись по лесу навстречу с Иакхом[1] — блистательным олицетворением фаллоса без какого-либо намека на чувства человеческие. Кто он? Так, услужливый божок. Потеха женской плоти. И незачем подпускать какие-то высокие мотивы! Он всего лишь служитель храма, где царит фаллос,— он его хранитель и носитель, а она — Жрица.

Очередное откровение вновь разожгло былую страсть, только теперь мужчина сократился до своего презренного естества, стал лишь обладателем фаллоса. Ну, а когда он свою службу сослужит, его можно хоть в клочья разорвать. И она почувствовала в руках, во всем теле силу настоящей вакханки, быстрой, как ртуть, самки, способной одолеть самца. Но на сердце было тяжело. Не хочется больше повелевать и верховодить. Все это бессмысленно и мертво. А обожание дает ей несметные богатства. Чувство это беспредельно, несказанно нежно, глубоко и... незнакомо. Нет, нет, прочь, железная, несгибаемая воля. Устала Конни быть сильной, тесно душе в этих сверкающих доспехах. Сбросить их и окунуться в жизнь, чтобы снова во чреве взыграла радостная, бессловесная песнь — обожаю и преклоняюсь! А бояться этого мужчины еще не время...

— Я к соседям на ферму Мэрхей заглянула,— объяснила она Клиффорду.— И миссис Флинт меня чаем напоила. А какая у нее дочка! Такая прелесть! Волосы — как рыжая паутинка. Мистер Флинт уехал на рынок, а мы чаевничали втроем — миссис Флинт, я и малышка. Ты небось не знал, что и подумать.

— Конечно, я волновался. Но потом понял, что ты к кому-то на чай заглянула,— не без ревности ответил Клиффорд. Он не увидел, а скорее почуял перемену в жене; какую — он пока не знал, но решил, что это из-за малышки. И все горести и хвори жены потому, что у нее у самой нет ребенка, подумал Клиффорд, нет чтобы этак — раз! — и произвела на свет Божий в одночасье.

— Я видела, ваша милость, как вы парком шли к выходу, думала, вы решили к нашему приходскому священнику наведаться,— сказала миссис Болтон.

— Верно, я собиралась, но потом свернула к ферме.

Женщины встретились взглядом. Серые, блестящие, пытливые глаза миссис Болтон и голубые, с поволокой, неброско красивые — Конни. Миссис Болтон почти не сомневалась, что у Конни есть любовник. Но вот как она его нашла и где? И кто он?

— Вам только на пользу сходить в гости, поболтать с людьми,— не замедлила ответить миссис Болтон.— Я уже говорила сэру Клиффорду, что ее милости полезно на людях бывать.

[1] Иакх — в греческой мифологии божество, отождествляемое с Вакхом и Дионисом.

— Да, я и сама очень рада,— подхватила Конни.— Ой, Клиффорд, до чего ж славная девчушка, уже с норовом.— Волосики пушистые, легкие, словно паутина. Рыжие-прерыжие. Смотрит смело, не стесняется, глаза голубые, как у куклы. Не девочка, а прямо пират маленький.

— Точно, ваша милость, у Флинтов в семье все такие: настырные и блондины,— поддакнула миссис Болтон.

— А ты, Клиффорд, не хочешь на нее взглянуть? Я пригласила их к нам на чай.

— Кого? — с беспокойством воззрился на жену Клиффорд.

— Миссис Флинт с малышкой. На понедельник.

— Ты сможешь их принять у себя в комнате,— решил муж.

— Разве тебе не хочется взглянуть на девочку?! — воскликнула Конни.

— Отчего ж, взгляну, только чаи распивать с ними не собираюсь.

— Ну что ж,— вздохнула Конни, голубые, словно дымкой подернутые глаза неотрывно смотрели на мужа, но видела она не его, а кого-то другого.

— У вас в комнате еще уютнее,— встряла миссис Болтон,— а миссис Флинт даже свободнее себя будет чувствовать без сэра Клиффорда.

Да, у нее, конечно же, есть любовник, обрадовавшись душой, подумала миссис Болтон. Но кто он? Кто? Может, миссис Флинт принесет и отгадку.

В тот вечер Конни не стала принимать ванну. Его запах, его пот, оставшийся у нее на теле,— как самые дорогие реликвии, почти что святыни.

Неспокойно было на сердце у Клиффорда. Он не отпустил Конни после ужина, а ей так хотелось побыть одной. Но она лишь пытливо взглянула на мужа и подчинилась.

— Чего бы тебе хотелось? — натянуто спросил он.— Поиграть в карты? Или чтобы я почитал вслух? Или еще чего-нибудь?

— Вслух почитай.

— Что хочешь: стихи или прозу? Может, пьесу?

— Почитай из Расина,— попросила Конни.

Когда-то это было его коньком, он читал Расина с истинно французским шиком, сейчас же блеску поубавилось, он это чувствовал и досадовал. С куда большим удовольствием он послушал бы радио. А Конни шила крохотное шелковое платьице — из своего старого желтого — для дочки миссис Флинт. Она успела выкроить его еще до ужина и сейчас, не слушая громогласного чтеца, безмолвно сидела, а в душе разливалось тихое благоговение.

Изредка его нарушали редкие всполохи страсти — точно отголоски малинового звона.

Клиффорд что-то спросил ее о Расине, и смысл едва не упорхнул от нее вслед за словами.

— О да! Конечно! — кивнула она и посмотрела мужу в лицо.— Это и впрямь великолепно!

И снова его пронзил страх перед этим горящим взором ярко-синих глаз, перед этим внешним тихим спокойствием. Никогда не видел он жену такой. Теперешняя Конни буквально завораживала, не было сил противиться ее чарам, ее колдовской аромат одурманил и сковал Клиффорда. Он продолжал читать (а что еще ему оставалось!), гнусавя и грассируя, а ей казалось, что это ветер гудит в дымоходах. Ни одного слова из Расина она так и не поняла.

Тихое благоговение поглотило ее, точно весенний лес, с радостным вздохом тянущий ветви с набухшими почками навстречу солнцу, теплу. И рядом с ней в этом лесу мужчина, даже имени которого она не знает. Его несут вперед чудесные сильные ноги, меж ними — чудесная тайна мужского естества. В каждой клеточке своего тела ощущала она этого мужчину, в каждой капельке крови — его дитя. Мысль об этом нежила и согревала, как лучи закатного солнца.

Ни рук своих, ни ног, ни глаз не помня,
Ни золота волос...

Она — дубрава, темная и густая, и на каждой ветке бесшумно лопаются тысячи и тысячи почек. И в сплетенье ветвей, что есть ее тело, притихли, заснули до поры птицы желания.

А Клиффорд все читал, булькали и рокотали непривычные звуки. До чего ж он чудной! До чего ж он чудной: склонился над книгой, хищник, но образован и культурен; инвалид, но широк в плечах. Какое странное существо! Все, словно у ястреба, подчинено сильной, несгибаемой воле. Но ни искорки тепла, ни единой искорки! Он из тех грядущих страшилищ, у которых вместо души лишь тугая пружина воли, холодной и хищной. Конни стало страшно, она даже поежилась. Но в конце концов лучик жизни, слабый, но такой теплый, пересилил страх в душе: Клиффорд и не догадывается пока, что к чему.

Чтение оборвалось. Конни испуганно вздрогнула, подняла голову и испугалась пуще прежнего: Клиффорд неотрывно смотрел на нее; в белесых глазах затаилось что-то жуткое и ненавидящее.

— Спасибо тебе большое! Ты прекрасно читаешь Расина,— тихо проговорила она.

— А ты почти так же прекрасно слушаешь,— безжалостно укорил он и, помолчав, спросил:— А что это ты шьешь?

— Платьице для дочки миссис Флинт.

Он отвернулся. Ребенок! Все мысли у нее только о ребенке! Одержимая!

— Ну что ж,— значительно произнес он,— каждый находит в Расине то, что ищет. Чувства упорядоченные, заключенные в красивую форму, значительнее чувств стихийных.

Конни смотрела на него во все глаза, но взгляд был отсутствующий, он что-то скрывал.

— Ты, безусловно, прав,— только и сказала она.

— Современный мир лишь опошлил чувства, выпустив их за определенные рамки. Во все времена существовали ограничения, их-то нам сейчас и не хватает.

— Верно,— кивнула Конни, думая о самом Клиффорде. Как зачарованно слушает он радио, и у диктора чувств не больше, чем у истукана.— Люди только притворяются, на самом же деле ничего-то они не чувствуют. Одни лишь выдумки.

Он, видно, изрядно устал. Вечернее бдение над книгой так утомительно. С бóльшим бы удовольствием он полистал работы по угледобыче, или поболтал бы с управляющим, или послушал бы радио.

Вошла миссис Болтон, принесла два стакана молока с солодом: Клиффорду — чтобы лучше спал, Конни — чтобы избавиться от худобы. Таково было ее нововведение.

Конни выпила молока, слава Богу, можно теперь уйти. Хорошо, что не приходится ей укладывать Клиффорда в постель. Она поставила мужнин пустой стакан на поднос, взяла его и пошла к двери.

— Спокойной ночи, Клиффорд! Приятных снов! Расин навевает сладкие грезы. Спокойной ночи!

И ушла. Ушла, даже не поцеловав мужа на ночь! Клиффорд с холодной яростью поглядел ей вслед. Вот как! Даже не поцеловала! А он читал ей вслух весь вечер! Как она жестокосердна! Пусть поцелуй — лишь дань обычаю, однако на таких обычаях стоит жизнь. Просто большевичка какая-то! Прирожденная большевичка! С холодной злобой смотрел он на дверь, за которой скрылась жена. Он ярился!

А потом, как всегда под вечер, нахлынул страх. Казалось, Клиффорд был соткан из одних нервов. Однако днем его поглощала работа, и он полнился силой; потом — покоем, ибо все внимание поглощал радиоприемник. А к концу дня подкрадывались тревога и страх — словно под ногами разверзлась бездонная пропасть, вселенская пустота. И он пуга-

лся. Конни могла бы прогнать эти страхи, если б только захотела. Но ясно, что она не хочет, не хочет! Черствая и холодная, равнодушная ко всему, что бы он для нее ни делал. Жизнь положил ради нее, но ее каменное сердце не дрогнуло. Ей бы только вершить свою волю. «Любит госпожа по-своему повернуть».

И теперь вот все мысли у нее только о ребенке. Чтоб непременно был ее, и только ее, чтобы он, Клиффорд, к нему никакого касательства не имел!

Клиффорд отличался крепким здоровьем (если не считать его увечности): румяный, широкоплечий, широкогрудый, сильный и, что называется, в теле. И все же он боялся умереть, маячила перед ним бездна, куда канут все его силы. Порой, обессилев и притомившись, он чувствовал себя мертвым, совсем мертвым.

И престранный взгляд появлялся у него в чуть навыкате голубых глазах. Хитрый, с жесточинкой, холодный. И в то же время до бесстыдства дерзкий. Трудно объяснить эту дерзость во взгляде: вот, дескать, я живу, живу вопреки всем законам жизни, я восстал против этих законов и победил. «Не познать тайн воли человеческой, она и против ангелов восстает...»

Он страшился ночей — сон бежал прочь. Виделось ему, как со всех сторон надвигается, пожирает его пустота — страшно! Страшно и то, что он все видит, ощущает — и не живет, ночь оставляла ему сознание, но крала жизнь.

Правда, теперь он в любую минуту может позвонить в колокольчик, и придет миссис Болтон, а с ней — великое утешение. Она являлась в халате, с распущенной по спине косой — проглядывало в ней что-то девичье, хотя в темно-русой косе уже заметны серебряные нити. Сиделка заваривала Клиффорду либо кофе, либо ромашковый чай, играла с ним в шахматы или в карты. Подобно многим женщинам, она была великая умелица, все-то у нее выходило хорошо, даже в шахматы она удивительнейшим образом научилась играть сносно и достойно сопротивлялась даже тогда, когда у нее уже слипались глаза. Так и сидели они в ночной тиши, связанные узами крепче любовных — точнее, сидела она, а он лежал в постели,— при скудном свете настольной лампы играли, играли друг с другом, она — отгоняя сон, он — страх. Время от времени они выпивали по чашке кофе с печеньем и все молча, не нарушая ночной тиши, без слов понимая, что нужны друг другу.

В эту ночь миссис Болтон гадала, кто же у леди Чаттерли в любовниках. Еще она вспоминала своего Теда, давным-давно нет его на белом свете, а для нее он все как живой. И вместе с воспоминаниями в душе поднимался стародавний ропот; она роптала на жизнь, на людей, по чьей хозяйской воле погиб муж. Конечно, они не помышляли убить его, но в чувствах своих она все равно считала их убийцами. А потому в самых потаенных уголках души она во всем разуверилась, и порядки для нее больше не существовали.

Полудремотные воспоминания о Теде и мысли о неизвестном любовнике леди Чаттерли слились воедино, и она вдруг прониклась чувствами этой женщины к сэру Клиффорду, ко всему, что он представляет, чувствами недобрыми и бунтливыми. И в то же время она играла с ним в карты, даже на ставку в шесть пенсов. И ей льстило: как же, она за одним столом с дворянином, и не важно, что проигрывает ему.

В карты оба играли азартно. Клиффорд забывал о своих страхах. Выигрывал обычно он. И сегодня ночью ему везло. Значит, заиграется до зари. К счастью, светать стало рано, часов около пяти.

Конни в то время крепко спала. А вот егерю не спалось. Он запер клетки, обошел лес, вернулся домой, поужинал. Но спать не лег, а присел у камина и задумался.

Вспоминал он свое детство в Тивершолле, недолгое — лет шесть — супружество. О жене всегда вспоминал с неприязнью. Она представлялась ему грубой, жестокой. Правда, он не видел ее с весны 1915 года,

когда ушел в армию. А она осталась, и поныне живет рядом, в трех милях, и характер сделался еще сквернее. Дай Бог, чтоб больше никогда ее не видеть.

Вспомнились ему и армейские годы. Индия, Египет, снова Индия. Бездумная, глупая жизнь, служба при конюшне; потом его приметил и приветил полковник, и ему, Меллорсу, он полюбился; потом его произвели в лейтенанты, дослужился б и до капитана, но тут умер от воспаления легких полковник, сам едва не отправился на тот свет; здоровье, однако, пошатнулось, прибавилось забот и хлопот; он демобилизовался, вернулся в Англию, начал работать.

Он хотел приспособиться к жизни. Думал, что хоть на время нашел покой в господском лесу. На охоту ездить некому, всех дел — лишь растить фазанов. Людям с ружьями он бы не стал служить. Он хотел уединиться, отгородиться от жизни — и всего лишь. Но прошлого не отринуть. Рядом и родная деревня, и мать, к которой он особой любви не питал. Так бы и жил себе, день да ночь — сутки прочь, без людей, без надежды. Он просто не знал, как распорядиться собой.

Да, он не знал, как распорядиться собою. За годы, проведенные в офицерской среде, он повидал и офицерских жен, и их семьи, и штатских чиновников и потерял всякую надежду близко сойтись с ними. Люди среднего или высшего сословия отличались удивительной способностью: встречать чужака мертвящим холодом и отталкивать, давая понять, что он не их поля ягода.

Вот и вернулся он к людям своего круга — к рабочим. Но нашел лишь то, что с годами, пока его не было дома, забылось: мелочность, грубость — как все это претило ему. Да, и впрямь очень важно хотя бы делать вид, что не трясешься над каждым грошом, что стоишь выше всех мелочей жизни. Но простой люд даже не удосуживался делать вид. Каждый пенни — потерянный или выгаданный, скажем, на покупке мяса — для них важнее, чем пропущенное или добавленное слово в Евангелии. Видеть такое Меллорсу было невыносимо.

А еще невыносимы распри из-за денег. Пожив среди людей имущих, он понял, сколь тщетны все надежды разрешить споры о заработной плате. Лишь смерть способна разрубить этот гордиев узел. А в жизни оставалось лишь махнуть рукой на деньги.

Да, но если очень беден и несчастен, хочешь не хочешь к деньгам по-иному станешь относиться. Такие люди мало-помалу все свои интересы сосредоточивали на деньгах. Их тяга к деньгам раковой опухолью заполоняла ум и душу, пожирая без разбора как имущих, так и бедняков! А он отказался подчиниться этой тяге.

Ну и что же? Разве жизнь предложила ему что-либо, кроме сребролюбия? Увы.

Правда, он мог еще радоваться уединению (хотя и слабое это утешение), растить фазанов, чтобы в одно прекрасное утро после завтрака их перестреляли толстопузые люди. И прахом, прахом идет труд...

Но зачем об этом думать, зачем волноваться? По сию пору он и не думал, и не волновался; но вот вошла в его жизнь эта женщина. Он почти на десять лет старше. И на тысячу лет опытнее. Ведь начинал он с самых низов. Связь меж ними все теснее. Он уже предвидел, что близость их станет настолько прочной, что придется начинать жизнь вместе. А рвать любовные узы больно — «сожжешь всю душу».

Ну, а дальше? Дальше что? Нужно ли ему начинать все заново, можно сказать — на пепелище? Нужно ли привязывать к себе эту женщину? Нужно ли затевать ужасную схватку с ее увечным мужем? И не менее ужасная схватка предстоит с собственной жестокосердной ненавистницей-женой. Горе! Горе горькое! Ведь он уже немолод, некогда он полнился лишь задором и весельем. Ныне чувства его обострились. Всякая обида, всякая пакость ранили глубоко. И вот — эта женщина.

Ну, хорошо, избавятся они от сэра Клиффорда, от бывшей жены, а дальше как жить? Что он сам будет делать? Как распорядится своей

жизнью? Непременно нужно найти какое-то дело. Не приживала ведь он: что его маленькая пенсия по сравнению с ее богатствами!

Вот это препятствие неодолимое.

Не в Америку же ехать, удачи искать? В магию доллара ему совсем не верилось. Быть может, есть иной выход?

Покоя он не находил, сон тоже не шел. Оцепенело просидев в неутешительном раздумье до полуночи, он вдруг поднялся, снял со стены плащ и ружье.

— Пойдем-ка прогуляемся,— сказал он собаке.— На свежем воздухе лучше думается.

Ночь выдалась звездная, но безлунная. Он обходил лес не спеша, приглядываясь и прислушиваясь, будто крадучись. Воевать ему не с кем и не с чем, разве что с капканами. Их ставили в основном шахтеры с «Отвальной» на кроликов, со стороны фермы Мэрхей. Но сейчас у косых пошли детеныши, и даже шахтеры отнеслись к этому уважительно. Неслышно шагая по ночному лесу, выискивая мнимых браконьеров, он успокоился и отвлекся.

Прошагал он (все так же, неспешно и крадучись) миль пять и к концу обхода устал. Взобрался на пригорок, осмотрелся. Тишину нарушало лишь едва слышное шуршанье — то без перерыва, день и ночь работала шахта «Отвальная». А во тьме ярко светились лишь ряды электрических огоньков на руднике. Мир спал, погрузившись во мрак и дым. Половина третьего. Беспокойно спит жестокий мир, то всхрапнет — проедет поезд или грузовик,— то полохнет красноватым отблеском из доменных печей. Мир угля и стали, жестокой стали и дымного угля. А порождала все бесконечная, неуемная человеческая жадность. Сейчас это чудище спит.

Ворохнул холодный ветерок по пригорку, и егерь закашлялся. Ему снова вспомнилась женщина. Все бы отдал — и то, что имел, и то, что будет иметь,— чтобы только ощутить тепло ее тела, покрепче обнять, закутавшись одним одеялом, и так уснуть. Все радости, что уготованы ему в вечности, и все радости былые отдал бы за то, чтобы она оказалась рядом с ним под одним одеялом и чтоб можно было спать рядом с ней, просто спать. Казалось, единственная потребность в жизни — спать, держа в объятиях эту женщину.

Он вернулся в сторожку, закутался в одеяло и лег спать на полу. Но ему не спалось, было холодно и мучила мысль: чего-то недостает ему в характере, чего-то недостает ему в отшельничьей жизни. Была б рядом эта женщина, он бы ее обнял, прижал к груди крепко-крепко, испытал — хоть на миг — полное счастье и уснул.

Снова поднялся и вышел. Но на этот раз ноги словно нехотя понесли его к воротам в парк, а потом по аллее к господскому дому. Ночь стояла ясная и холодная. Уже почти четыре часа, но еще не светало. Впрочем, и в темноте егерь видел хорошо — сказывалась привычка.

Медленно-медленно, шаг за шагом огромная усадьба притягивала, точно магнит. Как хотелось ему быть рядом с этой женщиной! Нет, отнюдь не страсть влекла его. А все то же до боли острое ощущение, что в его одинокой жизни чего-то не хватает. Женщины, тихо прильнувшей к его груди. Может, он найдет ее. Может, даже позовет или сам проберется к ней. Без нее ему не прожить!

Медленно взобрался он на холм к самой усадьбе. Миновал рощицу высоких деревьев, вышел на дорожку, что огибала ромбовидную большую лужайку перед крыльцом. Перед самым домом высились два величественных бука, егерь уже различал их силуэты на фоне темного неба.

Вот и дом: приземистый, длинный, мрачный. На первом этаже одинокий огонек в комнате сэра Клиффорда. Но где ее комната? Где искать женщину, в руках которой тонкая нить, повязавшая его душу? И женщина безжалостно тянет за нить.

Он подошел ближе и так, не выпуская ружья из рук, остановился

на дорожке и оглядел дом. Может, все же удастся найти Конни, добраться до нее каким-то образом? Препятствие не столь уж неприступно, а сам егерь находчив как вор-домушник. Так почему бы и не наведаться к этой женщине?

Он стоял недвижно, словно выжидая. Позади небо уже чуть тронул рассвет. Погас огонек на первом этаже. Меллорс, конечно, не подозревал, что в эту минуту к окну подошла миссис Болтон, чуть отвела штору синего шелка, служившую уже много лет, и взглянула на посветлевшее небо — скорее бы рассвет. Тогда и Клиффорд убедится, что пришел новый день. А убедившись, тут же уснет.

Глаза у миссис Болтон слипались. Она стояла у окна и терпеливо дожидалась зари. Вдруг она вздрогнула и едва не вскрикнула. На дорожке темнела мужская фигура. С неохотой прогнала она сон и стала вглядываться, не проронив ни слова, чтобы не потревожить сэра Клиффорда.

Заря быстро убирала ночные тени, фигура на дорожке как бы уменьшилась, зато обрисовалась отчетливее. Вот и ружье в руках, краги на ногах, мешковатая куртка — да никак это Оливер Меллорс, господский егерь! Да и собака его рядом, выжидающей тенью прилепилась к хозяину.

Что ж ему здесь нужно? Он что, вздумал весь дом на ноги поднять? Стоит как вкопанный, глаз с дома не сводит, точно ошалевший от страсти кобель поджидает суку.

Не может быть! Догадка молнией пронзила миссис Болтон. Вот кто любовник леди Чаттерли! Он! Конечно, он!

Подумать только! Впрочем, ничего удивительного: когда-то и она, Айви Болтон, была увлечена им. Ему тогда минуло лишь шестнадцать, мальчишка совсем, а она — взрослая женщина двадцати шести лет. Она в ту пору училась, и он помогал ей разбираться в анатомии и других премудростях. Сам-то он паренек смышленый, первый ученик в шеффилдской школе, французский знал и еще много всякой всячины. А потом вдруг подался на шахту, устроился кузнецом, лошадей подковывать. Он убеждал всех, что любит лошадей. А на самом-то деле просто испугался с места трогаться, белого света испугался. Но сознаться в этом — ни за что б не сознался.

Славный парнишка, помог ей изрядно, умница, все, бывало, объяснит, растолкует. Не глупее сэра Клиффорда, пожалуй. И до женщин охоч. Его чаще с женщинами, чем с друзьями видели.

Все, однако, до поры. Женился он на Берте Кутс, назло самому себе женился. Так женятся нередко, когда что-то в жизни не ладится. Конечно, ничего путного не вышло: началась война, он на несколько лет уехал. В офицеры выбился, из грязи да в князи, можно сказать, одно слово — джентльмен. Но пришлось-таки в Тивершолл возвращаться и наниматься егерем. Вот уж поистине: не умеют люди удачей пользоваться. И снова у него речь как у простолюдина, а ведь она, Айви Болтон, своими ушами слышала, как он изъяснялся по-благородному, ей-Богу.

Вот, значит, как все обернулось! Значит, и ее милость егерские чары сразили. Что ж, не она первая. Есть в этом парне изюминка. И все равно в голове не укладывается: он — простой деревенский мужик, а ее милость — из благородных, хозяйка Рагби! Вот уж оплеуха всем этим аристократам Чаттерли!

Все светлело и светлело небо, и все очевиднее понимал егерь: ничего не выйдет! Не избавиться ему от одиночества. Всю жизнь оно неотступно рядом! Лишь изредка и ненадолго будет заполняться пустота в душе. Лишь изредка! И этих мгновений нужно терпеливо дожидаться. А с одиночеством придется смириться, жить с ним бок о бок. Как придется смиренно дожидаться и счастливых минут. Придут и они. Только не нужно торопить.

И мучившее его желание, погнавшее к женщине, вдруг разом спа-

ло. Он сам уничтожил его, так нужно. Нужна взаимность, чтобы тебе шли навстречу. А вот женщина-то навстречу и не торопится, так стоит ли ее преследовать? Ни в коем случае! Нужно уйти и дождаться, пока она придет сама.

Он медленно, раздумчиво повернулся — видно, жить ему отшельником. Что ж, наверное, это и к лучшему. Негоже ему по пятам ходить за ней. Она сама должна прийти к нему, а ему негоже!

Миссис Болтон увидела, как он пошел прочь. Собака — следом. Вот уж о ком ни за что бы не подумала! И напрасно! Ведь он еще мальчишкой к ней внимателен был. И уже тогда она потеряла Теда.

И она тихо вышла из комнаты, напоследок победно взглянув на спящего Клиффорда. Что-то бы он сказал, узнай он всю правду!

## Глава 11

Конни разбирала один из чуланов. В Рагби их было несколько — не дом, а кунсткамера; ни один из Чаттерли не продал за всю жизнь ни одной вещи. Отец сэра Джефри любил картины, мать — мебель чинквеченто. Сам сэр Джефри обожал резные дубовые шкафы. И так из поколения в поколение. Клиффорд покупал картины, самый что ни на есть модерн, по самым умеренным ценам.

В чулане пылились птичьи гнезда из коллекции «скверного» сэра Эдвина Лэндсирса и «несчастного» Уильяма Генри Ханта и всякий другой ученый хлам, способный привести в ужас дочь члена Королевской академии. И она решила в один прекрасный день все это перебрать и выбросить. А вот допотопная резная мебель ее заинтересовала.

Среди прочего оказалась старинная розового дерева колыбель, тщательно завернутая во избежание сухой гнили и другой порчи. Как было не развернуть ее, не полюбоваться. Такая прелесть! Конни долго ее рассматривала.

— Жаль, что не понадобится,— вздохнула помогавшая ей миссис Болтон.— Впрочем, эти люльки давно вышли из моды.

— Еще может понадобиться. Вдруг у меня будет ребенок,— вскользь заметила Конни, как будто речь шла о новой шляпке.

— Вы хотите сказать, что сэр Клиффорд не вечен,— запинаясь, проговорила миссис Болтон.

— Нет, конечно! Ведь у сэра Клиффорда парализованы только ноги, а так он здоров и крепок,— не моргнув глазом сочинила Конни.

Эту мысль подал ей сам Клиффорд. Он как-то заметил: «Без сомнения, я еще могу стать отцом. В этом смысле я не калека. Потенция еще может вернуться, пусть даже мышцы ног останутся парализованы. А сперму можно ввести искусственно».

Ему действительно казалось — особенно в те дни, когда он с утроенной энергией занимался шахтами,— что его мужская способность возвращается. Услыхав эти слова, Конни взглянула на него с ужасом. Но приняла их к сведению, хватило здравого смысла. Ведь она и правда могла родить, разумеется не от Клиффорда.

Миссис Болтон на секунду потеряла дар речи. И не поверила — почуяла в этом какой-то подвох. Хотя это все равно что привить почку к яблоне, врачи теперь и не на такое способны.

— Я могу только надеяться и молить Бога, ваша милость,— сказала она.— Это будет так славно — и для вас, и для всех ваших близких. Господи! Младенец в Рагби! Как все изменится!

— Конечно, изменится,— согласилась Конни и отложила в сторону три полотна, писанных лет шестьдесят назад по академическим канонам. Картины отправятся на благотворительный базар герцогини Шортлендской. Герцогиня обложила этой повинностью все графство, ее так и звали «базарная герцогиня». Она будет в восторге от этих трех академиков. Пожалуй, даже позвонит от полноты чувств. В какую ярость приводят Клиффорда ее звонки!

«Боже правый! — думала про себя миссис Болтон.— Уж не от Оливера ли Меллорса вы собираетесь подарить нам младенца? Господи, тивершольский ребенок в покоях Рагби! Светопреставление!»

Среди диковин, хранившихся в чулане, была довольно большая черная лакированная шкатулка, сделанная лет шестьдесят—семьдесят назад с поразительным искусством и содержащая отделения для мелочей на все случаи жизни. Верх занимал туалетный несессер: всевозможные пузырьки, зеркальца, расчески, щетки, коробочки, были там и три маленькие изящные бритвы в безопасных чехлах, стаканчик для бритья и многое другое; ниже — письменные принадлежности: бумага, конверты, ручки, пузырьки с чернилами, пресс-папье, блокноты; затем рукодельный набор: три пары больших и маленьких ножниц, наперстки, иглы, катушки простых и шелковых ниток, деревянные яйца для штопки — все наилучшего качества. А еще ниже — аптечный ящик, целая батарея пузырьков с наклейками: опиумные капли, настойка мирры, гвоздичное масло и пр., пузырьки, однако, все пустые. Шкатулка была совершенно новая, в собранном виде не больше дорожного саквояжа. Для непосвященного она являла собой настоящую головоломку.

И все же шкатулка была произведение искусства, удивительная выдумка викторианских ценителей комфорта, хотя и было в ней что-то чудовищное. Чаттерли, во всяком случае некоторые, сознавали это: шкатулкой никто никогда не пользовался. В ней отсутствовала душа.

Миссис Болтон тут же пришла от нее в восторг:

— Ах, какие щеточки! Только взгляните! Они стоят, наверное, уйму денег. Боже мой, тут и кисточки для бритья, целых три! А ножинки! Никогда в жизни не видела такой красоты!

— Правда? — сказала Конни.— Ну и возьмите себе эту красоту.

— Нет, ваша милость, не возьму,— покачала головой миссис Болтон.

— Да возьмите! Она ведь здесь пролежит до второго пришествия. Не возьмете, отправлю вместе с картинами герцогине для ее базара. А она этого не заслуживает. Так что берите!

— О, ваша милость,— лепетала миссис Болтон,— век не забуду вашей доброты. Да мне-то чем вас отблагодарить?

— А ничем,— рассмеялась Конни.

И миссис Болтон выплыла из кладовой, красная от волнения, прижимая к груди черного, блестящего монстра.

Мистер Беттс отвез ее в двуколке домой. И, конечно, она позвала приятельниц полюбоваться подарком: учительницу, жену аптекаря и миссис Уидон, жену помощника кассира. Все три по достоинству оценили великолепие шкатулки. И тут же принялись взахлеб обсуждать ошеломляющую новость: у леди Чаттерли может родиться ребенок!

— Чудеса, да и только,— с сомнением покачала головой миссис Уидон.

На что миссис Болтон категорически заявила: если ребенок родится, в жилах его будет течь кровь Чаттерли. Вот так-то.

Не прошло и недели, священник деликатно обратился к Клиффорду:

— Неужели есть надежда, что в Рагби появится наследник? Поистине милость Господня безгранична.

— Да, надежда есть,— ответил Клиффорд с твердостью в голосе, но и с ноткой иронии. Он уже сам начал верить, что у Конни может родиться *его* ребенок.

Вскоре с дневным визитом в Рагби заехал Лесли Уинтер, сквайр Уинтер, как его называли: сухощавый, безупречного вида джентльмен семидесяти лет. «Джентльмен с головы до пят»,— как сказала про него миссис Болтон своей приятельнице миссис Беттс. Весь его облик, старомодная с расстановкой речь напоминали о старинных буклях и прочей древности. Да, быстрокрылое время теряет иной раз вот такие перья из своего плюмажа.

Речь зашла о состоянии дел на угольном рынке. Клиффорд утверждал, что даже самый бедный уголь можно превратить в отличное топливо, если в горящую печь нагнетать под большим давлением насыщенный парами кислоты воздух. Давно замечено, что уголь, горящий при сильном влажном ветре в устье шахты, дает особенно сильный жар, почти не коптит, а, сгорая, оставляет тонкую золу вместо пунцовых, долго тлеющих угольев.

— А где будет применяться это топливо, мой мальчик?

— Изобрету электрический генератор, который будет работать на моем угле. Я уверен, это у меня получится.

— Раз так, это просто чудесно! Да, чудесно! Ах, если бы я мог тебе помочь. Но боюсь, мое время ушло. И копи мои так же ветхи, как я. Впрочем, как знать, как знать! Мне на смену могут прийти такие же дельные люди, как ты. Это будет чудесно! Углекопы опять получат работу. Ты не будешь искать рынок для своего угля. Славная мысль! Тебя, я уверен, ожидает огромный успех! Будь у меня сын, и ему в голову могла бы прийти столь же плодотворная мысль. И усадьба Шипли возродилась бы. Между прочим, мой мальчик, можно ли верить слухам, что в Рагби ожидают наследника?

— А разве такие слухи ходят?

— Меня спросил об этом Маршалл из Филлингвуда, вот и все, что я знаю, мой мальчик. И, разумеется, я никому не скажу ни слова, если слухи неосновательны.

— Что мне ответить вам, сэр? — произнес Клиффорд немного натянуто, глядя на гостя странным, горящим взглядом.— Надежда есть. Да, есть.

Уинтер встал, прошелся по комнате и крепко пожал руку Клиффорда.

— Мой мальчик, мой дорогой мальчик. Ты не представляешь себе, как я счастлив слышать эти слова. Значит, не зря все твои труды, раз есть надежда, что будет сын. Нет, Англия не оскудеет, мой мальчик. И у всех тивершольских шахтеров будет работа.

Старый джентльмен был очевидно растроган.

На другой день Конни ставила в хрустальную вазу золотисто-желтые тюльпаны.

— Конни,— обратился к ней Клиффорд,— ходят слухи, ты собираешься подарить мне сына и наследника.

У Конни потемнело в глазах, но она продолжала спокойно поправлять цветы.

— Не может быть! Что это, чья-то злая шутка? — спросила она.

— Не думаю,— секунду помедлив, ответил Клиффорд.— По-моему, это судьба.

— Я получила утром письмо от отца,— сказала она, не отрываясь от цветов.— Он спрашивает, знаю ли я, что он принял приглашение сэра Александра Купера. Сэр Александр приглашает меня на июль и август пожить в Венеции на вилле Эсмеральда.

— Июль и август? — переспросил Клиффорд.

— Два месяца там нечего делать. Ты бы не поехал со мной?

— Я за границу не езжу,— отрезал Клиффорд.— Ты знаешь.

Конни поставила вазу с цветами на окно.

— А я бы поехала. Ты не возражаешь? — спросила она.— Отец уже дал согласие...

— Сколько ты там пробудешь?

— Недели три, не больше.

Клиффорд не отвечал.

— Ладно,— наконец проговорил он, нахмурившись.— Думаю, что три недели я выдержу. Если буду абсолютно уверен, что ты вернешься.

— Да я буду рваться обратно,— сказала она просто и искренне. Она думала о другом человеке.

Клиффорд уловил отсутствие фальши у нее в голосе; он все-таки

верил ей, верил, что ее потянет домой. И у него отлегло от сердца.

— В таком случае,— улыбнулся он,— можешь ехать. Все будет в порядке, верно?

— Не сомневаюсь,— ответила Конни.

— Перемена обстановки развлечет тебя.

— Конечно,— согласилась она.— Как будет славно поехать на пустынный островок в лагуне, купаться, загорать на горячей гальке. Только я терпеть не могу Лидо. Да и общество сэра Александра и леди Купер не очень-то интересно. Но если поедет Хильда и у нас будет своя гондола, мы чудесно проведем время. Мне бы так хотелось, чтобы и ты поехал!

Конни не лукавила. Ей и правда эти дни хотелось, чтобы Клиффорд был счастлив.

— Да ты вообрази себе меня на Gare du Nord [1], на набережной Кале!

— А что тут такого? Я сколько раз видела, как носят раненых на носилках вроде стула. К тому же мы будем всюду ездить в автомобиле.

— И все же без двоих мужчин — чтобы они всегда были под рукой — не обойтись.

— Зачем? Взяли бы с собой Филда. А второго нашли бы на месте.

Но Клиффорд покачал головой:

— Не в этом году, дорогая. Разве что в будущем.

В будущем? Что им сулит будущий год? Конни пошла из комнаты с тяжелым сердцем. Она не хотела ехать в Венецию, ее держал здесь другой мужчина. Но она поедет, нужно соблюдать не тобой заведенный этикет. А будет ребенок, Клиффорд решит, что связь у нее была в Венеции.

Разговор был в мае, а в июне уже предстоял отъезд. Всегда все расписано наперед, вся жизнь. Какие-то силы правят ею, а она над ними не властна.

Был май, опять сырой и холодный. Дожди в мае — к урожаю, а урожай залог благополучия. Конни собралась ехать в Атуэйт, соседний городишко, где Чаттерли все еще «те самые» Чаттерли. Она ехала одна, машину вел Филд.

Несмотря на май, на свежую зеленую листву, вид окрестностей наводил уныние. Было холодно, моросил дождь, пропитанный дымом; в воздухе отчетливо ощущался привкус отработанного пара. Человек здесь жив постоянным натужным преодолением. Неудивительно, что люди в этом краю так некрасивы, грубы.

Автомобиль взбирался вверх по холму, по грязным, беспорядочным улочкам Тивершолла с раскисшими, припорошенными угольной пылью обочинами, мокрыми черными тротуарами, мимо закопченных кирпичных домов под черной, тускло блестевшей гранями черепицей. Все смотрит исподлобья, угрюмо. Отрицание природы, отрицание радостей жизни, отсутствие инстинкта прекрасного, свойственного любой земной твари, отсутствие интуитивного чувства гармонии — все это повергало в ужас. Мимо проплыли столбики мыла в окнах бакалейной лавки; груды лимонов и пучки ревеня в витрине зеленщика. Чудовищные шляпки за стеклами шляпной мастерской, все до единой жалкие, убогие, страшные, сменились аляповатой позолотой кинотеатра, чьи промокшие афиши зазывали посмотреть «Любовь женщины». Затем появилась церковь Ранних христиан, кирпично-красное убожество с огромными малиново-зелеными витражами вместо окон. Ее сменила церковь Уэслианских методистов, строение повыше из закопченного кирпича, отделенное от улицы почерневшей живой изгородью и чугунной оградой. Завершала парад Конгрегационная церковь, почитающая себя высокородной дамой,— сооружение из грубо обтесанного песчаника, увенчанное шпилем, правда не очень длинным. Затем пошли школьные здания — дорогой розовый

[1] Северный вокзал (*франц.*)

кирпич, чугунная ограда, посыпанная гравием спортивная площадка, все очень добротно — не то монастырь, не то тюрьма. Как раз в этот миг неизменные пять учениц, как видно, на уроке пения, кончили занятия сольфеджио и стали голосить «премиленькую детскую песенку». Этот странный ор, следующий извивам мелодии, не походил ни на звериный вой, всегда полный смысла, ни на пение дикарей, подчиненное изощренным ритмам. Филд заправлялся бензином, а Конни сидела в машине и слушала с содроганием в сердце. Что будет дальше с этой нацией, у которой начисто отсутствует инстинкт красоты и осталась только вот эта способность механического завывания и несокрушимая сила воли?

Вниз прошлепала по лужам телега с углем. Филд дал газ, и автомобиль опять полез вверх — мимо большого унылого магазина одежды и тканей, мимо почты — и наконец выехал на крошечную базарную площадь, которой заканчивался подъем; из окна «Солнца», претендующего на титул гостиницы — Боже упаси назвать его постоялым двором,— выглянула физиономия Сэма Блэка и поклонилась автомобилю леди Чаттерли.

Слева осталась церковь, окольцованная черными деревьями. Автомобиль покатил вниз мимо гостиницы «Герб углекопов». Далеко позади остались «Веллингтон», «Нельсон», «Три тунца», «Солнце». Вот уже исчез и «Герб углекопов», и «Холл механиков», и почти роскошное «Шахтерское счастье»; затем пошла вереница новых «вилл», и автомобиль выехал на почерневший большак, по обеим сторонам которого тянулся бесконечный темный кустарник, отделявший от дороги такие же темные поля. Большак этот вел к Отвальной.

Тивершолл! Вот он, Тивершолл! Веселая шекспировская Англия! Нет, современная Англия. Конни поняла это давно, как только поселилась здесь. В Тивершолле зародилась новая раса, новый человек; одна половина души у него суетливо поглощена деньгами, политикой, социальным устройством, другая же, хранительница инстинктов,— мертва. Все, живущие здесь,— полутрупы, причем чудовищно самонадеянные. Есть в этом какая-то дьявольская мистика. Что-то потустороннее. Непредсказуемое. В самом деле, можно ли постичь логику полутрупа? Мимо проехали грузовики, битком набитые рабочими со сталелитейных заводов Шеффилда, фантастическими, скрюченными не то гномами, не то людьми, которых везли на экскурсию в Мэтлок; у Конни все заныло внутри. «Господи,— думала она,— что же человек делает с себе подобными? На что правители обрекают своих собратьев? В этих несчастных вытравлено все человеческое. Вот вам и всеобщее братство! Какой-то кошмар!»

И Конни в который раз ощутила серую сосущую безысходность. Эти потерявшие человеческий облик рабочие, этот знакомый правящий класс — какая уж тут надежда на будущее! А она-то мечтает о сыне, наследнике Рагби! Наследнике поместья Чаттерли! Конни от омерзения содрогнулась.

Но ведь Меллорс — плоть от плоти простых людей. Правда, он среди них — белая ворона, так же как и она в Рагби. Но и он не верит во всеобщее братство, этой иллюзии в нем нет. Кругом — отчужденность и ни проблеска надежды.

И это твердыня Англии, ее оплот. Конни живет в самом сердце шахтерского края и знает все не понаслышке.

Автомобиль взбирался все выше, до Отвальной было уже рукой подать. Дождь кончился, и воздух засиял прозрачной майской дымкой. Окрест тянулись плавные очертания холмов — на юге до Пика, на востоке до Мансфилда и Ноттингема. Конни ехала к югу.

Дорога забирала круче; слева, на высокой скале, господствующей над холмами, замаячила в небе мрачная темная громада Уорсопского замка; ниже краснели свежей еще штукатуркой новые шахтерские домики, а под ними набухали в воздухе сизые и снежно-белые облака — дым с паром, выдыхаемый огромной угольной шахтой, приносившей ежегод-

но тысячи фунтов стерлингов герцогу и другим держателям акций. Средневековый замок, высившийся на скале, давно уже был руинами, и все же его башни и стены грозно высились над серо-белыми хвостами, колышущимися в холодном, промозглом воздухе.

Поворот — и машина покатила по ровной дороге прямо к Отвальной. Если смотреть из окошка автомобиля, вся Отвальная, казалось, состоит единственно из новой огромной гостиницы «Герб Конингсби» — варварского красно-белого с позолотой сооружения, стоящего на отшибе у дороги. Левее видны ряды красивых особнячков «модерн», обрамленных газонами и садами; они расставлены так, точно некие великаны затеяли игру в домино на захваченной врасплох земле и куда-то отлучились. Ниже устрашающе громоздятся марсианские конструкции современной шахты, корпуса химического завода, бесконечные галереи и переходы — картина, прежде неведомая человечеству. Самое устье шахты затерялось среди этого столпотворения. А замершие в изумлении костяшки домино, казалось, ждут не дождутся продолжения игры.

Это была Отвальная, родившаяся на свет вскоре после окончания войны. Но была еще одна Отвальная, расположенная ниже по склону в полумиле от новой гостиницы, но Конни даже и не слыхала о ней. В этой старой Отвальной была собственная маленькая шахтенка, ветхие, закопченные кирпичные домики, пара церквушек, две-три лавки.

Но теперь уже старой Отвальной как бы и не существовало. В новой Отвальной ни церкви, ни таверны, ни лавок, только огромная махина завода — современная Олимпия, в храмах которой молятся всем богам; выше «показательные» особнячки и, наконец, гостиница. В сущности, она и была таверной для рабочего люда, только выглядела чересчур шикарно.

Этот новый поселок вырос уже после того, как Конни поселилась в Рагби; в «показательные» особнячки понаехал отовсюду всякий сброд, не гнушавшийся и браконьерством; немало кроликов Клиффорда нашли упокоение в желудках пришельцев.

Автомобиль ехал дальше, сколько хватало глаз — кругом плавно бежали, обгоняя друг друга, невысокие холмы. Древняя земля! В свое время гордая, феодальная земля. Впереди, оседлав гребень холма, неясно замаячил огромный, великолепный Чадвик-холл — вместо стен легкие переплеты окон,— один из самых замечательных елизаветинских дворцов. Исполненный благородства, он горделиво высился над огромным парком. Старомодный, отживший свой век, он не сдавался; его показывали как достопримечательность: «Полюбуйтесь, в каких дворцах обитали наши прадеды».

Это прошлое. Настоящее прозябало внизу. И только Богу известно, где обреталось будущее. Автомобиль свернул в улочку, стиснутую закопченными шахтерскими домиками, и покатил под гору в Атуэйт. В сырой, промозглый день Атуэйт исходил дымом и паром, куря фимиам невесть каким идолам. Конни всегда как-то странно трогал этот Атуэйт, расположенный в долине, разрезанный пополам стальными нитями железной дороги, ведущей в Шеффилд; его угольные копи и сталелитейные заводики, выбрасывающие сквозь длинные дыхальца дым, подсвеченный языками пламени; завитый штопором шпиль церквушки, грозящий вот-вот упасть и все же бросающий вызов языческому курению. В этот старинный городок съезжались на ярмарки жители всех окрестных селений. Одна из лучших гостиниц звалась «Герб Чаттерли». Здесь, в Атуэйте, название «Рагби» означало поместье Рагби, а не просто дом. Для пришлых — Рагби-холл, тот, что возле Тивершолла, для местных — Рагби — родовое гнездо.

Закопченные домики шахтеров стоят краснея вдоль большака — маленькие, уютные, замкнутые, как сто лет назад. Большак переходит в улицу, и вот вы уже в центре Атуэйта, точно и не было приволья волнистых холмов, старинных замков и особняков — этих величавых призраков прошлого. Пересекаете переплетенье стальных путей; вокруг литейные и

какие-то другие цеха, скрытые за высоченными стенами. Оглушительно лязгает металл, сотрясают землю тяжелые тягачи, заливисто свистят паровозы.

Вы в самом сердце Атуэйта, среди его скрюченных, извивистых улочек; время здесь остановилось два столетия назад. За спиной — церковь, впереди — гостиница «Герб Чаттерли», старинная аптека; когда-то эти кривоколенные улочки выводили путника на открытые просторы, где доживают свой век замки и осанистые особняки.

Стоявший на развилке полицейский поднял руку, пропуская три груженных чугунными болванками грузовика, от которых бедная старенькая церковь сотряслась до основания, и только потом козырнул, приветствуя ее милость.

Вот как оно теперь; старинные кривые улочки вливаются в шоссе, вдоль которого — шахтерские коттеджи поновее. А дальше — знакомая картина: над холмами и старинными замками реют сизо-серые плюмажи дыма и пара, и уже совсем далеко новые шахтерские поселки — то краснеют кирпичными заплатами в чашах долины, то взбираются на самый гребень холмов, уродуя их плавные очертания. Все остальное пространство — клочки старой веселой Англии, Англии дилижансов и сельских хижин, а может, и Робин Гуда, где шахтеры в свободную минуту бродят, исходя угрюмой тоской, рожденной подавленным охотничьим инстинктом.

Англия, моя Англия! Но которая же моя? Элегантные особняки старой Англии, что прекрасно выходят на фотографиях, создавая иллюзию причастности к жизни елизаветинцев? Или изящные дома времен королевы Анны и Тома Джонса? Но сажа закоптила их скучную серую лепнину, с которой уже давно стерлась позолота. Они пустеют один за другим, вслед за елизаветинскими особняками. А теперь их и вовсе стали сносить. Что до деревенских хижин — вместо них эти кирпичные заплаты на безысходно-унылой земле. И вот уже гибнут дома, уходят в небытие последние георгианские особняки. Фричли-холл, великолепный образчик георгианской эпохи, сносится прямо сейчас, на глазах у Конни.

Он был до войны в отличном состоянии, в нем счастливо и весело жило семейство Уэзерли. Но теперь он оказался слишком велик, разорителен, да и край потерял былую привлекательность. Дворянство бежит в другие места, где можно тратить деньги, не видя, как они зарабатываются.

Это история. Одна Англия вытесняет другую. Шахты обогатили дворянство, теперь они же и разоряют его, как уже разорили крестьян. Промышленная Англия сменила сельскую. Одно историческое содержание приходит на смену другому. Новая Англия вытесняет старую. И развитие идет не работой подспудных жизненных сил, а механически привносится извне.

Конни, принадлежа к классу бездельников, цеплялась за эти клочки уходящей Англии, как за якорь спасения. Она не сразу поняла, что старая веселая Англия действительно исчезает и скоро исчезнет совсем. С Фричли покончено, с Иствудом тоже; дышит на ладан Шипли, так щемяще любимый сквайром Уинтером.

Конни заглянула к нему по пути. Дальние ворота были у самого переезда через железнодорожную колею, идущую к шахтам.

Шахты высились как раз за парком. Ворота стояли открытые настежь: шахтерам позволено было ходить через парк. Вечерами и по воскресеньям они любили погулять среди вековых деревьев.

Автомобиль миновал декоративные пруды (шахтеры бросали в них прочитанные газеты) и покатил по аллее к дому. Дом стоял чуть в стороне, на возвышении, красивый с лепниной осколок восемнадцатого века. Поодаль шла тисовая аллея, ведущая еще к его предшественнику, от которого не осталось и следа. Шипли-холл наслаждался покоем блаженного неведения. За домом тянулись прекрасные сады.

Конни нравился дом сквайра Уинтера гораздо больше, чем Рагби-

холл. В нем было столько света, изящества, вкуса. Стены обшиты кремовыми панелями, потолки отливают позолотой, мебель радует глаз элегантностью: хозяева за ценой не стояли. Дом содержался в образцовом порядке; даже коридоры, закруглявшиеся на поворотах, были светлые, просторные, полные цветов.

Лесли Уинтер жил один. Он обожал свой дом. Но к парку примыкали три его собственных шахты. А Уинтер был натурой щедрой и справедливой, и он чуть ли не сам пригласил шахтеров ходить через парк. Разве не им он обязан своим благосостоянием? А увидев, как чумазые орды ринулись к его драгоценным прудам (у него хватило здравого смысла оставить заповедной примыкавшую к дому часть парка), он сказал себе в утешение: «Шахтеры, конечно, не столь живописны, как олени, но не в пример выгоднее».

Это произошло еще в правление королевы Виктории во вторую, золотую (в финансовом смысле слова) его половину. Шахтеры тогда еще были славными рабочими парнями.

Уинтер рассказал эту историю не то в шутку, не то в оправдание гостившему у него тогдашнему принцу Уэльскому. На что принц ответил ему своим гортанным голосом:

— Вы совершенно правы. Найдись уголь у меня в Сандринхеме, я велел бы вырыть на лужайках шахту и почитал бы ее самым лучшим парковым украшением. Я с удовольствием обменял бы своих косуль на шахтеров при нынешних ценах на уголь. К тому же, я слыхал, ваши шахтеры — добрый народ.

Наверное, все-таки у принца было в те поры несколько преувеличенное понятие о значимости денег и прелестях индустриального общества.

Как бы то ни было, принц стал королем, король умер; вместо него стал править новый король, чьей главной заботой были, кажется, бесплатные столовые для бедняков.

И вот теперь этот «добрый народ» повел наступление на усадьбу Шипли. Новые шахтерские поселки налезали на парк, и сквайр вдруг начал ощущать враждебность своих соседей. Он всегда чувствовал себя хозяином своей вотчины и своих углекопов — высокородным и добросердечным, но хозяином. Последнее время, однако, его шахты, его углекопы — вследствие какого-то неуловимого, новомодного поветрия — стали как бы выталкивать его с родовых земель. Теперь он становился здесь чужаком, в этом сомневаться не приходилось. Шахты, производство стали проявлять своеволие, нацелив его острие на хозяина-джентльмена. Было не очень приятно жить, то и дело натыкаясь на него. И посыл был всегда один — уйди, из этих мест или совсем из жизни, но уйди.

Сквайр Уинтер держался стойко, как подобает солдату. Перестал только гулять в парке после обеда. Отсиживался, так сказать, в стенах дома. Как-то вышел проводить до ворот Конни — с непокрытой головой, в туфлях из дорогой кожи, в шелковых носках бордо; говорил с ней со старомодной учтивостью, чуть растягивая слова. Вдоль аллеи стояли кучки шахтеров, глядевших на сквайра пустым взглядом — ни приветствия, ни улыбки, и Конни почувствовала, как этот высокий, сухопарый джентльмен, дойдя до них, весь подобрался, точно запертый в вольере красавец олень под взглядом досужей публики. Личной к нему вражды у шахтеров не было. Но от них веяло таким холодом, что хотелось бежать отсюда куда глаза глядят.

Подоплекой всего была зависть. Они работали на него. И, сознавая свое безобразие, ненавидели его элегантное, холеное, хорошо воспитанное существование. «Да кто, в сущности, он такой!» Они ненавидели не его, а эту вопиющую разницу между ними.

И все же в глубине души этот старый солдат признавал — а ведь, пожалуй, они и правы. Есть что-то постыдное в его привилегиях. Но он был частью системы, а стало быть, никто не смел посягнуть на его права.

Разве что смерть. И она не заставила себя ждать. Уинтер умер вне-

запно, вскоре после этого визита Конни к нему. И в завещании щедро помянул Клиффорда.

Его наследники тотчас распорядились пустить Шипли на слом. Слишком обременительно содержать такой особняк. Не нашлось охотника жить в нем, и дом разобрали. Спилили вековые тисы. Вырубили парк, поделили его на участки и застроили. На странной, голой, ничейной земле выросли новые улицы новых кирпичных домов. Какая прелесть этот Шипли-холл! И до Атуэйта рукой подать.

И все это произошло в течение одного года после ее последнего посещения Шипли. Так и вырос тут новый городок Шипли-холл, стройные ряды красно-кирпичных вилл, уличные перекрестки. Кто бы сказал, что еще год назад здесь, на этой земле, величаво дремал осененный тисами особняк.

Логическое завершение архитектурной мечты короля Эдуарда: угольная шахта — лучшее украшение газона.

Одна Англия вытесняет другую. Нет больше Англии сквайра Уинтера, Рагби-холла, она умерла. Но процесс вытеснения еще не кончен.

А что будет после? Конни не представляла себе. Она видела только, как все новые улочки выползают в поля, как рядом с шахтами растут заводские здания; видела молоденьких девушек в шелковых чулках, парней, интересы которых вращались вокруг танцзала да шахтерского благотворительного клуба. Молодое поколение понятия не имеет о старой Англии. Разрыв культурной традиции, почти по-американски. Действительно, индустриальная революция. А что дальше?

Конни чувствовала: дальше — ничего. Ей хотелось, как страусу, зарыться головой в песок или хотя бы прижаться к груди любимого.

Мир так сложен, непонятен, чудовищен. Простой люд так многочислен и невыносим, думала Конни на обратном пути, глядя на возвращающихся из забоя шахтеров: черные, скрюченные, скособоченные, они тяжело топали коваными сапогами. На пепельно-серых лицах вращаются яркие белки глаз; шеи, плечи согнуты низкой кровлей забоя. Господи, и это мужчины! Возможно, они добры, терпеливы, зато главное, увы, в них не существует. В них убито мужество, вытравлено из поколения в поколение. И все же они мужчины. Женщины рожают от них. Страшно даже подумать об этом. Наверное, они хорошие, добрые. Но ведь они только полулюди. Серо-черные половинки человеческого существа. Пока они добрые. Но и доброта половинчата. А что, если та, мертвая половина проснется! Нет, об этом лучше не думать. Конни панически боялась индустриальных рабочих. Они ей казались такими странными. Их жизнь, навечно прикованная к шахте, была начисто лишена красоты, интуиции, гармонии.

Рожать дитя от такого мужчины? О Господи! Но ведь и Меллорс был зачат таким отцом. И все-таки Меллорс — другое дело. Сорок лет — немалый срок. За этот срок можно преобразиться, как бы глубоко ни въелся уголь в тело и душу твоих дедов и прадедов.

Воплощенное уродство и все-таки живые души! Что с ними станется в конце концов? Иссякнет под землей уголь, и они сами собой исчезнут? Эти тысячи гномов взялись ниоткуда, когда шахты призвали их. Может, они какое-то кошмарное порождение угля? Существа иного мира, частицы горючей угольной пыли, так же как литейщики — частицы руды. Люди и не люди, плоть от плоти угля, руды, кремнезема. Фауна, рожденная углеродом, железом, кремнием. И, возможно, они обладают их странной нечеловеческой красотой: антрацитовым блеском угля, синеватой твердостью стали, чистейшей прозрачностью стекла. Порождения минералов, фантастические, искореженные. Дети подземных кладовых. Уголь, железо, кремнезем для них все равно что вода для рыб, трухлявое дерево для личинок.

Конни вернулась домой, как под сень райских кущ, где можно зарыть голову в песок — поболтать с Клиффордом. Угольный и сталелитейный Мидленд нагнал на нее такого страху, что ее била лихорадка.

— Я, конечно, заехала в лавку мисс Бентли, выпила чашку чаю,— сказала она Клиффорду.

— Что за фантазия! Разве ты не могла выпить чашку чаю в Шипли у Уинтера?

— А я и там выпила. Но мне не хотелось огорчать мисс Бентли.

Мисс Бентли, скучная старая дева с длинным носом и романтическим складом характера, угощала чаем, точно священнодействовала.

— Она обо мне справлялась? — спросил Клиффорд.

— Разумеется! «Позвольте осведомиться у вашей милости, как себя чувствует сэр Клиффорд?» Она превозносит тебя до небес. Веришь ли, заткнула за пояс даже сестру Кейвел!

— И ты, конечно, ей ответила: «Великолепно!»?

— Ну да. Она пришла в такой восторг, как будто ты живым вознесся на небо. Я пригласила ее к нам, сказала: если она будет в Тивершолле, пусть непременно навестит тебя.

— Меня? Зачем?

— Ах, Клиффорд, я же говорю, она боготворит тебя. Ты ведь должен быть хоть немного признателен ей за это. В ее глазах Святой Георгий — ничто по сравнению с тобой.

— И что же, ты думаешь, она приедет?

— Ты бы видел, она так и вспыхнула. И даже на миг стала, бедняжка, хорошенькой. И почему это мужчины не женятся на женщинах, которые их обожают?

— В женщине дар обожания просыпается несколько поздновато. А она и правда может нагрянуть к нам?

— «Ах, ваша милость,— передразнила Конни мисс Бентли,— я не могла и мечтать о таком счастье».

— Не могла и мечтать! Что за чушь! Надеюсь, все-таки у нее хватит ума забыть о твоем приглашении. А как у нее чай?

— «Липтон» и очень крепкий! Но, Клиффорд, неужели ты не понимаешь, что для таких женщин, как мисс Бентли, ты — Roman de la rose [1].

— Меня и это не растрогало.

— Они дрожат над каждой твоей фотографией из журналов. И, наверное, каждый вечер молятся за тебя. Как хочешь, но это прекрасно!

И Конни пошла наверх переодеться.

А вечером Клиффорд сказал ей:

— Ты ведь веришь, что браки заключаются на небесах?

Конни удивленно взглянула на него.

— В этих словах я слышу бряцание длинной, длинной цепи, которая будет волочиться всюду, как бы далеко ни уехать.

— Я вот что имею в виду,— не без раздражения проговорил он.— Вот ты собралась в Венецию. Ты ведь едешь туда не для того, чтобы завести любовь au grand sérieux? [2]

— Завести в Венеции любовь au grand sérieux? Разумеется, нет, уверяю тебя. В Венеции я могла бы завести разве что любовь au très petit sérieux [3].

Конни произнесла эти слова с легким презрением.

Утром, спустившись вниз, она увидела в коридоре Флосси. Собака Меллорса сидела под дверью и тихонько поскуливала.

— Флосси, — тихонько позвала Конни.— Что ты здесь делаешь? — И с этими словами она спокойно отворила дверь. Клиффорд сидел в постели, прикроватный столик с машинкой был сдвинут в сторону; в ногах кровати стоял навытяжку егерь. Флосси в один миг проскочила в

[1] Роман о розе *(франц.)* — средневековая поэма (XIII в.) Гильома де Лорриса и Жана де Мёна. В первой части поэмы фигурируют персонифицированные пороки и добродетели, а сама поэма рассказывает в иносказательной форме о любви поэта к Розе, олицетворяющей и идеальную женственность, и божественную благодать. Образ возлюбленной, обычный для рыцарских романов, заменяется здесь «идеей» женщины» — Розой.

[2] Очень серьезно *(франц.)*.

[3] Не очень серьезную *(франц.)*.

комнату. Легким движением головы и глаз Меллорс послал ее вон, и Флосси тотчас повиновалась.

— Доброе утро, Клиффорд,— сказала Конни.— Я не знала, что ты занят.— Взглянув на егеря, она поздоровалась и с ним. Меллорс ответил вполголоса, почти не глядя на нее. Но у Конни подкосились ноги, так подействовало на нее его присутствие.

— Я помешала тебе, Клиффорд? Прости.

— Нисколько. Я ничем серьезным не занят.

Конни вышла из комнаты и поднялась в голубую гостиную. Села там у окна и долго смотрела, как он уходил по аллее — легко, изящно и как бы крадучись. Его отличало природное достоинство, гордость и какая-то необъяснимая хрупкость. Слуга! Слуга Клиффорда!

> Не звезды, милый Брут, а сами мы
> Виновны в том, что сделались рабами [1].

А он правда слуга? Правда? А что он все-таки думает о ней?

День был солнечный, и Конни пошла поработать в сад. Миссис Болтон помогала ей. Эти две женщины, повинуясь неведомой силе, управляющей симпатиями и антипатиями, питали друг к другу душевную приязнь. Подвязав к колышкам высокую гвоздику, они принялись за рассаду. Обе любили возиться с землей. Конни с нежностью расправляла тоненькие корешки и, осторожно погрузив крошечное растение в мягкую почву, придавливала ее пальцами. Этим весенним утром она почувствовала в своем чреве легкую приятную дрожь, как будто и ее нутра коснулся живительный солнечный луч.

— Вы давно потеряли мужа? — спросила она миссис Болтон, беря очередной цветок и опуская его в ямку.

— Двадцать три года назад,— ответила миссис Болтон, осторожно разделяя рассаду на отдельные ростки.— Его принесли домой... Да, уже двадцать три года назад!

К горлу Конни подкатил комок. Как все просто и страшно: «Двадцать три года назад!»

— Почему он погиб? — спросила она.— Он был с вами счастлив?

Естественный вопрос одной женщины к другой. Миссис Болтон тыльной стороной ладони откинула со лба волосы.

— Не знаю, ваша милость. Он не любил подчиняться; я даже скажу, он мало с кем и дружбу водил. С норовом был. Не любил кланяться. Это его и сгубило. Не очень он и берегся. Шахта во всем виновата. Ему никак нельзя было там работать. Отец отвел его в шахту, он еще был мальчишкой. А уж как перевалит за двадцать, уйти трудновато. Куда уйдешь-то?

— А он говорил, что ненавидит шахту?

— Нет, никогда не говорил. Чтобы он сказал «ненавижу»? Нет, не припомню. Только, бывало, сморщится. Он ничего не боялся, как-то не думал о плохом. Знаете, как весело шли на войну первые новобранцы? И сразу все полегли там. Вот и он был такой же. А вообще-то он парень был с головой. Только не берегся. Я ему сколько говорила: «Никого не жалеешь, ни себя, ни других». А он жалел. Помню, как он сидел рядом со мной — я тогда первенького рожала. Молчит и такими глазами смотрит, точно это не он, а сама судьба на меня глаза вытаращила. Тяжело мне пришлось, и я же еще его и успокаивала: «Ничего, говорю, все обойдется». А он как зыркнет на меня и улыбнется так-то странно... И все молчал. Только потом, думаю, ему уже никогда не было со мной хорошо... ночью, в постели. Я ему, бывало, говорю: «Да что это с тобой!» Даже сержусь, а он молчит... Не хотел, что ли, или не мог. Боялся, вдруг буду опять рожать. Я на его мать сердилась — зачем пустила его ко мне? Нельзя было пускать. Мужчине что вошло в ум, то и засело. Хоть караул кричи.

[1] У. Шекспир. «Юлий Цезарь», перев. М. Зенкевича.

— Это так на него повлияло? — изумилась Конни.

— Да. Не мог он взять в толк, что все это от природы — боль и все такое. Это-то и отравляло ему удовольствие. Я ему говорю: раз я не боюсь, так тебе-то чего бояться. А он мне: неладно все это.

— Он, наверное, был очень чувствительный,— заметила Конни.

— Вот-вот, чувствительный. С мужчинами всегда так, больно чувствительны, где не надо. И я думаю, хотя он сам и не сознавал, он эту шахту ненавидел, ненавидел, и все. Когда он лежал в гробу, у него было такое лицо... Как будто он наконец-то освободился. Парень он был видный, красивый. У меня сердце так и разрывалось. Лежит такой спокойный, такой светлый, как будто рад, что умер. Он разбил мне сердце. А виновата во всем шахта.

Несколько все еще горьких слезинок скатилось по ее щекам. А Конни просто облилась слезами. День был такой теплый, пахло свежей землей, желтой сурепкой; весь сад набух бутонами, впитывая потоки солнечного света.

— Как же вы это пережили? — сказала Конни.

— Сама не знаю. Сначала я даже не очень и поняла, какая беда стряслась. И только все повторяла: «Мальчик мой, как ты мог уйти от меня?». И не плакала. У меня было такое чувство, что это понарошке, что он вот-вот вернется.

— А у него когда-нибудь было в мыслях уйти от вас?

— Конечно, нет, ваша милость. Это я так, по глупости говорила. И все ждала, ждала его. Особенно по ночам. Проснусь и тоскую, ну почему, почему его нету рядом, в постели. Это не я сама, это мои чувства не верили, что его никогда уже не будет со мной. Мое тело ждало его: вот придет он и ляжет под бочок. И мы опять будем вместе. Умирала, так хотела почувствовать его тепло. А он все не шел. Я ждала его сто, тысячу ночей, много лет. Пока вдруг не поняла — никогда его со мной не будет, никогда.

— Вам не хватало его близости? — спросила Конни.

— Да, ваша милость, вот именно. Его близости. И сколько я жива, я никогда не смирюсь с этим. И если есть Бог, мы встретимся с ним на небе. И тогда опять ляжем вместе в обнимку.

Конни со страхом посмотрела на все еще красивое, искаженное горем лицо. Еще одна страдалица в Тивершолле. «Опять ляжем вместе в обнимку». Да, любовные узы не легко рвутся.

— Не приведи Бог, чтобы мужчина вошел тебе в плоть и кровь,— сказала она.

— Ах, ваша милость. Это и есть самое страшное. Я думаю иногда, люди хотели, чтобы его убило. Шахта хотела. Если бы не шахта, если бы не они, нас бы ничто никогда не разлучило. Если мужчина и женщина любят друг друга, все-все стремится их разлучить, все против.

— Если любовь настоящая.

— Да, ваша милость. В мире столько жестокосердных людей. Он уйдет утром на шахту, а я думаю: нельзя, нельзя ему туда ходить. А чем бы еще он мог зарабатывать? Чем?

В последних словах миссис Болтон Конни уловила до сих пор тлевшую ненависть.

— Неужели близость с мужчиной помнится так долго? — вдруг спросила Конни.— Прошло столько лет, а для вас это было как вчера.

— Да, ваша милость. А что еще помнить-то? Дети подрастут и до свидания. А муж, муж — он твой, навсегда. Но люди и память о нем хотели бы убить во мне. Даже собственные дети. Да что тут сказать! Может, когда-нибудь мы с ним и расстались бы. Но чувства — с ними ничего не поделаешь. Уж лучше совсем не знать любви. Да только гляжу я на этих бедняжек, не знавших мужниной ласки, такие они несчастные, обделенные, как бы ни наряжались, как бы ни задирали носа. Нет уж, моя судьба все-таки лучше. А людей я не очень-то уважаю. Нет, не очень.

## Глава 12

Конни пошла в лес сразу после второго завтрака. День был поистине прекрасен, в траве пестрели солнечные головки одуванчиков, белые как снег маргаритки. Орешник стоял окутанный зеленым кружевом мелких жатых листочков, прошитый сухими прошлогодними сережками. Росли, теснясь, вверх и вширь, ярко-желтые бальзамины. И примулы, невидные, застенчивые примулы, уже цвели тяжелыми розоватыми гроздьями. Сочно-зеленый ковер гиацинтов ощетинился бледными пиками бутонов; там и здесь раскрывал свои коробочки водосбор; верховая тропа вспенилась незабудками; под кустами белеют хрупкие скорлупки яиц, только что покинутых птенцами. На кустах, на деревьях — набухшие бутоны, всюду опять занималась жизнь.

Егеря не было в охотничьей сторожке. Все было исполнено миром, в загоне бегали крепкие коричневые цыплята. Конни очень хотелось повидать его, и она свернула на тропинку, ведущую к его дому.

Дом стоял на опушке леса, залитый солнцем. Двери распахнуты настежь, по обе стороны цветут пучки махровых нарциссов; вдоль дорожки слева и справа розовые и красные маргаритки. Залаяла собака, и навстречу выбежала Флосси.

Дверь распахнута настежь! Значит, он дома. Солнце ярко освещало сквозь дверь красный кирпичный пол. Подойдя ближе, она увидела Меллорса в окно: он сидел за столом в легкой рубашке и ел. Собака тявкнула раз-другой и слабо завиляла хвостом.

Он встал, подошел к двери, вытирая рот красным платком и дожевывая кусок.

— Можно войти? — спросила она.

— Входите.

Половина комнаты была залита солнцем, пахло бараньей отбивной, зажаренной в духовке; духовка все еще стояла на выступе очага, рядом на листке бумаги — сковородка. В очаге потрескивает небольшой огонь, решетка опущена; чайник на ней уже завел свою песенку. На столе — тарелка с картошкой и остатками отбивной, хлеб в плетеной хлебнице, соль, синий кувшин с пивом. Вместо скатерти — белая клеенка. Егерь встал, лицо его было в тени, солнце в дальний угол не доставало.

— Вы опоздали с завтраком,— сказала она.— Садитесь и ешьте!

Она села на простой стул у двери на самое солнце.

— Я ездил в Атуэйт,— сказал он и тоже сел, но к еде не притронулся.

— Пожалуйста, ешьте,— сказала она.

Он не шевельнулся.

— Кушать будете? — спросил он.— Может, чашку чаю? Чайник кипит.— Он привстал со стула.

— Сидите, я сама налью,— сказала Конни, поднявшись.

Вид у него был невеселый, она явно мешала ему.

— Заварной чайник и чашки там,— указал он на старый угловой буфетик,— а чай на каминной доске над вами.

Она взяла черного цвета чайник, сняла с полки жестяную банку с чаем, ополоснула чайник кипятком и секунду помешкала, не зная, куда выплеснуть воду.

— Вылейте за дверь,— сказал он, видя ее нерешительность.— Вода чистая.

Подойдя к двери, Конни выплеснула воду на дорожку. Как здесь было славно, покойно, настоящий лесной край. Дубы опушились охряными листочками; красные маргаритки — точно красные бархатные пуговицы, рассыпанные на зеленом ковре. Она глянула на сточенный временем каменный порог — теперь его мало кто переступает.

— Как здесь хорошо! — сказала она.— Так красиво и тихо Все полно покоя и жизни.

Он наконец принялся за еду, но ел медленно, без всякой охоты: Конни чувствовала, он выбит из колеи. Она молча заварила чай и поставила чайник на боковую полочку в очаге, как делают местные хозяйки. Он отодвинул тарелку и пошел в глубь дома. Послышался звук защелки, скоро он вернулся, неся масло и тарелку с сыром.

Конни поставила на стол две чашки — их и было всего две.

— А вы выпьете чашку чаю?

— С вашего позволения. Сахар в буфете, и сливки там же. Молоко в кладовке.

— Можно я уберу вашу тарелку? — спросила Конни.

— Как хотите,— сказал он, глянув на нее с легкой усмешкой, медленно жуя хлеб с сыром.

Конни пошла в моечную, куда воду подавал насос. Дверь слева вела, очевидно, в кладовую. Открыв задвижку, она улыбнулась: вот что он называет кладовкой — длинный, узкий, побеленный внутри шкаф. Но там все-таки умещалась бочка пива, посуда и кое-какая еда. Конни отлила немного молока из желтого кувшина и вернулась в комнату.

— Где вы берете молоко? — спросила она.

— У Флинтов. Они оставляют для меня в конце заповедника бутылку. Там, где мы встретились.

Но он явно был выбит из колеи.

Конни разлила чай и взяла из буфета молочник со сливками.

— Мне без молока,— сказал он и в тот же миг насторожился, взглянув на дверь,— ему послышался снаружи какой-то шорох.

— По мне, лучше бы затворить дверь.

— Может, не надо? Вряд ли кто-нибудь придет.

— Шанс один из тысячи, но ручаться все же нельзя.

— Ну и пусть,— сказала она.— Мы ведь только пьем чай. А где ложки?

Он протянул руку, выдвинул ящик в столе. Конни села за стол в конус льющегося из двери света.

— Флосси! — позвал он собаку, лежавшую на нижней ступеньке.— Ступай, послушай! — приказал он, подняв вверх палец.

«Послушай» прозвучало очень выразительно. И Флосси потрусила на разведку.

— Вы чем-то расстроены сегодня? — спросила Конни.

Он метнул в ее сторону взгляд своих синих глаз и в упор посмотрел ей в лицо.

— Расстроен? Просто досада берет. Я ездил сегодня в суд за повестками — поймал на днях двух браконьеров. Ну и... а, не люблю я людей.

— Вам неприятно работать егерем?

— Неприятно? Отнюдь. При условии, что я сижу здесь в лесу и до меня никому нет дела. А вот ежели приходится торчать в присутственных местах и ждать, когда тебя одарит своим вниманием всякая сволочь, тогда я... Тогда я бешусь,— сказал он, усмехнувшись, как ей показалось, с вызовом.

— А вы могли бы жить, ни от кого не завися?

— Жить только на пенсию? Думаю, что мог бы. Да, конечно, мог бы. Но мне надо работать, иначе я с тоски подохну. Я должен быть занят с утра до вечера. Делать что-то свое я сейчас не расположен. Вот и приходится работать на хозяина. Иначе через месяц-другой все заброшу, просто из-за чудовищного сплина. Так что в общем мне здесь неплохо, особенно последнее время.— И опять та же усмешка, граничащая с вызовом.

— Отчего у вас этот сплин? — спросила Конни.— Вы всегда в таком настроении?

— Почти всегда,— рассмеялся он.— Желчь разливается.

— Какая желчь? — спросила она.

— Желчь? — повторил он.— Вы не знаете, что такое желчь?

Конни разочарованно молчала. Он просто не замечает ее.

— Я через месяц уезжаю на какое-то время,— сказала она.

— Уезжаете? Куда?

— В Венецию.

— В Венецию? С сэром Клиффордом? Надолго?

— Наверное, на месяц,— ответила она.— Клиффорд со мной не едет.

— Он останется здесь? — спросил он.

— Да. Клиффорд не любит ездить из-за своего состояния.

— Бедняга! — искренне посочувствовал он.

Немного помолчали.

— Вы не забудете меня за этот месяц? — спросила она.

Он опять поднял глаза и посмотрел на нее в упор.

— Забуду? — переспросил он.— Вы же знаете, человек ничего никогда не забывает. Так что память здесь ни при чем.

Конни хотела спросить: «А что же при чем?» — но вместо этого глухо произнесла:

— Я сказала Клиффорду: возможно, у меня будет ребенок.

На этот раз он посмотрел на нее долгим напряженным взглядом.

— Вот как! — сказал он наконец.— И что же он ответил?

— Он не возражает. Если все будут думать, что ребенок его, он будет даже рад. Правда, рад.

Конни не смела поднять на него глаза. Он долго молчал.

— Обо мне, разумеется, разговора не было?

— Нет. О вас разговора не было.

— Еще бы! Ему вряд ли пришлась бы по вкусу такая замена. Ну а откуда бы взялся этот ребенок?

— У меня в Венеции может быть роман,— сказала она, взглядом умоляя его о пощаде.

— Может,— произнес он медленно,— вы потому и едете?

— Нет, конечно. Я не собираюсь заводить там никаких романов.

— Значит, потом намекнете, что роман был в Венеции.

Опять замолчали. Он смотрел в окно, улыбаясь не то с горечью, не то с насмешкой. Ее задевала эта его усмешка.

— Вы что, не предостерегались? — вдруг сказал он.— Так же, как и я?

— Я это ненавижу,— пролепетала она.

Он посмотрел на нее, затем устремил взгляд в окно, по-прежнему чуть заметно улыбаясь. Молчание становилось невыносимым.

Наконец он повернулся к ней и сказал, не скрывая иронии:

— Так вот зачем я вам понадобился — для ребенка.

Конни опустила голову.

— Нет, не совсем,— прошептала она.

— Не совсем? Как это не совсем? — сказал он с явным желанием уколоть ее.

— Не знаю.— Конни с укором взглянула на него.

Он рассмеялся:

— И я не знаю.

Опять воцарилось молчание.

— Ну, что ж,— начал он.— Как вашей милости будет угодно. Ну, вы родите. Сэр Клиффорд будет доволен. Я тоже ничего не потеряю. Напротив, судьба послала мне несколько прекрасных мгновений, действительно прекрасных.— С этими словами он, чуть не зевая, потянулся на стуле.— Вы воспользовались мной,— продолжал он.— Что ж, не вы первая, не вы последняя. Но хоть унижение в этот раз скрашено удовольствием.

Он опять потянулся, по телу у него пробежала мелкая дрожь, подбородок как-то странно выпятился.

— Это не так. У меня и в мыслях не было воспользоваться вами,— сказала Конни.

— Всегда готов к услугам вашей милости.

— Но вы мне очень нравитесь.

— Да? — рассмеялся он.— Вы мне тоже очень нравитесь, так что мы квиты.

И он посмотрел на нее изменившимся, потемневшим взглядом.

— Может, пойдем сейчас наверх? — спросил он дрогнувшим голосом.

— Нет, только не здесь. Не сейчас! — поспешно возразила она. Начни он настаивать, она бы покорилась — так сильно ее тянуло к нему.

Он отвернулся и, казалось, забыл о ней.

— Мне бы хотелось ощущать ваше тело. Так же, как ощущаете вы мое,— сказала она.

Он взглянул на нее и улыбнулся.

— Ну, так идем!

— Нет-нет! Лучше в сторожке. Хорошо?

— А как я ощущаю? — спросил он.

— Когда ласкаете.

Взглянув на нее, он перехватил ее отяжелевший, неспокойный взгляд.

— Вам это нравится? — спросил он, все еще улыбаясь.

— Да, а вам?

— Мне? — И прибавил изменившимся тоном: — Нравится. И вы это знаете.

Да, она знала.

Конни встала, взяла шляпку.

— Мне пора идти,— сказала она.

— Идите, конечно.

Ей хотелось, чтобы он протянул руку, коснулся ее, сказал что-нибудь, но он молчал в почтительном ожидании.

— Спасибо за чай,— сказала она.

— Не смею благодарить вашу милость за оказанную честь — мне и моему очагу.

Конни пошла по дорожке, ведущей в лес, а он стоял в дверях, и легкая усмешка чуть кривила его губы. Флосси, задрав хвост, бросилась было вдогонку. Конни шла медленно, не шла, а тащилась, чувствуя, что он смотрит ей вслед, улыбаясь непонятной улыбкой.

Она вернулась домой расстроенная. Ее задели его слова, что она пользуется им в своих целях, потому что ведь, в сущности, это была правда. И в ней опять заговорили противоречивые чувства — возмущение и потребность скорее помириться с ним.

За чаем Конни была молчалива и рано удалилась наверх. Она себе места не находила. Надо не мешкая на что-то решиться. Вот возьмет и пойдет прямо сейчас в сторожку. А если его там нет? Что ж, может, оно и к лучшему.

Конни незаметно выскользнула из дома через заднюю дверь и пошла в лес, все еще пребывая в унынии.

У самой сторожки она вдруг почувствовала сильнейшее смущение. Его она увидела сразу; он стоял нагнувшись, в одной рубашке, и выгонял из загона кур, вокруг которых путались фазанята, крепенькие, еще немного неуклюжие, но поизящнее обыкновенных цыплят.

Конни пошла прямо к нему.

— Видите, я пришла,— сказала она просто.

— Вижу,— ответил он, выпрямляясь и глядя на нее с заметным удивлением.

— Вы выпускаете кур? — спросила она.

— Выгоняю. Не выгонишь, сами не пойдут. Им и голод нипочем. У несушек, вишь, одно на уме — как бы чего с птенцами не приключилось.

Бедняжки куры, вот он, инстинкт продолжения рода! Слепая материнская привязанность! И ведь им все равно, чьи яйца высиживать. Конни поглядела на них с жалостью. Оба беспомощно молчали.

— Пойдем, что ли, в сторожку,— сказал он наконец.

— А вы этого хотите? — спросила она неуверенно.

— Ну так что, идем, нет?

И она пошла с ним. Он затворил дверь, и стало совсем темно; как в те разы, засветил несильно фонарь.

— У вас ничего нет под платьем? — спросил он.

— Ничего.

— Тогда и я разденусь.

Он постелил одеяла, одно оставил сбоку, чтобы накрыться. Конни сняла шляпу, тряхнула волосами. Он сел, разулся, снял носки, стянул вельветовые брюки.

— Ложитесь! — велел он, стоя в одной рубашке.

Она молча повиновалась, он лег рядом и натянул на обоих одеяло.

— Ну вот,— проговорил он.

Закатал вверх ее платье до самой груди и стал нежно целовать соски, лаская их губами.

— Вот славно-то! — сказал он, потеревшись щекой о ее теплый живот.

Конни тоже обняла его; но ей вдруг стало страшно: она испугалась его гладкого, худого тела, которое оказалось таким сильным и яростным. Все внутри у нее сжалось от страха.

— Славно-то как! — повторил он, вздохнув.

От этих его слов что-то в ней дрогнуло, ум в сопротивлении напрягся, ей неприятна была близость чужого тела, стремительность его движений. И страсть на этот раз не проснулась в ней. Ее руки безучастно обнимали его размеренно движущееся тело, она отвечала ему против воли: ей казалось, у нее открылся третий глаз и отрешенно следит за происходящим — его прыгающие бедра, убыстряющиеся толчки казались ей смешными. Подскоки ягодиц, сокращение бедного маленького влажного пениса — и это любовь! В конце концов нынешнее поколение право, чувствуя презрение к этому спектаклю. Поэты говорят, и с ними нельзя не согласиться, что Бог, создавший человека, обладал, по-видимому, несколько странным, если не сказать злобным, чувством юмора. Наделив человека разумом, он навязал ему эту смешную позу, вселил слепую, неуправляемую тягу к участию в этом спектакле. Даже Мопассан назвал его «унизительным». Мужчина презирает половой акт, а обойтись без него не может.

Холодный, насмешливый, непостижимый женский ум оценивал происходящее со стороны; и хотя она лежала податливо, ее так и подмывало рвануться и сбросить с себя мужчину, освободиться от его жестких объятий, от этой абсурдной пляски его бедер, ягодиц. Его тело представлялось ей глупым, непристойным, отталкивающим в своей незавершенности. Ведь нет сомнения, что дальнейшая эволюция отменит этот спектакль.

Тем не менее, когда все скоро кончилось и он лежал, замерев, очень далекий, канувший за пределы ее разумения, сердце ее заныло. Он уходил от нее, отступал, как отливная волна, кинувшая на берегу ненужный ей камешек. Рыдание вдруг сотрясло ее, и он очнулся.

— Ты чего? — сказал он.— Ну, не сладилось в этот раз, бывает.

Значит, он понял! Рыдания ее стали безудержны.

— Чего убиваться-то! — продолжал он.— Раз на раз не приходится.

— Я... я не могу тебя любить,— захлебывалась она слезами.

— Ну и ладно. Реветь-то чего! Никто тебя не понужает любить.

Он все еще держал руку на ее груди. Конни же сразу разомкнула руки. Его слова не утешили ее: она плакала навзрыд.

— Ну, ну,— говорил он.— Вишь как бывает: то густо, то пусто.

— Я хочу... хочу тебя любить,— причитала сквозь слезы Конни.— Но почему-то не могу. Все мне кажется таким ужасным.

Он засмеялся удивленно и с оттенком горечи.

— Чего ужасно-то? Кажется — перекрестись. Эка невидаль — не лю-

бишь. А коли не любишь, неволить себя — грех. Да только ведь орех с червоточиной — один на сотню. Что же теперь, из-за одного ореха вешаться?

Он убрал руку с ее груди, не приласкав. И она почувствовала какое-то надсадное удовольствие. Конни не выносила эту его народную манеру говорить — вишь, понужать, эка невидаль. Еще встанет сейчас и начнет прямо над ней застегивать эти нелепые вельветовые брюки, Микаэлис из приличия хоть отворачивался. Такая самоуверенность, ему и в голову не придет, что в глазах людей он просто клоун, дурно воспитанный клоун.

И все же, когда он отстранился от нее и стал молча вставать, она вцепилась в него как в бреду.

— Не уходи! Не уходи от меня! Не сердись. Обними лучше. Крепко обними,— шептала она в исступлении, не понимая, что говорит. Она искала спасения от самой себя, от своего внутреннего неприятия, сопротивления, которое было так сильно.

И он внял ей, обнял, привлек к себе, взял на руки, и она вдруг ощутила себя крошечным комочком. Сопротивление исчезло, в душе воцарился ни с чем не сравнимый покой. И тогда эта нежная, доверчиво прильнувшая к нему женщина стала для него бесконечно желанна. Он жаждал обладать этой мягкой, женственной красотой, волнующей в нем каждую жилку. И он стал, как в тумане, ласкать ее ладонью, воплощавшей чистую, живую страсть. Ладонь его плыла по шелковистым округлым бедрам, теплым холмикам ягодиц, все ниже, ниже, пока не коснулась самых чувствительных ее клеточек. Она отогревалась, оттаивала в его пламени. Мужская его плоть напряглась сильно, уверенно. И она покорилась ему. Точно электрический разряд пробежал по ее телу, это было как смерть, и она вся ему раскрылась. Он не посмеет сейчас быть резким, разящим, ведь она беззащитна, вся открыта ему. И если бы он вонзился в ее тело кинжалом, это была бы смерть. На нее нахлынул мгновенный ужас. Но движение его было странным, замедленным, несущим мир — темное, тяжелое и вместе медленное колыхание космоса, сотворившее мир. Ужас унялся у нее в груди, ее объял покой, ничего затаенного не осталось. Она отреклась от всего, от себя и предалась несущейся стремнине.

Она сама была теперь океан; его тяжелая зыбь, раскачивающая свою темную немую бездну; где-то в глуби бездна расступалась, посылая в стороны длинные, тягучие валы — расступалась от нежных и сильных толчков; толчки уходили все глубже; валы, которые были она сама, колыхались сильнее, обнажая ее, порывая с ней... Внезапно нежное и сильное содрогание коснулось святая святых ее плоти. Крещендо разрешилось, и она исчезла. Исчезла и родилась заново — женщиной!

Как это было прекрасно! Возвращение к жизни не стерло в памяти только что пережитого чуда. Исходя любовью к чужому мужчине, она не замечала, как таинственный гость уходит от нее. После столь мощно явленной силы он уходил кротко, неосязаемо. А когда совсем исчез, из груди ее вырвался горестный крик утраты. Он был само совершенство! Она так любила его!

Только сейчас она осознала, что он похож на бутон, маленький, нежный, безгласный бутон; и она опять вскрикнула, на этот раз с недоуменной болью: ее женское сердце оплакивало мощь, обернувшуюся немощью.

— Он был так прекрасен! — всхлипнула она.— Так прекрасен!

А он молчал, все еще обнимая ее тело и тихо целуя. Она всхлипывала от избытка чувства — сожженная в пепел жертва и вновь родившееся существо.

И тогда в сердце у нее пробудилось странное восхищение. Мужчина! Непостижимая для нее мужская природа. Руки ее блуждали по его телу, а в душе все еще тлел страх. Страх, который вызывало в ней это

непонятное, совсем недавно враждебное, даже отталкивающее существо — мужчина. А теперь она с нежностью касается его. Сыны Божии и дочери человеческие! Как он красив, как гладка его кожа! Как прекрасен, могуч, чист и нежен покой его тела, заряженного страстью. Покой, присущий сильной и нежной плоти. Как он прекрасен! Как прекрасен! Ее ладони робко скользнули ниже, коснулись теплых ягодиц. Совершенная красота! Новое, неведомое знание, как пламенем, опалило ее. Нет, это невероятно — ведь только что эта красота представлялась ей чуть не безобразием. Несказанная красота этих круглых тугих ягодиц. Непостижимо сложный механизм жизни; полная скрытой энергии красота. А эта странная, загадочная тяжесть мошонки? Великая тайна! Начало начал всего, девственный источник прекрасного...

Она прижалась к нему, шумно вздохнув, и в этом вздохе слились изумление, благоговейный восторг, граничащий с ужасом. Он молча притянул ее к себе, все это время он так и не сказал ни слова. Она прижималась к нему все плотнее, стараясь быть как можно ближе к этому чуду. И вот опять полный непостижимый покой точно подернуло рябью: медленно, угрожающе заворочался фаллос. И сердце ее объял священный трепет.

Близость на этот раз была нежной и переливчатой, ускользающей от восприятия. Все ее существо трепетало живым, неуправляемым трепетом плазмы. Она не понимала, что происходит. Не помнила, что с ней было. Она знала одно — ничего сладостнее она никогда прежде не испытывала. И уже после всего на нее снизошел полный, блаженный покой отрешенности, и она пребывала в нем Бог весть сколько времени. Он все еще был с ней, погруженный, как и она, в океан молчания. И на поверхность не вырвалось ни одного слова.

Когда внешний мир стал проступать в сознании, Конни прошептала: «Любовь моя! Любовь!» Он молча прижал ее к себе, она свернулась калачиком у него на груди, упиваясь совершенной гармонией...

Молчание его начинало тревожить. Его руки ласкали ее, как лепестки цветка, такие покойные и такие странные.

— Ты где? — шептала она ему.— Где? Ну скажи что-нибудь! Хоть словечко!

— Моя девонька.— Он нежно поцеловал ее.

Но она как не слышала, не понимала, где он. Его молчание, казалось, отчуждает его.

— Ты ведь любишь меня? — спросила она.

— Ты это знаешь, миленькая.

— А ты все равно скажи.

— Люблю. Ты ведь чувствуешь это.— Он едва шевелил губами, но говорил твердо и с нежностью. Она еще теснее прижалась к нему. Он был скуп на слова, а ей хотелось, чтобы он снова и снова повторял, что любит.

— Ты меня любишь, да, любишь! — истово прошептала она.

Он опять стал поглаживать ее, как гладил бы цветок. В ладонях теперь уже не было ни искорки страсти, а только бережное любование. А ей так хотелось слышать уверения в любви.

— Скажи, что всегда будешь меня любить,— требовала она.

— Угу,— промычал он отрешенно.

И она поняла, что ее настойчивость только отдаляет его от нее.

— Тебе, наверное, пора идти,— сказал он наконец.

— Нет-нет,— запротестовала она.

Но он уже краем уха прислушивался к звукам наружного мира.

— Начинает темнеть,— беспокоился он.

И она уловила в этом голосе нотки отрезвления. Она поцеловала его, по-женски печалясь, что час ее миновал.

Он встал, подкрутил ярче фонарь и начал быстро одеваться. Он стоял над ней, застегивая брюки, глядя на нее вниз темными, расширенными глазами, лицо слегка порозовело, волосы растрепались — и такой он

был естественный, спокойный, уютный в неярком свете фонаря, такой красивый, не найти слов. И ей опять захотелось крепко прижаться к нему, обнять; в его красивом лице она подметила полусонную отдаленность и опять чуть не расплакалась — так бы схватить его и никуда не пускать. Нет, этого никогда не будет, не может быть. Она все не вставала, нежно белел округлый холмик ее бедра.

Он не знал, о чем она думает, но и он любовался ею — живым, ласковым, удивительным созданием, которое принадлежало ему.

— Я люблю тебя, потому что ты моя баба,— сказал он.

— Я тебе нравлюсь? — У Конни забилось сердце.

— Ты моя баба, этим сказано все. Я люблю тебя, потому что сегодня ты вся совсем отдалась мне.

Он нагнулся, поцеловал ее и натянул на нее одеяло.

— Ты никогда от меня не уйдешь? — спросила она.

— Чего спрашивать-то?

— Но ты теперь веришь, что я тебя люблю?

— Сейчас ты любишь. Но ведь у тебя и в мыслях не было, что полюбишь. Чего о будущем-то гадать. Начнешь думать, сомневаться...

— Никогда не говори мне таких вещей. Но теперь-то ты не считаешь, что я хотела тобой воспользоваться?

— Как воспользоваться?

— Родить от тебя ребенка.

— Сейчас бабе понести — плевое дело, только пальчиком помани,— проговорил он и, сев на стул, начал пристегивать гетры.

— Неправда. Неужели ты и сам этому веришь?

— Верю — не верю...— сказал он, поглядев на нее исподлобья.— А сегодня было лучше всего.

Она лежала спокойно. Он тихо отворил дверь. Небо было темно-синее, книзу переходящее в бирюзу. Он вышел запереть кур, что-то тихонько сказал Флосси. А она лежала и не могла надивиться этому диву — жизни, живым тварям.

Когда он вернулся, она все еще лежала, сияя радостным возбуждением.

Он сел рядом на скамейку, опустив руки между колен.

— Приходи до отъезда ко мне домой, на всю ночь,— сказал он, подняв брови и не отрывая от нее взгляда.

— На всю ночь? — улыбнулась она.

— Придешь?

— Приду.

— Вот и лады,— ответил он на своем кошмарном наречии.

— Лады,— передразнила она его.

Он улыбнулся.

— Когда?

— Наверное, в воскресенье.

— В воскресенье? Ха! В воскресенье негоже,— возразил он.

— Почему негоже? — спросила она.

Он опять рассмеялся — смешно это у нее получается: лады, негоже.

— Ты не сможешь.

— Смогу.

— Ладно, вставай. Пора и честь знать.— Он наклонился и нежно погладил ладонью ее лицо.— Кралечка моя. Лучшей кралечки на всем свете нет.

— Что такое кралечка?

— Не знаешь разве? Кралечка — значит любимая баба.

— Кралечка,— опять поддразнила она его.— Это когда спариваются?

— Спариваются животные. А кралечка — это ты. Смекаешь? Ты ведь не скотина какая-нибудь. Даже когда спариваешься. Краля! Любота, одно слово.

Она встала и поцеловала его в переносицу. Глаза его смотрели глубоко, бархатисто и с таким теплом.

— Я правда тебе нравлюсь?

Он молча поцеловал ее.

Его рука скользила по знакомым округлостям ее тела уверенно, нежно, без похоти.

Смеркалось; она быстро шла домой, и окружающий мир казался ей сном: деревья качались, точно корабли на волнах, ставшие на якорь; крутой склон, ведущий к дому, горбатился, как огромный медведь.

## Глава 13

В воскресенье Клиффорду захотелось покататься по лесу. Было чудесное утро. Сад пенился кипенно-белыми грушами и сливами — извечное весеннее чудо. Это буйное цветение мира и бедный Клиффорд, не способный без чужой помощи пересесть с кресла на свой «банный» стул, являли собой жестокий контраст, но Клиффорд не замечал его; он даже, казалось, гордился своим увечьем. А Конни не могла без дрожи в сердце перекладывать с кресла на стул его безжизненные ноги; и теперь вместо нее Клиффорду помогала миссис Болтон или Филд.

Она ждала его в конце аллеи, под буками. Наконец показалось его кресло; оно двигалось медленно, пыхтя, вызывая жалость хилостью и самодовольством. Подъехав к жене, Клиффорд изрек:

— Сэр Клиффорд на своем лихом скакуне.

— Скажи лучше — на Росинанте,— рассмеялась Конни.

Клиффорд нажал на тормоз и оглянулся на дом — невысокое, вытянутое, потемневшее от времени строение.

— А Рагби-холл и глазом не моргнет,— сказал он.— А ведь хозяина везет самоновейшее изобретение человеческого гения. Никакому скакуну с ним не тягаться.

— Пожалуй, что не тягаться. У Платона души отправлялись на небо в колеснице, запряженной двумя рысаками. Теперь бы их отвозил туда «фордик».

— Скорее «роллс-ройс». Платон-то был аристократ.

— Вот именно. Нет больше вороных, некого стегать и мучить. Платон и помыслить не мог, что придет время и не станет ни белых, ни вороных. Возить будут одни моторы.

— Моторы и бензин,— подхватил Клиффорд и, указав рукой на дом, прибавил: — Надеюсь через год сделать небольшой ремонт. Возможно, буду располагать лишней тысячей фунтов. Работа очень дорогая.

— Хорошо бы. Только бы не было забастовок.

— Какой им прок бастовать. Погубят производство, и все. Вернее, то, что от него осталось. Теперь это и дураку ясно.

— А может, они этого и добиваются.

— Пожалуйста, оставь эти женские глупости! Если не производство, чем они будут набивать брюхо? Хотя, конечно, кошельков оно им не набьет,— сказал Клиффорд, употребив оборот, напомнивший ей миссис Болтон.

— Не ты ли на днях заявил, что ты анархист-консерватор? — невинно заметила Конни.

— А ты не поняла, что я хотел этим сказать? Тогда я тебе объясню: человек может делать что хочет, чувствовать что хочет, быть кем хочет, но только в рамках частной жизни, не посягая на устои.

Конни несколько шагов шла молча. Потом сказала упрямо:

— Другими словами, яйцо может тухнуть, как ему вздумается, лишь бы скорлупа не лопнула? Да ведь как раз тухлые яйца и лопаются.

— Но люди не куриные яйца и даже не ангельские, моя дорогая проповедница.

Этим ярким весенним утром Клиффорд был в бодром, даже приподнятом настроении. Высоко в небе заливались жаворонки, шахта в долине пыхтела паром почти неслышно. Все кругом было точь-в-точь как до войны. В общем, Конни не хотелось спорить. Но и углубляться в лес с Клиффордом тоже не было желания. Вот в ней и говорил дух противоречия.

— Не бойся,— сказал Клиффорд,— забастовок больше не будет. Все зависит от того, как управлять народом.

— Почему не будет?

— Я так сделаю, что они потеряют всякий смысл.

— А рабочие тебе позволят?

— Мы их не спросим. Будем действовать так, что они ничего не заметят. Для их же пользы, чтобы не погибло производство.

— Но, конечно, и для вашей пользы?

— Естественно! Для общей пользы. Но для них это важнее, чем для меня. Я смогу без шахты прожить, они не смогут. Умрут с голоду, если шахты закроются. У меня же есть другие источники пропитания.

Они стали смотреть на шахту, господствующую над неглубокой долиной, на домики Тивершолла под черными крышами, на улицу, змеей ползущую по склону холма. Колокола на старой потемневшей церкви вызванивали: «Вос-кре-сень-е, вос-кре-сень-е».

— Неужели рабочие позволят вам диктовать условия?

— Милочка моя, да им ничего не останется делать. Надо только знать к ним подход.

— Но неужели невозможно достичь какого-то взаимопонимания?

— Конечно, возможно. Для этого они должны усвоить одно: главное — производство, человек — дело второстепенное.

— А хозяин производства, конечно, ты?

— Разумеется. Вопросу собственности придается сейчас чуть не религиозное значение. Впрочем, это повелось еще со времен Христа. Вспомни хотя бы Святого Франциска. Только теперь мы говорим немного иначе: вместо «раздай имущество бедным» — «вложи, что имеешь, в производство». Чтобы у бедных была работа. Это единственный способ накормить все рты. Попробуй раздай имущество — умрешь от голода вместе с бедняками. Планировать всеобщий голод — глупо. Равенство в нищете не очень веселая вещь. Нищета уродлива.

— А неравенство?

— Неравенство — это судьба. Почему планета Юпитер больше планеты Нептун? Неразумно стремиться исправить мировой порядок.

— Но раз уж в человечестве завелись ревность, зависть, недовольство...

— Надо безжалостно искоренять эти чувства. Кто-то должен командовать парадом.

— Кто же им сейчас командует?

— Те, кому принадлежит производство, кто им управляет.

Воцарилось долгое молчание.

— Мне кажется, эти люди — дурные правители.

— А что бы ты делала на их месте?

— Они несерьезно относятся к своим обязанностям.

— Уверяю тебя, гораздо серьезнее, чем ты к своему положению «леди».

— Камень в мой огород? Я могу и обидеться.

Он остановил кресло и взглянул на нее.

— Кто может сейчас позволить себе уклоняться от своих обязанностей? Приведи хоть один пример? Среди дурных правителей, как ты изволила выразиться, таких нет.

— Но я не хочу командовать никаким парадом.

— Это, милая моя, трусость. Ты — хозяйка, тебе выпал такой жре-

бий. И ты должна нести свою ношу. Кто дает углекопам все, что составляет смысл и радость жизни: политические свободы, образование, какое бы оно ни было; здоровые санитарные условия, здравоохранение, книги, музыку? Кто дает им все это? Может, какие-то другие рабочие? Нет. Все это дали им мы. Те, кто живут в Рагби, Шипли и других таких же поместьях, разбросанных по всей Англии. Дали и будем давать впредь. Вот в чем наш долг.

Конни слушала, покраснев до корней волос.

— Я бы хотела давать,— сказала она.— Да нельзя. Все теперь продается и за все надо платить. Все, что ты сейчас перечислил, Рагби и Шипли продают народу, получая солидные барыши. Все продается. Твое сердце не сделало бесплатно ни одного сострадательного удара. А скажи: кто отнял у людей возможность жить естественной жизнью; кто лишил рудокопов мужественности, доблести, красоты, да просто осанки? Кто, наконец, навязал им это чудовище — промышленное производство? Кто виноват во всем этом?

— Что же мне теперь делать? — побледнев, спросил Клиффорд.— Просить их прийти и грабить меня?

— Почему, ну почему Тивершолл так отвратительно безобразен? Почему их жизнь так безысходна?

— Они сами построили этот Тивершолл, их никто не неволил. На их вкус Тивершолл красив, и жизнь их прекрасна. Они сами ее создали. По пословице: всяк сверчок знай свой шесток.

— Но ты ведь принуждаешь их работать на себя. Их шесток — твоя шахта.

— Никого я не принуждаю. Каждый сам ищет свою кормушку.

— Производство поработило их, жизнь их безнадежна. Так же, впрочем, как и наша,— Конни почти кричала.

— Заблуждаешься. Все, что ты говоришь,— дань дышащему на ладан романтизму. Вот ты стоишь здесь, и в твоем лице, во всей фигуре не заметно никакой безнадежности, милая моя женушка.

И Клиффорд был прав. Синие глаза Конни горели, щеки заливал румянец; она была живым воплощением бунтарства, антиподом безнадежности. Среди травы она заметила только что распустившиеся первоцветы, которые весело топорщили свои ватные головки.

И она вдруг подумала: ведь не прав же Клиффорд, ясно, что не прав, так почему она не может вразумительно сказать ему это, объяснить его неправоту?

— Неудивительно, что эти люди не любят тебя,— единственно, что нашлась сказать.

— Это не так,— возразил он.— И пожалуйста, не путай понятий. Они не люди в твоем понимании этого слова. Это вид млекопитающих, которых ты никогда не понимала и не поймешь. И не надо распространять на других собственные иллюзии. Простолюдин всегда останется простолюдином. Рабы Нерона лишь самую малость отличаются от английских шахтеров и рабочих Форда. Я имею в виду тех древних рабов, что корежились в копях и гнули спины на полях. Рабы есть рабы, они не меняются от поколения к поколению. И среди них были и будут отдельные яркие личности. Но на общей массе это не сказывается. Народ не становится лучше — вот один из главных постулатов социологии. Panem et circenses! [1]. Но только сегодня вместо зрелищ мы дали ему просвещение — вредная подмена. Беда нашего времени заключается в том, что мы извратили идею зрелищ, отравив народ грамотой.

Конни пугалась, когда Клиффорд заводил речь о народе. В том, что он говорил, была своя, убийственная, логика. Но именно это и удручало.

Заметив, что Конни побледнела и сжала губы, Клиффорд покатил

---

[1] Хлеба и зрелищ! *(лат.)*

дальше, и оба не сказали больше ни слова, пока кресло не остановилось у калитки, ведущей в лес. Конни открыла калитку.

— И нужны нам сейчас не мечи, а розги. Народ испокон веков нуждался в жестокой розге правителя и будет нуждаться до конца дней. Когда говорят, что народ может сам управлять жизнью, это лицемерие и фарс.

— И ты мог бы управлять народом?

— Конечно! Ни разум, ни воля у меня не изувечены войной. А ноги... Что ж, ноги правителям не так и нужны. Да, я могу управлять народом в каких-то пределах. У меня нет ни грана сомнения. Подари мне сына, и он будет править после меня.

— Но он не будет твоим кровным сыном,— проговорила она запинаясь.— Может статься, он будет принадлежать не твоему классу.

— А мне все равно, кто будет его природный отец при условии, что им будет физически крепкий мужчина с нормальными умственными способностями. Отдай мне ребенка от здорового, умственно полноценного мужчины, и я сделаю из него совершенный образчик Чаттерли. Не важно, кем мы зачаты, важно, куда судьбе заблагорассудится поместить нас. Поместите любого ребенка среди правящего класса, и он вырастет прекрасным его представителем. А поместите в простонародную среду, и он вырастет плебеем, продуктом своего класса. Влияние окружающей среды на ребенка — главнейший фактор воспитания.

— Так, значит, простые люди не составляют особого класса, и не кровь делает аристократа аристократом?

— Отнюдь, дитя мое! Все это романтические бредни. Аристократия — это судьба. Так же как и народ. Индивидуальные свойства не играют роли. Весь фокус заключается в том, в какой среде ребенок вырос, сформировалась его личность. Аристократия — это не отдельные люди, это образ жизни. И наоборот, образ жизни раба делает его тем, что он есть.

— Значит, такой вещи, как всеобщее равенство, не существует?

— Это как смотреть. Желудок, который требует пищи, есть у всех. Но ежели взглянуть с другой стороны — я говорю о двух видах деятельности: творческой и исполнительской,— между правящим и подчиненным классом пролегает пропасть. Эти две социальные функции диаметрально противоположны. Но ведь именно они определяют индивидуальные свойства личности.

Конни слушала разглагольствования мужа, не переставая изумляться.

— Может, двинемся дальше? — предложила она.

И Клиффорд опять запустил мотор. Он высказался, и на него опять нашла странная тупая апатия, которая так действовала ей на нервы. «Въедем в лес,— решила она,— и я постараюсь больше не спорить».

Впереди, точно по дну ущелья, бежала верховая тропа, зажатая с двух сторон орешником, над которым высились голые еще, серые кроны деревьев. Кресло, отдуваясь, въехало в море белопенных незабудок, светлеющих в тени кустов. Клиффорд старался держаться середины, где незабудки были кем-то уже примяты. И все-таки позади оставался проложенный в цветах след. Идя за креслом, Конни видела, как колеса, подпрыгивая на неровностях, давили голубые пики дубровок, белые зонтики лесного чая и крошечные желтые головки бальзамова яблока. Каких только цветов тут не было, уже синели озерца и первых колокольчиков.

— Да, ты права, сейчас в лесу очень красиво,— сказал Клиффорд,— просто поразительно! Нет ничего прекрасней английской весны!

Слова прозвучали так, будто это весеннее буйство было вызвано к жизни парламентским актом. Английская весна! А почему не ирландская, не еврейская? Кресло медленно подвигалось вперед, мимо высоких литых колокольчиков, стоящих навытяжку, как пшеница в поле, прямо по серым разлапистым лопухам.

Доехали до старой вырубки, залитой ослепительно ярким солнцем. В его лучах ярко-голубые колокольчики переливались то сиреневым, то лиловым. Папоротники тянули вверх коричневые изогнутые головки, точно легион молодых змеек, спешащих шепнуть на ухо Еве новый коварный замысел.

Клиффорд катил в сторону спуска, Конни медленно шла следом. На дубах уже лопались мягкие коричневатые почки. Всюду из корявой плоти деревьев выползали первые нежные початки. Старые дремучие дубы опушались нежно-зелеными мятыми листочками, парящими на коричневатых створках, которые топырились совсем как крылья летучей мыши. Почему человеку не дано обновляться, выбрасывая свежие молодые побеги? Бедный, безвозвратно дряхлеющий человек!

Клиффорд остановил кресло у спуска и посмотрел вниз. Колокольчики затопили весь склон, источая теплое голубое сияние.

— Цвет сам по себе очень красивый,— заметил Клиффорд,— но на холст его не перенесешь. Не годится.

— Само собой,— рассеянно ответила Конни: мысли ее витали далеко отсюда.

— Рискнуть разве проехаться до источника? — сказал Клиффорд.

— А кресло обратно поднимется?

— Надо попробовать. Кто не рискует, тот не выигрывает.

И кресло начало медленно двигаться вниз по широкой верховой тропе, синевшей дикими гиацинтами. О, самый утлый из всех мыслимых кораблей, бороздящий гиацинтовые отмели! О, жалкая скорлупка среди последних неукрощенных волн, участник последнего плавания нашей цивилизации! Куда ты правишь свой парус, чудо-юдо, корабль на колесах? Клиффорд, спокойный, довольный собой, в старой черной шляпе, твидовом пиджаке, неподвижный, внимательный, не выпускал штурвала. О, капитан, мой капитан, закончен наш поход! Хотя, может, и не совсем! Конни в сером домашнем платье двигалась в кильватере, не спуская глаз с подпрыгивающего на спуске кресла.

Миновали узкую стежку, ведущую к егерской сторожке. Слава Богу, тропинка у́же кресла — двоим не разойтись. Наконец спуск окончен, кресло повернуло и скрылось за кустами. Конни услыхала позади ле́гкий свист. Она резко обернулась: следом за ней спускался егерь, позади бежала его собака.

— Сэр Клиффорд хочет посетить сторожку? — спросил он, глядя ей прямо в глаза.

— Нет, он доедет только до источника.

— А-а, хорошо! Тогда я могу отлучиться. До вечера! Буду ждать около десяти у калитки в парк.— И он опять поглядел ей прямо в глаза.

— Да,— выдохнула она.

Из-за поворота донесся звук рожка — Клиффорд сигналил Конни. «А-у!» — откликнулась она. По лицу егеря пробежала не то мысль, не то воспоминание, он легко провел ладонью по ее груди. Она испуганно глянула на него и побежала вниз, еще раз крикнув Клиффорду. Егерь смотрел сверху, как она бежит, повернулся — едва заметная усмешка коснулась его губ — и пошел дальше своей дорогой.

Клиффорд тем временем медленно взбирался по склону соседнего холма, где на полдороге вверх среди темных лиственниц бил ключ. Конни догнала его у самой воды.

— А скакун у меня лихой?,— сказал Клиффорд, погладив подлокотник кресла.

Конни смотрела на огромные серые лопухи, которые торчали, как привидения, под первыми лиственницами, их называют здесь «ревень Робин Гуда». Тихо и мрачно было вокруг, зато в самом источнике весело булькала вода. Цвели очанки, вверх тянулись крепкие острия голубых дубровок... Вдруг у самой воды зашевелился желтоватый песок. Крот! Он выползал, разгребая землю розовыми лапками и смешно мотая слепым рыльцем с задранным кверху розовым пятачком.

— Можно подумать, он видит кончиком носа,— заметила Конни.

— Во всяком случае, он служит ему не хуже, чем глаза. Ты будешь пить?

— А ты?

Она сняла с ветки эмалированную кружку; наклонившись над источником, зачерпнула воды и протянула Клиффорду. Он стал пить маленькими глотками. Потом Конни зачерпнула еще раз и тоже сделала глоток.

— Холодная! — задохнулась она.

— Хороша! Ты хотела пить?

— А ты?

— Хотел, но не стал говорить.

Конни слышала, как стучит по дереву дятел, как шумит мягко, таинственно ветер в ветвях лиственниц. Она взглянула наверх. По небесной сини плыли белые пухлые облака.

— Облака! — сказала она.

— Не тучи же! — возразил он.

По песку у источника мелькнула тень: крот вылез наружу и заторопился куда-то.

— Какая мерзкая тварь, надо бы его убить,— проговорил Клиффорд.

— Да ты глянь на него, вылитый пастор за кафедрой!

Конни сорвала цветок лесного чая и протянула Клиффорду.

— Аромат свежего сена! Такими духами душились в прошлом веке особы романтического склада. Надо, однако, отдать им должное, головы у них при этом работали отлично.

Конни опять посмотрела на небо.

— Боюсь, будет дождь,— сказала она.

— Дождь? С чего бы это? Тебе хочется, чтобы пошел дождь?

Двинулись в обратный путь. Клиффорд ехал вниз осторожно. Спустились в затененную лощину, повернули вправо и шагов через сто оказались у подножья длинного склона, залитого синевой колокольчиков.

— Ну, старина, вперед! — сказал Клиффорд, свернув на уходящую вверх тропу.

Подъем был крутой и ухабистый. Кресло ехало вперед неохотно, с трудом. Но все-таки ехало — то быстрее, то со скоростью черепахи; когда добрались до лужайки гиацинтов, кресло чихнуло, дернулось, еще немного протащилось, оставив позади гиацинты, и стало.

— Погуди,— предложила Конни,— может, егерь услышит и подтолкнет тебя. Впрочем, это я и сама могу.

— Пусть оно лучше передохнет,— предложил Клиффорд. — Подложи, пожалуйста, под колесо камень.

Конни нашла камень, и они стали ждать. Спустя немного Клиффорд опять включил мотор. Кресло вздрагивало, дергалось, как паралитик, издавая непонятные звуки.

— Давай я толкну,— предложила Конни, став сзади кресла.

— Ни в коем случае,— запретил Клиффорд.— Его изобрели не затем, чтобы толкать. Подвинь опять камень.

И снова молчание, снова попытка сдвинуться с места, еще более неудачная.

— Не упрямься, позволь мне толкнуть,— настаивала Конни,— или посигналь, чтобы пришел егерь.

— Подожди!

Конни ничего не оставалось, как ждать. Клиффорд еще раз попытался тронуться с места и только совсем испортил дело.

— Если не хочешь, чтобы я толкала, посигналь егерю,— сказала Конни.

— Дьявол! Можешь ты помолчать хоть секунду!

Конни замолчала. Клиффорд нещадно терзал слабосильный моторчик кресла.

— Ты в конце концов его доконаешь,— не выдержала Конни.— Пожалей хоть свои нервы.

— Если бы я мог сойти с этого проклятого кресла и взглянуть, что там такое,— в отчаянии проговорил он и нажал на клаксон.— Может, Меллорс скажет, что случилось.

Они ждали среди раздавленных гиацинтов. Конни взглянула на небо: облака приметно сгущались. Громко заворковал голубь; его заглушил резкий сигнал клаксона. Тут же из-за поворота появился Меллорс и, вопросительно взглянув на хозяина, откозырял.

— Вы что-нибудь понимаете в моторах? — спросил Клиффорд.

— Боюсь, что нет. Что-нибудь сломалось?

— Наверное,— коротко бросил Клиффорд.

Егерь наклонился к колесу и осмотрел маленький моторчик.

— Боюсь, я ничего не смыслю в механизмах, сэр Клиффорд,— произнес он спокойно.— Бензин есть, масло есть...

— Тогда посмотрите еще раз, нет ли какой-нибудь поломки.

Егерь поставил ружье к дереву, снял куртку, бросил рядом с ружьем. Собака села подле караулить. Затем он присел на корточки, заглянул под кресло и поковырял пальцем в замасленном моторчике, заметив с раздражением, что вымазал в масле чистейшую рубашку, которую носил по воскресеньям.

— На первый взгляд все в порядке,— сказал он. Встал, передвинул шляпу на затылок и потер лоб, по-видимому соображая, что могло приключиться с этой механической штуковиной.

— Вы не заметили, рама цела? Посмотрите, все ли с ней в порядке?

Егерь лег на живот головой под кресло и, неудобно изогнувшись, стал ковырять что-то пальцем. Как жалок лежащий на животе мужчина, подумала Конни. Такой слабый, тонкий посреди бескрайней земли.

— Все в порядке, насколько я могу судить,— чуть сдавленно проговорил он.

— Вы, я вижу, помочь не можете,— подытожил сэр Клиффорд.

— Думаю, что нет,— сказал егерь.

Он выбрался из-под кресла, сел на корточки — характерная поза шахтера — и прибавил:

— Во всяком случае снаружи никаких поломок не видно.

Клиффорд завел мотор, включил передачу. Кресло ни с места.

— Прибавьте еще газу,— посоветовал егерь.

Клиффорд как будто не слышал, но газ прибавил, и кресло загудело как навозная муха. Моторчик чихнул, фыркнул, проявляя признаки жизни.

— Кажется, поедет,— заметил Меллорс.

Клиффорд включил первую скорость. Кресло лихорадочно дернулось и медленно, скрипя, поехало.

— Я буду толкать сзади,— предложил Меллорс.— И эта штука возьмет подъем.

— Не смейте! — прикрикнул Клиффорд.— Машина сама справится.

— Но, Клиффорд,— вмешалась сидевшая на скамейке Конни.— Ты и сам знаешь: для нее этот подъем слишком крут. Почему ты упрямишься?

Клиффорд побелел от ярости. Изо всех сил дернул рукоятку. Кресло пустилось было рысцой, метра два-три проехало и стало посреди полянки колокольчиков, сияющих какой-то особенной голубизной.

— На этот раз село, кажется, прочно,— сказал егерь,— не хватает мощности.

— Мы берем этот подъем не первый раз,— холодно возразил Клиффорд.

— В этот раз не взять.

Клиффорд не ответил. И начал дергать и нажимать что попало:

включил газ, убавил, прибавил, точно настраивал мотор на определенную волну. Затем вдруг рывком включил первую скорость. И лес огласился душераздирающим скрежетом.

— Смотрите не поломайте,— тихо проговорил егерь.

Кресло судорожно дернулось и свернуло в канаву.

— Клиффорд! — крикнула, подбегая, Конни.

Но Меллорс успел схватить кресло за поручень. Клиффорд налег на рычаги всем телом, сумел вырулить на тропу, и кресло, фыркая и треща, опять двинулось вверх. Меллорс толкал его сзади, и кресло хоть и медленно, но ползло, спасая свою честь.

— Видите, движемся,— торжествующе проговорил Клиффорд, обернувшись. И вдруг увидел за спиной лицо егеря.— Вы толкаете кресло?

— Оно бы иначе не шло.

— Отпустите сейчас же! Я ведь просил не помогать.

— Оно не поедет!

— Посмотрим! — чуть не сорвав голос, рявкнул Клиффорд.

Егерь отпустил поручень, повернулся и пошел вниз за ружьем и курткой. Мотор в тот же миг заглох, и кресло остановилось как вкопанное. Клиффорд, раб своего изобретения, чуть не скрипел зубами от бессилия. Он двигал рычаги рукой — ноги-то бездействовали. Крутил туда-сюда маленькие рукоятки, отчего мотор прямо-таки орал дурным голосом. Но кресло не двигалось. Не двигалось, и все тут. Наконец Клиффорд выключил мотор и застыл без движения, не зная, на ком сорвать гнев.

Констанция сидела в сторонке и с жалостью глядела на порушенные, растоптанные колокольчики. «Нет ничего прекрасней английской весны». «Да, я могу управлять народом». «И нужны нам сейчас не мечи, а розги». «Правящий класс!»

Егерь шел вверх, держа в руке ружье и перекинув через плечо куртку, верная Флосси трусила по пятам. Клиффорд опять попросил хоть что-нибудь сделать с мотором. Конни, ничего не смыслившая в моторах, скоростях, передачах, но бывшая неоднократно свидетельницей подобных срывов, сидела на скамейке молча, как бессловесная кукла.

Егерь вернулся, опять лег на живот: правящий класс и его обслуга!

— Ну-ка, попробуйте еще раз! — сказал он, вставая на ноги.

Он говорил спокойно, как говорят с детьми.

Клиффорд попробовал, Меллорс быстро пристроился сзади и начал опять толкать. Кресло пошло за счет сложения двух сил — механической и мускульной.

Клиффорд обернулся, позеленев от злости:

— Да говорят же вам, уберите руки!

Егерь тотчас отпустил кресло, и Клиффорд, как бы принося извинение, прибавил:

— Я должен знать, на что эта машина способна.

Положив на землю ружье, егерь стал натягивать куртку — умыл руки.

И кресло медленно покатилось вниз.

— Клиффорд! — крикнула Конни.— Тормози!

Все трое — Конни, Меллорс и Клиффорд — двинулись одновременно. Конни с Меллорсом налетели друг на друга, кресло остановилось. На мгновение воцарилась мертвая тишина.

— Я, очевидно, полностью в вашей власти,— сдаваясь, проговорил Клиффорд.

Никто не ответил. Меллорс перекинул ружье на плечо, лицо у него до странности утратило всякое выражение, разве в глазах — тень вынужденной покорности. Его собака Флосси, стоя на страже у ног хозяина, нервно пошевеливала хвостом, глядя на кресло с подозрением и неприязнью; действия этих трех существ человечьей породы были выше ее

собачьего разумения. Tableau vivant [1] была обрамлена потоптанными, помятыми колокольчиками. Все трое молчали.

— Полагаю, что придется ее толкать,— наконец высказался Клиффорд с напускным sang froid [2].

Никакого ответа. На отрешенном лице Меллорса не дрогнул ни один мускул, точно он и не слышал. Конни с беспокойством взглянула на него. Клиффорд тоже обернулся.

— Вы не согласитесь, Меллорс, потолкать нас до дома? — высокомерно произнес он.— Надеюсь, я не сказал вам ничего обидного,— прибавил он с явной неприязнью.

— Ну что вы, сэр Клиффорд! Хотите, чтобы я толкал ваше кресло?

— Если вас это не затруднит.

Егерь подошел, взялся за поручень, толкнул. На этот раз кресло не поддалось. Заело тормоза. Начали дергать, нажимать, егерь опять снял ружье и куртку. Теперь уже Клиффорд молчал. Приподняв задок кресла, егерь сильным ударом ноги попытался освободить колеса. Но и это не помогло. И он опустил кресло. Клиффорд сидел, вцепившись в подлокотники. У егеря от тяжести перехватило дух.

— Не смейте этого делать! — воскликнула Конни.

— Пожалуйста, помогите мне, дерните колесо,— попросил он ее.

— Ни за что! Не смейте больше поднимать кресло. Вы надорветесь.— сказала она, краснея.

Но он, посмотрев ей в глаза, повелительно кивнул. И она подчинилась. Егерь поднял кресло, она с силой дернула, и кресло качнулось.

— Ради Бога, осторожнее! — испугался Клиффорд.

Но ничего страшного не произошло, а тормоз отпустило. Егерь подложил камень под колесо и сел на скамейку передохнуть: сердце у него бешено колотилось, от лица отлила кровь, он был на грани обморока. Конни поглядела на него и чуть не заплакала от возмущения. Опять воцарилось молчание. Она видела, как дрожат его руки, лежащие на коленях.

— Вам плохо? — спросила она, подойдя к нему.

— Нет конечно! — почти сердито ответил он.

Тишина стала мертвой. Белокурый затылок Клиффорда не двигался. Даже Флосси стояла, точно окаменев. Небо все сильнее заволакивало тучами.

Наконец он вздохнул и высморкался в большой красный платок.

— Никак силы не вернутся после воспаления легких,— сказал он.

И опять никто не отозвался. Конни подумала, сколько же сил съело воспаление легких, если он надеялся без труда поднять это кресло с весьма увесистым Клиффордом. Только бы его здоровье не подорвалось совсем.

Егерь поднялся, опять взял куртку, перекинул ее через поручень кресла.

— Вы готовы, сэр Клиффорд?

— Я жду вас.

Он нагнулся, убрал из-под колеса камень и налег всем телом на поручень. Таким бледным Конни никогда не видела его. И таким отрешенным. Клиффорд был довольно плотный мужчина; а подъем довольно крутой. Конни стала рядом с егерем.

— Я тоже буду толкать! — сказала она.

И принялась толкать с силой, какую женщине придает злость и негодование. Коляска пошла быстрее. Клиффорд обернулся.

— Это так уж необходимо? — спросил он.

— Да! Ты что, хочешь убить человека? Если бы ты не упрямился и сразу позволил толкать...

---

[1] Живая картина *(франц.)*.

[2] Хладнокровие *(франц.)*.

Но она не окончила фразы — стала задыхаться. Толкать коляску оказалось не так-то легко.

— Потише, потише,— проговорил идущий рядом мужчина, чуть улыбнувшись глазами.

— А вы уверены, что не надорвались? — спросила она; внутри у нее все клокотало от ярости.

Он помотал головой. Конни взглянула на его узкую подвижную, загорелую руку. Эта рука ласкала ее. Она никогда раньше не приглядывалась к его рукам. В них был тот же странный внутренний покой, который исходил от всего его существа. И ей так захотелось взять сейчас его руку и крепко сжать. Душа ее рванулась к нему: он был так молчалив, так недосягаем. А он вдруг ощутил, как ожила, напряглась в нем плоть. Толкая коляску левой рукой, правую он опустил на ее белое, округлое запястье и стал ласкать. И точно огненный язык лизнул его сверху вниз вдоль спины. Конни быстро нагнулась и поцеловала его руку. И все это в присутствии холеного недвижного затылка Клиффорда.

Добравшись доверху, остановились, к радости Конни, передохнуть. У нее нет-нет и мелькала мысль: хорошо бы эти два мужчины стали друзьями, один — ее муж, другой — отец ребенка, чего бы не поладить. Но теперь она убедилась в полной несбыточности этой надежды. Эти мужчины были противопоказаны один другому, несовместимы, как огонь и вода. Они готовы были стереть друг друга с лица земли. И Конни первый раз в жизни осознала, какое тонкое и сложное чувство ненависть. Первый раз она отчетливо поняла, что ненавидит Клиффорда, ненавидит лютой ненавистью. Она бы хотела, чтобы он просто перестал существовать. И что странно: ненавидя его, честно признаваясь себе в этом, она чувствовала освобождение и жажду жить. «Да, я ненавижу его и жить с ним не буду»,— пронеслось у нее в голове.

На ровной дороге егерю было нетрудно одному толкать кресло.

Чтобы продемонстрировать полнейшее душевное равновесие, Клиффорд завел разговор о семейных делах — о тетушке Еве, живущей в Дьепе, о сэре Малькольме, который спрашивал в письме, как Конни поедет в Венецию: с ним в поезде или с Хильдой в ее маленьком авто.

— Я, конечно, предпочитаю поезд,— сказала Конни.— Не люблю длинные поездки в автомобиле, летом такая пылища. Но мне бы хотелось знать и мнение Хильды.

— А она наверное захочет ехать с тобой.

— Скорее всего! Подожди, я помогу, опять начинается подъем. Знаешь, какое тяжелое кресло!

Она опять пошла рядом с егерем, толкая кресло по усыпанной розоватым гравием тропе. Ее нисколько не волновало, что их могут увидеть вместе.

— Почему бы не оставить меня здесь и не позвать Филда? Эта работа ему по силам,— сказал Клиффорд.

— Да тут уж близко,— ответила Конни, тяжело дыша.

Но, преодолев подъем, опять остановились на отдых, и у нее и у Меллорса пот лил по лицу градом. И странная вещь — поначалу они чувствовали холодную отчужденность, но совместное старание опять сблизило их.

— Большое спасибо, Меллорс,— проговорил у дверей дома Клиффорд.— Просто надо сменить мотор, вот и все. Зайдите на кухню, там вас покормят. Время обеденное.

— Благодарю вас, сэр Клиффорд. По воскресеньям я обедаю у матушки.

— Ну, как знаете.

Меллорс надел куртку, бросил взгляд на Конни и козырнул.

Конни поднялась наверх разъяренная.

За обедом она дала волю чувствам.

— Почему ты с таким пренебрежением относишься к другим людям?

— К кому, например?

— К нашему лесничему. Если это привилегия правящего класса, мне тебя жалко.

— А в чем, собственно, дело?

— Человек был тяжело болен. И все еще физически не окреп. Поверь мне, будь я у тебя в услужении, ты бы насиделся сегодня в лесу в этом идиотском кресле.

— Охотно верю.

— Вообрази, это он сидит в кресле с парализованными ногами и ведет себя как ты сегодня — интересно, что бы ты сделал на его месте?

— Моя дорогая христианочка, это смешение людей и личностей отдает дурным тоном.

— А твое гнусное чистоплюйское презрение к людям отдает... отдает... даже слов не нахожу. Ты и твой правящий класс с этим вечным noblesse oblige! [1]

— К чему же мое положение обязывает меня? Питать никому не нужное сострадание к моему егерю? Нет уж, увольте. Уступаю это моей жене — воинствующей христианке.

— Господи, он ведь такой же человек, как ты.

— Мой егерь мне служит, я плачу ему два фунта в неделю и даю кров. Что еще надо?

— Плачу! За что ты ему платишь эти два фунта плюс кров?

— За его службу.

— Служба! Я бы на его месте сказала тебе — не нужны мне ни ваши фунты, ни ваш кров.

— Вероятно, и он бы не прочь это сказать. Да не может позволить себе такой роскоши.

— И это значит управлять людьми! Нет, тебе это не дано, не обольщайся! Просто слепая судьба послала тебе больше денег, чем другим. Вот ты и нанимаешь людей работать на себя за два фунта в неделю под угрозой голодной смерти. И это называется управление. Никому от тебя никакой пользы. Ты — бесчувственный сухарь. Носишься со своими деньгами, как обыкновенный жид.

— Очень элегантно изволите выражаться, леди Чаттерли.

— Уверяю тебя, ты был не менее элегантен сегодня в лесу. Мне стыдно, безумно стыдно за тебя. Мой отец во сто раз человечнее тебя, прирожденного аристократа.

Он потянулся к звонку пригласить миссис Болтон. Вид у него был явно обиженный.

Конни пошла наверх, шепча про себя в ярости: «Покупать людей! Дудки, меня-то он не купил. И я не обязана жить с ним под одной крышей. Дохлый джентльменишка с гуттаперчевой душой. А как они умеют пускать пыль в глаза своими манерами, ученостью, благородством. На самом-то деле душа у них пустая, как мыльный пузырь!»

Наверху ее мысли переключились на более приятный предмет — как уйти вечером из дому, чтобы никто не заметил. И постепенно злость ее на Клиффорда прошла. Глупо тратить на него нервы, глупо ненавидеть его. Самое разумное — не питать к нему никаких чувств. И конечно, не посвящать его в их с Меллорсом любовь. Сегодняшняя ссора имела долгую историю. Он всегда корил ее тем, что она слишком фамильярна со слугами, она же считала его высокомерное отношение к простым людям глупым, черствым и бессмысленным.

И Конни сошла вниз в своем обычном, покойном и серьезном настроении. У Клиффорда же не на шутку разыгралась желчь. И чтобы успокоиться, он взялся за чтение. Конни заметила, что в руках у него французская книга.

— Ты читала Пруста? — спросил Клиффорд, подымая глаза от страницы.

---

[1] Положение обязывает *(франц.)*.

— Пыталась, но он навевает на меня сон.

— И все-таки это замечательный писатель.

— Возможно, но скучен невероятно. Сплошное умствование; никаких эмоций. Только поток слов, описывающих эмоции. Я так устала от этих самодовлеющих умников.

— Ты предпочитаешь самодовлеющих дураков?

— Не знаю. Но ведь в жизни имеется, наверное, что-то среднее.

— Может, и имеется. А я люблю Пруста за его утонченный с хорошими манерами анархизм.

— Что и превращает тебя в мумию.

— Слова, достойные доброй христианки.

Опять ссора! Она просто не может не вступить с ним в пререкания. Вот он сидит перед ней, живой мертвец, и хочет подчинить ее своей воле. Она почти физически ощутила ледяные объятия скелета, прижимающего ее к своим ребрам. Но если говорить честно, он всегда с ней во всеоружии, и она его немного побаивается.

При первой возможности Конни поднялась наверх и рано легла спать. В половине десятого она встала и вышла из спальни, прислушалась. В доме ни звука. Накинув халат, спустилась вниз. Клиффорд с миссис Болтон играли в карты на деньги. Они, наверное, засидятся до глубокой ночи.

Конни вернулась к себе в комнату, бросила пижаму на смятую постель. Надела тонкую ночную сорочку, поверх — шерстяное платье, всунула ноги в легкие туфли и накинула пальто. Она готова идти; если кто встретится, она вышла подышать воздухом перед сном. Если попадется кто-нибудь утром на обратном пути, она гуляет по росе до завтрака, по обыкновению. Единственная опасность — вдруг кто-нибудь зайдет ночью к ней в спальню. Но это вряд ли случится — один шанс из ста.

Беттс еще не запер двери. Он запирает дом в десять вечера, а отпирает в семь утра. Конни выскользнула из дому неслышно, никем не замеченная. В свете полумесяца виделись очертания кустов, деревьев, но ее серое пальто сливалось с ночными тенями. Она быстро шла по парку, занятая не предстоящим свиданием, а той бурей, что кипела в ее груди. С такой бурей на любовные свидания не ходят. Но à la guerre comme à la guerre![1].

## Глава 14

Не доходя до калитки, она услыхала звук щеколды. Значит, он стоял там под покровом ночной тьмы, среди деревьев, и видел, как она шла.

— Ты пришла рано, как обещала,— раздался из темноты голос.— Все в порядке?

— Все.

Он тихонько затворил калитку и направил луч фонарика на темную землю, высвечивая лепестки цветов, которые еще не закрыли на ночь свои чашечки. Они шли молча, поодаль друг от друга.

— Ты ничего не повредил себе утром, когда толкал это кресло?

— Нет конечно!

— А воспаление легких оставило какие-нибудь последствия?

— Ничего страшного. Сердце стало пошаливать и легкие не такие эластичные. Но это дело обыкновенное.

— Значит, тебе нельзя делать тяжелой работы?

— Изредка можно.

Конни опять погрузилась в сердитое молчание.

— Ты ненавидишь Клиффорда? — наконец проговорила она.

— Ненавижу? Нет конечно. С какой стати питать такие вредные

[1] На войне как на войне *(франц.)*.

чувства? Я хорошо знаю этот тип. На таких людей не надо обращать внимания.

— А что это за тип?

— Тебе он лучше известен, чем мне. Это — моложавый, немного женственный мужчина, начисто лишенный мужского естества.

— А что это значит?

— То и значит. Секса для них не существует.

Конни задумалась.

— По-твоему, все дело в этом? — спросила она с легким раздражением.

— Если у мужчины нет мозгов, он дурак, если нет сердца — злодей, если нет желчи — тряпка. Если же мужчина не способен взорваться, как туго закрученная пружина, мы говорим — в нем нет мужского естества. Это не мужчина, а пай-мальчик.

Конни опять задумалась.

— Выходит, Клиффорд — пай-мальчик?

— Да, и к тому же несносен, как все такие мужчины.

— А ты, конечно, не пай-мальчик.

— Не совсем.

Наконец вдали засветился огонек. Конни остановилась.

— У тебя огонь? — спросила она.

— Я всегда оставляю свет, когда ухожу.

Дальше пошли рядом, не касаясь друг друга. Чего ради она идет к нему, не переставала спрашивать себя Конни.

Он открыл дверь, они вошли, и он сейчас же запер дверь на задвижку. «Как в тюрьме»,— мелькнуло в голове у Конни. Чайник на огне выводил свою песню, стол был уже накрыт.

Она села в жесткое кресло у очага, наслаждаясь теплом после ночной прохлады.

— Я сниму туфли, они насквозь мокрые,— сказала она и поставила ноги в чулках на решетку, начищенную до блеска. Меллорс принес из кладовки хлеб, масло и копченые языки. Конни скоро согрелась, сняла пальто, он повесил его на дверь.

— Что будешь пить: какао, кофе или чай? — спросил он.

— Ничего не буду,— ответила она, взглянув на чашки, стоявшие на столе.— А ты что-нибудь съешь.

— Я тоже не хочу. Вот собаку пора кормить.

Он без смущения затопал по кирпичному полу и положил в миску еды. Собака тревожно взглянула на него и отвернулась.

— Что морду воротишь? Это твоя еда. Ни с чем, матушка, права будешь, съешь.

Он поставил миску на коврик у лестницы, а сам сел на стул, стоявший у стенки, и стал снимать гетры с ботинками. Но собака не стала есть, подошла к нему, села и, задрав морду, жалобно уставилась на него.

Он медленно расстегивал пряжки на гетрах. Собака еще ближе подвинулась к нему.

— Что с тобой? Ты нервничаешь, потому что в доме чужой? Но это просто женщина. Так что иди и трескай что дали.

Он погладил собаку по голове, и она потерлась мордой о его колено. Он медленно, мягко подергал длинное шелковистое ухо.

— Иди! — приказал он.— Иди и ешь свой ужин. Иди!

Он придвинул стул, на котором сидел, к коврику, где стояла миска; собака не спеша подошла к ней и стала есть.

— Ты любишь собак? — спросила Конни.

— Не сказал бы. Слишком они ручные, слишком привязчивы.

Наконец он стянул гетры и стал расшнуровывать тяжелые ботинки. Конни отвернулась от огня. Как убого обставлена комната! И только одно украшение — увеличенная фотография молодой четы на стене; по-

видимому, он с женой, лицо у молодой женщины вздорное и самоуверенное.

— Это ты? — спросила Конни.

Он повернулся чуть не на девяносто градусов и взглянул на фотографию, висевшую у него над головой.

— Да! Это мы перед свадьбой. Мне здесь двадцать один год.

Он смотрел на фотографию пустыми глазами.

— Тебе она нравится? — спросила Конни.

— Нравится? Конечно нет! Мне она никогда не нравилась. Жена настояла, чтобы мы сфотографировались вот так, вместе.

И он принялся опять за свои ботинки.

— Если она тебе не нравится, зачем ты ее здесь держишь? Отдал бы жене.

— Она взяла из дома все что хотела,— сказал он, неожиданно улыбнувшись.— А это оставила.

— Тогда почему ты ее не снимешь? Как воспоминание?

— Нет. Я никогда на нее не гляжу. Я даже забыл, что она здесь висит. Она здесь с первого дня, как мы сюда въехали.

— А почему бы ее не сжечь?

Он опять повернулся и взглянул на фотографию. Она была в чудовищной коричневой с золотом рамке. С нее смотрел гладко выбритый, напряженный, очень молодой парень в довольно высоком воротнике, а рядом — пухлая, с задиристым лицом девушка, с взбитыми завитыми волосами, в темной атласной блузке.

— Неплохая мысль,— сказал он.

Стащив, наконец, ботинки, он надел шлепанцы, затем встал на стул и снял фотографию. Под ней на бледно-зеленых обоях осталось более яркое пятно.

— Пыль можно не вытирать,— сказал он, поставив фотографию к стене.

Принес из моечной молоток с клещами. И, сев на тот же стул, принялся отдирать бумагу с другой стороны рамы, вынул гвоздики, удерживающие заднюю планку; работал он аккуратно, со спокойной сосредоточенностью, так характерной для него.

И наконец-то, сняв планку, извлек самое фотографию.

— Вот каким я тогда был,— проговорил он, вглядываясь с изумлением в забытый снимок.— Молодой пастор-тихоня и бой-баба.

— Дай, я посмотрю.

На фотографии он был весь чистенький, гладко выбритый, опрятный. Один из тех чистеньких молодых людей, каких было много лет двадцать назад. Но и тогда, свидетельствовала фотография, глаза у него смотрели живо и бесстрашно. А женщина была не просто «бой-баба»; несмотря на тяжелый подбородок в ней была своя женская привлекательность.

— Такие вещи нельзя хранить,— сказала Конни.

— Так вообще сниматься нельзя!

Поломав о колено паспарту вместе с фотографией на мелкие кусочки, он аккуратно положил их на огонь, проговорив при этом: «Как бы не загасить».

Стекло с задней планкой по-хозяйски отнес наверх. Затем несколькими ударами молотка разбил раму, усеяв пол осколками гипса. Все не спеша собрал и отнес в моечную.

— Завтра сожгу,— сказал он вернувшись.— А то сейчас задохнемся.

Наведя порядок, он опять сел.

— Ты любил жену? — спросила Конни.

— Любил? А ты любила сэра Клиффорда?

Но Конни не дала себя сбить.

— Она тебе нравилась?

— Нравилась? — усмехнулся он.

— Может, она тебе и сейчас нравится?

— И сейчас? — Он посмотрел на нее подняв брови.— Я даже подумать о ней не могу,— тихо проговорил он.

— Почему?

Но он только помотал головой.

— Тогда почему вы не разведетесь? Она ведь может в один прекрасный день вернуться.

Он остро взглянул на нее.

— Она обходит меня за тысячу миль. Она ненавидит меня сильнее, чем я ее.

— Вот увидишь, она еще вернется к тебе.

— Никогда. С этим покончено. Смотрю я на нее, и с души воротит.

— Ты еще с ней столкнешься. По закону вы муж и жена — да?

— Да.

— Ну вот. Значит, она вернется. И тебе придется взять ее обратно.

Он пристально поглядел на нее. Потом как-то странно тряхнул головой.

— Ты, наверное, права. Даже возвращаться сюда было глупо. Но тогда все ополчилось против меня. И деваться мне было некуда. Нашему брату порой лихо приходится. Да, ты права. Надо было давно развестись. Вот разведусь и буду опять свободен. Но как я ненавижу все эти суды, судейских крючков. А без них развода не получить.

Он стиснул зубы, так что заходили желваки. А Конни слушала и радовалась в душе.

— Я, пожалуй, выпью чашку чая,— сказала она.

Он встал заварить чай. Но лицо его не смягчилось.

Уже сидя за столом, она спросила его:

— Почему ты на ней женился? Она совсем простолюдинка. Миссис Болтон рассказывала мне про нее. Она никогда не могла понять, что ты в ней нашел.

Он опять пристально посмотрел на нее и сказал:

— Я тебе объясню. Первая любовь у меня была в шестнадцать лет. Она была дочкой учителя из Оллертона, очень хорошенькая, даже красивая. Я кончил в Шеффилде среднюю школу и был подающим надежды юношей. Знал немного немецкий, французский. И разумеется, витал в небесах. А эта романтическая душа терпеть не могла обыденности. Она читала мне стихи, учила любить их, любить книги, словом, старалась сделать из меня человека. Я читал, размышлял с большим рвением, и все благодаря ей. Я тогда служил клерком в одной из контор Баттерли. Худой, бледный юноша, в голове которого постоянно бродил хмель прочитанного. О чем только мы с ней не говорили. В какие дебри не забирались. Только и слышалось — Персеполь, Тимбукту. Другую такую литературную пару не сыскать было во всех десяти графствах. Я боготворил ее, курил ей фимиам. И она обожала меня. Но был у нас и камень преткновения — как ты можешь догадаться, это был секс. Вернее, секса совсем не было. Я тощал все сильнее и все сильнее кипятился. Наконец я сказал, что мы должны стать любовниками. И я ее, по обыкновению, уговорил. Мы стали любовниками. Я был на седьмом небе, а ей это было не надо. Она просто ничего не хотела. Она обожала меня, восхищалась мной, любила разговаривать со мной, целоваться; и это все. Остальное ей было не нужно. И таких женщин, как она, много. А мне как раз нужно было остальное. Начались ссоры. Я был неумолим и покинул ее. После этого у меня была другая женщина, учительница; о ней злословили, что она путалась с женатым мужчиной и довела его до безумия. Это была пухлая белокожая красотка, старше меня, и к тому же недурно играла на скрипке. И скажу тебе, эта женщина была сам дьявол. Она любила в любви все, кроме секса. Она льнула ко мне, нежничала, осыпала всевозможными ласками, но стоило делу дойти до главного, она стискивала зубы, и от нее шли волны ненави-

сти. Я старался перебороть ее, но чувствовал, что ее ненависть буквально замораживает меня. Так что все опять кончилось плачевно. Мне было очень скверно. Я хотел, чтобы со мной была женщина, которая любила бы меня и все остальное.

И тут появилась Берта Куттс. Когда я был маленьким, Куттсы жили рядом с нами, так что я хорошо их знал. Люди они были совсем простые. Ну вот. Берта выросла и уехала в Бирмингем, нашла себе какое-то место. Она утверждала, что компаньонки, но у нас шушукались, что Берта поступила служанкой или еще кем-то в номера. Как бы то ни было, как раз в то время, когда я был по уши сыт учительницей — мне шел тогда двадцать второй год,— Берта вернулась из Бирмингема, вся расфуфыренная, жеманная и довольно-таки соблазнительная. А я был к этому времени на грани самоубийства. Бросил свою работу в Баттерли: считал, что своим тщедушным сложением я обязан сидячей работе. Вернулся в Тивершолл и нанялся кузнецом, подковывал шахтных лошадей. Мой отец был ковач, и я часто помогал ему. Я любил эту работу, любил лошадей, словом, все потихоньку наладилось. И я как бы забыл правильный литературный язык и опять заговорил языком простого народа. Правда, книги я по-прежнему любил. Так я и кузнечил. У меня была своя двуколка, запряженная пони, и я был сам себе хозяин. Отец после смерти оставил мне триста фунтов. И я стал гулять с Бертой. Я был рад, что она из низов. Я хотел жить с простой женщиной. И сам хотел опроститься. Ну вот, так она и стала моей женой, и сначала все шло хорошо. Мои прежние «чистые» женщины делали все, чтобы истребить во мне «мужское естество». С Бертой же в этом отношении все было в порядке. Она хотела быть со мной и не делала из этого драмы. Я был очень доволен. Наконец-то я получил женщину, которая хотела со мной спать. И я с ней не помнил себя. Мне кажется, она немного презирала меня за это и еще за то, что иногда я даже приносил ей в постель завтрак. Она-то не очень утруждала себя заботами обо мне: когда я приходил с работы, обеда не было, а если я бывал недоволен, она налетала на меня, как фурия, я отвечал ей тем же. Однажды она запустила в меня чашкой, я схватил ее за шиворот и чуть не вытряхнул из нее душу. Дальше — хуже. Скоро она перестала подпускать меня к себе. Скандалила, ругалась. А как почувствует, что страсть моя улетучилась, начнет подъезжать ко мне со всякими нежностями, пока не получит свое. Я никогда не мог устоять. И она никогда не кончала вместе со мной. Никогда. Выжидала. Если я оттягивал дело на полчаса, она тянула еще дольше. А когда я кончал, тут она начинала разводить пары, вопила, извивалась и буквально кусала меня своим телом, пока наконец и сама не подходила к финишу в состоянии чуть не беспамятства. А потом говорила: «Ох, как хорошо!» Постепенно я стал уставать от этого, а она становилась все упрямее. Конец у нее наступал все позже, и к тому же тело ее становилось все жестче, грубее; мне порой казалось, что меня терзает клювом какая-то свирепая птица. Господи, считается, что женщина внутри нежная как цветок. Но поверь, у некоторых мерзавок между ногами костяной клюв, и они рвут тебя на куски, так что становится тошно. И думают только, как ублажить самое себя! Только себя.

Вот говорят о мужском эгоизме. Но поверь, мужскому эгоизму далеко до слепого женского эгоизма. Берта ничего не могла с собой поделать. Я говорил с ней об этом, объяснял, что для меня это невыносимо. И она даже пыталась исправиться. Пыталась лежать тихо, предоставив мне самому завершить дело. Но из этого ничего не выходило. Мои старания никогда не достигали цели, она ничего не чувствовала. Она должна была действовать сама, сама молоть свой кофе. С ней как бы случалось буйное помешательство, она должна была спустить всех собак и рвать мою плоть. Говорят, так бывает со старыми проститутками. Это был эгоизм самого низкого пошиба, своеволие безумца или женщины-алкоголички. В конце концов я просто не мог больше ее выно-

сить. Мы стали спать врозь, она сама это предложила во время одной из вспышек ненависти. Ей все мерещилось, что я подчиняю ее себе. Вот она и решила завести себе отдельную спальню. А скоро и я перестал пускать ее к себе. Я просто не мог больше выносить ее.

Я ненавидел ее, а она ненавидела меня. Господи, как она ненавидела, особенно когда носила этого бедного ребенка. Я часто думаю, она и зачала-то его из ненависти ко мне. Словом, когда ребенок родился, мы с ней расстались. Тут началась война, меня призвали. А вернувшись домой, я узнал, что она живет с каким-то парнем из Отвальной.

Он замолчал, в лице его не было ни кровинки.

— А что это за парень из Отвальной? — спросила Конни.

— Килограммов девяносто. Он все больше молчит, а она честит его на чем свет стоит. И оба пьют.

— Боже мой! Что будет, если она вернется?

— В самом деле. Выходит, надо бежать отсюда, исчезнуть...

Оба замолчали, фотография в очаге стала серым пеплом.

— Значит, когда ты получил, чего хотел, тебе это показалось слишком много? — заключила Конни.

— Значит так... И все-таки, если выбирать, я бы предпочел ее фригидным разновидностям — моей первой чистой любви и второй — лилии с ядовитым ароматом, да и прочим тоже.

— А что собой представляют прочие?

— Прочие? А прочих не было. Мой опыт говорит мне: женщины в большинстве своем любят мужчин, но не любят секс. Они вынуждены мириться с сексом, как с одним из непременных условий любви. Предпочитают старомодный вариант: женщина лежит и не шелохнется, а ты делаешь свое дело. В конце концов они ничего не имеют против этого, ведь они любят своего партнера. Но плотская любовь для них не существует, она оскорбляет их добродетель. И многие мужчины на это согласны. Я же этого не выношу. Женщины похитрее стараются скрыть безразличие. Они притворяются, что умирают от страсти, что они испытывают неземное блаженство. Но это чистый обман. Они просто делают вид. Есть и еще один сорт женщин, те любят все — объятия, поцелуи, последнее содрогание, но чувственность у них разлита по всему телу. Такие женщины предпочитают все способы любви естественному. Они умеют вызвать заключительный аккорд, когда мужчина находится совсем не там, где ему в этот миг положено быть. Бывают очень тугие женщины, их дьявольски трудно довести до финиша. Иной раз они сами себя доводят, как моя жена.

И еще есть женщины, у которых внутри мертво, и они знают это. Каких только женщин нет! Или вот женщины-лесбиянки. Выбрасывают мужчину перед самым концом и начинают елозить бедрами до завершения. Удивительно, как много в женщинах лесбиянского, хотя они сами этого и не сознают.

— Тебя это раздражает?

— Я бы всех лесбиянок убил. Когда я с женщиной, которая в сущности лесбиянка, я вою в душе и готов убить ее.

— И что же ты делаешь?

— Бегу от нее со скоростью света.

— Ты полагаешь, что женщины-лесбиянки хуже, чем мужчины-педерасты?

— Разумеется, хуже. Потому что они причиняют более сильные страдания. Впрочем, если говорить честно, не знаю, кто лучше, кто хуже. Но когда я имею дело с лесбиянкой, не важно, сознающей свой дефект или не сознающей, я прихожу в бешенство и не хочу больше видеть ни одной женщины. Я готов всю жизнь довольствоваться собственным обществом, только бы не ронять своего мужского достоинства.

Он сидел хмурый, бледный как полотно.

— И ты очень огорчился, когда появилась я?

— И огорчился и обрадовался.

— А что ты чувствуешь сейчас?

— Меня страшат всякие осложнения: ссоры, взаимные обвинения, нелепые ситуации. Все это непременно будет. Кровь у меня в такие минуты холодеет, накатывает тоска. Когда же кровь играет, я чувствую, что счастлив, даже на седьмом небе. Но боюсь, я уже начал становиться мизантропом. Я изверился в любви. Мне казалось, что нет больше на земле женщин, кроме негритянок, с которыми возможен естественный половой акт. Но мы все-таки белые люди, и негритянки для нас точно вымазаны смолой.

— Ну, а теперь? Ты рад, что у тебя есть я?

— Конечно, рад. Когда забываю обо всех остальных женщинах. А забыть их очень трудно. Поэтому мне хочется залезть под стол и там умереть.

— Почему под стол?

— Почему? — Он рассмеялся.— Чтобы спрятаться от всех, наверное. Знаешь, как делают дети.

— Какой же у тебя тяжелый опыт отношений с женщинами!

— Видишь ли, я не умею тешить себя самообманом. Многие мужчины умеют. Они согласны мириться с ложью, с любым маскарадом. Меня же самообман никогда не спасал. Я всегда знал, чего хочу от женщины, и если не получал этого, никогда не говорил, что получаю.

— А теперь ты это получаешь?

— Похоже, что да.

— Тогда почему ты такой бледный и злой?

— По маковку полон воспоминаниями. И возможно, боюсь самого себя.

Конни сидела молча. Время уже близилось к полночи.

— А ты правда считаешь, что это очень важно — мужчина и женщина?

— Да, для меня очень. Для меня в этом смысл жизни. В любви к женщине, в естественных с ней отношениях.

— Ну, а когда у тебя их нет, что ты делаешь?

— Обхожусь без них.

Конни опять подумала и спросила:

— А ты считаешь, что сам ты всегда правильно ведешь себя с женщинами?

— Нет конечно! В том, что случилось с моей женой, виноват я. В значительной степени виноват; это я испортил ее. И еще я очень недоверчив. Ты должна это помнить. Чтобы я до конца поверил женщине — даже не знаю, что нужно. Так что, может, я и сам не стою доверия. Я просто не верю женщинам, и все. Боюсь притворства.

Конни искоса посмотрела на него.

— Но ты ведь доверяешь своему телу, своей плоти? — сказала она.

— Увы, доверяю. От этого все мои беды. Именно поэтому мой ум так недоверчив.

— Ну и пусть недоверчив. Какое это имеет значение?

Укладываясь поудобней на подстилке, Флосси тяжело вздохнула. Огонь в очаге догорел, оставив тлеть подернутые золой угли.

— Мы с тобой два израненных воина,— сказала Конни.

— Ты тоже изранена? — рассмеялся он.— И вот мы опять лезем в драку.

— Да! И мне по-настоящему страшно.

— Еще бы!

Он встал, поставил ее туфли сушиться, вытер свои и подвинул их ближе к очагу; утром он смажет их жиром. Взял кочергу и выгреб обгоревшие остатки рамки.

— Мне даже угли от этой рамки противны,— сказал он.

Затем принес хворосту, положил на пол к завтрашнему утру. И вывел погулять собаку.

— Я бы тоже хотела выйти ненадолго,— сказала Конни, когда он вернулся.

Она вышла одна в темноту. Высоко в небе горели звезды. В ночном воздухе сильно пахло цветами. Ее мокрые туфли промокли еще сильнее. Но она чувствовала отъединенность от всех — и от него.

Ночь была свежая. Она зябко поежилась и вернулась в дом.

— Холодно,— сказала она, дернув плечами.

Он подбросил на угли хворосту, принес еще, и в очаге, весело трещa, занялось пламя. Его желтые пляшущие языки согрели не только их щеки, но и души.

— Выброси все из головы,— сказала Конни.

Егерь сидел молча, неподвижно. Взяв в ладони его руку, она прибавила:

— Постарайся.

— У-гу,— вздохнул он, чуть скривив рот в улыбке.

Конни тихо подошла и скользнула ему на колени, поближе к огню.

— Забудь все,— шепнула она ему.— Забудь.

Он крепко прижал ее к себе; так они сидели молча, чувствуя наплывающее из очага тепло. Лепестки пламени казались Конни цветком забвения. Легкая сладостная тяжесть ее теплого тела кружила ему голову. Кровь снова начала бурлить, пробуждая безрассудные неуправляемые силы.

— А может, эти женщины и хотели быть с тобой, любить тебя по-настоящему, да просто у них не получалось. Может, их вины-то и нет,— сказала Конни.

— Да, это верно. Я знаю. Я и сам был тогда, как змея с перебитым хребтом.

Конни вдруг крепко прижалась к нему. Ей не хотелось начинать все сначала, но что-то все время подзуживало ее.

— Теперь все по-другому,— проговорила она.— Ты ведь больше не чувствуешь себя змеей с перебитым хребтом.

— Я не знаю, что чувствую. Знаю только, впереди у нас черные дни.

— Нет, нет! Что ты говоришь! — запротестовала она.

— Близятся черные дни — для нас и вообще для всех,— повторил он свое мрачное пророчество.

— Ничего подобного! Как ты смеешь это говорить!

Егерь молчал. Но она чуяла в его душе черную пустоту отчаяния. Оно было смертью для всех желаний, смертью для самой любви. Это отчаяние подобно бездонной воронке, которая затягивает в себя душевные силы, всего человека.

— Ты так холодно говоришь о любви,— посетовала она.— Так, словно для тебя важно только свое удовольствие, свое удовлетворение.

Конни очень разволновалась.

— Ничего подобного,— ответил он.— Я всегда думал и о женщине. Я не получал ни удовольствия, ни удовлетворения, если женщина не получала того же вместе со мной. А этого ни разу не было. Для полного счастья нужно одновременное удовлетворение двоих.

— Но ты никогда не верил своим женщинам. Ты даже мне не веришь.

— Я не знаю, что значит верить женщине.

— В этом твоя беда.

Она все еще сидела, свернувшись калачиком, у него на коленях. Но настроение у него было тяжелое, отсутствующее, ее как бы здесь и не было. И все, что она говорила, лишь отталкивало его от нее.

— Но все-таки во что же ты веришь? — настаивала Конни.

— Не знаю.

— Значит, ни во что, как и все другие мужчины — мои знакомые,— сказала Конни.

Опять оба замолчали. Сделав над собой усилие, он все-таки решился открыть ей душу.

— Нет, я, конечно, во что-то верю. Я верю в сердечное тепло. Верю, что нет настоящей любви без сердечного тепла. Я уверен, если мужчина обладает женщиной и в душе у обоих нежность, все будет хорошо. А вот если любить с холодным сердцем — это идиотизм, это смерть.

— Но ты ведь чувствуешь ко мне нежность? Ты не просто так меня любишь?

— Я не хочу больше любить. Мое сердце холоднее остывшей картошки.

— Ах, ах.— Она поцеловала его и шутливо прибавила: — Давай мы его sautées [1].

Он рассмеялся.

— Я не преувеличиваю,— сказал он, выпрямившись на стуле.— Полцарства за нежность! А женщинам надо не это. Даже тебе — чего уж греха таить. Ты любишь острую любовную игру, но сердце у тебя остается холодным, хоть ты и делаешь вид, что на седьмом небе от счастья. Где твоя нежность ко мне? Ты относишься ко мне с опаской. Как кошка к собаке. Повторяю, любви нужна нежность. Тебе нравится близость с мужчиной, не спорю. Но ты возводишь эту близость во что-то мистическое, сверхценное. Только затем, чтобы польстить своему тщеславию. Собственное тщеславие важнее для тебя во сто крат любого мужчины, твоей близости с ним.

— Но я то же самое могу сказать о тебе. Твой эгоизм безграничен.

— Да? Ты так думаешь? — сказал он, заерзав на стуле, как будто хотел встать.— Давай тогда расстанемся. Я скорее умру, чем буду еще раз обладать женщиной, у которой вместо сердца ледышка.

Она соскользнула с его колен, и он встал.

— А ты думаешь, мне это очень приятно?

— Думаю, что нет,— ответил он.— Посему иди-ка ты спать наверх. А я буду спать здесь.

Конни посмотрела на него. Он был не просто бледным, он был белый как снег, брови нахмурены, далекий, как северный полюс: мужчины все одинаковы.

— Но я не могу вернуться домой раньше утра,— сказала она.

— И не надо. Иди наверх. Уже четверть первого.

— Не пойду,— сказала она.

— Тогда мне придется уйти из дома,— сказал он и начал натягивать ботинок. Конни оторопело глядела на него.

— Подожди,— едва выговорила она.— Скажи, что с нами происходит?

Он продолжал нагнувшись зашнуровывать ботинок. Бежали секунды. У Конни потемнело в глазах, она стояла как в беспамятстве, глядя на него невидящими глазами.

Затянувшееся молчание становилось невыносимым. Он поднял голову. Конни стояла как потерянная, с широко открытыми глазами. И его точно ветром подхватило: он вскочил, хромая, подбежал к ней, как был, в одном ботинке, схватил на руки и крепко прижал к себе, хотя все внутри у него исходило болью. Он держал ее на руках, а она все смотрела на него...

Рука его скользнула ей под платье и ощутила гладкую теплую кожу.

— Ласонька моя,— шептал он,— ласонька. Зачем нам ругаться? Я люблю тебя, такую гладенькую, шелковую. Только не перечь мне больше. Мы всегда будем вместе.

Конни подняла голову и посмотрела на него.

— Не сердись,— сказала она тихо.— Какой от этого толк? Ты, правда, хочешь быть со мной? — Она взглянула ему в глаза открыто и твердо.

---

[1] Поджарим (*франц.*).

Он перестал гладить ее, отвернулся. И замер, как будто окаменел. Потом заглянул ей в самые зрачки и, чуть насмешливо улыбнувшись, сказал:

— Давай скрепим нашу любовь клятвой!

— Скрепим,— ответила она, и глаза ее вдруг увлажнились.

— Знаешь старинную клятву: гроб, могила, три креста, не разлюбим никогда.

Он опять улыбнулся, в глазах у него плясали шутливые искорки, от недавнего уныния не осталось и следа.

Она тихо плакала; он опустил ее на коврик у очага и прямо на полу овладел ею. И сразу у обоих растопилось сердце. Тут же заторопились наверх в спальню: становилось прохладно, да и они изрядно помучили друг друга. Конни легла и всем телом прильнула к нему, чувствуя себя маленькой, защищенной, и оба сейчас же заснули добрым, покойным сном. Они спали не шелохнувшись до первого луча, вспыхнувшего над лесом.

Он проснулся первым, в комнате мягкий полусвет, занавески задернуты. В лесу оголтело щебечут дрозды. Утро обещает быть прекрасным. Пора вставать — уже половина шестого. Как крепко ему спалось! Занимается новый день. Его женщина — нежная, любящая — спит, свернувшись калачиком. Он коснулся ее рукой, и она раскрыла синие, изумленные глаза, улыбаясь еще в полусне его лицу.

— Ты уже проснулся? — спросила она.

Он глядел ей в глаза. Улыбался и целовал ее. Вдруг она быстро поднялась и села.

— Только подумать, что я у тебя,— сказала она.

Оглядела чисто побеленную крошечную спальню, скошенный потолок, слуховое окно, занавешенное белыми шторами. Комната была совсем пустая, если не считать маленького желтого комода, стула и не очень широкой белой кровати, в которой она спала с ним эту ночь.

— Только подумать, мы с тобой здесь вместе,— сказала она, глядя на него сверху. Он лежал, любуясь ею, поглаживая ее груди сквозь тонкую ткань сорочки. Когда он спокоен и ласков, лицо у него такое красивое, совсем мальчишеское. И глаза такие теплые. А уж Конни радовала юностью и свежестью распустившегося цветка.

— Я разденусь,— сказала она, захватив в горсть тонкую батистовую ткань и потянув через голову. Она сидела в постели, обнажив удлиненные золотистые груди. Ему доставляло удовольствие покачивать их, как колокольчики.

— И ты сними свою пижаму,— сказала она.

— Э-э, нет.

— Да! Да! Сними,— приказала она.

И он снял старенькую ситцевую пижамную куртку, штаны. За исключением ладоней, запястий, лица и шеи кожа его везде была молочно-белой; сильное, мускулистое тело изящно. Он опять показался ей ошеломляюще красивым, как в тот день, когда она нечаянно подглядела его умывание.

Золотые лучи ударили в задернутую занавеску. Конни подумала — солнце спешит приветствовать их.

— Отдерни, пожалуйста, шторы, — попросила она.— Слышишь, как поют птицы. Впусти скорее к нам солнышко.

Он соскочил с постели, нагой, тонкий, белотелый, и пошел к окну, немного нагнулся, отдернул шторы и выглянул наружу. Спина была изящная, белая, маленькие ягодицы красивы скупой мужской красотой, шея, тонкая и сильная, загорела до красноты.

В этом изящном мальчишеском теле скрыта была внутренняя сила, не нуждавшаяся во внешнем проявлении.

— Но ты очень красив! — сказала Конни.— Такая чистота, изящество! Иди ко мне,— протянула она к нему руки.

Он стыдился повернуться к ней. Поднял с пола рубашку и, прикрыв наготу, пошел к ней.

— Нет! — потребовала Конни, все еще протягивая к нему тонкие красивые руки.— Я хочу тебя видеть!

Рубашка упала на пол, он стоял спокойно, устремив на нее взгляд. Солнце, ворвавшееся в низкое оконце, озарило его бедра, поджарый живот и темный налитый горячей кровью фаллос, торчащий из облачка рыжих вьющихся волос. Она испуганно содрогнулась.

— Как странно,— проговорила она медленно.— Как странно он торчит там. Такой большой! Такой темный и самоуверенный. Значит, вот он какой.

Мужчина скользнул взглядом вдоль своего тонкого белокожего тела и засмеялся. Волосы на груди у него были темные, почти черные. А в низу живота ярко рыжели.

— И такой гордый,— шептала она смятенно.— Такой высокомерный. Неудивительно, что мужчины всегда держатся свысока! Но он красив. И независим. Немножко жутко, но очень красиво! И он стремится ко мне! — Конни прикусила нижнюю губу в волнении и страхе.

Мужчина молча глядел на свою тяжелую неподвижную плоть.

— Эй, парень,— сказал он наконец тихо.— Ты в своем праве. Можешь задирать голову, сколько хочешь. Ты сам по себе, я сам по себе, верно, Джон Томас? Вишь, выискался господин. Больно норовист, похлеще меня, и лишнего не лалакает. Ну что, Джон Томас? Хочешь ее? Хочешь свою леди Джейн? Опять ты меня задумал угробить. И еще улыбается! Ну скажи ей: «Отворяйте ворота, едет государь!» Ах, скромник, ах, негодник. Ласоньку он захотел. Ну скажи леди Джейн: хочу твою ласоньку. Джон Томас и леди Джейн — чем не пара!

— Не дразни его,— сказала Конни, подползла к краю кровати, обняла его стройные, матовые бедра, притянула их к себе, так что груди коснулись его напрягшейся плоти, и слизнула появившуюся каплю.

— Ложись,— велел он.— Ложись и пусти меня к себе.

Он торопился, а когда все кончилось, женщина опять обнажила мужчину — еще раз взглянуть на загадку фаллоса.

— Смотри, какой он маленький и мягкий. Маленький, нераспустившийся бутон жизни. И все равно он красив. Такой независимый, такой странный! И такой невинный. А ведь он был так глубоко во мне. Ты не должен обижать его, ни в коем случае. Он ведь и мой тоже. Не только твой. Он мой, да! Такой невинный, такой красивый,— шептала Конни.

Мужчина засмеялся.

— Блаженны узы, связавшие сердца родством любви.

— Да, конечно,— кивнула Конни.— Даже когда он такой мягкий, маленький, я чувствую, что до конца жизни привязана к нему. И какие славные у тебя тут волосы! Совсем, совсем другие.

— Это шевелюра Джона Томаса, не моя. Эге! — воскликнул мужчина, потянувшись чуть не до боли во всем теле.— Да ты никак опять за свое? А ведь корнями-то ты врос в мою душу. Другой раз просто не знаю, что с тобой и делать. Он ведь себе на уме, никак ему не потрафишь. Вместе тесно, а врозь скучно.

— Теперь понятно, почему мужчины его боятся! — сказала Конни.— В нем есть что-то грозное.

По телу мужчины пробежала дрожь; сознание опять раздвоилось. Он был бессилен противиться неизбежному; а мышца его стала набухать, твердеть, расти, согласно извечному странному обыкновению. Женщина, наблюдая его, затрепетала.

— Бери его! Бери! Он твой,— велел мужчина.

Ее забила дрожь, сознание отключилось. Он вошел в нее, и ее затопили нежные волны острого, неописуемого наслаждения, разлившегося по всему телу. Блаженство все росло и, наконец, завершилось последней ослепляющей вспышкой.

Он услыхал далекие гудки «Отвальной» — семь часов утра, поне-

дельник. Поежившись, зарылся головой в ее грудь, чтобы не слышать гудков.

А она даже не слышала гудка. Она лежала тихо, душа ее этим светлым утром отмылась до прозрачности.

— Тебе, наверное, пора вставать? — спросил он.

— Сколько времени?

— Только что прогудело семь.

— Да, наверное, пора,— сказала она недовольно: терпеть не могла внешнего принуждения.

Он сел и тупо уставился в окно.

— Ты ведь меня любишь? — спросила она спокойно.

Он поглядел на нее.

— Не знаешь, что ли? Чего же спрашивать,— с легким раздражением ответил он.

— Я хочу, чтобы ты не отпускал меня,— сказала она.— Оставил здесь.

Глаза его застило теплой мягкой мглой, отгонявшей мысли.

— Прямо сейчас?

— Сейчас, в своем сердце. А потом я приду к тебе насовсем, и это будет совсем скоро.

Он сидел обнаженный на постели, повесив голову, неспособный соображать.

— Ты что, не хочешь этого? — спросила она.

— Хочу.

Он посмотрел на нее все тем же затуманенным взглядом, в котором горело пламя иного сознания, почти сна.

— Не лезь сейчас ко мне с вопросами. Дай мне опамятоваться. Ты очень нравишься мне. Ты вот тут лежишь, и я тебя люблю. Как не любить бабу с такой хорошей ласонькой. Я люблю тебя, твои ноги, фигуру. Твою женственность. Люблю всеми своими потрохами. Но не береди мне пока душу. Не спрашивай ни о чем. Пусть пока все есть, как есть. Спрашивать будешь после. Дай мне прийти в себя.

С этими словами он стал нежно поглаживать ее мягкие каштановые волосы под животом, а сам сидел на постели — нагой, полный покоя, лицо неподвижно — некая материальная абстракция, наподобие лица Будды. Он сидел, замерев, ослепленный пламенем иного сознания, держа ладонь на ее теле и ожидая возвращения сознания будничного.

Немного спустя он встал, натянул рубаху, быстро оделся, не произнеся ни слова, еще раз взглянул на нее — она лежала на постели, золотистая в лучах солнца, как роза Gloire de Dijon [1], и быстро ушел. Она слышала, как он внизу отпирает дверь.

А она все лежала, размышляя, что же с ней происходит: ей очень, очень трудно уйти, оторваться от него. Снизу донесся голос: «Половина восьмого!» Она вздохнула и встала с постели. Маленькая голая комнатка, ничего в ней нет, кроме комода и не очень широкой кровати. Но половицы отмыты дочиста. А в углу у окна полка с книгами, некоторые взяты из библиотеки. Она посмотрела: книги о большевистской России, путешествия, книга об атоме и электронах, еще одна о составе земного ядра и причинах землетрясений, несколько романов и три книги об Индии. Так, значит, он все-таки читает.

Солнце озаряло ее обнаженное тело. Она подошла к окну, возле дома бесцельно слонялась Флосси. Куст орешника окутан зеленой дымкой, под ним темно-зеленые пролески. Утро было чистое, ясное, с ветки на ветку порхали птицы, оглашая воздух торжественным пением. Если бы она могла здесь остаться! Если бы только не было того ужасного мира дыма и стали! Если бы он мог подарить ей какой-то новый, особый мир!

---

[1] Слава Дижона (*франц.*).

Она спустилась вниз по узкой крутой деревянной лестнице. И все равно было бы славно жить в этом маленьком домике — только бы он был в другом, особом мире.

Он уже умылся, от него веяло чистотой и свежестью, в очаге потрескивал огонь.

— Ты будешь есть? — спросил он.

— Нет. Вот если бы ты одолжил мне расческу!

Она пошла за ним в моечную и причесалась, глядясь в зеркало величиной в ладонь. Пора идти назад, в Рагби.

Она стояла в маленьком палисаднике, глядя на подернутые росой цветы, на серую клумбу гвоздик, уже набравших бутоны.

— Хорошо бы весь остальной мир исчез,— сказала Конни,— и мы бы с тобой жили здесь вдвоем.

— Не исчезнет,— ответил он.

Они шли молча по веселому росистому лесу, отрешенные от всего и вся.

Ей было тяжко возвращаться в Рагби-холл.

— Я хочу как можно скорее прийти к тебе насовсем. И мы будем жить вместе,— сказала она на прощание.

Он улыбнулся, ничего не ответив.

Она вернулась домой тихо, никем не замеченная, и поднялась к себе в комнату.

*(Окончание следует)*

# МИЛАН КУНДЕРА

# *Шутка*

РОМАН

*Перевод с чешского НИНЫ ШУЛЬГИНОЙ*

## V

### 1

Спал я долго и вполне хорошо; воспоминания, которым я так самозабвенно предался вечером (вплоть до поздней ночи), не повлияли, при всей их горечи, на ритм моей жизнедеятельности, натренированный строгим распорядком дня, коему я подчинил себя, когда впервые после тридцати осознал, что я тоже подвержен обычному уделу старения. Проснулся я только после восьми часов, не помня никаких снов, ни хороших, ни плохих, голова не болела, однако вставать не хотелось, и этому нежеланию я ничуть не противился — с определенного времени отказываюсь видеть в нем дурную привычку, а принимаю его, как благотворный признак празднолеливой молодости.

Стало быть, я продолжал лежать; сон воздвиг между мной и встречей в пятницу вечером какую-то стену, ветрозащитную полосу, за которой я чувствовал себя (по крайней мере на время) укрытым. Не то чтобы в это утро Люция улетучилась из моего сознания, но она снова обрела былую абстрактность.

Абстрактность? Именно: когда Люция в Остраве так загадочно и жестоко исчезла из моей жизни, у меня не было поначалу никакой практической возможности ее разыскивать. А по мере того как (после демобилизации) проходили годы, я мало-помалу терял интерес к такому поиску. Я убеждал себя, что Люция, как бы я ни любил ее, какой бы *единственной* она ни была для меня, совершенно неотделима от той ситуации, при какой мы встретились и полюбили друг друга. Мне казалось — есть определенная ошибка в рассуждениях человека, отгораживающего любимое существо от тех обстоятельств, при которых узнал его и в которых оно существует, и пытающегося в упрямом внутреннем сосредоточении очистить его от всего, что не является *собственно* им, а стало быть, и от *истории,* ими вместе прожитой и создающей контуры их любви.

Я, признаться, люблю в женщине не то, чем она есть сама по себе и для себя, а то, чем она обращена ко мне, чем становится *для меня.* Я люблю ее как персонаж нашей общей истории. Что являла бы собой фигура Гамлета без Эльсинорского замка, без Офелии, без тех конкретных обстоятельств, в какие он попадает, чем был бы он без *текста* своей роли, чем был бы он, абстрагированный от этого всего? Что бы осталось от него, кроме некой пустой, немой, иллюзорной фигуры? И Люция, лишенная остравских окраин, роз, просунутых сквозь проволочную изгородь, лишенная своего поношенного платья, как и моих собственных изгнаннических недель и затяжной безнадежности, перестала бы скорее всего быть той Люцией, которую я любил.

Окончание. Начало см. в № 9.

Да, я так это понимал, так это объяснял себе и, по мере того как проходил год за годом, начинал едва ли не бояться встречи с ней, ибо знал, что встретились бы мы в таком месте, где Люция уже не была бы Люцией и мне нечем было бы надвязать оборвавшуюся нить. Конечно, тем самым я не хочу сказать, что перестал любить ее, что позабыл ее, что ее облик как-то померк во мне; напротив, она жила во мне в образе тихой ностальгии; я грезил о ней, как грезят о чем-то невозвратимо потерянном.

И именно потому, что Люция стала для меня чем-то бесповоротно прошлым (чем-то, что постоянно живет, как прошлое, но мертво, как настоящее), она постепенно теряла в моем воображении свою телесность, материальность, конкретность и чем дальше, тем больше становилась некой легендой, мифом, занесенным на пергамент и в металлическую шкатулке помещенным в основу основ моей жизни.

Возможно, именно потому могло случиться совсем невероятное: в кресле парикмахерской я засомневался, ее ли это облик. И потому, возможно, на следующее утро у меня (одурманенного паузой сна) возникло ощущение, будто вчерашняя встреча не была *реальной,* что и она, должно быть, из области легенды, пророчества или загадки. Если в пятницу вечером я был ошеломлен реальным присутствием Люции и отброшен внезапно назад в давнюю пору, когда она безраздельно царила, в это субботнее утро я уже со спокойным (и вволю отоспавшимся) сердцем лишь спрашивал себя: *зачем* я встретил ее? Неужто история с Люцией должна иметь еще продолжение? Что означает эта встреча и о чем она хочет *сказать* мне?

Разве истории, кроме того, что они случаются, что существуют, что-то еще и говорят? Пожалуй, мне незачем подчеркивать, что человек я вполне трезвый. Но, возможно, во мне все-таки осталось нечто от иррациональных суеверий, как, например, эта странная убежденность, что всяческие истории, случающиеся со мной в жизни, имеют еще и какой-то особый смысл, еще что-то *означают;* что жизнь своей собственной историей рассказывает что-то о себе, что она постепенно выдает нам какие-то свои тайны, что предстает перед нами как ребус, чей смысл надо разгадать, что истории, проживаемые мною в жизни, являют собой мифологию этой жизни, а в этой мифологии — ключ к истине и тайне. Обман ли это? Возможно, даже вполне вероятно, но я не могу избавиться от потребности неустанно *разгадывать* свою собственную жизнь (словно в ней и в самом деле сокрыт какой-то смысл, значение, истина), я не могу избавиться от этой потребности, даже если бы она и не была не чем иным, как потребностью некой игры (такой же игры, как разгадывание ребусов).

Итак, я лежал на скрипучей кровати в гостинице, и в голове моей носились мысли о Люции, на сей раз вновь превращенной в отвлеченное понятие, в чистый вопрос. Гостиничная кровать была, как я уже заметил, и вправду скрипучая; и когда в полной мере я осознал это ее свойство, вспыхнула во мне (внезапно, оглушающе) мысль о Гелене. Словно скрипучее ложе было голосом, зовущим меня к обязательствам,— я вздохнул, сбросил ноги с кровати, сел на ее край, провел рукой по волосам, взглянул в окно на небо и, наконец, встал. Встреча в пятницу с Люцией, какой бы нематериальной ни казалась она на следующий день, однако вбирала в себя и притупляла мой интерес к Гелене, интерес, столь всепоглощающий еще несколько дней назад. В эту минуту от него оставалось лишь *сознание* интереса; интерес, переведенный на язык памяти; ощущение обязательства по отношению к утраченному интересу, который, как убеждал меня рассудок, непременно вернется ко мне во всей своей остроте.

Я подошел к умывальнику, сбросил пижамную куртку и до упора открыл кран; протянул руки под струю воды и с какой-то торопливостью, полными горстями стал оплескивать шею, плечи, все тело, растерся полотенцем, хотелось разогнать кровь. И все потому, что я вдруг

испугался; испугался своего равнодушия к приезду Гелены, испугался, как бы это равнодушие (нынешнее мое равнодушие) не помешало бы мне воспользоваться тем счастливым случаем, что выпал лишь однажды и вряд ли представится во второй раз. Я решил как следует позавтракать, а затем выпить рюмку водки.

Я спустился вниз в кафе, но обнаружил там только груду стульев, жалобно торчавших ножками вверх на незастланных столах, и старушенцию в грязном переднике, елозившую между ними.

Я пошел в бюро обслуживания и спросил портье, что сидел за стойкой, погруженный в мягкое кресло и глубокую безучастность, могу ли позавтракать в гостинице. И, бровью не поведя, он сказал, что сегодня у них в кафе выходной. Я вышел на улицу. Был прекрасный день, облачка лениво ползли по небу, и легкий ветерок взвивал с тротуара пыль. Я поспешил на площадь. У мясной лавки стояла толпа молодых и пожилых женщин; они, держа в руках кошелки и сетки, терпеливо и тупо ждали, когда же дойдет до них внутри магазина очередь. Среди пешеходов, бредущих или спешащих по улице, минутой позже мое внимание привлекли те из них, что держали в руке, будто миниатюрный факел, фунтик под розовой шапочкой мороженого и лизали его.

И вот я уже на площади. Там стоит широкий двухэтажный дом с двумя башенками по обеим сторонам крыши; по фасаду первого этажа размещаются четыре витрины и над каждой — стеклянные люнеты; на одном из них нарисованы трое мужчин в национальных костюмах; с открытыми ртами они обнимают друг друга за плечи; на другом изображен мужчина с женщиной (эти тоже в национальных костюмах), на третьем — подсолнечник и на четвертом — бочка вина. Там — кафе самообслуживания.

Я вошел внутрь. Это было большое помещение с кафельным полом и столами на высоких ножках, у которых стояли люди, уплетали бутерброды и пили кофе или пиво.

Здесь мне не захотелось завтракать. С самого утра меня преследовал образ плотного завтрака с яйцами, копченым салом и стопочкой спиртного, который вернул бы мне утраченную жизнеспособность. Я вспомнил, что чуть подальше, на другой площади с маленьким парком и чумным столбом, есть еще одна харчевня. Пусть и не очень-то привлекательная, но меня бы вполне устроило, окажись там стол, стул и один-единственный официант, от которого я получил бы желаемое.

Я прошел чумной столб; постамент подпирал святого, святой — облако, облако — ангела, ангел подпирал еще одно облачко, на этом облачке сидел опять же ангел, уже последний; было утро; я осознал эту очевидность вновь, когда пригляделся к чумному столбу, к этой трогательной пирамиде святых, облаков и ангелов, которые здесь, в тяжелом камне, изображали небеса и их высоту, в то время как подлинные небеса были бледно-бледно (по-утреннему) голубыми и непостижимо далекими от этого пыльного осколка земли.

Я пересек парк с опрятными газонами и скамейками (но при этом достаточно голый, чтобы не нарушать атмосферу пустынной запыленности) и взялся за ручку двери, ведущей в ресторан. Закрыто. Я начинал понимать, что желанный завтрак останется сном, и это напугало меня, ибо с ребячливым упорством я считал сытный завтрак решающим условием успеха предстоящего дня. Я осознал, что районные города не принимают в расчет чудаков, желающих завтракать сидя, и что двери своих харчевен они раскрывают много позднее. И так, не пытаясь уже искать какое-либо иное заведение, я повернулся и снова пересек парк в обратном направлении.

И вновь навстречу попадались люди, несущие в руке фунтики под розовой шапочкой, и вновь я подумал, что эти фунтики похожи на факелы и что в этом сходстве, пожалуй, есть и определенный смысл, поскольку эти факелы на самом деле не факелы, а *карикатурное подобие факелов,* и то, что они с такой торжественностью несут в себе этот розовый

след услады, вовсе не наслаждение, а *карикатурное подобие* наслаждения, которое, вероятно, выражает неизбежную карикатурность всех факелов и наслаждений этого запыленного провинциального городишка. А затем я смекнул: если пойти навстречу этим лижущим светоношам, они наверняка доведут до какой-нибудь кондитерской, в которой, надо надеяться, будет столик и стул, а возможно, и черный кофе с пирожным.

Они привели меня не к кондитерской, а к молочному кафе; там стояла большая очередь, ожидавшая какао или молока с рогаликами, были там и столики на высоких ножках, за которыми пили и ели, но в заднем помещении я сразу же углядел столики со стульями, правда уже занятые. Что ж, я встал в очередь и через три минуты суетливого ожидания купил стакан какао и два слоеных рогалика, затем пошел к высокому столику, на котором стояло примерно шесть опорожненных стаканов, отыскал ничем не залитое местечко и поставил туда свой стакан.

Поел я с удручающей быстротой; не более как минуты через три я снова оказался на улице; было девять утра; в моем распоряжении оставалось почти два часа времени: Гелена вылетела сегодня первым самолетом из Праги и в Брно должна была сесть на автобус, который приходит сюда около одиннадцати. Эти два часа, значит, будут совершенно пустыми и совершенно бесполезными.

Я мог, конечно, пойти поглядеть на старые места детства, мог в сентиментальной задумчивости остановиться у родного дома, где до последних дней жила моя мама. Вспоминаю о ней часто, но здесь, в городе, где ее бренные останки втиснуты под чужой мрамор, воспоминания о ней как-то отравлены: примешивались к ним чувства былого бессилия и ядовитая горечь — а этому я пытаюсь противиться.

Итак, мне ничего не оставалось, как посидеть на площади на скамейке, минуту спустя встать снова, подойти к витринам магазина, в книжной лавке просмотреть названия книг и, наконец, придя к спасительной мысли, купить в табачном киоске «Руде право», снова сесть на скамейку, пробежать глазами ничем не примечательные заголовки, прочитать в зарубежной рубрике два занятных сообщения, снова подняться со скамейки, сложить «Руде право» и в полной невредимости всунуть в мусорный ящик; затем побрести к храму, остановиться перед ним, поглядеть вверх на его две башни, потом подняться по широким ступеням храма на паперть, а уж там войти в него, войти робко, чтобы люди понапрасну не возмущались, что вошедший не осеняет себя крестным знамением, а явился сюда лишь пройтись, как ходят по парку или по опустевшему проспекту.

Когда в храме прибавилось прихожан, я стал смотреться среди них чужаком, не знающим, где ему встать, как склонить голову или сложить руки; и тогда я снова вышел на улицу, взглянул на часы и установил, что мое межвременье все еще долгое. Я пытался возбудить мысль о Гелене, хотелось думать о ней, чтобы как-то использовать эти затянувшиеся минуты; но мысль о ней никак не желала раскрутиться, не желала сдвинуться с мертвой точки, и самое большее, что ей было под силу,— это вызвать в моем воображении лишь внешний облик Гелены. Впрочем, известное дело: когда мужчина ждет женщину, он с трудом находит в себе способность думать о ней, и ему ничего не остается, кроме как прохаживаться взад-вперед (более спокойно или менее) под ее застывшим образом.

И я прохаживался. Чуть наискосок против храма, перед старым зданием ратуши (нынешним городским национальным комитетом), я увидел штук десять пустых детских колясок. Трудно было достаточно быстро объяснить себе это явление. Минутой позже какой-то молодой человек пригнал, запыхавшись, к этим стоявшим коляскам еще одну, сопровождавшая его женщина (несколько взвинченная) вытащила из коляски сверток белой материи и кружев (содержащий несомненно ребенка), и они оба поспешили в ратушу. Памятуя о полуторачасовой паузе, которую надо убить, я последовал за ними. Уже на широкой лестнице

стояло изрядно зевак, и по мере того как я поднимался по ней, их становилось все больше, и особенно много скучилось в коридоре второго этажа; выше лестница была снова пустой. Событие, ради которого люди собрались здесь, должно было, по-видимому, происходить именно на этом этаже, скорей всего в помещении, куда вела из коридора дверь, распахнутая настежь и заклиненная толпой. Войдя, я очутился в маленьком зале, где стояло рядов семь стульев, а на них восседали люди, похоже, ожидавшие какого-то представления. В глубине зальчика возвышался помост, на нем удлиненный стол, покрытый красной материей, на столе ваза с большим букетом цветов, на стене, позади помоста, декоративно присборенный государственный флаг; перед помостом (метрах в трех от первого ряда зрителей) полукругом стояло восемь стульев, а в противоположном конце зальчика — небольшая фисгармония с открытой клавиатурой, над которой клонил лысую голову очкастый старик.

Несколько стульев в рядах зрителей еще пустовали; я сел на один из них. Долгое время ничего не происходило, но люди отнюдь не скучали: наклоняясь друг к другу, они перешептывались и, очевидно, были преисполнены ожидания. Меж тем мало-помалу набились в зал и те, что до этого стояли кучками в коридоре; они заняли все оставшиеся свободные стулья и выстроились вдоль стен.

Наконец началось ожидаемое действо: за помостом открылась дверь; в ней появилась дама в очках и коричневом платье, с длинным тонким носом; оглядев зал, она подняла руку. Люди вокруг меня примолкли. Затем дама сделала шаг-другой назад, к тому помещению, из которого вышла, похоже, кому-то там кивнула или что-то сказала, но тотчас снова вернулась на прежнее место и прижалась спиной к стене; в эту минуту я успел заметить на ее лице (хотя она была обращена ко мне профилем) торжественную, застывшую улыбку. Во всем наблюдалась удивительная синхронность, ибо одновременно с появлением улыбки раздались за моей спиной звуки фисгармонии.

Двумя-тремя секундами позже в двери у помоста появилась молодая золотоволосая женщина, румяная, пышно завитая и накрашенная, с испуганным выражением на лице и завернутым в белое младенцем на руках. Очкастая дама, освобождая ей дорогу, еще сильнее прижалась к стене, а своей улыбкой настоятельно понукала обладательницу ребенка пройти вперед. И обладательница ребенка пошла, пошла неуверенным шагом, прижимая к себе младенца; за ней вынырнула следующая женщина с младенцем на руках, а за ней (гуськом) целая орава; я все время наблюдал за первой: она смотрела сперва куда-то под потолок, потом опустила взгляд, и он явно встретился с чьим-то в зрительном зале — растерявшись, она тут же отвела взгляд и улыбнулась, но эта улыбка (видно было, каких *усилий* она ей стоила) быстро стерлась, и после нее остался лишь застывший в судороге рот. Все это разыгралось на ее лице в течение двух-трех секунд (она успела отойти от двери метров на шесть); поскольку шла она по ровной прямой и не свернула вовремя к полукругу стульев, очкастой коричневой даме пришлось в мгновение ока отлепиться от стены (лицо ее чуть омрачилось), подскочить, слегка коснуться ее рукой и указать направление, по какому ей надобно идти. Женщина быстро исправила промашку и двинулась вдоль полукруга стульев, сопровождаемая остальными обладательницами детей. Всех их было восемь. Пройдя наконец предписанный путь, они встали спинами к публике, каждая перед своим стулом. Коричневая дама махнула рукой вниз; женщины постигли этот жест не сразу и лишь постепенно (все время спинами к публике) стали усаживаться (вместе с завернутыми младенцами) на стулья.

С лица очкастой дамы сошла тень озабоченности, она, снова улыбаясь, направилась к полуоткрытой двери заднего помещения. Остановилась в ней на мгновенье и затем опять несколькими быстрыми шагами отступила в зал и прижалась к стене. В двери появился мужчина лет двадцати в черном костюме и белой рубашке — воротник, подвязанный

ярким галстуком, врезался ему в шею. С опущенной головой, вихляющей походкой он двинулся в путь. За ним шли следующие семеро мужчин различного возраста, однако все до единого в темных костюмах и праздничных рубашках. Они обогнули стулья, на которых сидели женщины с детьми, и остановились. Но в эту минуту иные из них стали проявлять явное беспокойство: озирались вокруг, будто чего-то искали. Очкастая дама (на ее лице мгновенно появилась уже знакомая тень озабоченности) сию же минуту подскочила и, когда один из мужчин шепнул ей что-то, согласно кивнула головой: растерянные мужчины вмиг поменялись местами.

Коричневая дама снова восстановила улыбку и снова подошла к двери у помоста. Но ей уже не пришлось ни кивать, ни подавать знака. Из двери вышла новая группа, и, надо сказать, на сей раз это была группа дисциплинированная и толковая, шагающая без всякого замешательства и с изяществом почти профессиональным: она состояла из детей лет десяти; они шли друг за другом, мальчик и девочка попеременно; на мальчиках были длинные темно-синие брюки, белые рубашки и красные галстуки, один конец которых свисал на спине, а два других завязаны узлом под горлом; на девочках были темно-синие юбочки, белые блузки и на шее тоже красные галстуки; все несли в руках букетики роз. Шли, как уже сказано, уверенно и естественно и не в полукружье стульев, как предшествующие группки, а прямо вдоль помоста; они остановились и сделали поворот налево. Таким образом их шеренга, растянувшаяся под помостом по всей его длине, обратилась лицом к полукругу сидящих женщин и к зрителям.

Прошло несколько секунд, в дверях у помоста снова появилась фигура, на этот раз никем не сопровождаемая, и двинулась прямо к помосту, за длинный стол, покрытый красной материей. Это был мужчина средних лет, с голым черепом. Шел он степенно, выпрямившись, в черном костюме, в руке держал красную папку; он остановился у середины стола и, повернувшись лицом к публике, слегка поклонился ей. Теперь стало видно, что у него обрюзглое лицо, а на шее — широкая красно-сине-белая лента, оба конца которой скреплялись большой золотой медалью, висевшей примерно на уровне живота; когда он кланялся, она слегка покачивалась над столом.

Тут неожиданно (даже не попросив слова) очень громко начал говорить один из мальчиков, стоявших внизу под помостом. Он говорил, что пришла весна, и что папы и мамы радуются, и что радуется, мол, вся земля. Он минуту-другую поговорил в таком духе, а потом его прервала одна из девочек и сказала нечто подобное, не имевшее вполне ясного смысла, но в чем тоже содержались слова «мама», «папа» и «весна», а еще несколько раз слово «роза». Потом ее снова оборвал уже другой мальчик, а этого перебила уже другая девочка, но сказать, что они спорили друг с другом, было бы нельзя, ибо все твердили примерно одно и то же. Один мальчик, к примеру, заявил, что ребенок — это мир. Девочка же, взявшая за ним слово, сказала: ребенок — это цветок. Затем все дети сплотились именно вокруг этой мысли, повторили ее еще раз в унисон и, выступив вперед, протянули руки, в которых держали букетики. Поскольку их было ровно восемь, как и женщин, полукругом сидевших на стульях, каждая из них получила по букетику. Затем дети вернулись к помосту и больше уже не подавали голоса.

Зато мужчина, что стоял на помосте над ними, раскрыл красную папку и стал читать из нее. И он говорил о весне, о цветах, о мамах и папах, и опять же о любви, и о том, что любовь приносит плоды, но потом вдруг его словарь начал изменяться и в нем запестрели слова «обязанность», «ответственность», «государство», «гражданин», и он почему-то уже говорил не «папа и мама», а «отец и мать», и подсчитывал, сколько всего предоставляет им (отцам и матерям) государство и что

они в благодарность за это обязаны воспитать своих детей образцовыми гражданами. Затем он объявил, что все присутствующие родители должны скрепить это обещание своей подписью, и указал на угол стола, где лежала толстая книга в кожаном переплете.

Коричневая дама подошла в эту минуту к матери, что сидела в конце полукруга, и коснулась ее плеча; мать оглянулась, и дама взяла из ее рук младенца. Мать встала и подошла к столу. Мужчина с лентой на шее раскрыл книгу и подал матери ручку. Мать расписалась и вернулась к своему стулу, где коричневая дама снова вручила ей ребенка. Следом к столу подошел соответствующий мужчина и расписался; затем коричневая дама подержала ребенка у сидящей рядом женщины и отослала ее к столу; вслед за ней расписался соответствующий мужчина, за ним следующая женщина, следующий мужчина, и так до конца полукруга. Потом снова раздались звуки фисгармонии, и люди, что сидели рядом со мной в зале, кинулись к матерям и отцам и пожимали им руки. Я тоже прошел с ними вперед (словно тоже собирался пожать кому-то руку), но тут вдруг мужчина, у которого на шее была лента, обратился ко мне по имени и спросил, узнаю ли я его.

Естественно, я не узнал его, хотя и наблюдал за ним все то время, пока он говорил. Чтобы не давать отрицательного ответа на довольно щекотливый вопрос, я сделал изумленное лицо и спросил его, как он поживает. Он сказал, что в общем и целом неплохо — вот тут-то я и узнал его: конечно, это был Ковалик, мой одноклассник по гимназии, теперь я узнавал его черты, которые как бы расплылись на его несколько ожиревшем лице; кстати сказать, Ковалик слыл одним из наименее приметных учеников — не был ни послушным, ни неслухом, ни общительным, ни нелюдимым; учился средне — был попросту неприметным; надо лбом у него тогда торчали волосы, которых теперь не было — этим обстоятельством я вполне мог бы объяснить причину того, что не сразу узнал его.

Он спросил меня, что я здесь делаю, есть ли у меня среди мам родственницы. Я сказал, что родственниц тут у меня нет и что пришел сюда исключительно из любопытства. Он довольно улыбнулся и стал мне объяснять, что здешний национальный комитет сделал очень много, чтобы гражданские обряды совершались поистине достойно, а затем присовокупил со скромной гордостью, что и он как сотрудник отдела записей актов гражданского состояния немало потрудился на этой стезе и даже удостоился похвалы областного начальства. Я спросил его: не крестины ли все то, что здесь совершалось. Он сказал, что это не крестины, а *приветствие родившихся на свет граждан.* Он заметно радовался возможности поговорить. Завел речь о том, что здесь противопоставлены два великих института: католическая церковь со своими обрядами, имеющими тысячелетнюю традицию, и гражданское учреждение, которое призвано эти тысячелетние обряды вытеснить своими, новыми. Он считал, что люди перестанут ходить в храм креститься и венчаться лишь тогда, когда наши гражданские обряды обретут столько же достоинства и красоты, что и обряды церковные.

Я заметил, что, по всей вероятности, это не так-то просто. Он согласился со мной и выразил радость по поводу того, что они, сотрудники отдела записей актов гражданского состояния, находят наконец небольшую поддержку у наших деятелей искусства, которые, видимо, осознали, сколь почетна задача предложить нашему народу поистине социалистические похороны, свадьбу и крестины (он тотчас поправил себя и сказал: «приветствие родившихся на свет граждан»). Добавил, что стихи, которые нынче декламировали пионеры, и в самом деле прекрасны. Я согласился с ним, но спросил, не считает ли он, что способ отлучения людей от церковных обрядов был бы более действенным, если бы людям, напротив, предоставили полную возможность отстраниться от *всяких* обрядов. Я спросил, не думает ли он, что суть современного человека — это как раз неприязнь к церемониям и обрядовости и что уж коль надо что-то поддерживать, так скорей всего эту неприязнь.

Он сказал, что люди никогда не позволят отнять у себя свои свадьбы и похороны. И что с нашей точки зрения (он сделал упор на слове *нашей,* словно хотел тем самым дать мне понять, что и он спустя несколько лет после победы социализма вступил в коммунистическую партию) досадно было бы не использовать эти обряды для того, чтобы люди приобщались к нашей идеологии и к нашему государству.

Я спросил своего бывшего однокашника, что происходит с людьми, которые не желают участвовать в таком обряде, и есть ли вообще такие люди. Он сказал, что такие люди безусловно есть, поскольку еще не все стали мыслить по-новому, и если они не приходят сюда сразу, то получают повторные приглашения, так что в конце концов большинство из них все равно явится совершить эту церемонию, пусть даже с недельным или двухнедельным опозданием. Я спросил его, обязательно ли участие в церемонии. Он с улыбкой ответил мне «нет», но добавил, что по участию в обряде национальный комитет судит о сознательности граждан и об их отношении к государству и что в конце концов каждый гражданин осмыслит это и придет.

Я сказал Ковалику, что национальный комитет, выходит, столь же строг к своей пастве, как и церковь. Ковалик улыбнулся и сказал: ничего не поделаешь. Потом он пригласил меня посидеть с ним в конторе. Я сказал, что, к сожалению, не располагаю временем, ибо должен на автобусной остановке встретить одного человека. Он спросил меня, виделся ли я здесь с кем-нибудь «из ребят» (он имел в виду одноклассников). Я сказал, что, к сожалению, не виделся, и рад, что встретился хотя бы с ним, и, как только мне понадобится окрестить ребенка, приеду сюда специально к нему. Улыбнувшись, он стукнул меня кулаком по плечу. Мы пожали друг другу руки, и я опять вышел на площадь с сознанием, что до прихода автобуса остается еще четверть часа.

Четверть часа — не так уж и много. Я прошел по площади, снова миновал парикмахерскую, снова заглянул в нее сквозь стекло (поскольку знал, что Люции там нет, что она будет там лишь после обеда), а затем попросту слонялся у автобусной станции и представлял себе Гелену: ее лицо, скрытое под слоем темной пудры, ее рыжеватые, очевидно крашеные, волосы, ее фигуру, уже далеко не стройную, но все-таки сохранившую основное соотношение пропорций, необходимое для того, чтобы женщину мы воспринимали как женщину; я представлял все то, что ставит ее на дразнящую грань пошлого и привлекательного, и ее голос, слишком громкий, чтобы быть приятным, и ее мимику, которая своей чрезмерностью невольно выдает суетливое желание *еще* нравиться.

Я видел Гелену всего лишь трижды в своей жизни, а это слишком мало для того, чтобы суметь точно воспроизвести в памяти ее облик. Всякий раз, когда я хотел вообразить его, в моем представлении какая-нибудь из ее черт выпирала настолько, что Гелена постоянно превращалась в свою карикатуру. Но каким бы неточным ни было мое воображение, думается, именно своими искажениями оно улавливало в Гелене нечто существенное, что пряталось под ее внешним обликом.

На сей раз я не мог избавиться главным образом от ощущения Геленинои особой телесной дряблости, размягченности, которая, пожалуй, характерна не столько для ее возраста, ее материнства, сколько для какой-то психической или эротической незащищенности, безуспешно скрываемой под самоуверенной манерой говорить, для ее эротической «отданности на произвол». Было ли в этом представлении действительно что-то от Геленинои сущности, или скорее в нем проявлялось мое личное отношение к Гелене? Кто знает. Автобус должен был вот-вот прийти, и я хотел увидеть Гелену именно такой, какой ее подсказывало мне воображение. Я спрятался в подъезд одного из домов на площади, окружавшей автобусную станцию, чтобы оттуда понаблюдать за ней: как она будет *беспомощно* озираться, решив, что приехала сюда впустую и что меня здесь не встретит.

Большой скоростной автобус с прицепом остановился на площади,

и среди первых вышла из него Гелена. На ней был синий плащ, итальянский плащ-болонья, какой в те годы продавался в «Тузексе» и придавал всем своим обладательницам моложаво-спортивный вид.

И Гелена (с поднятым воротником и подпоясанная в талии) выглядела в нем отлично. Она оглянулась, даже прошла немного, чтобы видеть часть площади, скрытую за автобусом, но не остановилась беспомощно на месте, а, решительно повернувшись, направилась к гостинице, где я поселился и где был забронирован номер и для нее.

Я вновь уверился, что воображение рисует мне Гелену лишь в деформации (хотя подчас она и бывает для меня дразнящей, однако куда чаще оттесняет Гелену в сферу пошлого и почти омерзительного). К счастью, Гелена в действительности всегда оказывалась красивей, чем в моих представлениях,— это осознал я и на сей раз, когда смотрел на нее сзади, шагавшую на высоких каблуках к гостинице. Я поспешил за ней.

Она стояла уже в бюро обслуживания, склонив голову и опершись локтем о стол, на котором равнодушный портье вписывал в книгу ее имя. Она произносила его по слогам: «Гелена Земанкова, Зе-ман-ко-ва...» Я стоял сзади и слушал ее анкетные данные. Когда портье записал ее, она спросила: «Проживает здесь товарищ Людвик Ян?» Портье пробурчал «нет». Я подошел к Гелене и сзади положил ей на плечо руку.

## 2

Все, что происходило между мною и Геленой, было делом точно продуманного плана. Несомненно, даже Гелена не вступала в союз со мной без некоего умысла, но ее умысел едва ли выходил за рамки смутного женского томления, стремящегося сохранить свою непосредственность, свою сентиментальную поэтичность и поэтому не желающего заранее режиссировать и оформлять ход событий. Зато я вел себя с самого начала как старательный постановщик действа, которое предстоит мне пережить, и не отдавал на произвол случайного вдохновения ни выбор своих слов и предложений, ни, скажем, выбор помещения, где хотел остаться с Геленой наедине. Я боялся даже самого малого риска упустить представлявшуюся возможность, которая так много значила для меня не потому, что Гелена была необычайно молода, необычайно приятна или необычайно красива, а исключительно потому, что она носила имя, какое носила; что мужем ее был человек, которого я ненавидел.

Когда мне однажды в нашем институте сообщили, что ко мне должна зайти некая товарищ Земанкова из радиовещания и что мне придется проинформировать ее о наших исследованиях, я хоть и вспомнил тотчас о бывшем университетском коллеге, но счел сходство имен всего лишь пустой игрой случайностей, а если и было неприятно, что ее посылают именно ко мне, то совершенно по иным причинам.

В нашем институте уже прочно вошло в привычку, что любого рода журналистов посылают прежде всего ко мне и прежде всего меня от имени института направляют читать лекции, когда к нам обращаются за этим различные просветительские общества. В этой кажущейся чести таится для меня нечто печальное: я пришел в науку почти на десять лет позже моих коллег (ведь еще в свои тридцать я был студентом); несколько лет я всеми силами стремился наверстать упущенное, но затем понял, что было бы слишком горько пожертвовать второй половиной жизни во имя жалкого и, быть может, напрасного наверстывания потерянных лет, и смирился. К счастью, в этой пассивности была и награда: чем меньше я гонялся за успехом в своей узкой области, тем больше мог позволить себе роскошь смотреть сквозь свою специальность на иные научные сферы, на бытие человека и бытие мира и таким образом находить радость (одну из сладчайших) в размышлениях и помыслах. Тем не менее колле-

ги отлично знают, что если такого рода размышления доставляют личное удовольствие, то от этого мало проку для современной научной карьеры, требующей, чтобы ученый истово, как слепой крот, вгрызался в свою область или подобласть и не отчаивался понапрасну, что от него ускользают горизонты. И потому-то коллеги отчасти завидуют моей пассивности, а отчасти из-за нее же и презирают меня, о чем с любезной иронией дают понять, называя меня «философом института» и посылая ко мне редакторш с радиовещания.

Быть может, из этих соображений, но явно и по той причине, что большинство журналистов — поверхностные и наглые фразеры, я не люблю их. То, что Гелена была редактором не газеты, а радио, лишь усилило мою неприязнь. Должен сказать, что газета в моих глазах обладает одним смягчающим обстоятельством: она бесшумна. Ее непривлекательность тихая; она не навязывает себя; ее можно отложить в сторону, бросить в мусорное ведро или даже сдать в утиль. Непривлекательность радио лишена этого смягчающего обстоятельства; оно преследует вас в кафе, ресторанах, даже в поездах, а то и в гостях у людей, не умеющих жить без постоянной подкормки слуха.

Внушала мне отвращение и манера, в какой Гелена говорила. Я понял, что, прежде чем она пришла к нам в институт, ее фельетон был уже заранее придуман и теперь ей нужны были лишь некоторые конкретные данные и примеры, которые она хотела от меня получить. Насколько хватало сил я стремился усложнить для нее эту задачу; я умышленно говорил замысловато и невразумительно и все суждения, какие она с собой принесла, пытался опровергнуть. Когда же возникала опасность, что она все-таки сможет понять меня, я старался отвертеться от нее тем, что переходил на доверительные темы; говорил, что ей идут рыжие волосы (хотя думал я совершенно противоположное), спрашивал, нравится ли работать на радио и что она любит читать. А в тихом раздумье, которое велось глубоко под поверхностью нашего разговора, я пришел к мысли, что совпадение имен не может быть чистой случайностью. Эта редакторша, шумная фразерка и конъюнктурщица, показалась мне родственно близкой своему мужу, которого я, пожалуй, тоже знал как шумного фразера и конъюнктурщика. Поэтому легким тоном чуть ли не кокетливой беседы спросил ее об уважаемом супруге. Выяснилось, что след нащупан правильно: два-три последующих вопроса совершенно безошибочно установили личность Павла Земанека. Конечно, я не могу сказать, что именно в эти минуты мне пришло в голову сблизиться с ней таким образом, как это произошло позднее. Напротив: отвращение, какое я к ней испытывал, после этого открытия лишь усугубилось. В первые минуты я стал искать повод, который позволил бы мне прервать разговор с непрошеной редакторшей и передать ее на попечение другого сотрудника; подумал я и о том, как было бы прекрасно, если бы я мог эту женщину, светившуюся улыбкой и благоразумием, выставить за дверь, и пожалел, что это невозможно.

Однако именно тогда, когда я был больше всего полон отвращения, Гелена, тронутая моими проникновенными вопросами и замечаниями (их чисто разведывательный характер заметить она не могла), раскрылась в совершенно естественных женских качествах, и моя ненависть внезапно обрела новый оттенок: я увидел в Гелене под завесой редакторской суетности женщину, конкретную женщину, которая вполне может выполнять и функции женщины. Поначалу я отметил про себя с внутренней ухмылкой, что Земанек заслуживает именно такую женщину, которая сама по себе уже достаточное для него наказание, но следом я вынужден был признать: суждение, в какое я хотел бы поверить, было слишком субъективным, даже более того — слишком желаемым, эта женщина когда-то была вполне красива, и нет причин предполагать, что Павел Земанек до сих пор не пользуется ее женскими прелестями в свое удовольствие.

Я продолжал разговор в легком тоне, ничем не давая ей понять,

о чем я раздумываю. Что-то принуждало меня воспринимать редакторшу, сидевшую напротив, прежде всего с точки зрения ее женских качеств, и это стремление автоматически определяло направленность разговора.

Вмешательство женщины способно придать ненависти что-то сродни симпатии: скажем, любопытство, желание близости, стремление переступить порог интимности. Я приходил в какой-то восторг: представлял себе Земанека, Гелену и весь их мир (чужой мир) и с особым наслаждением пестовал в себе ненависть (предупредительную, почти нежную ненависть) к Гелениной внешности, ненависть к рыжим волосам, ненависть к голубым глазам, к короткой щетинке ресниц, ненависть к круглому лицу, ненависть к вздернутому чувственному носу, ненависть к щели между двумя передними зубами, ненависть к зрелой рыхлости тела. Я наблюдал за ней, как наблюдают за женщинами, которых любят; я смотрел на нее так, словно все в ней хотел навсегда накрепко запечатлеть в памяти, а чтобы скрыть от нее враждебность моего интереса, старался употреблять в нашем разговоре слова все более легкие и приятные, и потому Гелена становилась чем дальше, тем женственнее. Я должен был думать о том, что ее рот, грудь, глаза, волосы принадлежат Земанеку, и все это мысленно брал в руки, взвешивал и прикидывал, можно ли это раскрошить в ладони или разбить ударом о стену; а потом снова внимательно все разглядывал, пробуя смотреть Земанековыми, а потом опять своими глазами.

Возможно, меня даже осенила мысль, совсем непрактичная и платоническая, нельзя ли увлечь эту женщину со скользкой глади нашего льстивого разговора все дальше и дальше, до самой финишной ленты постели. Но это была всего-навсего мысль, одна из тех, которые пролетают как искра в голове и снова гаснут. Гелена объявила, что благодарит меня за информацию, которую я предоставил ей, и что больше не станет злоупотреблять моим временем.

Мы простились, я обрадовался, что она ушла. Удивительное возбуждение прошло, и я снова почувствовал к ней лишь явную антипатию, и было противно, что минутой раньше я вел себя по отношению к ней с таким доверительным интересом и любезностью (пусть всего лишь наигранной).

Наша встреча наверняка осталась бы без продолжения, если бы несколькими днями позже Гелена сама не позвонила и не попросила меня о свидании. Возможно, она и впрямь нуждалась в том, чтобы я откорректировал текст ее фельетона, но мне тогда показалось, что это всего лишь предлог и что тон, каким она со мной говорит, взывал скорее к той задушевно-легкой, чем профессионально-серьезной части нашего предыдущего разговора. Я подхватил этот тон быстро и без колебаний и уже не отступал от него. Встретились мы в кафе, и я совершенно демонстративно обходил все, что касалось Гелениного фельетона; я нагло пренебрегал ее редакторскими интересами; я видел, что тем самым слегка вывожу ее из себя, но в то же время понимал, что именно в эти минуты начинаю овладевать ею. Я пригласил ее поехать со мной под Прагу. Она возражала, ссылаясь на то, что замужем. Большей радости ничем другим она не могла мне доставить. Я старался подольше насладиться этим ее возражением, для меня столь драгоценным; я играл с ним, я возвращался к нему, посмеивался над ним. В конце концов она была рада, что, приняв мое предложение, тем самым свернула разговор на другую тему. Потом все уже шло точно по плану. Я создал его в своих мечтах силой пятнадцатилетней ненависти и ощутил в себе буквально непостижимую уверенность, что он удастся и осуществится в полной мере.

И план действительно осуществлялся успешно. Возле швейцарской я взял у Гелены маленький дорожный чемоданчик и проводил ее наверх в номер, который, кстати, был столь же отвратителен, как и мой. Даже Гелена, обладавшая особой способностью видеть вещи в лучшем свете, чем они были на самом деле, вынуждена была признать это. Я сказал ей, что огорчаться не стоит, что придется как-то выходить из положения.

Она посмотрела на меня необыкновенно многозначительным взглядом. Потом сказала, что хочет умыться, а я сказал, что это и вправду кстати и что подожду ее в вестибюле гостиницы.

Она сошла вниз (под расстегнутой болоньей на ней была черная юбка и розовая кофточка), и я снова имел возможность убедиться, что она элегантна. Я сказал ей, что мы пойдем пообедать в «Народный дом», что это плохой ресторан, но все-таки лучший, какой здесь есть. Она заметила, что я здешний уроженец и что она, стало быть, полностью отдает себя под мое покровительство и ни в чем не будет перечить. Создавалось впечатление, будто она стремится выбирать слегка двусмысленные слова; это стремление было смешным и обнадеживающим. Мы снова шли той дорогой, какой я шел утром, тщетно мечтая о хорошем завтраке, и Гелена еще несколько раз подчеркнула, что рада познакомиться с моим родным городом, но хоть она действительно здесь никогда не была, ни на что не заглядывалась, ни о чем не расспрашивала и вообще вела себя не так, как человек, впервые попавший в чужой город. Я размышлял, вызвано ли это безразличие определенным одряхлением души, уже не способной испытывать к внешнему миру обычное любопытство, или скорее тем, что Гелена целиком сосредоточена на мне и ни на что другое ее не хватает; хотелось принять эту вторую вероятность.

Мы снова шли мимо чумного столба; святой поддерживал облако, облако — ангела, ангел — другое облако, другое облако — другого ангела, небо было сейчас синее, чем утром; Гелена сняла плащ, перекинула его через руку и сказала, что очень тепло; эта теплынь усиливала навязчивое впечатление пыльной пустыни; скульптура торчала посреди площади, как кусок отломленного неба, которое не может вернуться вспять; я подумал в эту минуту, что мы оба *низвергнуты* на эту диковинно пустынную площадь с парком и рестораном и низвергнуты сюда безвозвратно, что мы оба тоже от чего-то отломлены, что мы тщетно подражаем небесам и высотам, что никто нам не верит, что наши мысли и слова тщетно карабкаются ввысь, когда наши поступки низки, как сама эта земля.

Да, меня охватило острое ощущение моей собственной *низости;* я был поражен им; но еще больше был поражен тем, что я не ужасался этой низости, а принимал ее с неким удовольствием, если не сказать — даже с радостью или облегчением; более того, это удовольствие подкреплялось мыслью, что женщина, шагающая рядом, движима в эти сомнительные полдневные часы побуждениями едва ли более высокими, нежели мои.

«Народный дом» был уже открыт, но поскольку часы показывали лишь без четверти двенадцать, ресторанный зал пока пустовал. Столы были застланы; против каждого стула стояла суповая тарелка, накрытая бумажной салфеткой, на которой лежал прибор. Никого здесь не было. Мы сели за один из столов, взяли прибор с салфеткой, положили его возле тарелки и стали ждать. Спустя несколько минут в двери показался официант, обвел усталым взором зал и хотел было снова убраться в кухню.

— Пан официант! — крикнул я.

Он опять повернулся к залу и сделал два-три шага в направлении нашего стола. «Вы что-то хотели?» — спросил он, находясь метрах в пяти от нашего стола. «Мы хотели бы пообедать»,— сказал я. «Только в двенадцать»,— ответил он и снова повернулся, чтобы уйти в кухню... «Пан официант!» — окликнул я его снова. Он повернулся. «Скажите на милость,— мне приходилось кричать, ибо стоял он вдалеке от нас,— у вас хорошая водка имеется?» — «Нет, хорошей нет».— «А что нашлось бы у вас?» — «У нас бы нашлось,— ответил он мне из своего далека,— хлебная водка или ром».— «Плохо дело,— крикнул я,— но принесите нам две хлебной».

— Я и не спросил вас, пьете ли вы хлебную,— сказал я Гелене.

Гелена улыбнулась:

— Нет, к хлебной не приучена.

— Не имеет значения,— сказал я.— Приучитесь. Вы в Моравии, хлебная — самая излюбленная водка мораван.

— Отлично! — обрадовалась Гелена.— Все это по мне, обожаю вот такой обыкновенный кабак, куда ходят шоферы и монтажники и где совсем простая пища и простое питье.

— Может, вы приучены добавлять ром в пиво?

— Отнюдь,— сказала Гелена.

— А, понятно, вы любите такую народную обстановку.

— Вот именно,— сказала она.— Терпеть не могу шикарные заведения, насервируют вам на десяти тарелках...

— Разумеется, нет ничего лучше такого кабака, где официант не обращает на вас никакого внимания и где до черта дыму и смраду. А главное, нет ничего лучше хлебной водки. Когда-то это было мое студенческое питье. На лучшее не было денег.

— Я люблю и самые простые блюда, ну хотя бы картофельные оладьи или шпекачки с луком, не знаю ничего лучшего, чем...

Я уж так изъеден недоверием, что если кто-то (а женщины в особенности) признается в своей любви или нелюбви к чему-то, я не отношусь к этому всерьез, а, точнее сказать, воспринимаю это лишь как свидетельство его самостилизации. Я ни на йоту не мог поверить, что Гелене лучше бы дышалось в заплеванных и затхлых забегаловках (в них, кстати, у нас нет недостатка), чем в чистых и хорошо проветриваемых ресторанах, или чтобы ей больше по вкусу были вульгарное спиртное и дешевая жратва, чем изысканная кухня. Но, несмотря на это, ее замечание не было для меня ничего не значащим фактом, поскольку обнаруживало ее влечение к совершенно определенной позе, позе уже давно отжившей и вышедшей из моды, позе тех лет, когда революционный снобизм восхищался всем, что было «обыкновенным», «народным», «будничным», «посконным», равно как и стремился презирать все, что было «культивированным», «изнеженным», что попахивало Kinderstube [1], что подозрительно сочеталось с образом смокинга и чересчур изысканных манер. Я узнавал в Геленином позе время своей молодости, а в самой Гелене прежде всего — жену Земанека. Моя утренняя рассеянность быстро исчезала — я начинал сосредоточиваться.

Официант принес на подносе две стопочки хлебной, поставил их перед нами и положил на стол еще листок бумаги, на котором был напечатан на машинке (вероятно, под множество копирок) нечеткими расплывчатыми буквами список блюд.

Я взял стопку и сказал:

— Что ж, выпьем за хлебную, за эту обыкновенную хлебную!

Она улыбнулась, чокнулась со мной, а потом сказала:

— Я всегда мечтала встретить человека, который был бы простым и открытым. Непридуманным. Ясным.

Мы отпили по глотку, и я сказал:

— Таких людей мало.

— Бывают,— сказала Гелена.— Вы такой.

— Сомневаюсь,— сказал я.

— Нет, именно вы.

Я вновь удивился невероятной человеческой способности преображать действительность по образу своих желаний или идеалов, но без колебаний принял Геленину интерпретацию своей собственной персоны.

— Кто знает. Возможно,— сказал я.— Простой и ясный. Но что это, простой и ясный? Все заключается в том, чтобы человек был такой, какой есть, не стеснялся бы хотеть того, чего хочет, и мечтать о том, о чем мечтает. Люди становятся рабами этикета. Им сказали, что они должны быть такими-то и такими, и они стремятся быть такими и до последнего вздоха так и не узнают о себе, кто они были и кто они есть. Оттого они

[1] Хорошее воспитание *(нем.)*.

никто и ничто, и поступки их двойственны, неясны, сумбурны. Человек прежде всего должен иметь смелость быть самим собой. Говорю вам, Гелена, открыто, что вы мне нравитесь и что я мечтаю о вас, хотя вы и замужем. Не могу сказать это иначе и не могу не сказать этого.

В том, что я сказал, было что-то неловкое (хотя Гелена, склонившая после моих слов голову, этой неловкости не замечала), но это было необходимо. Ведь для того, чтобы овладеть образом мыслей женщины, надо иметь в виду определенные непреложные правила; кто решается переубеждать женщину, опровергать разумными доводами ее точку зрения и так далее, вряд ли чего добьется. Гораздо разумнее постичь основную самостилизацию (основной принцип, идеал, убеждения) женщины и затем постараться привести (с помощью софизмов, аллегорической демагогии и тому подобного) ее желаемое поведение в гармоническое соответствие с этой основной ее самостилизацией. Например, Гелена грезила о «простоте», «безыскусственности», «ясности». Эти ее идеалы, вне всякого сомнения, уходили корнями в былое революционное пуританство и сочетались с образом человека «чистого», «неиспорченного», принципиального и нравственно строгого. А поскольку мир Геленины принципов был миром, основанным отнюдь не на рассуждении (системе взглядов), а (как и у большинства людей) лишь на алогических внушениях, не было ничего проще, чем с помощью обыкновенной демагогии объединить образ «ясного человека» с поведением отнюдь не пуританским, напротив, безнравственным, прелюбодействующим, и помешать тому, чтобы в ближайшие часы желаемое (то есть прелюбодействующее) поведение Гелены пришло в невротический конфликт с ее духовными идеалами. Мужчина волен желать от женщины чего угодно, но если он не намерен вести себя по-хамски, он должен дать ей возможность поступать в согласии с ее глубочайшими самообманами.

Между тем по ресторану начали сновать люди, и в скором времени большинство столов оказались заняты. Официант снова вышел из кухни и стал обходить столы, выясняя, что кому принести. Я подал Гелене обеденный листок. Она, заметив, что я лучше разбираюсь в моравской кухне, вернула мне. Впрочем, разбираться в моравской кухне вовсе не пришлось — меню было точно таким же, как и во всех харчевнях подобного типа, и состояло из бедного выбора стереотипных блюд, из которых весьма трудно что-либо выбрать: все они в равной степени непривлекательны. Я смотрел (огорченно) на нечетко отпечатанный листок, но официант уже стоял надо мною и с нетерпением ждал заказа.

— Одну минуту,— сказал я.

— Вы хотели обедать еще четверть часа назад, а до сих пор так ничего и не выбрали,— напомнил он мне и отошел.

К счастью, минутой позже он подошел снова, и мы отважились заказать себе испанских птичек[1] с еще двумя рюмками водки и сифоном. На Гелену спиртное подействовало великолепно, и она объявила, что жизнь прекрасна, несмотря на все недостатки, которые тут, по-видимому, еще имеются. Впрочем, сказала она, только от людей зависит, какую жизнь они себе здесь устроят. Я, разжевывая жилистую птичку с соленым огурцом, проговорил (полным ртом), что ресторан становится в самом деле замечательным, когда я сижу здесь с ней.

У Гелены покраснело лицо (вероятно, благодаря хлебной), что подчеркивало округлость овала и в значительной мере лишало его изящества, но я (вероятно, тоже благодаря хлебной) великодушно простил ей это и с веселым злорадством подумал, какая, по сути, великая милость судьбы, что жена Земанека хотя бы настолько привлекательна, да будь она даже уродливой, горбатой или безногой, я все равно добивался бы ее и хотел ею овладеть.

Гелена (жуя птичку) провозгласила, как это восхитительно (она обожала слово «восхитительный»), что мы вдруг сидим здесь, в незнако-

[1] Тонкий кусок говядины, свернутый трубочкой и начиненный ветчиной и копченым салом.

мом городе, о котором она всегда так мечтала, еще когда ходила в ансамбль и пела песни, родившиеся в этом крае.

Потом она сказала, что это, может, и дурно, но ей и вправду хорошо со мной и что, дескать, она не в силах ничего поделать — это помимо ее воли, как она ни сопротивляется; да, именно так. В ответ я сказал ей, что нет ничего более жалкого, чем стыдиться своих собственных чувств. Затем позвал официанта, чтобы расплатиться.

Когда мы вышли из ресторана, перед нами снова предстал чумной столб. Он показался мне смешным. Я кивнул на него:

— Взгляните, Гелена, куда эти святые взбираются. Как они рвутся ввысь! Как им хочется взгромоздиться на небо! А небу плевать на них! Небо о них вообще ни черта не знает, об этих окрыленных пейзанах!

— В самом деле,— сказала Гелена, все более пьянея под действием свежего воздуха.— С какой стати это здесь, эти статуи святых, почему бы здесь не поставить нечто такое, что прославляло бы жизнь, а не какую-то мистику! — Однако до известной степени она еще контролировала себя, поэтому присовокупила: — Или я несу вздор? Вздор, правда? Или не вздор?

— Нет, Гелена, это вовсе не вздор, вы совершенно правы, жизнь прекрасна, и нам никогда недостанет сил по-настоящему восславить ее!

— Да,— сказала Гелена,— что бы ни говорили, а жизнь восхитительна, я вообще терпеть не могу пессимистов, хотя и могла бы больше других хныкать, а вот не хнычу, зачем же хныкать, скажите, зачем хныкать, если в жизни может вдруг прийти такой день, как это восхитительно: незнакомый город, и я здесь с вами...

Я дал возможность Гелене говорить, лишь по временам, когда в ее речи возникала пауза, я ронял что-то и тем поддерживал поток ее излияний. Немного спустя, мы стояли перед новостройкой, где проживал Костка.

— Где это мы? — спросила Гелена.

— Знаете что,— сказал я,— все эти общественные забегаловки ни к черту не годятся. У меня в этом доме частный ресторанчик. Пойдемте.

— Куда вы меня ведете? — протестовала Гелена, проходя за мной в дом.

— Настоящий частный моравский ресторанчик; вы никогда в таком не бывали?

— Нет,— сказала Гелена.

Я открыл на четвертом этаже дверь, и мы вошли.

### 3

— Какой же это ресторанчик, обыкновенная квартира,— сказала Гелена, когда вошла внутрь и заглянула из прихожей в комнату Костки.

— Это не обыкновенная квартира, обыкновенной квартирой была бы та, где жили бы вы или я, особенность этой квартиры в том, что она ни моя, ни ваша, здесь нигде не разбросаны ни ваши, ни мои вещи, ни ваши, ни мои воспоминания, здесь не пахнет ни моим, ни вашим домом; это чужая квартира, и именно поэтому для нас обоих она *чиста,* и именно поэтому мы можем чувствовать себя в ней свободными.

Мне, думается, удалось произнести блестящий панегирик в защиту самого принципа взятой внаем квартиры, хотя мое красноречие было совершенно излишним. Гелену нимало не смутило, что я привел ее в чужую квартиру, она не требовала никаких объяснений. Напротив, с той минуты, как переступила порог, она, казалось, исполнилась намерения перейти от кокетства (предпочитающего двусмысленности и притворную игру) к некоему действу, обретающему уже единый смысл, единое значение и создающему иллюзию, что это вовсе не игра, а самая настоящая жизнь. Гелена остановилась посреди Косткиной комнаты, оглянулась на меня, стоявшего сзади, и я увидел в ее взгляде, что она уже ждет, когда я подойду к ней, когда обниму и поцелую ее. В минуту, когда оглянулась,

она была именно той Геленой, какая представлялась мне в воображении: Геленой беспомощной и «отданной на произвол».

Я подошел к ней; она подняла ко мне лицо; вместо поцелуя (столь ожидаемого) я улыбнулся и сжал пальцами плечи ее синего плаща. Она поняла, расстегнула его. Я отнес плащ на вешалку в прихожую. Нет, в эту минуту, когда все было подготовлено (мое желание и ее повиновение), я решил не спешить и не рисковать, что второпях, быть может, пропущу, даже малость из *всего того,* что мне хотелось получить. Я завел маловажный разговор; попросив ее сесть, стал показывать ей различные мелочи в Костькиной квартире, открыл шкафчик, где была бутылка водки, на которую еще вчера обратил мое внимание Костка, и изобразил большое удивление; затем я откупорил ее, поставил на столик два маленьких стаканчика и налил.

— Я опьянею,— сказала она.

— Опьянеем вместе,— сказал я (хотя знал, что я не буду пьян, что не хочу быть пьяным, а должен сохранить незамутненной память).

Она не улыбнулась, была серьезна, выпила и сказала:

— Знаете, Людвик, меня бы очень удручало, если бы вы думали, что я одна из тех скучающих дамочек, что мечтают об авантюре. Я вовсе не наивна и прекрасно понимаю, что у вас было много женщин и они сами научили вас не относиться к ним всерьез. Но меня бы удручало...

— Меня бы тоже удручало,— сказал я,— если бы вы были одной из таких дамочек и не относились бы всерьез к любовной авантюре, что отвлекает вас от супружеских обязанностей. Будь вы такой, наша встреча не имела бы для меня никакого смысла.

— В самом деле? — сказала Гелена.

— В самом деле, Гелена. Вы правы, у меня было много женщин, и они научили меня без робости и сожаления менять их, но наша с вами встреча — нечто совсем другое.

— Вы говорите это не ради красного словца?

— Нет, не ради... Когда впервые я встретил вас, то сразу же понял: вы именно та, кого я жду уже годы, долгие годы.

— Вы, пожалуй, не фразер. Верно, вы б не говорили того, чего не чувствуете.

— Нет, не говорил бы, я не умею врать женщинам о своих чувствах, это единственная вещь, которой они не научили меня. И потому не лгу вам, Гелена, хотя это и звучит неправдоподобно: когда я впервые увидал вас, то понял, что именно вас я ждал многие годы подряд. Что ждал вас, даже не зная о вас. Что теперь вы должны стать моей. Что это неизбежно, как рок.

— Боже мой,— сказала Гелена и закрыла глаза; лицо у нее пошло красными пятнами, быть может, от спиртного, быть может, от возбуждения; и сейчас она была еще больше той самой Геленой, что представлялась мне в воображении: беспомощной и «отданной на произвол».

— Подумайте, Людвик, и со мной все было именно так. Уже с первой минуты я знала: встреча с вами вовсе не флирт — и потому боялась этого, я ведь замужняя женщина, я понимала, то, что с вами, это правда, вы моя правда, и бороться с этим я не в силах.

— Да, и вы моя правда, Гелена,— сказал я.

Она сидела на тахте, не сводя с меня больших глаз,— они смотрели на меня, но не проникали внутрь, я сидел на стуле напротив и жадно наблюдал за ней. Я положил ей руки на колени и стал медленно задирать юбку, пока не показался край чулок и подвязки, вызывавшие на Геленины уже полных ногах, впечатление чего-то печального и жалкого. А Гелена сидела, не отвечая на мое прикосновение ни единым движением, ни каким-то особым взглядом.

— Если бы вы все знали...

— Знал? Что именно?

— Обо мне. Как я живу. Как жила.

— Как же вы жили?

Она горько улыбнулась.

Меня вдруг охватил страх, что Гелена, прибегнув к банальному средству блудливых дамочек, начнет уничижать свое супружество и таким образом лишать меня его ценности, когда оно наконец становилось моей добычей.

— Только ради бога не говорите мне, что у вас несчастный брак, что муж не понимает вас.

— Я не хотела говорить вам об этом,— сказала Гелена, несколько сбитая с толку моим натиском,— хотя...

— Хотя в эту минуту вы так думаете. У каждой женщины появляются такие мысли, когда она с другим мужчиной, но именно тогда и начинается всяческая ложь, а вы же хотите оставаться искренней, Гелена. Вы, несомненно, любили своего мужа, вы не из тех женщин, что отдаются без любви.

— Нет, не из тех,— сказала Гелена тихо.

— Кто, кстати, ваш муж? — спросил я.

Она пожала плечами и сказала:

— Мужчина.

— Как давно вы знаете друг друга?

— Замужем я тринадцать лет, а знакомы мы дольше.

— Вы были еще студенткой?

— Да. На первом курсе.

Она хотела одернуть юбку, но я, схватив ее за руки, помешал этому. И продолжал расспрашивать:

— А он, где вы познакомились?

— В ансамбле.

— В ансамбле? Ваш муж там пел?

— Да, пел. Как и мы все.

— А, так вы познакомились в ансамбле... Это прекрасная обстановка для любви.

— Да.

— И вообще то время было прекрасным.

— Вы тоже любите вспоминать о нем?

— Это было самое прекрасное время моей жизни. Ваш муж был вашей первой любовью?

— Мне сейчас как-то не хочется думать о муже,— защищалась она.

— Я хочу знать все, Гелена. Хочу знать о вас все. Чем больше буду знать вас, тем больше вы будете моей. У вас был кто-нибудь до него?

Гелена кивнула головой:

— Был.

Я почувствовал почти разочарование, что у Гелены был еще кто-то и тем самым принижается значение ее союза с Павлом Земанеком:

— Это была настоящая любовь?

Она покачала головой:

— Глупое любопытство.

— Так что первая ваша любовь — это ваш муж.

Она кивнула головой:

— Но это было давно.

— А как он выглядел? — спросил я тихо.

— Зачем вам об этом знать?

— Я хочу, чтоб вы были моей со всем, что есть в вас, со всем, что есть в этой вашей головке...— И я погладил ее по волосам.

Если что-то и мешает женщине рассказывать любовнику о супруге, так это в редких случаях — благородство и такт (желание сохранить чистоту в нечистом) или неподдельный стыд, а чаще всего — опасение своей откровенностью обидеть любовника. Если же это опасение любовник сумеет развеять, женщина исполняется к нему благодарностью, она чувствует себя свободнее, но главное — ей есть о чем рассказывать, ибо темы разговоров отнюдь не бесконечны, а собственный муж для жены — тема самая благодатная, ибо только в ней она чувству-

ет себя уверенно, только в ней она *мастер своего дела,* а ведь любой человек бывает счастлив, если может проявить свою профессиональность и похвастаться ею. И Гелена, когда я убедил ее, что это ничуть не коробит меня, разговорилась о Павле Земанеке совершенно раскованно и даже настолько отдалась воспоминаниям, что в образ его не привнесла ни одного темного пятнышка; с увлечением и деловитостью она рассказывала, как влюбилась в него (в стройного светловолосого парня), с каким почтением относилась к нему, когда он стал политическим лидером их ансамбля (хотя совсем не был сухарем, напротив, был в тысячу раз веселее, чем вся эта нынешняя молодежь!), как она восторгалась им вместе со своими подружками (он умел потрясающе говорить!) и как их любовная история гармонически сливается с тогдашним временем, в защиту которого она произнесла несколько фраз (будто мы имели хоть малейшее представление о том, что по приказу Сталина расстреливали преданных коммунистов) не потому, видимо, что хотела *свернуть* разговор на политическую тему, а потому, что к этой теме чувствовала себя лично причастной. Способ, каким Гелена подчеркнуто защищала время своей молодости и свое полное слияние с ним (словно оно было ее *родным домом* и она лишилась его), носил несколько демонстративный характер, точно она хотела сказать: бери меня всю и без каких-либо условий, кроме одного — ты дашь мне возможность быть такой, какая я есть, ты возьмешь меня вместе с моими убеждениями. Такая настойчивая демонстрация своих убеждений именно тогда, когда речь отнюдь не о них, а прежде всего о теле, кажется чем-то ненормальным, свидетельствующим о том, что именно убеждения взвинчивают эту женщину: она либо опасается, что ее заподозрят вообще в отсутствии всяких убеждений, и потому спешит их продемонстрировать, либо (и это, пожалуй, в Геленином случае наиболее вероятно) втайне сама сомневается в своих убеждениях, они подточены в ней, но она любыми средствами хочет снова проникнуться ими, даже если ради этого придется поставить на карту нечто, обладающее для нее бесспорной ценностью, то есть сам любовный акт (быть может, не без малодушной подсознательной уверенности, что для любовника куда важнее окажется любовь, чем полемика с ее убеждениями). Геленина демонстрация не вызывала во мне неприязни, ибо приближала меня к ядру моей страсти.

— Нынешние молодые люди другие, чем мы,— говорила она.— Они получили все задаром, они пришли на готовенькое, им ли понять, почему до сих пор меня трогает, когда слышу русскую частушку.

— Но ведь вы тоже пришли на готовенькое. В конце войны вам было четырнадцать, а когда наступил Февраль — всего лишь семнадцать.

— Да, но несмотря ни на что, все это связано с моей жизнью. Видите вот это? — Она указала на маленький серебряный брелок, подвешенный на короткой цепочке к наручным часам. Я наклонился к нему, и Гелена объяснила мне, что рисунок, выгравированный на нем, изображает Кремль. «Это у меня от Павла»,— и она рассказала мне историю привески, которую якобы много-много лет назад одна русская девушка подарила своему возлюбленному, русскому парню Саше, когда тот уходил на великую войну; в конце войны он дошел до самой Праги, спас Прагу от гибели, но она принесла гибель ему. В верхнем этаже виллы, в которой жил с родителями Павел Земанек, советская войсковая часть устроила небольшой госпиталь, и тяжелораненый русский лейтенант Саша провел там последние дни своей жизни. Павел, подружившись с ним, просиживал возле него чуть ли не сутками. Перед смертью Саша дал Павлу на память брелок с изображением Кремля, который носил всю войну на шнурке на шее. Павел хранил этот подарок как самую драгоценную реликвию. Однажды — еще до их женитьбы — Гелена с Павлом поссорились и решили разойтись; но, одумавшись, Павел пришел к ней и в знак примирения подарил это дешевенькое (но как память самое дорогое) украшение, и с тех пор Гелена не снимает его с руки, ибо эта вещица кажется ей эстафетой, посланием (я спросил «каким посланием»,

она ответила «посланием радости»), какое она призвана донести до конца.

Она сидела напротив меня (с задранной юбкой и подвязками, прикрепленными к модным черным трусикам из эластика), лицо ее слегка покраснело (от спиртного и, пожалуй, от охватившей ее растроганности), однако в эту минуту ее внешность растворилась в образе другого. Геленин рассказ о трижды дарованном подвеске разом воскресил во мне всю сущность Павла Земанека.

Я нимало не верил в существование красноармейца Саши: впрочем, если бы он и существовал, его реальное существование все равно ничего не значило бы по сравнению с великим жестом, каким Павел Земанек превратил его в образ своей жизненной легенды, в святую святых, в инструмент умиления, в сентиментальный довод и религиозный объект, который его жена (явно более преданно, чем он) будет чтить (старательно и упорно) до самой смерти. Казалось мне, что сердце Павла Земанека (сердце, порочно выставляющее себя напоказ) присутствует здесь; и я вдруг сразу очутился посреди той старой, пятнадцатилетней давности, сцены: зал большой аудитории факультета естественных наук; во главе длинного стола на сцене сидит Земанек, возле него — толстая круглолицая девица с косой и в безобразном свитере, а по другую сторону — парень, представитель райкома. Позади сцены — большая черная доска, слева от нее висит в рамке портрет Юлиуса Фучика. Напротив длинного стола ступенями поднимаются скамьи аудитории, на одной из них сижу и я, тот, который сейчас, по истечении пятнадцати лет, смотрит своими тогдашними глазами и видит перед собой Земанека, объявляющего, что будет рассматриваться «дело товарища Яна»; слышит, как он говорит: «Я прочту вам письма двух коммунистов». Он делает после этих слов маленькую паузу, берет в руки тонкую книжицу, проводит рукой по длинным вьющимся волосам и начинает читать вкрадчивым, почти нежным голосом:

«Долгонько же ты не приходила, смерть! Но я, признаться, надеялся, что мы встретимся с тобой через много лет, что я еще поживу свободной жизнью, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету...» [1]. Я узнавал «Репортаж с петлей на шее»: «Я любил жизнь и вступил в бой за нее. Я любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне тем же, и страдал, когда вы не понимали меня...» Этот текст, написанный тайно в тюрьме и озаренный светом героизма, стал в те годы, пожалуй, самой популярной книгой; Земанек прочитал нам известнейшие пассажи, которые любой знал наизусть. «Пусть мое имя ни в ком не отзывается печалью. Этот мой завет вам, отец, мать и сестры, тебе, моя Густа, вам, товарищи, с кем мне было хорошо...»

На стене висел портрет Фучика, репродукция знаменитого рисунка Макса Швабинского [2], старого-престарого художника-модерниста, виртуозного создателя символических аллегорий, пухленьких женщин, бабочек и всего прелестного на земле; будто бы после войны пришли к нему товарищи с просьбой создать портрет Фучика по сохранившейся фотографии, и Швабинский мягчайшей линией нарисовал его (в профиль) сообразно своему вкусу: почти девического, одухотворенного, чистого и такого красивого, что, возможно, даже те, кто знали Фучика лично, предпочитали сей благородный рисунок воспоминаниям о его настоящем лице. А Земанек продолжал читать о том, как Фучик пел вместе со своим товарищем по камере 267 папашей Пешеком; голос Земанека звучал теперь чисто и радостно: «Солнце! Как щедро светит этот круглый волшебник, столько чудес творит на глазах людей. Но так мало людей живет в солнечном свете... Ах, папаша, хотелось бы мне еще раз увидеть восход солнца!..» И Земанек продолжал читать, и все в зале притихли и сосредоточились, а толстая девица за столом не спускала с Земанека

[1] «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика цитируется по переводу на русский язык Т. Аксель и В. Чешихиной (из-во «Правда», М., 1947).

[2] Макс Швабинский (1873—1962) — чешский график и живописец.

восторженных глаз; а потом внезапно голос у него посуровел и зазвучал почти угрожающе; он читал о Мирeке, который в тюрьме предал товарищей: «Мирек! Был человек с характером, в Испании не кланялся пулям, не согнулся в суровых испытаниях концентрационного лагеря во Франции. А сейчас он бледнеет при виде плетки в руках гестаповца и предает друзей, надеясь спасти свою шкуру. Какой поверхностной была его отвага, если она стерлась от нескольких ударов! Такой же поверхностной, как его убеждения. Он был силен в толпе среди единомышленников... Изолированный, окруженный насевшими на него врагами, он растерял всю свою силу. Растерял потому, что начал думать только о себе. В надежде на спасение пожертвовал товарищами. Поддался трусости и из трусости предал...» На стене висело красивое лицо Фучика, висело оно и в тысяче других общественных помещений нашей страны и было так прекрасно, что я, глядя на него, чувствовал себя низким не только из-за своей провинности, но и из-за своей внешности. А Земанек продолжал читать:

«Жизнь у нас могут отнять, Густина, но нашу честь и любовь у нас не отнимет никто.

Эх, друзья, можете ли вы представить, как бы мы жили, если бы нам довелось снова встретиться после этих страданий? Снова встретиться в жизни, озаренной свободой и творчеством! Жить, когда будет все, о чем мы мечтали, к чему стремились, за что сейчас идем умирать!»

Земанек с пафосом прочел последние фразы и помолчал.

Затем сказал: «Это было письмо коммуниста, написанное в тени виселицы. Теперь я прочту вам другое письмо». И он прочитал три короткие, смешные, ужасные фразы из моей открытки. Потом замолчал; молчали все, и я понял, что погиб. Тишина стояла долго, и Земанек, этот выдающийся режиссер, умышленно не прерывал ее и лишь какое-то время спустя попросил меня высказаться. Я понимал, что мне уже ничего не спасти; если моя защита так мало значила в других местах, могла ли она что-то означать сегодня, когда Земанек подогнал мои фразы под абсолютную меру Фучиковых страданий? Конечно, мне ничего не оставалось, как подняться и начать говорить. Я снова объяснил, что фразы были задуманы как чистая шутка, и осудил неуместность и грубость такой шутки; я говорил о своем индивидуализме, интеллигентстве, о своем отрыве от народа, обнаружил в себе даже самодовольство, скепсис, цинизм, но поклялся, что при всем при том я предан партии и не являюсь ее врагом. Затем началась дискуссия, и товарищи изобличали мою позицию в противоречивости; они спросили меня, может ли быть предан партии человек, который сам признается, что он циник; одна моя сокурсница припомнила мне легкомысленные высказывания о женщинах и спросила, пристало ли так говорить коммунисту; иные вдавались в абстрактные рассуждения о мещанстве и приводили мой пример как наглядное тому доказательство; они в один голос твердили, что моя самокритика была поверхностной и неискренней. Затем задала мне вопрос девица с косой, что сидела за столом рядом с Земанеком: «Как ты думаешь, что бы сказали на твои изречения те товарищи, которых мучили в гестапо и которые приняли смерть?» (Я вспоминал об отце и осознавал, что все делают вид, будто и не ведают о его смерти.) Я молчал. Повторив вопрос, она вынудила меня ответить. Я сказал: «Не знаю».— «Подумай немножко,— настаивала она,— быть может, и додумаешься». Девица с косой добивалась, чтобы воображаемыми устами погибших товарищей я вынес себе суровый приговор, но меня вдруг обдала волна бешенства, бешенства совсем непредсказуемого, неожиданного, и я, восстав против многонедельных покаянных заявлений, сказал: «Они стояли на грани жизни и смерти. Они определенно не были мелочны. Если бы они прочли мою открытку, они, возможно, и посмеялись бы над ней».

Еще за минуту до этого девица с косой давала мне возможность хоть что-то защитить. У меня был последний шанс *понять* строгую критику товарищей, безоговорочно согласиться с ней, принять ее и на основе

этого согласия добиться определенного понимания и с их стороны. Но своим неожиданным ответом я исторг себя из сферы их мышления, отказался играть роль, которая обычно исполнялась на сотнях и сотнях собраний, на сотнях дисциплинарных обсуждений, а в скором времени и на сотнях судебных разбирательств: роль обвиняемого, который обвиняет сам себя и страстностью своего самообвинения (полнейшим единодушием с обвинителями) испрашивает для себя пощады.

Снова наступила тишина. Потом взял слово Земанек. Трудно даже представить себе, заявил он, что смешного в моих антипартийных высказываниях. И снова сославшись на завет Фучика, заметил, что колебания и скепсис в критических ситуациях закономерно превращаются в предательство и что партия — это крепость, в которой предателям нет места. Своим выступлением я доказал, продолжал он, что я вообще ничего не понял, что я не только не имею никакого отношения к партии, но не заслуживаю даже, чтобы рабочий класс затрачивал средства на мое образование. И он тут же внес предложение исключить меня из партии и отчислить из университета. Присутствующие в зале подняли руки, и Земанек сказал мне, что я должен отдать партийный билет и уйти.

Я встал и положил на стол перед Земанеком билет. Земанек и не взглянул на меня; он уже в упор не видел меня. Но теперь я вижу его жену: она сидит передо мной, пьяная, с красными щеками, в юбке, задранной до талии. Ее полные ноги сверху окаймлены черными эластичными трусиками; ноги, чьи ненасытные или ублаготворенные движения стали ритмом, вот уже десятилетие определявшим пульс жизни Павла Земанека. На эти ноги я положил ладони; и мне казалось, будто в своих руках я держу саму его жизнь. Я смотрел в Геленино лицо, в ее глаза, отвечавшие на мои прикосновения тем, что чуточку прищуривались.

### 4

— Разденьтесь, Гелена,— сказал я тихим голосом.

Она встала с тахты, край задранной юбки соскользнул вниз к коленям. Она посмотрела мне в глаза застывшим взглядом и затем без единого слова (не спуская с меня взора) стала сбоку расстегивать юбку. Юбка свободно соскользнула по ногам на пол; Гелена выступила из нее левой ногой, а правой приподняла ее к руке и положила на стул. Осталась в кофточке и комбинации. Затем стянула через голову кофточку и бросила ее к стулу.

— Не смотрите,— сказала она.

— Я хочу видеть вас,— сказал я.

— А я не хочу, чтоб вы смотрели, как я раздеваюсь.

Я подошел к ней. Взяв ее с обеих сторон под мышки, стал медленно съезжать ладонями вниз к ее бокам — под шелком комбинации, слегка влажной от пота, я ощутил ее мягкое полное тело. Она наклонила голову, и губы ее раскрылись в многолетней привычке (дурная привычка) поцелуя. Но я не хотел ее целовать, хотелось смотреть на нее, смотреть как можно дольше.

— Разденьтесь, Гелена,— сказал я и, чуть отойдя в сторону, сам снял пиджак.

— Здесь слишком светло,— сказала она.

— Вот и хорошо,— сказал я и повесил пиджак на спинку стула.

Она сняла через голову комбинацию и отбросила ее к кофточке и юбке; отстегнула чулки и поочередно стянула их с ног; чулки не стала бросать; сделав два шага к стулу, осторожно положила их; затем, выпятив грудь, завела руки за спину; пробежала секунда-другая — и отведенные назад плечи (словно при стойке на носках) вновь расслабились, опустились вперед, а вместе с ними стал опускаться и бюстгальтер; он опускался с грудей, все еще чуть стиснутых плечами и локтями — больших, полных, белых и, естественно, несколько тяжелых и вислых.

— Разденьтесь, Гелена,— в третий раз повторил я. Она посмотрела мне в глаза и начала стягивать эластичные трусики, упругой тканью туго сжимавшие ее бока; она отбросила их вслед за юбкой и кофточкой на тот же стул. Осталась нагая.

Я продлеваю все подробности этой сцены вовсе не из какого-то особого удовольствия, вызванного процессом обнажения женского тела, а лишь потому, что каждую из этих подробностей я внимательно фиксировал: речь ведь шла не о том, чтобы достичь мгновенного наслаждения с одной из женщин (а значит, с *любой* женщиной), речь шла о том, чтобы досконально овладеть *определенным* чужим интимным миром, и постичь этот чужой мир надо было мне в течение единственного дня, единственной любовной встречи, при которой мне отводилась роль не только того, кто отдается любви, но одновременно и того, кто грабит и ищет легкой добычи, а потому обязан быть максимально зорким.

До сих пор я овладевал Геленой лишь взглядами. Я все еще стоял поодаль от нее, тогда как она, напротив, желала побыстрей почувствовать тепло моих прикосновений, которые бы прикрыли тело, выставленное напоказ холодным взглядам. Даже на расстоянии этих нескольких шагов я чуть ли не ощущал влажность ее губ и чувственное нетерпение языка. Еще минута, две — и я подошел к ней. Мы обнялись, стоя посреди комнаты, между двумя стульями, полными нашей одежды.

— Людвик, Людвик, Людвик...— шептала она. Я повел ее к тахте и положил.— Иди, иди, иди,— говорила она.— Иди ко мне, иди ко мне.

Физическая любовь крайне редко сливается с любовью души. Что же, собственно, делает душа, когда тело срастается (в движении столь извечном, всеобщем и неизменном) с другим телом? Сколько всего она умеет вымыслить в эти минуты, давая тем самым понять еще и еще раз о своем превосходстве над косным однообразием телесной жизни! Как умеет пренебречь телом и использовать его (как и тело другого) в качестве источника для своей буйной фантазии, в тысячу раз более телесной, чем оба тела сами по себе! Или же напротив: как она умеет унизить тело, бросив его на произвол любострастия, и пустить затем свои мысли (уже утомленные прихотью собственного тела) к совершенно иным берегам — шахматной партии, воспоминаниям об обеде или о начатой книге...

Нет ничего необычного в том, что сливаются два чужих тела. И даже слияние душ, пожалуй, не столь уж редко. Но в тысячу раз драгоценнее, если тело сольется с собственной душой и объединится с ней в своей страсти.

А что делала моя душа в минуты, когда тело мое отдавалось физической любви с Геленой?

Моя душа видела женское тело. И была равнодушна к нему. Она знала, это тело имеет для нее смысл лишь постольку, поскольку его вот так же видит и любит некто третий, некто, кого здесь нет; и именно потому она пыталась смотреть на это тело глазами того третьего, отсутствующего; именно потому она стремилась стать его медиумом; вот обнаженное тело женщины, вот ее согнутая нога, складка на животе, грудь, но все это приобретало значение лишь в те минуты, когда мои глаза превращались в глаза того третьего, отсутствующего; в тот *чужой* взгляд вдруг вселялась моя душа и становилась им; она овладевала не просто согнутой ногой, складкой на животе или грудью, но овладевала всем этим так, как это виделось тому третьему, отсутствующему.

И, казалось, не только моя душа становилась медиумом того третьего, отсутствующего, но она приказывала и моему тела стать медиумом его тела и, отойдя потом в сторону, смотрела на эту извивающуюся змеиную борьбу двух тел, двух супружеских тел, чтобы затем неожиданно приказать моему телу снова стать самим собой, вмешаться в это супружеское соитие и грубо разрушить его.

На шее Гелены посинела жила, и по телу ее пробежала судорога, она повернула голову набок и зубами впилась в подушку.

Потом она зашептала мое имя, и ее глаза попросили короткого отдыха.

Но моя душа приказывала мне продолжать, гнать Гелену от наслаждения к наслаждению, измотать ее, менять положение ее тела, чтобы не оставлять скрытым и затаенным ни единого взгляда, каким смотрел на нее тот третий, отсутствующий; нет, не давать ей желанного отдыха, а вновь и вновь повторять эту судорогу, в которой она настоящая, такая, как есть, подлинная, в которой она не притворствует и которой въелась в память того третьего, кого нет здесь, въелась, как клеймо, как печать, как шифр, как мета. Похитить этот тайный шифр! Эту королевскую печать! Ограбить запретную тринадцатую комнату, эту святую святых Павла Земанека, все обшарить и все переворошить, оставить ему в ней пустыню!

Я смотрел Гелене в лицо, залитое краской, обезображенное гримасой; я положил на это лицо ладонь, положил как на предмет, что можно повернуть, опрокинуть, искромсать или смять, и это лицо, казалось, чувствовало себя под моей ладонью именно вещью, которой хочется быть опрокинутой и искромсанной; я повернул ей голову в одну сторону, затем в другую; так я поворачивал ее голову несколько раз, и вдруг это поворачивание превратилось в первую пощечину, во вторую, в третью. Гелена начала всхлипывать и кричать, но это был не крик боли, а крик возбуждения, ее подбородок поднимался навстречу мне, а я бил ее, и бил, и бил; а потом увидел, что не только подбородок, но и грудь вздымается навстречу мне, и я бил ее (приподнявшись над нею) по рукам, по бокам, по груди...

Все кончается; кончилось наконец и это прекрасное опустошение. Она лежала на животе поперек тахты, усталая, изнуренная. На ее спине была круглая родинка, а ниже, на ягодицах, виднелись красные полосы от ударов.

Я встал и, пошатываясь, пересек комнату; открыв дверь, вошел в ванную, отвернул кран и холодной водой вымыл лицо, руки, тело. Подняв голову, увидел себя в зеркале; лицо улыбалось; когда я увидел его таким, улыбающимся, улыбка показалась мне смешной, и я рассмеялся... Затем обтерся полотенцем и сел на край ванны. Хотелось немного побыть одному, хотелось насладиться этим редчайшим блаженством внезапного одиночества и порадоваться своей радости.

Да, я был доволен; возможно, я был просто счастлив. Я чувствовал себя победителем, и все последующие минуты и часы казались ненужными и не занимали меня.

Я вернулся в комнату.

Гелена лежала уже не на животе, а на боку и смотрела на меня.

— Иди ко мне, дорогой,— сказала она.

Множество людей, сблизившихся физически, полагают, даже не задумываясь как следует, что сблизились и духовно, и выражают эту ложную веру тем, что уже автоматически чувствуют себя вправе обращаться друг к другу на «ты». Я же, никогда не разделявший этой ложной веры в синхронную гармонию души и тела, принял Геленино обращение ко мне на «ты» в замешательстве и с неприязнью. Пропустив мимо ушей ее зов, я подошел к стулу, на котором были наброшены мои вещи, чтобы надеть рубашку.

— Не одевайся,— попросила Гелена, и, протянув ко мне руку, сказала снова: — Иди ко мне.

Ни о чем другом я не мечтал — лишь бы этих наступивших сейчас минут вовсе не было, а если им и суждено быть, то пусть они будут хотя бы как можно менее ощутимы, менее значительны, совсем невесомы, легче пыли; я уже не мог касаться Геленина тела и приходил в ужас при мысли о любой нежности, но в равной мере боялся и любой напряженности, любой драматической ситуации; поэтому в конце концов я с неохотой оставил на стуле свою рубашку и снова подсел к Гелене на тахту. Это было невыносимо: она придвинулась, положила голову мне на ногу,

стала целовать меня, вскоре моя нога увлажнилась; однако то была не влажность поцелуев; Гелена подняла голову, и я увидел, что ее лицо залито слезами. Она стирала их и говорила: «Дорогой, не сердись, что плачу, не сердись, любимый, что плачу» — и, придвинувшись еще ближе, обняла меня и разрыдалась.

— Что с тобой? — спросил я.

Она покачала головой и сказала:

— Ничего, ничего, мой дорогой,— и стала покрывать поцелуями мое лицо, все тело.— Я влюблена,— сказала она чуть погодя, а когда я ничего не ответил на это, продолжала: — Можешь смеяться надо мной, но мне все равно, я влюблена, влюблена.— А когда я опять ничего не ответил, сказала:— Я счастлива.— Затем приподнялась и кивнула на стол, где стояла недопитая бутылка водки: — Знаешь что, налей-ка еще!

Мне не хотелось наливать ни Гелене, ни себе; я боялся, что добавочная порция алкоголя усилит опасность продления этого дня (который был превосходен, но лишь при условии, что он уже кончился, что был уже позади).

— Ну пожалуйста, дорогой.— И, продолжая указывать на стол, она добавила извиняющимся тоном: — Не сердись, я просто счастлива, я хочу быть счастлива...

— Для этого, думается, тебе не нужна водка,— сказал я.

— Не сердись, мне почему-то очень хочется.

Делать было нечего; я налил ей рюмку. «А ты больше не будешь?» — спросила она; я покачал головой. Она выпила рюмочку и сказала: «Поставь это сюда». Я поставил бутылку и рюмку на пол к тахте.

Она быстро стряхнула с себя минутную усталость и неожиданно превратилась в девочку, которой хотелось радоваться, быть веселой и выставлять свое счастье напоказ. Чувствуя себя, должно быть, совершенно раскованной и естественной в своей наготе (на ней были лишь наручные часы, на которых, позвякивая, болтался на короткой цепке брелок с изображением Кремля), она принимала различные позы, отыскивая самую удобную для себя: скрестив ноги под собой, уселась по-турецки; затем вытянула ноги и, опершись о локоть, легла на живот и прижалась лицом к моим коленям. В бесконечных вариантах она рассказывала мне о том, как она счастлива; при этом пыталась меня целовать — чтобы снести это, я выказал немалую самоотверженность: губы ее были слишком влажными, а она, не довольствуясь моими плечами или лицом, норовила коснуться и моих губ (меня же охватывает брезгливость к влажным поцелуям, когда я не ослеплен телесной жаждой).

Потом она сказала мне, что ничего подобного в жизни не испытывала; а я обронил (просто так), что она преувеличивает. Она начала божиться, что в любви никогда не лжет и что у меня нет причин ей не верить. Продолжая развивать свою мысль, она утверждала, что знала это, что знала это уже при нашей первой встрече; что у тела, сказала она, есть свой безошибочный инстинкт; что я, разумеется, импонировал ей своим умом и энтузиазмом (да-да, энтузиазмом, не знаю, правда, как она во мне его обнаружила); но сверх того, она, дескать, знала (хотя только теперь перестает стесняться и может говорить откровенно), что между нашими телами мгновенно возник тот тайный договор, какой человеческое тело подписывает, возможно, лишь раз в жизни. «И потому я так счастлива, понимаешь?» — и она свесила ноги с тахты, нагнулась к бутылке и налила себе еще одну рюмку. Выпила и со смешком сказала: «Что же делать, раз ты больше не хочешь! Приходится пить одной!»

Хоть я и считал эпизод законченным, не могу не признаться, что Геленины слова доставляли мне удовольствие; она убеждала меня в успехе моего замысла, и я чувствовал себя вполне удовлетворенным. Но, скорей всего потому, что не знал, о чем говорить, и при этом не хотел казаться слишком молчаливым, я возразил ей, заметив, что она, пожалуй, преувеличивает, полагая, что такое потрясение случается лишь од-

нажды в жизни; ведь со своим мужем она тоже испытала большую любовь, в чем сама мне призналась.

Гелена при моих словах весьма серьезно задумалась (она сидела на тахте, слегка раздвинув спущенные на пол ноги, локтями опиралась о колени, а в правой руке держала опорожненную рюмку) и тихо сказала: «Да».

Она, по-видимому, считала, что патетичность переживания, которое за минуту до этого выпало ей на долю, обязывает ее и к патетической откровенности. Она повторила «да», а потом сказала, что было бы, пожалуй, несправедливо и дурно, если бы она в угоду сегодняшнему чуду (так она называла нашу телесную близость) обесценивала прошлое. Она снова выпила и начала говорить о том, что как раз самые сильные переживания таковы, что их нельзя сравнивать друг с другом, и что для женщины, мол, одно дело — любовь в двадцать лет и совершенно другое — любовь в тридцать, и что один я по-настоящему постиг ее: не только психически, но и физически.

А потом вдруг (довольно нелогично и вне всякой связи) объявила, что я, как ни странно, чем-то похож на ее мужа! Что ей даже трудно сказать чем; и пусть я внешне выгляжу совершенно иначе, все равно это так, ибо у нее на этот счет безошибочное чутье — она прозревает в глубину человека, проникает *за* его внешнюю оболочку.

— Мне бы и вправду хотелось знать, чем я похож на твоего мужа,— заметил я.

Она сказала, что я не должен сердиться, поскольку сам расспрашиваю ее о муже, хочу что-то услышать о нем, и что только потому она осмеливается касаться этого. Но если я хочу знать настоящую правду, то она не может не сказать: лишь два раза в жизни ей довелось увлечься так сильно и безусловно: своим мужем и мной. Нас сближает, мол, какой-то таинственный жизненный энтузиазм, радость, что брызжет из нас, вечная молодость, сила.

Пытаясь объяснить мое сходство с Павлом Земанеком, Гелена пользовалась словами довольно туманными, но тем не менее нельзя было отрицать, что сходство это она улавливала, и ощущала (и даже *переживала!*), и упорно настаивала на нем (мы с ним, уверяла она, так похожи, что, пожалуй, это не было даже изменой, когда она отдавалась мне). Не могу сказать, что это как-то обижало меня или ранило, но я буквально остолбенел от тягостности и безграничной нелепости этого утверждения; я подошел к стулу, где была моя одежда, и начал неторопливо одеваться.

— Дорогой, я тебя чем-то обидела? — Гелена почувствовала мое неудовольствие, встала с тахты и подошла ко мне; она начала гладить меня по лицу и просить, чтобы я на нее не сердился. Не давала мне одеваться. (Из каких-то загадочных соображений ей казалось, что мои брюки и рубашка — ее недруги.) Она стала убеждать меня, что она по-настоящему меня любит, что не употребляет этого слова всуе, что, возможно, ей представится случай доказать мне это; она, мол, с самого начала, когда я спросил ее о муже, поняла, что это неумно говорить о нем; что она не хочет, чтобы между нами становился другой мужчина, чужой человек; да, чужой, поскольку ее муж уже давно чужой человек для нее.— Дурачок ты мой, я ведь уже три года с ним не живу. Не разошлись мы только ради детей. У него своя жизнь, у меня своя. В самом деле, теперь мы два чужих человека. Он всего лишь мое прошлое, мое ужасно давнее прошлое.

— Это правда? — спросил я.

— Конечно, правда,— сказала она.

— Не лги так глупо,— сказал я.

— Я не лгу, мы живем в одной квартире, но не как муж с женой, и уже давно.

На меня глядело умоляющее лицо жалкой влюбленной женщины. Она еще несколько раз кряду уверяла меня, что говорит правду, что не

обманывает меня; что я не должен ревновать к ее мужу; что муж всего лишь ее прошлое; что сегодня по сути она даже не была неверна, ибо ей некому быть неверной, и я, стало быть, не должен бояться: наша любовь была не только прекрасной, но и *чистой.*

Вдруг в каком-то ясновидческом испуге я стал понимать, что у меня, собственно, нет оснований не верить ей. Догадавшись об этом, она почувствовала облегчение и сразу же стала просить меня высказать вслух, что я верю ей; потом налила себе рюмочку водки и пожелала, чтобы мы чокнулись (я отказался); она поцеловала меня; у меня мурашки пробежали по телу, но я не смог отвернуть лицо; мой взгляд приковывали ее глупо-голубые глаза и ее (подвижное, вертлявое) нагое тело.

Однако эту наготу я видел сейчас по-новому; я видел ее *освобожденной* от того дразнящего соблазна, что до сих пор оттеснял все изъяны возраста (тучность, обвислость, перезрелость), в которых, казалось, было сосредоточено все прошлое и все настоящее Гелениного брака и которые поэтому-то и привлекали меня. Теперь же, когда Гелена стояла передо мной голая, без супруга и уз, связывающих ее с супругом, без супружества, лишь *сама по себе,* ее физическая непривлекательность разом утратила свою возбуждающую силу и тоже стала лишь самой по себе — а следовательно, откровенной непривлекательностью.

Гелена, нисколько не предполагая, какой я вижу ее, становилась все более пьяной и все более ублаготворенной; она была счастлива, что наконец-то я поверил ее любовным признаниям, однако не сразу смогла придумать, как дать выход этому чувству счастья: ни с того ни с сего решила включить радиоприемник (обратившись ко мне спиной, присела перед ним на корточки и повертела регулятором); на какой-то волне зазвучал джаз; Гелена приподнялась, глаза у нее сияли; она неуклюже стала изображать волнообразные движения твиста (я с ужасом смотрел на ее груди, летающие из стороны в сторону). «Так правильно?— смеялась она.— Знаешь, я никогда не танцевала этих танцев». Громко смеясь, она подошла и обняла меня; попросила потанцевать с ней; сердилась, что я отказывался исполнить ее просьбу; говорила, что танцевать эти танцы не умеет, но очень хотела бы, и что я должен ее научить; и что она вообще хочет, чтобы я научил ее многому,— ей хочется быть со мной молодой. Просила, чтобы я убедил ее, что она и вправду еще молода (я исполнил ее просьбу). Вдруг до нее дошло, что я одет, а она голая; засмеялась — это показалось ей невообразимо забавным; спросила, нет ли у хозяина где-нибудь большого зеркала, чтобы посмотреть на нас в таком виде. Зеркала здесь не было, был лишь застекленный книжный шкаф; она пыталась разглядеть нас в его стекле, но изображение оказалось слишком неясным; она подошла к шкафу и рассмеялась, прочтя на корешках книг названия: Библия, Кальвин: «Наставления в христианской вере», «Письмо против иезуитов», Гус; вытащила Библию, приняла торжественную позу, открыла наугад книгу и начала читать по ней голосом проповедника. Спросила меня, хорошим ли она была бы священником. Я сказал, что ей удивительно к лицу читать Библию, но что пора уже одеться — ибо с минуты на минуту придет пан Костка. «Который час?» — спросила она. «Половина седьмого»,— сказал я. Она схватила меня за запястье левой руки, где были часы, и закричала: «Ты лгун! Только без четверти шесть! Хочешь избавиться от меня!»

Я мечтал, чтобы ее не стало, чтобы тело ее (до отчаяния материальное) перестало быть материальным, чтобы оно растаяло, превратилось в ручеек и утекло или, превратившись в пар, улетучилось через окно — но тело было здесь, тело, которое я ни у кого не отнял, никого не победил в нем и не уничтожил, потасканное, брошенное супругом тело, тело, которым я хотел воспользоваться, но оно воспользовалось мной, и теперь, конечно, нагло радуется, прыгает и куролесит.

Мне никак не удавалось сократить минуты моего невыносимого страдания. Лишь около половины седьмого она начала одеваться. Заметила на своей руке красную полосу от моего шлепка, погладила ее. Ска-

зала, что это будет памятка до тех пор, пока она снова не увидит меня; затем сразу оговорилась: хотя, конечно, увидит меня гораздо раньше, чем эта памятка исчезнет с ее тела; она стояла против меня (один чулок надет, другой в руке) и просила пообещать ей, что мы действительно увидимся еще до того. Я кивнул; ей мало было этого: хотела, чтобы я пообещал ей, что до того времени мы увидимся еще *много раз*. Одевалась она долго. Ушла около семи.

### 5

Я открыл окно, мечтая о ветре, который мгновенно бы выдул любое воспоминание об этом потерянном дне, любые остатки запахов и ощущений. Затем быстро убрал бутылку, привел в порядок подушки на тахте, и когда мне показалось, что все следы заметены, опустился в кресло у окна и стал ждать (почти просительно) Костку: его мужского голоса (я невообразимо мечтал о низком мужском голосе), его долговязой худой фигуры с *плоской* грудью, его спокойного повествования, странного и умного, и того, что, быть может, он расскажет мне о Люции, которая в отличие от Гелены была столь сладостно нематериальна, абстрактна, столь бесконечно далека от конфликтов, нервозности и драм и все-таки каким-то образом воздействовала на мою жизнь: пришло на ум, что быть может, она воздействует на нее так, как, по мнению астрологов, воздействуют на человеческую жизнь движения звезд; да, я сидел, утонувши в кресле (под открытым окном, в которое выгонял Геленины запахи), и мне вдруг подумалось, что я, пожалуй, знаю разгадку моего мистического ребуса и знаю, почему Люция промелькнула на небосклоне этих двух дней: лишь для того, чтобы превратить в ничто мою месть, чтобы превратить в пар все, ради чего я ехал сюда, потому что Люция, которую я так любил и которая так непостижимо в последний миг ушла от меня, есть не что иное, как богиня ухода, богиня бесплодного бега, богиня пара; и мою голову она все еще держит в руках.

## VI

### 1

Уже много лет мы не виделись, да, впрочем, и виделись-то в жизни всего несколько раз. Странное дело: мысленно я ведь встречаюсь с Людвиком очень часто и обращаю к нему, моему главному противнику, целые филиппики. Я настолько привык к его нематериальному присутствию, что явно смешался, когда вчера вдруг, по прошествии множества лет, встретил его в образе реального человека из плоти и крови.

Я назвал Людвика своим противником. Есть ли у меня для этого основания? Волею обстоятельств я встречался с ним всякий раз, когда оказывался в беде, и именно он всегда протягивал мне руку помощи. Однако под этим внешним союзом всегда зияла бездна внутреннего несогласия. Мне трудно судить, осознавал ли его Людвик в той же мере, что и я. Он, несомненно, придавал нашему внешнему согласию большее значение, чем нашей внутренней несхожести. Непримиримый в отношении внешних противников, он был снисходителен в отношении разладицы внутренней. Я же — напротив. Для меня важно как раз обратное. Тем самым я вовсе не хочу сказать, что не люблю Людвика. Я люблю его, как любим мы своих противников.

### 2

Впервые я узнал его в сорок седьмом на одном из шумных собраний, которыми тогда бурлила высшая школа. Решался вопрос о будущем народа. Это ощущалось всеми, понимал это и я и во всех дискуссиях,

спорах и голосованиях держал сторону коммунистического меньшинства против большинства, которое в вузах тогда составляли клерикалы и национальные социалисты.

Многие христиане — католики и евангелисты — ставили мне это в укор. Они считали предательством, что я примкнул к движению, на щите которого написано безбожие. Теперь, встречаясь с ними, вижу: они полагают, что хотя бы по истечении пятнадцати лет я осознал наконец свое тогдашнее заблуждение. Но я должен разочаровать их. И по сию пору я ничего не изменил в своих взглядах. Безусловно, коммунистическое движение безбожно. Но лишь христиане, что в своем глазу бревна не замечают, могут винить в том один коммунизм. Я говорю: христиане. Однако где они? Я вижу вокруг себя одних мнимых христиан, живущих точно так, как живут безбожники. Но быть христианином — означает жить иначе. Это означает идти по пути Христову, *уподобиться* Христу. Это означает отречься от личной корысти, благоденствия и власти и обратиться лицом к бедным, униженным и страдающим. Но разве церковь сделала это? Мой отец был пролетарием, вечно безработным, но смиренно верил в Бога. Он обращал к Нему свое благочестивое лицо, но церковь никогда не обратилась лицом к отцу. Покинутый ближними, покинутый в стенах церкви, он был один на один со своим Богом, пока болезнь не свалила его и не довела до могилы.

Церковь не поняла, что рабочее движение — это движение униженных и взыскующих, жаждущих справедливости. Поистине вопреки духу Христову церковь отвернулась от них. Она не проявила ни малейшего интереса вместе с ними и во благо их порадеть о царствии Божием на земле. Церковь объединилась с угнетателями и тем самым отняла у рабочего движения Бога. А ныне она пытается поставить в укор движению его безбожие? Какое фарисейство! Социалистическое движение воистину безбожно, но я усматриваю в том Божий выговор нам, христианам! Выговор за наше бессердечие к бедным и страдающим!

И что же делать мне при таком положении вещей? Ужасаться тому, что уменьшается число приверженцев церкви? Или ужасаться тому, что в школах дети воспитываются в антирелигиозном духе? Какое безрассудство! Истинная религиозность не нуждается в благосклонности светской власти. Светская неприязнь лишь упрочивает веру.

И уж не прикажете ли мне воевать против социализма, поскольку он — по нашей же вине — безбожен? Еще большее безрассудство! Я могу лишь глубоко сожалеть о трагической ошибке, которая увела социализм от Бога. Я могу лишь объяснять эту ошибку, лишь трудиться во имя ее искупления.

Впрочем, откуда эта ваша обеспокоенность, мои братья во Христе? Все делается с соизволения Божиего, и я часто спрашиваю себя, уж не предумышленно ли Всевышний отнял у человечества возможность постичь, что нельзя безнаказанно покушаться на его престол и что даже самое справедливое устройство светских отношений без Его участия не выстоит и погибнет?

Я помню годы, когда наши люди чувствовали себя уже на пороге рая. И были горды, что это их рай, для которого никто на Небесах им не нужен. Но вскоре этот рай внезапно растаял у них под руками.

### 3

Надо сказать, до Февраля мое христианство как раз было на руку коммунистам. Они с интересом слушали, когда я толковал им социальный смысл Евангелия, выступал против обветшалости старого мира собственности и войн и доказывал родственность христианства и коммунизма. Для них важно было привлечь на свою сторону самые широкие народные слои, в том числе, конечно, и верующих. Но вскоре после Февраля все стало меняться. Будучи ассистентом кафедры, я встал на защиту нескольких студентов, которых должны были исключить из университе-

та по причине политических убеждений их родителей. Я протестовал против этого и вступил в конфликт с руководством факультета. И тут вдруг начали раздаваться голоса, что, дескать, человек, столь рьяно исповедующий христианство, не может достойным образом воспитывать социалистическую молодежь. Похоже было, речь шла о моем пребывании на факультете. И тут до меня дошли слухи, что на пленарном партийном собрании меня взял под защиту студент Людвик Ян. Он говорил, что было бы сущей неблагодарностью забывать то, что я значил для партии до Февраля. А когда ему стали колоть глаза моим христианством, он ответил, что в моей жизни это будет всего лишь переходной фазой и что в силу своей молодости я непременно преодолею ее.

Я тогда пошел к нему и поблагодарил за защиту. Однако сказал, что не хотел бы обманывать его и посему сообщаю, что я старше его и нет никакой надежды на то, что веру свою «преодолею». Мы пустились в дискуссию о существовании Всевышнего, о конечности и вечности, о том, как относился к религии Декарт, был ли Спиноза материалистом, и о многих прочих вещах. К согласию мы не пришли. В итоге я спросил Людвика, не жалеет ли он, что вступился за меня, коли видит, до чего я неисправим. Он ответил, что вера в Бога — мое личное дело и что в конце концов она никого не касается.

С тех пор на факультете мы с ним уже не встречались. Тем не менее наши судьбы оказались очень сходными. Месяца через три после нашего разговора Яна исключили из партии и из университета. А еще через какие-то полгода ушел с факультета и я. Был ли я выброшен? Был ли гоним? Не могу этого сказать. Хотя и то правда, что голосов против меня и моих убеждений становилось все больше, и некоторые коллеги намекали мне на необходимость выступить с каким-либо общественным заявлением атеистического характера. Правда и то, что на лекциях у меня произошло несколько неприятных стычек с агрессивными студентами-коммунистами, желавшими оскорбить мою веру. Решение о моем увольнении с факультета и впрямь висело в воздухе. Но нельзя не сказать и того, что среди коммунистов на факультете у меня было достаточно друзей, уважавших меня за мою дофевральскую позицию. Не хватало лишь малого: чтобы я сам начал защищаться — и тогда они определенно встали бы на мою сторону. Но я не сделал этого.

## 4

«Идите за Мною»,— сказал Иисус своим ученикам, и они тотчас, оставив свои сети, свои лодки, свои «домы» и отцов своих, последовали за Ним. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царствия Божия».

Если мы слышим голос Христова призыва, мы должны следовать за Ним безоговорочно. Это хорошо известно из Евангелия, но в нынешнее время звучит лишь как предание. Какой уж призыв, какое уж следование в наших прозаических жизнях? Куда и за кем мы могли бы идти, оставив свои сети?

А все-таки голос призыва доходит до нас и в нашем мире, буде у нас чуткий слух. Но призыв не приходит к нам по почте — заказной депешей. Он приходит замаскированным. И редко когда в костюме розовом и обольстительном. «И вовсе не деяние, которое ты выбираешь, а то, что противоречит твоему выбору, твоим помыслам и твоему желанию, этой дорогой следуй, туда я призываю тебя, там будь учеником, это твой час, туда пошел твой учитель...» — писал Лютер.

У меня было немало причин цепляться за мою ассистентскую должность. Она была сравнительно удобной, предоставляла много свободного времени для дальнейших занятий и обещала пожизненный путь университетского преподавателя. И все-таки я испугался того, что цепляюсь за свое место. Испугался тем больше, что видел, как из вузов вынуждены уходить многие достойные люди, педагоги и студенты. Испугался

я своей привязанности к хорошему житью-бытью, своей спокойной обеспеченностью отдалявшего меня от беспокойных судеб моих ближних. Я понял, что предполагаемое решение о моем увольнении из университета не что иное, как призыв. Мне слышался чей-то голос, звавший меня. Кто-то предостерегал меня от удобной карьеры, которая сковала бы мою мысль, веру, мою совесть.

Моя жена — у нас с ней тогда был пятилетний ребенок — всячески, конечно, настаивала на том, чтобы я защищался и предпринял по возможности все, дабы остаться в вузе. Она думала о сынишке, о будущем семьи. Ничего другого для нее не существовало. Когда я посмотрел в ее, тогда уже стареющее лицо, я испугался этой безграничной озабоченности о завтрашнем дне и о предстоящем годе, тягостной озабоченности о всех грядущих днях и годах до самого необозримого конца. Я испугался этой тяжести и услышал в душе Христовы слова: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы».

Мои недруги ожидали, что я изведусь от забот, а я меж тем ощутил в себе нежданную беззаботность. Они думали, что я буду чувствовать себя ущемленным в своей свободе, а я — напротив.— именно тогда открыл для себе истинную свободу. Тогда-то я и познал, что человеку нечего терять, ибо место его повсюду, повсюду там, куда ходил Иисус, а это означает: повсюду среди людей.

После первых часов удивления и сожаления я пошел навстречу злобе своих противников. Я видел в их несправедливости выражение Божиего промысла.

## 5

Коммунисты вполне в духе христианства считают, что человек, провинившийся перед лицом партии, может получить отпущение грехов, если на какое-то время пойдет трудиться среди земледельцев или рабочих. Так в послефевральские годы многие представители интеллигенции уходили на короткий или более долгий срок на шахты, заводы, на стройки и в государственные хозяйства, дабы после загадочного очищения от греха в этой среде они снова могли вернуться в учреждения, высшую школу или секретарские кабинеты.

Когда я предложил руководству освободить меня от должности на факультете, причем взамен не попросил никакой другой научной работы, а выразил желание «пойти в народ», то есть отправиться в качестве специалиста в какой-нибудь госхоз, коммунисты университета, будь то друзья или недруги, истолковали мое решение с точки зрения своей веры, отнюдь, конечно, не моей: как выражение совершенно исключительной самокритичности. Они оценили это и помогли мне найти очень хорошее место в госхозе с отличным директором во главе, среди прекрасной природы западной Чехии. В путь-дорогу одарили меня на редкость благоприятной характеристикой.

На новом месте работы я был поистине счастлив. Чувствовал себя возрожденным. Госхоз организован был в заброшенной и лишь наполовину обитаемой пограничной деревне, откуда после войны были выселены немцы. Далеко окрест простирались холмы, по большей части безлесные, выстланные пастбищами. В их долинах были разбросаны на значительных расстояниях домики чересчур растянутых деревень. Частые туманы, ползущие по окрестностям, ложились между мною и заселенной землей будто подвижная ширма, так что мир был словно в пятый день творения, когда, возможно, Бог все еще колебался, отдать ли его человеку.

Да и сами люди казались здесь более подлинными. Они стояли лицом к лицу с природой, с бескрайними выгонами, со стадами коров и отарами овец. Хорошо мне было среди них. Не замедлили посетить меня и множество мыслей, как лучше использовать растительный покров этой

холмистой местности: удобрения, разные способы сеностава, опытное поле лечебных трав, парники. Директор был благодарен мне за мои идеи, а я — ему: он давал мне возможность зарабатывать хлеб полезным трудом.

## 6

Шел тысяча девятьсот пятьдесят первый год. Сентябрь был холодный, но в середине октября внезапно потеплело, и чуть ли не до конца ноября установилась чудесная осень. Скирды сена сохли на холмистых лугах, и их аромат широко разливался по всему краю. В траве мелькали хрупкие тельца безвременника. Именно тогда и пошел по окружным деревням слух о молодой скиталице.

Подростки из соседней деревни отправились на скошенные луга. Озорничали шумно, перекликались, и вдруг, дескать, увидели, что из одной скирды вылезла девушка, встрепанная, с соломой в волосах, девушка, которую никто из них никогда тут не видал. Она испуганно огляделась вокруг и припустилась наутек к лесу. Исчезла из виду раньше, чем они отважились броситься за ней.

Вдобавок к тому одна крестьянка из той же деревни рассказала, как однажды под вечер, когда она хлопотала во дворе, нежданно-негаданно появилась девушка лет двадцати, одетая в очень поношенное пальтишко, и, опустив стыдливо голову, попросила кусочек хлеба. «Девушка, куда путь держишь?» — заговорила с ней крестьянка. Девушка сказала, что у нее дальняя дорога. «И ты пешком идешь?» — «Потеряла деньги»,— ответила та. Крестьянка больше не расспрашивала ее, а лишь подала ей хлеба и молока.

Присоединился к этим разговорам и пастух из нашего хозяйства. Однажды на выгоне он оставил у пенька намазанную маслом краюху хлеба да бидончик молока и сам отошел к стаду. Через минуту вернулся, а хлеб и бидончик как ветром сдуло.

Все эти слухи тут же подхватывали дети и распространяли их, давая волю фантазии. Рассказывали, будто видели под вечер, как она купается в пруду за деревней, хотя было начало ноября и вода уже стала очень холодной. Когда у кого-то что-то пропадало, дети тут же воспринимали это как весть о существовании девушки. Иногда по вечерам откуда-то издалека доносилось пение высокого женского голоса. Взрослые утверждали, что в какой-то лачуге на холме на всю мощь включили радио, но дети-то знали, что это она, лесная фея, идет с распущенными волосами по гребню взгорья и поет песню.

Однажды вечером дети разложили костер за деревней, покрыли его картофельной ботвой и в раскаленную золу бросили картошку. Потом поглядели в сторону леса, и тут вдруг одна девочка закричала, что видит ее, что она смотрит на нее из лесного сумрака. Какой-то мальчик схватил ком земли и швырнул в том направлении, в каком указывала девочка. Как ни странно, не раздалось никакого крика, но случилось другое. Все дети кинулись на мальчика и чуть не сшибли его с ног.

Да, именно так: обычная детская жестокость никогда не сопутствовала легенде о заблудшей девушке, хотя с ее образом и связывали мелкие кражи. Она с самого начала вызывала тайную симпатию людей. Быть может, людские сердца располагала к ней именно невинная пустячность этих краж? Или ее юный возраст? Или ее хранила рука ангела?

Как бы там ни было, но брошенный ком земли разжег любовь детей к заблудшей девушке. Еще в тот же день они оставили у догоревшего костра кучку испеченных картофелин, накрыли их золой, чтобы не остыли, и засунули туда сломленную еловую веточку. Нашли они для девушки и имя. На листочке, вырванном из тетради, написали карандашом, большими буквами: *Заплутаня, это для тебя.* Записку положили в золу и придавили тяжелым комом. Потом ушли и, спрятавшись в ближних кустах, стали выглядывать пугливую фигурку девушки. Вечер клонился

к ночи, но никто не приходил. Дети наконец вынуждены были выйти из укрытия и разбрестись по домам. А ранним утром снова побежали на вчерашнее место. Свершилось. Кучка картофелин, а заодно и записка и веточка исчезли. Девушка стала у детей балованой феей. Они приносили ей горшочки с молоком, хлеб, картошку и записки. Но никогда не выбирали для своих даров одного и того же места. Они оставляли ей еду не в каком-то одном условленном месте, как оставляют нищим, а играли с ней. Играли в потаенные клады. Начали с того места, где в первый раз припасли для нее кучку картофелин, и двигались дальше — от деревни в сторону угодий. Клады свои они оставляли у пней, у большого валуна, у придорожного распятия, у куста шиповника. Они никому не открывали мест, где прятали свои дары. Они ни разу не нарушили этой тонкой, как паутина, игры, никогда не выслеживали девушку и не пытались застигнуть ее врасплох. Они оберегали ее невидимость.



### 7

Сказка эта длилась недолго. Однажды директор нашего хозяйства с председателем местного национального комитета отправились в дальние окрестности осмотреть несколько все еще не обжитых домиков, оставшихся после немцев, чтобы приспособить их под ночлег для земледельцев, работавших на отшибе. По дороге их застиг дождь, перешедший вскоре в настоящий ливень. Поблизости был мелкий ельник, а на его опушке серая лачуга — сенной сарай. Они подбежали к нему, открыли дверь, прижатую лишь деревянным колышком, и прошмыгнули внутрь. В открытую дверь и щели в кровле проникал свет. Они увидели примятое место на сене и растянулись на нем. Слушая перестук капель о крышу и вдыхая опьяняющий аромат, повели разговор. Вдруг председатель, невзначай просунув руку в копну сена, возвышавшуюся с правой стороны, обнаружил под сухими стеблями что-то твердое. Оказался чемоданчик. Старый, неприглядный, дешевый чемоданчик из дерматина. Не знаю, долго ли мужчины медлили проникнуть в тайну. Но бесспорно, что чемоданчик они в конце концов открыли и нашли в нем четыре женских платья, и все новенькие и красивые. Изящность платьев, на удивление не совместимая с деревенской обшарпанностью чемоданчика, вызвала у них, дескать, подозрение в краже. Под платьями было еще несколько предметов девичьего белья, а в них упрятана пачка писем, перевязанная голубой ленточкой. И все. До сих пор я ничего не знаю об этих письмах, не знаю даже, прочли ли их директор с председателем. Знаю только, что по ним установили имя адресата: Люция Шебеткова.

Пока они размышляли над нежданной находкой, председатель обнаружил в сене еще один предмет. Облупленный бидончик из-под молока. Тот голубой эмалированный бидончик, о загадочном исчезновении которого вот уже две недели кряду что ни вечер рассказывал в трактире госхозный пастух.

А там уже все пошло своим необратимым ходом. Председатель подождал, скрываясь в сеннике, а директор, спустившись в деревню, послал к нему на подмогу деревенского каэнбешника. Девушка в сумерки вернулась в свою благовонную ночлежку. Ей дали войти, дали закрыть за собой дверку, подождали с полминуты, а потом ввалились к ней.

### 8

Оба мужчины, изловившие Люцию в сеннике, были людьми благодушными. Председатель, бывший батрак, честный трудяга, отец шестерых детей, напоминал старых деревенских грамотеев. Каэнбешник был наивным, грубоватым добряком с пышными усами под носом. Ни тот, ни другой и мухи бы не обидел.

И все-таки я тотчас почувствовал удивительную муку, как только услыхал о поимке Люции. До сих пор у меня сжимается сердце, когда

представляю, как директор с председателем роются в чемоданчике, как держат в руках предметы ее интимной женской жизни, трогательную тайну ее запятнанного белья, как заглядывают туда, куда заглядывать заповедано.

И подобное же чувство бесконечной муки испытываю я по сей день, стоит мне вообразить это логово в сеннике, из которого нет выхода: единственная его дверь загорожена двумя дюжими мужиками.

Когда я впоследствии узнал о Люции больше, то с удивлением осознал, что в обеих мучительных ситуациях отчетливо высвечивалась сама сущность ее судьбы. Обе ситуации являли собой *образ изнасилования.*

## 9

В ту ночь Люция уже спала не в сеннике, а на железной койке в бывшей лавчонке, которую КНБ приспособил под свою круглосуточную канцелярию. На следующий день Люцию допрашивали в национальном комитете. Выяснилось, что до последнего времени она жила и работала в Остраве. Что убежала оттуда, так как не было мочи терпеть. Когда попытались узнать что-то поконкретнее, натолкнулись на упорное молчание.

На вопрос, почему она бежала сюда, в западную Чехию, ответила, что ее родители живут в Хебе. Почему она не поехала к ним? Она сошла с поезда вдалеке от дома, потому что уже по дороге начала бояться. Отец всю жизнь только и знал, что дубасил ее.

Председатель национального комитета объявил Люции, что ее отправят назад в Остраву, откуда она ушла без надлежащего расчета. Люция ответила, что на первой же станции сбежит с поезда. Они кричали на нее, но вскоре поняли, что криком делу не поможешь. Спросили, не послать ли ее домой в Хеб. Она яростно замотала головой. Строгий допрос продолжался недолго, через минуту-другую председатель уступил собственной мягкости: «Что же ты в таком разе хочешь?» Она спросила, нельзя ли ей остаться работать здесь. Они пожали плечами и сказали, что справятся в госхозе.

Директор постоянно нуждался в рабочей силе. И потому предложение национального комитета принял без колебаний. Затем оповестил меня, что наконец я получу в оранжерею давно требуемую работницу. В тот же день председатель национального комитета представил мне Люцию.

Я хорошо помню тот день. Шла вторая половина ноября, и осень, до этого солнечная, вдруг открыла свое ветреное, хмурое лицо. Моросило. Люция стояла в коричневом пальтишке с чемоданчиком возле высокого председателя, стояла опустив голову и безучастно глядя перед собой. Председатель, держа в руке голубой бидончик, торжественно произнес: «Хоть за тобой и числятся кой-какие провинности, мы тебя простили и доверяем тебе. Мы могли бы послать тебя назад в Остраву, но оставили здесь. Рабочему классу везде нужны честные люди. Так что не подведи его».

Потом он отправился в канцелярию — отдать бидончик, принадлежавший нашему пастуху, а я отвел Люцию в оранжерею. Представил ее двум работникам и объяснил, что ей предстоит делать.

## 10

В моих воспоминаниях Люция заслоняет все, что мне тогда довелось пережить. Однако и в ее тени фигура председателя национального комитета вырисовывается как нельзя более отчетливо. Когда вы вчера сидели в кресле напротив меня, я не хотел обидеть вас, Людвик. Но скажу вам об этом хотя бы сейчас, раз уж вы снова противостоите мне в том образе, в каком я лучше всего знаю вас, какой постоянно, как тень, присутствует в моем воображении.

Бывший батрак, желавший создать рай для своих страждущих ближних, этот восторженный честный трудяга, энтузиаст, произносивший наивно-возвышенные речи о прощении, доверии и рабочем классе, был моему сердцу и моему разумению гораздо ближе, чем вы, хотя лично он никогда не проявлял ко мне никакого расположения.

Когда-то вы утверждали, что социализм вырос на основе европейского рационализма и скептицизма, на основе нерелигиозной и антирелигиозной и иначе немыслим. Но неужто вы и впредь собираетесь утверждать, что без веры в первичность материи нельзя построить социалистическое общество? Вы серьезно думаете, что люди, верующие в Бога, не могут национализировать фабрики?

Я совершенно уверен, что та линия европейского духа, которая исходит из благовестия Христова, ведет к социальному равноправию и к социализму гораздо более закономерно. И когда я вспоминаю самых одержимых коммунистов первого периода социализма в моей стране, да хоть того же председателя, отдавшего под мое покровительство Люцию, они кажутся мне во сто крат более похожими на религиозных фанатиков, чем на вольтерианских скептиков. У того революционного времени — с 1948 года вплоть до 1956-го — было мало общего со скептицизмом и рационализмом. То было время большой коллективной веры. Человек, который шел с тем временем в ногу, был исполнен чувств, схожих с религиозными: он отрекался от своего *я*, от своей самости, от своей личной жизни во благо чего-то высшего, чего-то сверхличностного. Марксистские положения, пусть и носили характер чисто светский, но смысл, который им придавался, подобен был смыслу Евангелия и библейских заповедей. Образовался круг мыслей, ставших неприкосновенными, а по нашей терминологии — священными.

Эта религия была жестокой. Она не рукоположила нас в сан своих священников, скорей обоих нас обидела. И все-таки то время, что минуло, было мне во сто крат ближе, чем время, которое, кажется, грядет сейчас, время насмешки, скепсиса, травли, мелочное время, на авансцену которого выходит ироничный интеллектуал, тогда как на заднем плане кишит толпа молодежи, грубой, циничной и злой, без вдохновения и без идеалов, готовой на каждом шагу совокупляться и убивать.

То уходящее или ушедшее время несло в себе хоть что-то от духа великих религиозных движений. Жаль, что оно не сумело дойти до самого конца своего религиозного самопознания. У него были религиозные жесты и чувства, но внутри оно оставалось пустым и без Бога. Но я не переставал тогда верить, что Бог смилостивится, что заявит о себе, что наконец освятит эту великую светскую веру. Я тщетно ждал.

Это время в конце концов предало свою религиозность и сильно поплатилось за то рационалистическое наследие, к которому взывало лишь потому, что не понимало самого себя. Этот рационалистический скепсис разъедает христианство уже два тысячелетия. Разъедает, но не разъест. Однако коммунистическую теорию, свое собственное творение, он уничтожит в течение нескольких десятилетий. В вас, Людвик, он уже уничтожил ее. Вы сами это прекрасно знаете.

## 11

Пока люди силой воображения могут переноситься в царство сказок, они обычно исполнены благородства, сострадания и поэзии. В царстве же повседневной жизни они скорее полны осторожности, недоверия и подозрительности. Именно так люди вели себя и по отношению к Люции. Как только она вышла из детских сказок и стала обыкновенной девушкой, чьей-то сослуживицей и сожительницей, она тут же стала объектом любопытства, смешанного со злорадством, с каким обычно относятся к ангелам, низвергнутым с Небес, и к феям, изгнанным из легенды.

Особой пользы не принесло Люции и ее молчание. Примерно месяц

спустя из Остравы в госхоз пришло ее личное дело. Из него мы узнали, что на первых порах она работала ученицей в хебской парикмахерской, затем, проведя год в исправительном доме по обвинению в нарушении нравственности, перебралась в Остраву. В Остраве зарекомендовала себя хорошей работницей. В общежитии вела себя примерно. Перед своим бегством совершила единственную и абсолютно неожиданную провинность: была уличена в краже цветов на кладбище.

Сведения были скупые и скорее окутали Люцию еще большей загадочностью, чем пролили свет на ее тайну.

Я обещал директору взять Люцию под свою опеку. Она вызывала во мне симпатию. Работала молчаливо и увлеченно. При всей своей робости была спокойна. Я не находил в ней ничего от чудачества девушки, проведшей несколько недель бездомной скиталицей. Она неоднократно подтверждала, что в хозяйстве ей хорошо и она не собирается никуда уходить. Была покорной, готовой в любом споре уступить и потому постепенно завоевала расположение своих товарок по работе. Однако при всем при том в ее неразговорчивости оставалось что-то, что выдавало мучительную судьбу и оскорбленную душу. Я ни о чем так не мечтал, как об ее исповеди, но понимал и то, что на ее долю выпало немало вопросов и расспросов и что, по всей вероятности, они вызывают в ней ощущение допросов. И потому я не расспрашивал ее, а стал рассказывать о многих вещах сам. Что ни день я разговаривал с ней. Делился своим замыслом устроить в хозяйстве плантацию лечебных трав. Рассказывал, как в старые времена селяне лечились настоями и отварами из разных растений. Рассказывал ей о бедренце, которым лечили холеру и чуму, рассказывал о камнеломке, на самом деле ломающей камни — мочевые и желчные. Люция слушала. Она любила растения. Но какая святая простота! Она ничего не знала о них и не могла назвать почти ни одного.

Приближалась зима, а у Люции не было ничего, кроме ее красивых летних платьев. Я помог ей разобраться в ее денежном хозяйстве. Заставил купить непромокаемый плащ, свитер, а затем и другие вещи: туфли, пижаму, чулки, зимнее пальто...

Однажды я спросил ее, верует ли она в Бога. Форма ее ответа показалась весьма примечательной. Иными словами, она не ответила ни «да», ни «нет». Пожала плечами и проговорила: «Не знаю». Я спросил, знает ли она, кто был Иисус Христос. Она сказала: «Да». Но ничего не знала о нем. Его имя расплывчато связывалось у нее с образом Рождества, путались какие-то мысли о распятии, но то была лишь разорванная туманность двух-трех представлений, не раскрывающих никакого смысла. Люция до сей поры не знала ни веры, ни безверия. В эту минуту я испытал легкое головокружение, подобное тому, какое испытывает влюбленный, когда обнаруживает, что в таинство любимой не проник до него другой мужчина. «Хочешь, расскажу тебе о Нем?» — спросил я, и она кивнула. Пастбища и холмы были тогда уже покрыты снегом. Я рассказывал. Люция слушала...

## 12

Слишком много довелось ей вынести на своих хрупких плечах. Она нуждалась в ком-то, способном помочь ей, но никто не сумел это сделать. Помощь, какую предлагает религия, Люция, проста: покорись. Покорись вместе со своим бременем, под которым ты изнемогаешь. В этом великое облегчение — жить покорно. Я знаю, тебе некому было покориться, потому что ты боялась людей. Но у нас есть Бог. Покорись ему. И на тебя сойдет благодать.

Покориться — это значит отречься от прошлой жизни. Исторгнуть ее из души своей. Исповедаться. Скажи мне, Люция, почему ты убежала из Остравы? Из-за тех цветов на кладбище?

И потому.

А почему ты брала эти цветы?

Было грустно, и в своей комнатке в общежитии она ставила их в вазу. Она рвала цветы и на лоне природы, но Острава — черный город, и вокруг него нет почти никакой природы, лишь одни отвалы, заборы, парцеллы и разве что кое-где редкая рощица, покрытая копотью. Красивые цветы Люция находила только на кладбище. Цветы величественные, цветы торжественные. Гладиолусы, розы и маки. И еще хризантемы с их большими шапками из хрупких лепестков околоцветника...

А как изловили тебя?

Она любила ходить на кладбище. И не только из-за цветов, которые уносила оттуда, но и потому, что там было красиво и покойно, и эта тишина утешала ее. Каждая могила была особым самостоятельным садом, и потому она любила стоять у разных могил и разглядывать памятники с их печальными надписями. Чтобы ее не тревожили, она обычно, подражая некоторым посетителям кладбища, в основном более старым, тоже опускалась на колени у самого памятника. Однажды ее потянуло к могиле еще совсем свежей. Гроб был опущен в нее всего несколько дней тому. Глина на могиле была рыхлой, на ней лежали венки, а впереди в вазе цвели великолепные розы. Люция стояла на коленях, а плакучая ива нависала над ней, словно задушевно шепчущий свод небес. Люция растворилась в несказанном блаженстве. Но как раз в ту минуту к могиле подошел пожилой господин со своей супругой. Видимо, то была могила их сына или брата, бог весть. Увидев, что у могилы преклонила колени незнакомая девушка, изумились. Кто эта девушка? Им подумалось, что в ее появлении скрывается какая-то глубокая тайна, фамильная тайна, быть может незнакомая родственница или возлюбленная покойного... Они остановились, боясь потревожить ее. Смотрели на нее издали. И вдруг увидели, что девушка встает, берет из вазы этот прекрасный букет роз, который они сами недавно туда поставили, поворачивается и уходит. И тогда они побежали за ней. Кто вы? — спросили. Она смутилась, не нашлась что сказать, буквально потеряла дар речи. Как выяснилось, девушка вообще не знала покойного. Они позвали на помощь смотрительницу. Потребовали у Люции документ. Кричали, заверяли, что нет ничего страшнее, чем обкрадывать мертвых. Смотрительница подтвердила, что это не первая кража на кладбище. Позвали участкового, на Люцию снова напустились, и она во всем призналась.

### 13

«Иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов»,— сказал Иисус. Цветы на могилах принадлежат живым. Ты не знала Бога, Люция, но, должно быть, возжелала его. В красоте мирских цветов являлось тебе надмирное. Тебе ни для кого не нужны были цветы. Лишь ты нуждалась в них. От пустоты в твоей душе. А тебя поймали и унизили. И это была единственная причина, по какой ты бежала из черного города?

Она помолчала. Чуть погодя покачала головой.

Тебя обидели?

Кивнула.

Расскажи, Люция!

Та комнатка была совсем маленькая. Под потолком горела лампочка — без абажура, похотливо оголенная, она криво свисала из патрона. У стены была кровать, над ней картина, а на картине красивый мужчина в голубой ризе, стоявший на коленях. Это был Гефсиманский сад, но Люция не знала того. Он, значит, привел ее туда, а она сопротивлялась и кричала. Он хотел изнасиловать ее, срывал с нее платье, но она высвободилась из его рук и убежала.

Кто это был, Люция?

Солдат.

Ты любила его?

Нет, не любила.

Но почему же ты тогда пошла с ним в ту комнату, где была только голая лампочка и постель?

Это была всего лишь та пустота в душе, которая влекла ее к нему. И она, бедняжка, не нашла ничего, чем бы заполнить ее, кроме юнца, солдата на действительной службе.

И все-таки я не совсем понимаю тебя, Люция. Раз ты поначалу пошла с ним в эту комнату, где была лишь одна голая кровать, почему ты потом убежала оттуда?

Он был плохой и жестокий, как все.

О ком ты говоришь, Люция? Кто все?

Она молчала.

Кого ты знала до этого солдата?! Говори! Рассказывай, Люция!

## 14

Их было шестеро и одна она. Шестеро, от шестнадцати до двадцати. Ей было шестнадцать. Они составляли команду и говорили о ней всегда с уважением, словно это была языческая секта. В тот день зашла речь о посвящении. Принесли несколько бутылок дешевого вина. Она участвовала в попойке со слепой преданностью, в которую вкладывала всю неудовлетворенную любовь к матери и отцу. Она пила, когда они пили, смеялась, когда они смеялись. Потом велели ей раздеться. Никогда прежде она перед ними такого не делала. Поначалу она колебалась, но когда разделся сам вожак команды, она поняла, что приказ направлен не только против нее одной, и послушно подчинилась. Она доверялась им, доверялась и их грубости, они были ее защитой, ее щитом, она даже представить себе не могла, что без них делала бы. Они были ей матерью, были ей отцом. Они пили, смеялись и без конца отдавали приказы. Она раздвинула ноги. Она боялась, она знала, что это означает, но покорилась. Увидев у себя кровь, закричала. Ребята горланили, поднимали рюмки и лили дрянное шипучее вино на спину вожака, на ее тело, промеж ног их обоих, выкрикивали какие-то слова о Крещении и Посвящении, а потом вожак поднялся, и к ней подступил другой член команды. Так они подходили к ней по возрасту, а напоследок подошел самый младший, которому было шестнадцать, как и ей, и тут она уже не выдержала, невмоготу было от боли, от усталости, хотелось остаться одной, а так как этот последний был самый младший, она осмелилась его оттолкнуть. Но именно потому, что последний был самый младший, он не пожелал быть униженным! Как-никак он был членом команды, ее полноправным членом! Он хотел это доказать и потому отвесил Люции пощечину, и никто из команды не заступился за нее, все знали, что и самый младший имеет такие же права и требует того, что ему положено. У Люции брызнули слезы, но у нее не хватило смелости воспротивиться, и, стало быть, она раздвинула ноги в шестой раз...

Где это было, Люция?

В квартире одного из команды отец с матерью ушли в ночную, там была кухня и одна комната, в комнате стол, кушетка и кровать, над дверью в рамке надпись: «Пошли Бог счастья», а над кроватью в раме красивая госпожа в голубом одеянии держала у груди младенца.

Дева Мария?

Люция не знала.

А потом, Люция, что было потом?

А потом это часто повторялось и в той же квартире, и в других, и еще на природе. Это стало в команде обычаем.

И тебе нравилось, Люция?

Нет, не нравилось; с тех пор обращались они с ней все хуже и грубее, но не было оттуда дороги ни назад, ни вперед, никуда.

А как это кончилось, Люция?

Однажды вечером в одну такую пустую квартиру нагрянула полиция и всех до одного забрала. На совести ребят из команды, оказалось, были какие-то кражи. Люция об этом не знала, но известно было, что с командой она была во всем заодно и что команде — это тоже было известно — она отдавала все, что только может она как девушка дать. Она была опозорена на весь Хеб, и дома ее избили до полусмерти. Ребята получили разные наказания, а ее послали в исправительный дом. Там она пробыла год — до своих семнадцати. А потом ни за что на свете уже не захотела возвращаться домой. Вот и пришла она в черный город.

**15**

Я был буквально ошеломлен, когда позавчера Людвик сообщил по телефону, что знает Люцию. К счастью, он знал ее мельком. В Остраве у него якобы было знакомство с одной девушкой, которая жила с Люцией в общежитии. Когда он снова вчера о ней спросил, я рассказал ему все. Мне уже давно нужно было сбросить с себя этот камень, но до сих пор я не находил человека, которому мог бы довериться до конца. Людвик расположен ко мне и при этом достаточно далек от моей жизни и тем более от жизни Люции. Следовательно, мне нечего было опасаться, что предаю тайну Люции. Нет, о том, что доверила мне Люция, я не рассказал никому, разве только вчера Людвику. Впрочем, о том, что она была в исправительном доме и воровала на кладбище цветы, знал из ее характеристики весь госхоз. В целом с Люцией обходились ласково, но неустанно напоминали ей о прошлом. Директор говорил о ней как о «маленькой расхитительнице могил». Говорил вполне добродушно, но из-за этих разговоров Люциины давнишние грехи не изглаживались из памяти.

Люция была постоянно и непрерывно виновна. А при этом она не нуждалась ни в чем, кроме прощения. Да, Людвик, она нуждалась в прощении, нуждалась в том, чтобы пройти загадочное очищение, которое вам неведомо и непонятно.

Люди сами, известно, не способны отпускать грехи, это вовсе не в их власти. Им не дано изгладить грех, который содеялся. Это превыше человеческих возможностей. Лишить грех его силы, искупить грех, изъять его из времени, то есть что-то обратить в ничто,— деяние таинственное и сверхъестественное. Лишь Бог — ибо Он вырывается за пределы мирских закономерностей, ибо Он свободен, ибо Он способен творить чудо — может изладить грех, может обратить его в ничто, может простить его. Человек может прощать человеку лишь потому, что опирается на прощение Божие.

Но вы, Людвик, поскольку не веруете в Бога, не умеете прощать. Вы постоянно помните пленарное заседание, на котором все единодушно подняли против вас руки и согласились разрушить вашу жизнь. Вы им не простили этого. И не только им как отдельным личностям. Их там было человек сто, а это уже множество, которое в какой-то степени становится моделью человечества. Вы не простили человечеству. С той поры вы не доверяете ему и питаете к нему ненависть. Я могу вас понять, но это ничего не меняет в том, что такая всеохватная ненависть к людям страшна и греховна. Она стала вашим проклятьем. *Ибо жить в мире, в котором нет никому прощения и грех неискупим, это все равно, что жить в аду.* Вы живете в аду, Людвик, и мне жаль вас.

**16**

Все, что на этой земле сотворено Богом, может принадлежать дьяволу. В том числе и телодвижения любовников. Для Люции они стали сферой гнусности. Они сочетались у нее с лицами одичалых подростков, а позже с лицом преследовавшего ее солдата. О, я вижу его перед собою так ясно, словно знаю его! Банальными словами о любви, сладки-

ми, как патока, он приправляет грубое насилие самца, содержащегося без женщин за казарменной проволокой! И Люция вмиг познает, что нежные слова — всего лишь лживый покров на волчьем теле хамства. И весь мир любви рушится, летит в бездну гнусности.

Здесь были истоки болезни, отсюда мне надо было начинать. Человек, ступающий по морскому побережью и исступленно размахивающий высоко поднятым фонарем, может казаться безумцем. Но в ночи, когда в волнах мечется заблудшая лодка, тот же самый человек может стать спасителем. Земля, на которой мы живем,— это пограничная территория между небом и адом. Ни одно начинание само по себе не бывает ни добрым, ни злым. Лишь его место в сущем порядке делает его добрым или злым. Даже телесная любовь, Люция, не бывает сама по себе хорошей или дурной. Если она будет в согласии с порядком, который установил Бог, если ты будешь любить любовью верной, то и телесная любовь будет благостной и принесет тебе счастье. Ибо Бог порешил так, что «оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и два будут одною плотью».

Всякий день я говорил с Люцией, всякий день твердил ей, что грех ей будет отпущен, что она не должна замыкаться в самой себе, что должна скинуть смирительную рубашку со своей души, что должна покорно отдаться Божиему порядку, в котором и любовь тела обрящет свое место.

Так проходили недели...

Затем пришел весенний день. На холмистых откосах цвели яблони, и их кроны на легком ветру походили на раскаченные колокола. Я закрыл глаза, вслушиваясь в их бархатный звук. А когда открыл глаза, увидел Люцию в синем рабочем халате, с тряпкой в руке. Она смотрела вниз в долину и улыбалась.

Я наблюдал за этой улыбкой, силясь проникнуть в нее. Возможно ли? Ведь душа Люции до сих пор находилась в постоянном бегстве, бегстве от прошлого и будущего. Ее пугало все. Прошлое и будущее были для нее подобны водяным пропастям. Она в страхе цеплялась за дырявый челн настоящего, словно за утлое прибежище.

И вот сегодня она улыбается. Без причины. Просто так. И эта улыбка говорит мне, что она смотрит в будущее с доверием. В эту минуту я испытывал то же, что и пловец, достигший после многих месяцев обетованной земли. Я был счастлив. Я оперся о кривой ствол яблони и снова на мгновенье закрыл глаза. Я слышал шелест ветерка и бархатное вызваниванье белых крон, я слышал трели птиц, и эти трели перед закрытыми глазами превращались в тысячи светильников, вознесенных в невидимых руках во славу великого торжества. Я не видел рук, но слышал высокие звуки голосов, и казалось мне, что это дети, веселая детская процессия... И вдруг я почувствовал на своем лице руки. И раздался голос: «Пан Костка, вы такой хороший...» Я не открыл глаз. Не шевельнул рукой. Я все время видел превратившиеся в хоровод птичьи голоса, я все время слышал звон яблонь. И голос досказал глуше: «Я люблю вас». Наверное, мне положено было дождаться этой минуты и немедля уйти, ибо моя цель была достигнута. Но прежде чем я успел что-либо осознать, на меня навалилась одуряющая слабость. Мы были совсем одни на широком приволье, средь жалких яблонек, и я обнял Люцию и лег с нею на первозданное ложе.

## 17

Случилось то, что не должно было случиться. Прозрев сквозь Люциину улыбку ее примиренную душу, я достиг цели и обязан был уйти. Но я не ушел. И это не привело к добру. Мы продолжали жить вместе в одном хозяйстве. Люция светилась счастьем и похожа была на весну, которая вокруг нас исподволь преображалась в лето. Но вместо того, чтобы быть таким же счастливым, я ужасался этой великой женской

весны возле себя, которую сам же разбудил и которая повернулась ко мне всеми своими распускающимися цветами, какие, насколько я знал, не принадлежат мне и не смеют мне принадлежать. У меня в Праге были сын и жена, которая терпеливо ждала моих редких наездов домой.

Я боялся оборвать возникшие у меня с Люцией интимные отношения, чтобы не ранить ее, но не решался и продолжать их, зная, что не имею на них права. Я жаждал Люции, но при этом боялся ее любви, ибо не ведал, как справиться с этой любовью. Лишь огромным усилием воли я поддерживал естественность наших прежних разговоров. Между нами вклинились мои сомнения. Мне казалось, что моя духовная помощь Люции теперь обличена. Что к Люции влекло меня вожделение с того момента, как я увидел ее. Что действовал я как совратитель, который рядится в тогу утешителя и проповедника. Что все эти разговоры об Иисусе и о Боге были лишь ширмой для самой низменной, телесной жажды. Мне казалось, что в ту минуту, когда я дал волю своему любострастию, я запачкал чистоту своих исходных помыслов и целиком лишился своих заслуг перед Богом.

Но как только я пришел к этой мысли, мои рассуждения повернули вспять; какое тщеславие, кричал я мысленно на самого себя, какая самолюбивая мечта, какое стремление выслужиться перед Богом, добиться Его расположения! Но что значат человеческие заслуги перед Ним? Ровным счетом ничего! Люция любит меня, и все ее благополучие зависит от моей любви! Ну как я вновь повергну ее в отчаяние лишь потому, что хочу быть чистым? Не будет ли Бог именно поэтому презирать меня? А коль моя любовь грех, то что важнее: жизнь Люции или моя безгрешность? Это же будет *мой* грех, лишь *я* один буду нести его, лишь я сам покараю себя своим грехом!

В эти раздумья и сомнения нежданно вторглось нечто извне. Против моего директора в центре состряпали политическое дело. Директор защищался как мог, но его попрекнули еще и тем, что он окружает себя подозрительными элементами. Одним из таких элементов был я: человек, уволенный из вуза за антигосударственные взгляды, клерикал. Директор тщетно доказывал, что я не клерикал и не был изгнан из вуза. Но чем больше он заступался за меня, тем больше подтверждал свою связь со мной и тем больше вредил себе. Мое положение было едва ли не безнадежным.

Несправедливость, скажете? Да, Людвик, именно это слово вы чаще всего произносите, когда слышите о такой истории или ей подобных. Но мне неведомо, что такое несправедливость. Не будь над делами людскими ничего иного или имей поступки лишь то значение, какое им приписывают их создатели, понятие «несправедливость» было бы оправданно, и я бы тоже мог говорить о «несправедливости», будучи так или иначе выброшенным из госхоза, где я до этого самоотверженно трудился. Вероятно, было бы логично защищаться против этой несправедливости и отчаянно драться за свои маленькие человеческие права.

Однако события по большей части имеют иное значение, чем им приписывают их слепые авторы; зачастую они суть сокрытые указания сверху, и люди, их допустившие,— лишь непосвященные вестники Высшей воли, о которой не имеют понятия.

Я был уверен, что и на сей раз это именно так. Поэтому я воспринял события в хозяйстве с облегчением. Я видел в них ясное указание: оставь Люцию, пока еще не поздно. Твоя задача выполнена. Ее плоды тебе не принадлежат. Твоя дорога ведет к другим берегам.

И вот я сделал то же, что и два года назад на естественном факультете. Я расстался с плачущей и доведенной до отчаяния Люцией и пошел навстречу воображаемым невзгодам. Я сам решил уйти из госхоза. Директор хотя и возражал мне, но я понимал, что делает он это из вежливости, а в глубине души рад.

Только на сей раз добровольность моего ухода уже никого не тронула. Здесь не было дофевральских друзей-коммунистов, что на проща-

ние выстлали бы мне дорогу хорошими характеристиками и советами. Уходил я из госхоза, как человек, который сам признает, что в этом государстве недостоин выполнять более или менее значимую работу. Так я стал строительным рабочим.

## 18

Был осенний день тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. Тогда я впервые по прошествии пяти лет встретился с Людвиком в вагоне-ресторане скорого поезда, следовавшего из Праги в Братиславу. Я ехал на строительство одного завода в восточной Моравии. Людвик возвращался домой в Моравию. Развязавшись со своими трудовыми обязательствами на Остравских рудниках, он теперь ходатайствовал в Праге, чтобы ему разрешили доучиться. Мы едва узнали друг друга. А узнав, были взаимно поражены нашими судьбами.

Я отлично помню, Людвик, с каким участием вы слушали, когда я рассказывал о своем уходе с факультета и об интригах в госхозе, в результате которых я вынужден был работать каменщиком. Благодарю вас за участие. Вы горячились, говорили о несправедливости и об абсурдности кадровой политики. Разгневались вы и на меня: ставили мне в укор, что я не защищался, что сдался без боя. Нам, дескать, ниоткуда нельзя уходить добровольно. Пусть наш противник вынужден будет прибегать к худшему! Зачем облегчать его совесть?

Вы шахтер, я каменщик. Наши судьбы достаточно схожи, и все же мы с вами такие разные. Я прощающий, вы непокорный, я мирный, вы строптивый. Как близки мы были внешне и как далеки внутренне!

О нашей духовной отчужденности вы знали меньше, чем я. Рассказывая подробно о том, почему вас исключили в пятидесятом из партии, вы с абсолютной уверенностью думали, что я на вашей стороне и так же, как и вы, возмущаюсь ханжеством товарищей, которые карали вас, ибо вы шутили над тем, что они почитали святым. Ну и что в этом такого? — спрашивали вы с искренним удивлением.

Я расскажу вам вот что: в Женеве, во времена, когда ею завладел Кальвин, жил один юноша, возможно, похожий на вас, интеллигентный молодой человек, пересмешник, у которого нашли записи с издевками и нападками в адрес Иисуса Христа и Евангелия. Что в том особенного? — быть может, думал этот юноша, столь похожий на вас. Он же не делал ничего дурного, разве что шутил. Ему едва ли была ведома ненависть. Он знал лишь непочтение и равнодушие. Он был казнен.

Не считайте меня сторонником такой жестокости. Я хочу лишь сказать, что ни одно великое движение, призванное преобразовать мир, не выносит насмешек и унижений, ибо это ржавчина, которая разъедает все.

Ведь вы, Людвик, продолжаете держаться своей позиции. Вас исключили из партии, отчислили из университета, послали служить среди политически неблагонадежных солдат, а затем еще на два-три года упекли на рудники. И что же вы? Вы озлобились до глубины души, убежденный в безбрежии несправедливости. Это ощущение учиненной кривды по сей день определяет всю вашу жизненную позицию. Не пойму вас! Почему вы толкуете о несправедливости? Вас послали к «черным» солдатам — к врагам коммунизма. Хорошо. И это была несправедливость, по вашему мнению? А не было ли это для вас скорее великим благом? А что, если вы работали среди врагов! Есть ли миссия более серьезная и высокая? Разве не посылает Иисус своих учеников, «как агнцев среди волков»? «Не здоровые имеют нужду во враче, а больные»,— говорил опять же Иисус. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Но вы не стремились идти к грешникам и больным!

Вы скажете, что мое сравнение неуместно. Что Иисус посылал своих учеников «среди волков», осенив их своим благословением, тогда как вы были сперва сами изгнаны и прокляты и лишь затем посланы как враг среди врагов, как волк среди волков, как грешник среди грешников.

Почему вы отрицаете, что вы действительно были грешны? Разве перед лицом своих товарищей вы в самом деле ни в чем не провинились? Откуда берется в вас эта гордыня? Человек, преданный своей вере, покорен и должен покорно принимать и неправедную кару. Унижающий себя да возвысится. Кающийся да простится. Те, которым чинят неправду, имеют возможность испытать свою преданность. Если вы озлобились на своих товарищей лишь потому, что они возложили вам на плечи слишком тяжкое бремя, ваша вера была слабой, и испытание, которое вам было ниспослано, вы не выдержали.

В вашем споре с партией, Людвик, я не стою на вашей стороне, ибо знаю, что великие дела на этом свете можно творить лишь в сообществе людей безгранично преданных, покорно отдающих свою жизнь высшим помыслам. Вы, Людвик, не безгранично преданы. Ваша вера зыбкая. И как не быть ей таковой, коль вы вечно взывали лишь к самому себе и к своему жалкому разуму!

Могу ли я быть неблагодарным, Людвик? Я знаю, что вы сделали для меня и для многих других людей, которых нынешний режим ущемил так или иначе. Вы пользуетесь своими дофевральскими знакомствами с видными коммунистами и своим теперешним положением ради того, чтобы уговаривать, ходатайствовать, помогать. Я люблю вас за это. И все-таки скажу вам еще раз напоследок: загляните на дно души своей! Самый сильный побудитель благотворительности вашей — не любовь, а ненависть! Ненависть к тем, кто когда-то оскорбил вас, к тем, кто в том зале поднял руку против вас! Ваша душа не знает Бога и потому не знает прощения. Вы мечтаете о возмездии. Тех, кто когда-то оскорбил вас, вы отождествляете с теми, кто оскорбляет других, и мстите им. Да, вы мстите! Вы преисполнены ненависти, хоть помогаете людям! Я чувствую это в вас. Чувствую в каждом вашем слове. Но что может породить ненависть, как не ответное зло и целую цепь последующего зла? Вы живете в аду, Людвик, еще раз повторяю вам: вы живете в аду, и мне жалко вас.

## 19

Услышь Людвик мой монолог, он мог бы сказать, что я неблагодарен. Нет, я знаю, он очень помог мне.

Тогда, в пятьдесят шестом, когда мы встретились в поезде, он скорбел над моей жизнью, сожалел о моих способностях и немедля стал обдумывать, как найти для меня работу, которая радовала бы и давала возможности применить себя. Я тогда поразился тому, как быстро и целенаправленно он действовал. Прежде всего поговорил у себя на родине со своим товарищем. Хотел устроить меня в тамошнюю среднюю школу преподавать естествознание. Конечно, это было чересчур смело. Антирелигиозная пропаганда шла тогда полным ходом, и принять в среднюю школу верующего учителя было почти невозможно. Впрочем, это понял и товарищ Людвика и придумал иной выход. Так я попал на вирусологическое отделение здешней клиники, где вот уже восемь лет на мышах и кроликах испытываю вирусы и бактерии. Что правда, то правда. Не будь Людвика, я не жил бы здесь, а значит, и Люции здесь бы не было.

Через несколько лет после моего ухода из госхоза она вышла замуж. Но остаться там не могла — муж хотел работать в городе. Судили-рядили, где бы им бросить якорь. И тогда Люция уговорила мужа перебраться сюда, в город, где жил я. Никогда в жизни не получал я большего подарка, большего вознаграждения. Моя овечка, моя голубка, дитя, которое я вылечил и напоил своей собственной душой, возвращается ко мне. Она ничего не хочет от меня. У нее есть муж. Но хочет быть рядом со мной. Ей нужен я. Ей нужно иногда меня слышать. Видеть на воскресном богослужении. Встречать на улице. Я был счастлив и думал в ту минуту о том, что уже немолод, что даже старше, чем кажусь себе, и что Люция, возможно, была единственным творением всей моей

жизни. Разве этого мало, Людвик? Никоим образом. Этого достаточно, и я счастлив... Счастлив, да-да, счастлив...

### 20

О, как я обманываю себя! Как я упорно пытаюсь убедить себя в правильности выбранного пути! Как я похваляюсь силой своей веры перед неверующим!

Да, мне удалось обратить Люцию к Богу. Мне удалось успокоить ее и вылечить. Я избавил ее от чувства омерзения к телесной любви. И в конце концов уступил дорогу другому. Да, но принес ли я тем самым ей благо?

Ее брак оказался несчастливым. Муж — грубиян, в открытую изменяет ей, поговаривают даже — бьет ее. Люция никогда в этом не признавалась мне. Знала, это огорчило бы меня. Она показывала мне муляж счастья, а не настоящую свою жизнь. Но мы живем в небольшом городишке, где нельзя ничего утаить.

О, как я умею обманывать себя! Я принял политические интриги против директора госхоза как сокровенное указание Божие и ушел. Но как различить Божий голос среди стольких других голосов? Что, если голос, который я тогда слышал, был лишь голосом моего малодушия? В Праге все-таки у меня были жена и ребенок. Пусть я не был привязан к ним, но и покинуть их у меня не хватало сил. Я боялся неразрешимых ситуаций. Боялся Люциной любви, не знал, как справиться с этой любовью. Я приходил в ужас от мысли о тех сложностях, на которые она обрекла бы меня.

Я притворялся ангелом, несущим Люции спасение, а на самом деле был еще одним из ее растлителей. Я любил ее лишь один-единственный раз и отвернулся от нее. Я делал вид, что несу ей прощение, меж тем как ей было за что прощать меня. Она доходила до отчаяния, она плакала, когда я уезжал, а через несколько лет приехала-таки ко мне и поселилась здесь. Разговаривала со мной. Относилась ко мне по-дружески. Простила меня. Впрочем, иначе и быть не могло. Не часто случалось со мной в жизни такое, но эта девушка любила меня. Судьба была в моих руках. В моей власти было счастье Люции. И я сбежал. Никто не провинился перед ней так, как я.

И вдруг мелькнула мысль: а что, если иллюзорные призывы Божии служат мне лишь предлогом, дающим возможность уклоняться от моих человеческих обязанностей? Я боюсь женщин. Боюсь их тепла. Боюсь их непрерывного присутствия. Я страшился жизни с Люцией так же, как теперь страшусь перспективы навсегда переселиться в двухкомнатную квартиру учительницы в соседнем городе.

И почему, впрочем, пятнадцать лет назад я добровольно покинул факультет? Я не любил своей жены, что на шесть лет была старше меня. Я не выносил ни ее голоса, ни ее лица, так же как и размеренного тиканья домашних часов. Я не мог с нею жить, но не мог и оскорбить ее разводом — она была добра ко мне и никогда ни в чем не провинилась передо мной. И вот однажды я услыхал спасительный голос возвышенного зова. Я слышал Иисуса — он призывал меня оставить свои сети.

О Боже, неужто и вправду это так? Неужто и вправду я так ничтожно смешон? Скажи, что это не так! Уверь меня! Отзовись, Боже, отзовись громче! Я совсем не слышу тебя сквозь этот хаос невнятных голосов!

## VII

### 1

Вернувшись поздно вечером от Костки к себе в гостиницу, я был полон решимости рано утром уехать в Прагу, поскольку здесь мне уже ничего не светило; моя мнимая миссия в родном городе завершилась.

Однако, к несчастью, в голове у меня царил такой сумбур, что до поздней ночи я ворочался с боку на бок на кровати (скрипучей кровати) и не мог заснуть; а заснув наконец, спал тревожно, часто пробуждался и лишь под утро погрузился в глубокий сон. Поэтому очнулся поздно, только к девяти, когда утренние автобусы и поезда уже отошли, и уехать в Прагу оказалось возможным только около двух пополудни. Я было совсем впал в отчаянье: в этом городе я чувствовал себя словно человек, потерпевший кораблекрушение; я вдруг невыносимо затосковал по Праге, по своей работе, по письменному столу в своей квартире, по книгам. Но что поделаешь. Стиснув зубы, я спустился вниз, в ресторан, чтобы позавтракать.

Войдя, осторожно огляделся — боялся встретиться с Геленой. Но там ее не было (скорей всего она уже бегала по соседней деревне с магнитофоном через плечо и надоедала прохожим своим микрофоном и дурацкими вопросами); зато ресторанный зал был переполнен множеством иных людей; галдя и дымя, они сидели за своим пивом, черным кофе, хлебной водкой и коньяком. О, ужас! Я понял, что и на сей раз мой родной город не даст мне возможности прилично позавтракать.

Я вышел на улицу; голубое небо, разорванные тучки, начинающаяся духота, чуть клубящаяся пыль, улица, убегающая к плоской широкой площади с торчащей башней (да, с той самой, что напоминала воина в шлеме), все это овеяло меня грустью пустоты. Издалека доносился хмельной крик протяжной моравской песни (в ней, казалось, заколдованы были тоска, степь и долгие конные походы наемников-улан), и в мыслях всплыла Люция, история давно минувшая, что сейчас походила на эту тягучую песню и взывала к моему сердцу, по которому прошло (будто прошло по степи) столько женщин, не оставив там по себе ничего, так же как и клубящаяся пыль не оставляет никаких следов на этой плоской широкой площади; она садится меж булыжников и, снова вздымаясь, с порывом ветра отползает дальше.

Я шел по запыленным камням мостовой и ощущал удручающую легкость пустоты, лежавшей на моей жизни: Люция, богиня пара, отняла у меня когда-то самое себя, вчера она превратила в ничто мою четко продуманную месть, а следом и воспоминание по себе обратила во что-то до отчаяния смешное, в некую гротескную ошибку, ибо то, что мне рассказывал Костка, лишь показывает, что все эти годы я вспоминал о ком-то совершенно другом, но не о ней, поскольку никогда и не знал, кто такая Люция.

Я всегда с восхищением думал, что Люция для меня нечто абстрактное, легенда и миф, но теперь я стал понимать, что в этих опоэтизированных терминах скрывается правда совсем не поэтическая, что я не знал Люции, что не знал ее такой, какой она была на самом деле, какой была сама по себе и для себя. Я не замечал в ней (в юношеском эгоцентризме) ничего, кроме тех сторон ее существа, которыми она была обращена непосредственно ко мне (к моему одиночеству, к моей несвободе, к моей тоске по неге и любви); она была для меня не чем иным, как *функцией моей собственной жизненной ситуации;* все, чем она превосходила эту конкретную жизненную ситуацию, все, в чем она оставалась самой собой, ускользало от меня. А коль она была для меня действительно всего лишь функцией ситуации, то было совершенно логично, что, как только ситуация изменилась (когда наступила иная ситуация, да и сам я постарел и изменился), исчезла и *моя Люция,* ибо стала всего лишь тем, что в ней ускользало от меня, что не касалось меня, чем она превосходила пределы моего «я». И потому было вполне логично, что пятнадцать лет спустя я вообще не узнал ее. Она уже давно была для меня (а я никогда и не воспринимал ее иначе чем «существом для меня») другим и незнакомым человеком.

Пятнадцать лет шла ко мне весть о моем поражении и наконец настигла меня. Чудак Костка (к которому я всегда относился полусерьезно) значил для нее больше, больше сделал для нее, больше знал ее и

*лучше* (не хочу сказать *больше,* ибо сила моей любви была максимальной) любил ее: она доверилась ему во всем — мне ни в чем; он сделал ее счастливой — я несчастной, он познал ее тело — я никогда. Хотя для того, чтобы овладеть ее телом, о котором я так отчаянно тогда мечтал, достаточно было единственной и совсем простой вещи: понять ее, разобраться в ней, любить ее не только за то, чем она была обращена ко мне, но и за то, что меня непосредственно не касалось, чем она была сама по себе и для себя, а я не сумел этого и тем самым жестоко наказал нас обоих. Меня залила волна злобы на самого себя, на мой тогдашний возраст, идиотский *лирический* возраст, когда человек представляет сам для себя чересчур большую загадку, чтобы еще быть в состоянии обращаться к загадкам внешним; когда все окружающие (и даже самые любимые) являются лишь подвижными зеркалами, в которых он с изумлением отыскивает изображение своего собственного чувства, своего собственного умиления, своей собственной ценности. Да, все эти пятнадцать лет я вспоминал о Люции, лишь как о зеркале, сохранившем мой тогдашний образ!

Вспомнилась холодная комнатенка с одной кроватью, освещаемая сквозь замызганное стекло фонарем, вспомнилось бурное сопротивление Люции. Все это выглядело скверной шуткой: я считал ее девственницей, а она сопротивлялась как раз потому, что не была ею и боялась, верно, минуты, когда я узнаю правду. Или ее сопротивление имело еще одно объяснение (перекликающееся с тем, как понимал Люцию Костка): первые грубые сексуальные переживания вселили в Люцию отвращение к любовному акту и в ее сознании лишили его значения, какое придает ему большинство людей; они целиком опустошили его, освободив от нежности и любовной страсти; для этой девочки-курвочки тело было чем-то отвратительным, а любовь — чем-то нетелесным; душа вступила с телом в тихую и непримиримую войну.

Это объяснение (столь мелодраматическое и, однако же, столь правдоподобное) вновь навеяло мне мысль о том печальном разладе (я сам так хорошо знал его в самых разных подобиях) между душой и телом и воскресило в памяти (поскольку грустное всегда неотделимо от комического) историю, над которой я когда-то страшно смеялся: одна моя добрая знакомая, женщина весьма легкомысленная (чем я сам изрядно злоупотреблял), обручилась с одним физиком и на сей раз была готова наконец испытать любовь; но чтобы суметь почувствовать ее как любовь *настоящую* (отличную от десятков любовных связей, через какие прошла), она отказывала жениху в телесной близости вплоть до самой брачной ночи: бродила с ним вечерними аллеями, жала ему руку, целовалась с ним под фонарями и так давала возможность своей душе (необремененной телом) воспарять на головокружительную высоту. Через месяц после свадьбы она развелась с ним, горько сетуя на то, что он обманул ее большое чувство, ибо показал себя плохим любовником, едва не импотентом.

Вдалеке все еще раздавался пьяный крик протяжной моравской песни и смешивался во мне с гротескным привкусом припомнившейся истории, с пыльной пустотой города и моей тоской, в которой теперь, сверх всего, еще отзывался из моего нутра голод. Впрочем, я был в нескольких шагах от кафе-молочной; я подергал дверь — была закрыта. Какой-то прохожий сказал мне: «Э, приятель, нынче все кафе на празднике».— «На Коннице королей?» — «Оно самое, у них там своя палатка имеется».

Я чертыхнулся, но пришлось смириться — пойти в направлении доносившейся песни. К фольклорному празднику, которого я отчаянно избегал, повел меня мой урчащий желудок.

2

Усталость. С раннего утра ужасная усталость. Словно всю ночь прокутил. Но я всю ночь спал. Только это уже не сон, а лишь снятое молоко сна. За завтраком я едва сдерживал зевоту. Вскоре к нам стали заходить люди. Товарищи Владимира, да и просто любители поглазеть. Парень-кооператор привел на наш двор коня для Владимира. И вдруг среди прочих заявился Калашек, культработник из районного национального комитета. Вот уже два года как я с ним воюю. Был он в черной паре, вид имел торжественный и шел в сопровождении элегантной женщины. Редакторши пражского радио. Сказал, что я должен пойти с ними. Пани редакторша хочет, мол, записать для радио беседу о «Конице королей».

Отвяжитесь от меня! Не стану я перед вами фиглярничать. Редакторша рассыпалась в любезностях, говорила, что знает меня лично, и, конечно, Калашек — туда же. Заявил, что пойти побеседовать — моя политическая обязанность. Шут гороховый! Если б не Власта, так бы я и пошел! Сказал, что сын мой нынче будет королем и что хочу видеть его сборы своими глазами. Но Власта оборвала меня: дескать, подготовить сына — ее забота. А мне лучше пойти и выступить по радио.

И я таки в конце концов покорно пошел. Редакторша обреталась в помещении национального комитета. У нее там был магнитофон, и обслуживал его молодой парень. Молола она без умолку и все время смеялась. Затем приблизила микрофон ко рту и задала первые вопросы Калашеку.

Калашек откашлялся и давай. Развитие народного искусства, сказал он,— неотъемлемая часть коммунистического воспитания. Районный национальный комитет полностью разделяет это. И потому полностью поддерживает. Желает им полного успеха и полностью присоединяется. Благодарит всех, кто принял участие. Энтузиасты-организаторы и энтузиасты-школьники, которые целиком и полностью...

Устал я, страшно устал. Все время одни и те же фразы. Пятнадцать лет выслушивать одни и те же фразы, а на этот раз выслушивать их еще от Калашека, которому все народное искусство вообще до лампочки. Народное искусство для него — средство побахвалиться новым мероприятием. Выполнить руководящее указание. Подчеркнуть свои заслуги. Он и пальцем не двинул ради «Конницы королей», каждую копейку прижимает, и все-таки «Конница королей» будет приписана только его стараниям. Он вершитель культуры в районном масштабе... Бывший приказчик, не способный отличить скрипку от гитары.

Редакторша, подставив микрофон ко рту, спросила: доволен ли я нынешней «Конницей королей». Я было хотел над ней посмеяться: «Конница королей» ведь еще и не выехала! Но посмеялась она надо мной: как, мол, я такой опытный фольклорист, а не могу сказать заранее, что из этого выйдет?! Да, они знают все наперед. Ход всех будущих событий им уже наперед известен. Будущее уже давно свершилось, и все, что будет,— для них лишь повторение.

Меня разбирала охота высказать ей все, что думаю. Что «Конница королей» получилась хуже, чем в прошлые годы. Что народное искусство год от году теряет своих приверженцев. Что теряют к нему интерес и различные общественные организации. Что оно уже почти умерло. То, что по радио все время звучит народная музыка, не может вводить нас в заблуждение. Все эти оркестры народных инструментов и ансамбли народных песен и танцев скорей опера, или оперетта, или же просто развлекательная музыка, а вовсе не народное искусство. Оркестр народных инструментов да с дирижером, партитурой, пюпитрами для нот! Чуть ли не симфоническая оркестровка! Какая извращенность! То, что вам известно, пани редакторша, по оркестрам и ансамблям,— всего лишь устаревшее романтическое музыкальное мышление, использовавшее народные мелодии! Настоящего народного искусства уже нет и в помине, пани редакторша, его уже нет, оно мертво.

Я хотел все это выпалить в микрофон, но в конце концов сказал нечто совершенно иное: «Конница королей» была великолепна. Сила народного искусства. Разлив красок. Полностью разделяю. Спасибо всем, кто принял участие. Энтузиасты-организаторы и энтузиасты-ученики, которые целиком и полностью... Мне стыдно было, что говорю так, как им хочется. Неужто я так труслив? Или я такой вышколенный? А может, просто устал?

Я был рад, что отделался от них и могу уйти подобру-поздорову. Скорее домой!

На дворе было много зевак и всяческих доброхотов, что украшали лошадь бантами и лентами. Хотелось увидеть сборы Владимира. Я вошел в дом, но двери в гостиную, где его одевали, были закрыты. Я постучал и крикнул. Отозвалась Власта. Тебе здесь нечего делать, здесь одевается король. Черт подери, говорю, как это мне нечего делать? Это против традиции, прозвучал из-за двери Властин голос.

Трудно понять, почему это против традиции, если при одевании короля присутствует его отец, но я не сказал ей этого. В ее голосе мне послышалась увлеченность, и уже одно это меня радовало. Радовало, что они увлечены моим миром. Моим жалким и опустевшим миром.

Я снова вышел во двор и поболтал с людьми, украшавшими лошадь. То была тяжелая упряжная лошадь из кооператива. Терпеливая и спокойная.

Потом я услышал шум голосов, долетающий с улицы сквозь запертые ворота. А следом крики и буханье. Настал мой час. Взволнованный, я открыл ворота и вышел на улицу. «Конница королей» выстроилась в ряд перед нашим домом. Лошади в лентах и бантах. На лошадях парни в пестрых национальных костюмах. Как двадцать лет назад. Как двадцать лет назад, когда приехали за мной. Когда просили моего отца отдать сына в короли.

Прямо у самых ворот сидели верхом два пажа в женских национальных платьях и с саблями наголо. Ждали Владимира, чтобы весь день сопровождать и охранять его. К пажам навстречу из группы всадников выехал молодой мужчина, осадил коня вплотную возле меня и возгласил стихами:

Гилом, гилом, слушайте!
Свет наш батюшка, просить мы вас пришли
пожаловать нам сына в короли!

Потом пообещал, что они будут пуще глаза беречь короля. Что проведут его целым и невредимым сквозь вражеское войско. Что не отдадут его в руки недругов. И что готовы биться до последнего. Гилом, гилом!

Я оглянулся: в темном проезде нашего двора уже сидела на убранном коне фигура в женском национальном костюме — в блузе с присборенными рукавами, с цветными лентами, свисающими на лицо. Король. Владимир. Я вдруг забыл о своей усталости и раздраженности. И мне стало благостно. Старый король посылает в мир молодого короля. Повернувшись, я направился к нему. Подошел вплотную к лошади и встал на цыпочки, чтобы как можно ближе дотянуться губами до его закрытого лица. «Владя, счастливого пути!» — прошептал я ему. Он не ответил. Не шелохнулся. А Власта с улыбкой сказала: «Он не смеет тебе отвечать. До самого вечера он не смеет вымолвить ни единого слова».

### 3

Не прошло и четверти часа, как я очутился в деревне (во времена моей юности она была отделена от города полосой полей, но теперь составляла с ним почти единое целое); пение, которое я слышал уже в городе (оттуда отдаленное и заунывное), звучало сейчас в полную силу, ибо неслось из репродукторов, установленных на домах и электрических столбах (а я, идиот, вечно попадаюсь на удочку: еще минуту назад на

меня навевал грусть этот тоскливый и, казалось, хмельной голос, а на самом деле это был всего лишь голос в грамзаписи, за который надо благодарить транслирующее устройство в национальном комитете и две заигранные пластинки!); на некотором расстоянии от деревенской площади были сооружены триумфальные ворота с большим бумажным транспарантом, на котором красными витиеватыми буквами было написано: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ; люди толпились здесь уже более скученно, большей частью в обычной одежде, но среди них там-сям мелькали и несколько стариков в национальных костюмах: в сапогах, белых льняных брюках и вышитых рубахах. Улица расширялась здесь в деревенскую площадь; между шоссейной дорогой и шеренгой домов тянулся просторный травяной газон с редко посаженными деревцами, средь которых было поставлено (ради сегодняшнего празднества) несколько палаток, где продавали пиво, лимонад, арахис, шоколад, пряники, сосиски с горчицей и вафли; в одной палатке разместилось городское молочное кафе, в котором торговали молоком, сыром, маслом, молочными коктейлями, йогуртом и сметаной; алкоголь (кроме пива) не продавался ни в одной из палаток, но, невзирая на это, мне казалось, что большинство людей были под хмельком; толкая друг друга, они теснились у палаток, ротозейничали; то и дело кто-то громко затягивал песню, но всякий раз это оказывалось лишь напрасной натугой голоса (сопровождаемой пьяным взмахом руки: два-три такта песни тотчас тонули в гуле площади, которая непрестанно оглашалась народной песней из репродукторов. По всей площади валялись (хотя было рано и «Конница королей» пока еще не выехала) вощеные стаканчики из-под пива и бумажные тарелочки со следами горчицы.

От палатки с молоком и йогуртом веяло трезвенностью, и потому она отпугивала людей; когда мне удалось, почти не теряя времени, получить стакан молока и слоеный рогалик, я отошел в более уединенное место, чтобы меня не толкали, и отхлебнул молока. В эту минуту в другом конце площади поднялся галдеж: «Конница королей» въезжала на площадь.

Черные шляпки с петушиными перьями, широкие сборчатые рукава белых рубах, голубые жилеты с красными кисточками шерсти, цветные бумажные ленты, развевающиеся вдоль лошадиных тел, запрудили пространство площади; и сразу в людское жужжанье и песни из громкоговорителей влились новые звуки: ржание лошадей и призывы конников:

Гилом, гилом, слушайте,
соседи верхние и нижние, домашние и пришлые,
кто пожаловал сюда на Троицын день.
Хоть король наш бедный, да очень честный,
увели у него тыщу волов
из пустых дворов...

Мой слух и зрение поразила сумбурная картина, где все взаимно перемешивалось: фольклор из громкоговорителя и фольклор на лошадях: цветистость национальных костюмов и лошадей и убожество коричневых и серых тонов плохо сшитой гражданской одежды публики; старательная непринужденность празднично одетых всадников и старательная озабоченность устроителей, которые с красными повязками на рукаве сновали среди лошадей и зрителей и пытались удержать возникшую сутолоку в пределах относительного порядка; это было далеко не простым делом и не столько из-за разболтанности публики (к счастью, не очень многочисленной), сколько из-за безостановочного движения на шоссе; устроители стояли впереди и позади всадников, подавая машинам знак уменьшить скорость; между лошадьми продирались легковушки, грузовики и рычащие мотоциклы, что повергало лошадей в беспокойство, а ездоков — в растерянность.

По правде сказать, столь упрямо уклоняясь от участия в этом (да и в каком угодно) фольклорном празднестве, я боялся не того, что сейчас видел, а чего-то другого: я предвидел безвкусицу, дешевое смешение на-

стоящего народного искусства с кичем, предвидел дурацкие выступления ораторов, предвидел всевозможную модернизацию (и не удивился бы, если бы бодрячки-функционеры превратили «Конницу королей», скажем, в «Конницу партизан»), да, я предвидел все самое худшее вплоть до напыщенности и фальши, но не сумел предвидеть того, что с самого начала неумолимо наложило отпечаток на весь праздник; не предвидел я грустной, едва ли не трогательной *убогости;* она таилась во всем: в немногих палатках, в малочисленной, но совершенно несобранной и суетливой публике, в разладе повседневного транспорта с анахроническим празднеством, во вспугнутых лошадях, в ревущем громкоговорителе, который с механической инерцией выкрикивал в мир две бессменно повторяемые народные песни, начисто заглушая (вместе с грохотом мотоциклов) молодых ездоков, что, надсаживая горло, возглашали свои вирши.

Я отбросил стаканчик из-под молока, а «Конница королей», вдосталь накрасовавшись перед собравшейся на площади публикой, отправилась в свой многочасовой путь по деревне. Я все это хорошо знал, ведь когда-то, в последний военный год, я и сам гарцевал на лошади пажем (одетый в праздничный женский национальный костюм и держа в руке саблю) бок о бок с Ярославом, который был тогда королем. Я не испытывал особого желания умиляться воспоминаниям, но (словно обезоруженный убогостью торжества) не хотел и нарочито отворачиваться от этой возникшей передо мной картины; я медленно побрел за кавалькадой, которая теперь развернулась вширь: посреди дороги стремя к стремени трое всадников, в центре король, а по бокам пажи с саблями наголо, и вся троица в женских уборах. Вокруг них гарцевали более свободно еще несколько ездоков из собственной королевской дружины — так называемые *министры.* Остальная конница разделилась на два самостоятельных крыла, которые ехали по обеим сторонам улицы; и здесь задачи всадников были точно определены; были тут *знаменосцы* (со знаменем, древко которого было всунуто у них в сапог, так что красная вышитая материя полоскалась на боку лошади), были тут и *вестовщики* (у каждого дома они возглашали рифмованную весть о короле честном, но бедном, у которого украли три тыщонки из пустой мошонки и увели триста волов из пустых дворов), и наконец *сборщики* (которые призывали к подношениям: «Пожалуйте на короля, матушка, на короля!» — и подставляли плетеную корзинку для подарков).

4

Спасибо тебе, Людвик, всего лишь восемь дней как знаю тебя, но люблю так, как никогда никого, люблю тебя и верю тебе, верю, ни о чем не задумываясь, ведь если бы даже рассудок обманывал, чувство обманывало, душа обманывала, тело не может лукавить, тело честней, чем душа, а мое тело точно знает, что никогда не испытывало того, что испытало вчера, чувственность, нежность, жестокость, блаженство, удары, мое тело никогда ни о чем подобном и не помышляло, наши тела вчера поклялись принадлежать друг другу, и пусть теперь наш рассудок послушно следует за нашими телами, знаю тебя всего лишь восемь дней, Людвик, и благодарю за них. Благодарю тебя еще и за то, что ты пришел в самую пору, что ты спас меня. Утро здесь стояло прекрасное, голубое небо, на душе было светло, с утра все у меня ладилось, потом мы пошли к дому родителей записывать, как конница выпрашивает у них короля, и там вдруг он подошел ко мне, я испугалась, не знала, что он здесь, не ждала, что он приедет из Братиславы так скоро и уж совсем не ждала, что он будет так жесток, представь себе Людвик, он был так груб и вдобавок приехал с ней!

А я, глупая, до последней минуты верила, что мой брак еще не совсем обречен, что можно еще спасти его, ради этого искореженного супружества, я, глупая, чуть было не пожертвовала даже тобой, чуть было не

отказалась, глупая, от нашей встречи, чуть было снова не дала опоить себя этим сладким голосом, когда он говорил, что ради меня остановится здесь на обратном пути из Братиславы, что якобы хочет о многом-многом поговорить со мной, поговорить откровенно,— и вдруг он приезжает с ней, с этим недоноском, с этой соплячкой, с двадцатидвухлетней девицей, которая на тринадцать лет моложе меня, это до того унизительно, проиграть все лишь потому, что я родилась раньше, иной бы завыл от отчаяния, но я не посмела так уронить себя, я улыбнулась и вежливо протянула ей руку, спасибо тебе, что ты дал мне силы, Людвик.

Когда она отошла в сторону, он сказал мне, что у нас теперь есть возможность обо всем поговорить откровенно втроем, так, дескать, будет честнее всего, честность, честность, знаю я эту его честность, уже два года он домогается развода, но понимает, что со мной с глазу на глаз ничего не добьется, и надеется, что перед этой девчонкой я оробею, не решусь играть постыдную роль упрямой супруги, что расстроюсь, разревусь и добровольно сдамся. Ненавижу его, он хладнокровно вонзает мне нож под ребра именно тогда, когда я работаю, когда делаю репортаж, когда нуждаюсь в покое, он мог бы уважать хотя бы мою работу, хоть немного ценить ее, и вот так уже много лет, все это время я отодвинута куда-то назад, все эти годы я постоянно проигрываю, постоянно терплю унижения, но теперь во мне проснулась строптивость, я почувствовала за своей спиной тебя и твою любовь, я еще ощущала тебя в себе и на себе, и эти красивые разноцветные всадники вокруг меня, кричащие и ликующие, словно бы возвещали, что есть ты, есть жизнь, есть будущее, и я вдруг обнаружила в себе гордость, которую чуть было не потеряла, эта гордость залила меня, будто половодье, мне удалось изобразить милую улыбку, и я сказала ему: пожалуй, нет смысла мне ехать с вами в Прагу, зачем мешать вам, да и к тому же у меня здесь служебная машина, а что касается той договоренности, которая так волнует тебя, то все можно устроить очень быстро, я могу представить тебе человека, с которым собираюсь жить, несомненно мы все вместе отлично поладим.

Возможно, с моей стороны это было безрассудством, но если даже так, пускай, это мгновение сладкой гордости стоило того, оно стоило того, он моментально в десять раз стал любезнее, он явно обрадовался, хотя и встревожился, всерьез ли это я говорю, заставил меня повторить, и я назвала ему твое имя и фамилию, Людвик Ян, Людвик Ян, а под конец совершенно определенно сказала, не бойся, клянусь честью, я и пальцем не шевельну, чтоб помешать нашему разводу, не бойся, я не хочу быть с тобой, даже если бы ты этого хотел. В ответ он сказал, что мы наверняка останемся добрыми друзьями, я улыбнулась и сказала, что не сомневаюсь в этом.

## 5

Много лет назад, еще когда я играл в капелле на кларнете, мы немало ломали себе голову над тем, что, собственно, означает «Конница королей». Существует предание, что после того, как венгерский король Матьяш потерпел в Чехии поражение и бежал в Венгрию, его конница якобы здесь, на моравской земле, должна была укрывать его от чешских преследователей и поить-кормить его и себя подаяниями. Считалось, что «Конница королей» хранит память именно о том историческом событии, но достаточно было немного порыться в старых летописях, чтобы установить: обычай «Конница королей» уходит корнями в более древнюю пору, чем упомянутое событие. Откуда она взялась здесь и что она означает? Уж не восходит ли она к языческим временам и не является ли памятью об обрядах, когда мальчиков посвящали в мужчины? И почему король и его пажи в женских платьях? Отражение ли это того, что некая воинская дружина (пусть Матьяша или какая иная, гораздо более древняя) препровождала своего повелителя, переодетого в женское

платье, через страну недругов, или это отголосок старого языческого поверья, по которому переодевание охраняет от злых духов? И почему король на протяжении всего пути не смеет вымолвить ни единого слова? И почему обряд называется «Конница королей», тогда как король в ней всего один? Что все это значит? Бог весть. Имеется много предположений, но ни одно не подкреплено доказательствами. «Конница королей» — загадочный обряд; никто не знает, что, собственно, она значит, что выражает собой, но как египетские иероглифы прекраснее для тех, кто не может прочесть их (и воспринимает их лишь как фантастические рисунки), так, пожалуй, и «Конница королей» потому столь прекрасна, что исходный смысл ее зова давно утерян и с тем большей силой на первый план выступают жесты, цвета, слова, привлекающие внимание сами по себе, своим собственным образом и формой.

И так первоначальное недоверие, с каким наблюдал я суматошно проезжавшую «Конницу королей», к моему удивлению, спадало с меня, и в конце концов я почувствовал себя совершенно завороженным разноцветной толпой всадников, что медленно двигалась от дома к дому; кстати, и громкоговорители, еще за минуту до этого оглушавшие округу пронзительным женским голосом, теперь умолкли, и была слышна (если не замечать то и дело возникающего гула машин, который я давно привык исключать из своих слуховых впечатлений) лишь особая музыка призывов всадников.

Мне хотелось стоять с закрытыми глазами и только слушать: я понял, что именно здесь, посреди моравско-словацкой деревни, я слышу стихи в исходном смысле этого слова, стихи, каких никогда нигде не услышу — ни по радио, ни по телевидению, ни со сцены,— стихи как торжественный ритмический звон, как промежуточную форму речи и пения, стихи, гипнотически завораживающие пафосом самого размера, как, видимо, завораживали, звуча со сцены античных амфитеатров. Это была великолепная *многоголосная* музыка; каждый из вестовщиков выкрикивал свои стихи монотонно, на одном звуке, но каждый — на ином, так что голоса непроизвольно объединялись в аккорд; при этом выкрикивали юноши не одновременно, а каждый из них начинал свой клич в разное время, и каждый у другого домика, поэтому голоса доносились с разных сторон и вразлад, напоминая тем самым многоголосый канон; вот один голос отзвучал, другой находился где-то посередине, а к нему уже на иной звуковой высоте присоединял свой клич следующий голос.

«Конница королей» долго шла по главной улице (в постоянном страхе перед автомобильным движением), а затем на каком-то углу разделилась: правое крыло двинулось дальше, левое — завернуло в улочку налево; сразу же у поворота там был маленький желтый домик с оградкой и палисадничком, густо засаженным пестрыми цветами. Вестовщик пустился в развеселую импровизацию; перед домиком стоит — выкрикивал он — замечательный *насос,* а у женки той, что в дому живет, сын — порядочный *прохвост;* выкрашенный зеленой краской насос и вправду стоял перед домом, а сорокалетняя толстушка, явно польщенная званием, какого удостоился ее сын, смеялась, подавая сборщику на лошади, кричавшему: «Пожалуйте на короля, матушка, на короля!», купюру. Сборщик опустил ее в корзинку, что была укреплена у седла, но к домику сразу же подъехал другой вестовщик и крикнул женщине, что она-де красивая *молодица,* но еще краше ее *сливови́ца,* и, закинув голову, поднес сложенную ковшиком ладонь ко рту. Все вокруг смеялись, а сорокалетняя молодица в довольном смущении побежала в дом; сливовица была у нее, верно, припасена, потому как она сию же минуту воротилась с бутылкой и стопочкой, какую, наполняя, подавала ездокам.

Пока королевское войско пило и шутило, король и двое пажей ждали чуть поодаль — недвижно и достойно, что, вероятно, и является истинным уделом королей: отгородясь достоинством, оставаться одиноким и безучастным посреди галдящего войска. Лошади пажей застыли вплотную по обеим сторонам лошади короля, так что сапоги всех троих всад-

ников почти касались друг друга (у лошадей на груди были большие пряничные сердца, густо изукрашенные зеркальцами и цветной глазурью, на лбу — бумажные розы, а гривы — проплетены лентами цветной креповой бумаги). Все трое молчаливых всадников были в женской одежде: широкие юбки, сборчатые накрахмаленные рукава, на голове богато убранные чепцы; лишь у короля вместо чепца сверкала серебряная диадема, а с нее свисали вниз три длинные и широкие ленты, голубые по бокам, красная посередке, полностью закрывавшие его лицо и придававшие ему вид таинственный и величавый.

Я был восхищен этой застывшей троицей; хотя двадцать лет назад и я сидел на убранной лошади так же, как они, но тогда я видел «Конницу королей» *изнутри,* а следовательно — не видел ничего. Только сейчас я по-настоящему вижу ее и не могу оторвать глаз: король сидит (в нескольких метрах от меня) выпрямившись и походит на изваяние, завернутое в знамя; а возможно, мелькнула вдруг мысль, возможно, это вовсе не король, а, возможно, королева; возможно, это королева Люция, которая пришла показаться мне в своем настоящем облике, поскольку *настоящий* ее облик — именно *сокрытый* облик.

И подумалось мне в эту минуту, что Костка, сочетающий в себе упрямую рассудительность с мечтательностью, большой чудак, и поэтому все, что он рассказывал мне, вполне вероятно, хотя и не обязательно, что было именно так; он, разумеется, знал Люцию, и, пожалуй, знал о ней многое, но самого существенного он все-таки не знал: солдата, который посягал на нее в чужой шахтерской квартире, Люция по-настоящему любила; и едва ли я мог серьезно относиться к тому, что Люция рвала цветы из какой-то смутной тяги к благочестию, когда помню, что рвала она цветы для меня, и если утаила это от Костки, а вместе с этим и все нежные полгода нашей любви, то скрыла и от него эту неприкосновенную тайну — даже он ничего о ней не знал; да и вовсе не обязательно, что переселилась она в этот город ради него; возможно, она оказалась здесь случайно, хотя и то вполне вероятно, что переехала она сюда ради меня, она ведь знала, что здесь моя родина! Я допускал, что сведения о ее первоначальном изнасиловании правдоподобны, но в достоверности подробностей стал теперь сомневаться: история была подчас явно окрашена кровавым зрением человека, которого растревожил грех, но, с другой стороны, ее окрашивала и голубизна столь голубая, на какую способен лишь тот, кто часто возводит свой взор к небесам; да, действительно так: в рассказе Костки правда сочеталась с поэзией, и это становилось опять же новой легендой (возможно, более правдивой, возможно, более прекрасной, возможно, более глубокой), перекрывающей легенду былую.

Я смотрел на закутанного короля и видел Люцию, видел, как она (непознанная и непознаваемая) проезжает торжественно (и насмешливо) по моей жизни. Затем (по какому-то внешнему принуждению) скользнул взглядом чуть в сторону и уперся им прямо в глаза мужчины, который явно уже с минуту глядел на меня и улыбался. Он сказал: «Привет» и — о, ужас — двинулся ко мне. «Привет»,— сказал я. Он протянул мне руку; я пожал ее. Потом он обернулся и позвал девушку, которую я заметил только сейчас: «Чего ты стоишь? Поди, я представлю тебя». Девица (долговязая, но красивая, с темными волосами и темными глазами) подошла ко мне и сказала: «Брожова». Она подала мне руку, и я сказал: «Ян. Очень приятно». «Дружище, сколько лет, сколько зим»,— сказал он с дружеским добродушием; это был Земанек.

### 6

Усталость, усталость. Не могу избавиться от нее. Конница с королем отъехала на площадь, и я медленно потащился за ней. Чтобы одолеть эту усталость, я старался глубоко дышать. Останавливался с соседями, что повылезли из домов и стояли разинув рты. Вдруг я почувство-

вал, что тоже превратился в степенного дядюшку-соседа. Что уж и не помышляю ни о каких путях-дорогах, ни о каких приключениях. Что безнадежно привязан к округе, где проживаю.

На площадь я пришел, когда «Конница» уже не спеша двигалась по главной улице. Я хотел поплестись за ней, но неожиданно увидел Людвика. Он стоял один на травяном газоне у шоссе и задумчиво глядел на юных ездоков. Распроклятый Людвик! Черт бы его побрал! Провалиться б ему в тартарары. До сей поры он избегал меня, а нынче я от него скроюсь. Я повернулся спиной и отошел к скамейке, стоящей на площади под яблонькой. Присяду-ка тут и буду просто слушать, как издали доносится клич всадников.

Так я сидел, слушал и смотрел. «Конница королей» медленно удалялась. Она жалостно теснилась по обочинам шоссе, по которому беспрестанно мчались машины и мотоциклы. За ней шла кучка людей. Безрадостно-маленькая кучка. Год от году все меньше народу на «Коннице королей». Зато нынче пожаловал Людвик. Что он здесь, собственно, делает? Черт бы тебя побрал, Людвик! Теперь уже поздно. Впрочем, теперь уже все поздно. Ты явился как дурное знамение. Черное предзнаменование. Семь крестиков. И именно тогда, когда мой Владимир избран королем.

Я отвел глаза. На площади толпились лишь несколько человек у палаток и у входа в трактир. В большинстве своем они были под градусом. Выпивохи — самые верные приверженцы фольклорных мероприятий. Последние приверженцы. У них хоть изредка есть благородный повод напиться.

Ко мне на скамейку подсел старик Пехачку. Сказал, все это уже не то, что в прежние времена. Я согласился. Конечно, не то! До чего ж эти «Конницы», верно, были прекрасны много десятилетий или даже столетий назад! Разве что не были так пестры, как сегодня. Сегодня это уже отчасти кич и чем-то похоже на ярмарочный маскарад. Пряничные сердечки на груди у лошадей. Тонны бумажных лент, купленных оптом.

Прежде костюмы были тоже цветастыми, но проще. Кони были украшены одним красным платком, завязанным под шеей. Даже у короля маска была не из пестрых узорчатых лент, а из простой ткани. Зато он держал розу в устах. Чтобы слова не вымолвить. В «Конницах королей» ничего не было от цирка. Они были в духе баллад.

Да, дедуля, столетия назад было куда лучше. Никому не приходилось отыскивать с таким трудом юношей, что любезно согласились бы принять участие в «Коннице». Никто заранее не просиживал на собраниях много дней кряду и не спорил, кому организовывать «Конницу» и кому достанется выручка от нее. «Конница королей» била изнутри деревенской жизни, как родник. И неслась по округе из одной деревни к другой, чтобы выбрать своего замаскированного короля. Где-то в чужой деревне она встречалась с другой «Конницей королей» и вспыхивала драка. Обе стороны яростно защищали своего короля. Нередко блестели ножи и шпаги и лилась кровь. Ежели «Конница» захватывала в плен чужого короля, то потом до потери сознания пила в трактире за счет его отца.

Ваша правда, дедуля. Все было по-другому, еще в те поры, когда «Конницей королей» любовался французский скульптор. Звали его Роден, вот именно. Да что говорить, во времена оккупации — я тогда сам ехал королем — и то все было иначе, чем сейчас. Еще и после войны это зрелище дорогого стоило. Мы надеялись, что создадим совершенно новый мир. И что люди опять начнут, как и прежде, жить по своим народным традициям. Что и «Конница королей» снова будет бить фонтаном из глубины их жизни. Мы хотели помочь этому биению, и азартно организовывали народные праздники. Но родник нельзя организовать. Родник либо бьет, либо нет. Вы же видите, дедуля, как мы усердствуем, выжимая из себя все эти наши песни и обряды. Но это всего лишь последние капли, последние капельки.

Что ж, так оно. «Конницы королей» уже не было видно. Завернула, наверное, в одну из боковых улиц. Но слышались ее выкрики. Эти выкрики зачаровывали меня. Я закрыл глаза и на минуту представил себе, что живу в иное время. В ином столетии. Давно. А потом открыл глаза и подумал: а ведь как хорошо, что Владимир выбран королем. Королем почти мертвого королевства, однако прекраснейшего из прекрасных. Королевства, которому буду верен до последнего вздоха.

Я встал со скамейки. Кто-то поздоровался со мной. Это был старик Коутецкий. Долгонько я не видел его. Двигался он с трудом, опираясь на палку. Я никогда не любил его, но вдруг пожалел его старость. «Куда это вы?» — спросил я его. Он сказал, что каждое воскресенье совершает моцион. «Как вам понравилась «Конница»?» — спросил я. Он махнул рукой: «Да я и не глядел на нее». «Что же вы так?» — спросил я. Он снова сердито махнул рукой, и тут меня осенило, почему он не смотрел на нее. Среди зрителей был Людвик. Коутецкому так же, как и мне, не хотелось встречаться с ним. «Впрочем, я и не удивляюсь вам,— сказал я.— У меня в «Коннице» сын, а мне что-то не очень хочется за ней тащиться». «У вас там сын? Владя?» — «Да,— сказал я,— королем едет». Коутецкий заметил: «Это любопытно».— «А что в этом особенного?» — спросил я. «Это весьма любопытно»,— повторил Коутецкий и блеснул глазками. «Почему?» — спросил я его снова. «Да Владя же вместе с нашим Милошем»,— сказал Коутецкий. Кто такой Милош — я не знал. Старик объяснил мне, что это его внук, сын дочери. «Но это же невозможно,— сказал я,— я ведь видел его еще минуту назад, видел, как он выезжал от нас на лошади!» — «Я его тоже видел. Милош увозил его от вас на мотоцикле»,— сказал Коутецкий. «Несусветная чушь,— сказал я, но все-таки следом спросил: — А куда они ехали?» — «Э-э, раз вы об этом ничего не знаете, так и я не стану вам говорить»,— сказал Коутецкий и тут же распрощался со мной.

## 7

Я вовсе не рассчитывал на то, что могу встретиться с Земанеком (Гелена уверяла меня, что он приедет за ней только после обеда), и мне было, разумеется, крайне неприятно видеть его здесь. Но куда денешься: он стоял сейчас передо мной и был совершенно таким же, как и прежде: его желтые волосы были такими же желтыми, хотя уже и не спадали назад длинными кудрями, а были коротко подстрижены и модно начесаны на лоб, держался он по-прежнему прямо, все так же судорожно отводя назад шею, на которой сидела слегка запрокинутая голова; он был все такой же жизнерадостный, довольный, неуязвимый, одаренный благорасположением ангелов и молодой девушки, чья красота мгновенно всколыхнула во мне воспоминание о досадном несовершенстве тела, близ которого я провел вчерашний день.

Надеясь, что наша встреча будет по возможности короткой, я попытался ответить на общепринятые банальности, какими он засыпал меня, подобными же общепринятыми банальностями; он снова возгласил, что мы не виделись годы, и удивился, что после столь долгого времени мы встречаемся именно здесь, «в этой дыре, куда ворон костей не заносил»; я ответил ему, что здесь я родился; он попросил у меня извинения и сказал, что в таком случае ворон бесспорно занес сюда кости; девица Брожова засмеялась; я же на шутку не отреагировал и заметил, что не удивляюсь, встретив его здесь, ибо, если мне не изменяет память, он всегда был большим поклонником фольклора; девица Брожова опять засмеялась и сказала, что приехали они сюда вовсе не ради «Конницы королей». Я спросил, нравится ли ей «Конница королей»; она ответила, что это ее не занимает; я спросил — почему; она пожала плечами, а Земанек сказал: «Милый Людвик, времена изменились».

«Конница королей» меж тем двинулась к следующему дому, а двое ездоков стали укрощать лошадей, которые вдруг заартачились. Один

ездок орал на другого, обвинял, что тот не умеет обращаться с лошадью, и крики «идиот!» и «болван!» весьма странно врывались в ритуал праздника. Девица Брожова сказала: «Вот было бы здорово, если бы кони всполошились и понесли!» Земанек весело рассмеялся, но ездокам удалось в момент усмирить лошадей, и клич «гилом, гилом» уже снова несся спокойно и величаво по простору деревни.

Мы медленно шли за многоголосой «Конницей» вдоль боковой деревенской улицы, окаймленной палисадниками с яркими цветами, а я тщетно искал какой-нибудь естественный и непринужденный предлог, чтобы распрощаться с Земанеком; однако пока вынужден был покорно идти рядом с его красивой девицей и продолжать обмениваться общими фразами: я узнал, что в Братиславе, где мои собеседники были еще сегодня ранним утром, стоит такая же чудесная погода, как и здесь; узнал, что приехали они сюда на машине Земанека и что сразу же за Братиславой им пришлось сменить свечи зажигания; кроме того, я узнал, что Брожова — студентка Земанека. Еще от Гелены мне было известно, что Земанек преподает в институте марксизм-ленинизм, однако, несмотря на это, я спросил его, каким предметом он занимается. Он ответил: *философией.* (Способ, каким он определил свою специальность, показался мне примечательным; еще несколько лет назад он сказал бы, что преподает *марксизм,* но в последние годы популярность сего предмета до такой степени упала, особенно среди молодежи, что Земанек, для которого вопрос популярности всегда был превыше всего, предпочел целомудренно прикрыть марксизм более общим понятием.) Я удивился и сказал, что он, насколько помнится, изучал все же биологию; и в этом моем замечании была злонамеренность, намекающая на времена дилетантизма вузовских преподавателей марксизма, которые обращались к этому предмету не в силу своих научных устремлений, а в большинстве случаев как пропагандисты государственного режима. Тут в разговор вмешалась девица Брожова и объявила, что у преподавателей марксизма в голове вместо мозгов политическая брошюра, но что Павел совсем другой. Слова девицы пришлись Земанеку весьма кстати; он стал мягко возражать, чем выказал свою скромность, но одновременно и подбил девицу к дальнейшим восторгам. Так я узнал, что Земанек относится к самым любимым преподавателям института, что студенты обожают его именно за то, за что не любит руководство: он всегда говорит то, что думает, он мужествен и никогда не дает молодежь в обиду. Земанек по-прежнему мягко возражал, и так я узнал от девицы Брожовой дальнейшие подробности о всяческих конфликтах, какие в последние годы были у Земанека: как хотели даже выгнать его с кафедры института, поскольку он в своих лекциях не придерживался застывших и устаревших основ, а пытался ознакомить молодежь со всем, что происходит в современной философии (поэтому, дескать, говорили о нем, что он хочет протащить «вражескую идеологию»); как он спас студента, которого собирались исключить из института за какую-то мальчишескую выходку (ссора с полицейским): институтский ректор (враг Земанека) квалифицировал ее не больше не меньше, как *политическую* провинность; как студентки института тайным голосованием определили самого популярного педагога, и победу одержал Земанек. Против этого потока похвал он уже даже не протестовал, и я сказал (с ироничным, к сожалению, едва ли доходчивым подтекстом), что я вполне понимаю мадемуазель Брожову, ибо — насколько помню — Земанек и в мои студенческие времена был очень любим и популярен. Девица Брожова горячо поддакивала мне: сказала, что и это неудивительно, так как Павел умеет потрясающе говорить и в дискуссии любого противника может разгромить в пух и прах. «Подумаешь,— рассмеялся опять Земанек,— ведь если я разгромлю их в дискуссии, они могут разгромить меня иначе и гораздо более действенными средствами, чем дискуссия».

В определенном самодовольстве последней фразы я узнавал Земанека таким, каким знал его; но *содержание* этих слов ужаснуло меня:

Земанек, по всей вероятности, решительно порвал со своими прежними взглядами и принципами, и окажись я сейчас в поле его деятельности, то волей-неволей держал бы в переживаемых им схватках его сторону. Как раз это и ужаснуло меня, как раз к этому я не был подготовлен, ибо не предполагал в Земанеке такой перемены взглядов, хотя она и не была чем-то исключительным, напротив, это явление стало весьма обычным, его переживали многие и многие, и мало-помалу оно явно охватывало все общество в целом. Однако именно в Земанеке я не предполагал такой перемены; он окаменел в моей памяти в том облике, в каком я видел его в последний раз, и потому теперь яростно отказывал ему в праве быть другим, чем я знал его.

Некоторые люди заявляют, что любят человечество, а иные с полным правом возражают им, полагая, что любить можно лишь кого-то определенного, то бишь отдельную личность; соглашаясь с этим, я хочу лишь добавить, что замечание относится равно как к любви, так и к ненависти. Человек, существо, взыскующее справедливости, уравновешивает тяжесть зла, которая была ему взвалена на плечи, тяжестью своей ненависти. Но попробуйте-ка нацелить ненависть на чисто абстрактный мир принципов, на несправедливость, фанатизм, жестокость или, придя к тому, что достоин ненависти сам человеческий принцип, попробуйте-ка возненавидеть все человечество! Такая ненависть слишком надчеловеческая, и потому человек, чтобы облегчить свой гнев (сознавая его ограниченные силы), сосредоточивает его в конечном счете лишь на отдельном лице.

И именно это привело меня в ужас. Вдруг пришла мысль, что теперь Земанек в любую последующую минуту может сослаться на свое превращение (кое он мне, кстати, подозрительно быстро старался продемонстрировать) и во имя его попросить у меня прощения. Это казалось мне чудовищным. Что я ему скажу? Что отвечу? Как ему объясню, что не могу с ним примириться? Как ему объясню, что тем самым я утратил бы внутреннее равновесие? Как объясню, что тем самым одна чаша моих внутренних весов враз взметнулась бы кверху? Как объясню, что ненавистью к нему уравновешиваю тяжесть зла, которая обрушилась на мою молодость, на мою жизнь? Как ему объясню, что именно в нем вижу воплощение всего зла моей жизни? Как ему объясню, что мне *необходимо* его ненавидеть?

### 8

Тела лошадей запрудили узкую улицу. Я видел короля на расстоянии нескольких метров. Он сидел верхом чуть поодаль от остальных. С обеих сторон — две другие лошади с двумя юношами, его пажами. Я был в растерянности. Он сидел слегка сгорбившись, как подчас сидит и Владимир. Сидел спокойно, словно без интересу. Он ли это? Вполне вероятно. Но в той же мере это может быть и кто-то другой.

Я протиснулся ближе. Я же должен его узнать! Ведь в моей памяти запечатлена его посадка, каждый его жест! Я же люблю его, а у любви своя интуиция!

Теперь я стоял вплотную к нему. Мог окликнуть его. Это было так просто. Но бесполезно: королю не положено говорить.

«Конница» снова продвинулась к следующему дому. Сейчас я узнáю его! Шаг лошади принудит его к движению, которое выдаст его. Король и вправду вместе с шагом лошади немного выпрямился, но и это никак не помогло мне открыть, кто же под маской. Сквозь кричащие яркие ленты на лице короля до отчаяния нельзя было ничего разглядеть.

### 9

«Конница королей» проехала еще на несколько домов дальше, мы с кучкой других зрителей продвинулись немного вперед, и наш разговор перескочил на следующую тему: девица Брожова, переключившись на себя, стала рассказывать, как любит ездить автостопом. Она

говорила об этом с таким нажимом (довольно нарочитым), что мне сразу же стало ясно, что она проводит свою *генеральную манифестацию;* дело в том, что каждое поколение имеет свой набор увлечений, привязанностей и интересов, кои отстаивает с немалым упорством, дабы таким путем отгородить себя от старших и утвердиться в самобытности своего поколения. Подчинение такому поколенческому менталитету (этой гордости стада) мне всегда было чуждо. Когда девица Брожова пустилась в провокационное рассуждение (от ее сверстников я слышал его уже, верно, раз пятьдесят), что человечество делится на тех, кто останавливается перед автостопщиком (люди свободомыслящие, рисковые, человечные), и тех, кто не останавливается перед ним (мещане, социалистические нувориши, люди негуманные), я назвал ее в шутку «догматиком автостопа». Она ответила мне резко, что она не догматик, не ревизионист, не сектант, не уклонист, не сознательная и не несознательная, что это все лишь слова, которые придумали мы — они принадлежат нам, а *им* чужие.

— Да,— сказал Земанек,— они другие. *К счастью,* они другие. И их словарь, к счастью, другой. Их не интересуют ни наши успехи, ни наши провинности. Ты не поверишь, но на вступительных экзаменах в вуз эти молодые даже не могут ответить, что такое «процессы», Сталин для них всего лишь имя, а Бухарин, Каменев, Райк [1] и именами-то для них не являются. Представь себе, большинство не знает даже, кто был Клементис [2].

— Но именно это и кажется мне ужасным,— сказал я.

— Да, это не свидетельствует об их осведомленности. Но в этом их освобождение. Они не впустили в свое сознание наш мир. Отвергли его со всеми нашими идеями.

— Слепота сменила слепоту.

— Я бы не сказал так. Они внушают мне уважение. Я люблю их именно за то, что они совершенно другие. Они любят свое тело. Мы о нем забывали. Они любят путешествовать. Мы торчали на одном месте. Они любят приключения. Мы просидели жизнь на собраниях. Они любят джаз. Мы незадачливо имитировали фольклор. Они эгоистично заняты только собой. Мы хотели спасти мир. В действительности своим мессианством мы едва не уничтожили мир. Они же, хочется думать, своим эгоизмом спасут его.

### 10

Возможно ли? Король! Восседающая верхом фигура, окутанная в яркие цвета! Сколько раз я видел его, сколько раз я представлял себе его! Моя самая задушевная мечта! А теперь она превратилась в реальность, и вся ее задушевность вдруг исчезла. Это всего лишь разноцветный кокон, и я не знаю, что в нем. Но что же тогда есть задушевного в этом реальном мире, если не мой король?

Мой сын. Мой самый близкий человек. Я стою перед ним и не знаю, он ли это. Что же я тогда знаю, если не знаю даже этого? В чем же у меня есть уверенность на этом свете, если даже в этом ее нет?

### 11

В то время как Земанек пел хвалу молодому поколению, я смотрел на мадемуазель Брожову и, с грустью убеждаясь, что это красивая и симпатичная девушка, испытывал завистливое сожаление, что она принадлежит не мне. Она шла рядом с Земанеком, много говорила, поминутно брала его за руку, доверительно к нему обращалась, а я думал (как думаю из года в год все чаще), что со времени Люции у меня не

[1] Ласло Райк (1909—1949) — венгерский партийный и государственный деятель. На основании ложного обвинения был приговорен к смерти и казнен; реабилитирован в 1955 году.

[2] Владимир Клементис (1902—1952) — словацкий коммунист, политик, публицист и дипломат; по несправедливому обвинению был арестован и казнен. В 1963 году реабилитирован.

было девушки, которую бы я любил и уважал. Жизнь насмехалась надо мной, послав мне напоминание о моей незадачливой судьбе как раз в образе любовницы человека, которого за день до этого я мнимо победил в гротескной сексуальной битве.

Чем больше мне нравилась девица Брожова, тем больше я постигал, до какой степени она во власти убеждений своих ровесников, для которых я и мои ровесники сливаемся в единую неразличимую массу, где все мы деформированы одним и тем же непонятным для них жаргоном, одним и тем же политизированным мышлением, одними и теми же тревогами (кажущимися трусостью или страхом), одними и теми же странными переживаниями из какого-то черного и для них уже далекого времени. Им уже нет смысла различать, кто из нас приумножал тяжесть этого времени, а кто подставлял собственное плечо, чтобы сбросить ее. Это неинтересно им, ибо сейчас история уже сама и без нас сбрасывает эту тяжесть (впрочем, ошибочно представлять себе, будто это без нас, но что из того — с нами или без нас, коль она сбрасывает ее явно не *для* нас, а именно для них).

В эту минуту я вдруг стал понимать, что сходство между мной и Земанеком таится не только в том, что Земанек изменился в своих воззрениях и тем приблизился ко мне, но что это сходство гораздо глубже и касается всей нашей судьбы: в представлении девицы Брожовой и ее ровесников мы были схожи даже в том, в чем непримиримо противостояли друг другу. Я вдруг почувствовал: если бы меня заставили (я бы противился этому!) рассказать девице Брожовой историю моего исключения из партии, она показалась бы ей далекой и чересчур *литературной* (ах, да, тема, столько раз описанная во множестве плохих романов!), и в этой истории ей были бы одинаково противны и я и Земанек, мои и его взгляды, моя и его позиция (обе одинаково патетичны, и обе одинаково уродливы). Я чувствовал, как над нашим спором, который я все еще ощущал современным и живым, смыкаются примиряющие воды времени, которые, как известно, сглаживают различия между целыми эпохами, тем более — между двумя жалкими личностями. И, однако, я отчаянно сопротивлялся тому, чтобы принять предложение о примирении, которое выдвигает само время; я ведь не живу в вечности; я заключен всего лишь в какие-то тридцать семь лет своей жизни и не хочу порывать с ними (как порвал с ними Земанек, коли так быстро подчинился образу мыслей тех молодых), нет, я не хочу отгораживаться от своей судьбы, не хочу разрывать связь со своими тридцатью семью годами, хотя они не что иное, как ничтожный и мимолетный отрезок времени, теперь забываемый, теперь уже совсем забытый.

И если Земанек, доверительно наклонившись ко мне, начнет говорить о прошлом и взывать к примирению, я отвергну его; да, я отвергну наше примирение, как бы о нем не просили девица Брожова со всеми своими ровесниками и само время.

### 12

Усталость. Вдруг мне захотелось плюнуть на все. Уйти и перестать обо всем думать. Порвать с этим миром материальных вещей, которых не понимаю и которые дурачат меня. Существует же иной мир. Мир, в котором я чувствую себя дома. Там есть дорога, куст шиповника, дезертир, бродячий музыкант и маменька.

И все-таки я пересилил себя. Я обязан, обязан довести до конца свою размолвку с миром материальным, вещным. Обязан дойти до самой сути ошибок и обманов.

Быть может, спросить кого? Может, конников? Выставить себя на посмешище? Вспомнилось сегодняшнее утро. И вдруг я понял, куда надо идти.

«Король наш бедный, но очень честный»,— снова кричали конники, продвинувшись на несколько домов дальше, а мы шли за ними. Спины коней, богато убранные лентами, спины голубые, розовые, зеленые и фиолетовые скакали перед нами, и вдруг Земанек, кивнув в их сторону, сказал мне: «Там Гелена». Я посмотрел в том направлении, но впереди мелькали все те же пестрые лошадиные тела. Земанек кивнул снова: «Там». Наконец я увидел ее, частично заслоненную лошадью, и вдруг почувствовал, как краснею: форма, в какой Земанек указал мне на нее (обронил не «моя жена», а просто «Гелена»), явно говорила о том, что он знает о нашем знакомстве.

Гелена стояла на краю тротуара и в вытянутой руке держала микрофон: от микрофона тянулся шнур к магнитофону, который висел на плече у молодого человека в кожаном пиджаке, в техасах и наушниках. Мы остановились неподалеку от них. Земанек сказал (ни с того ни с сего и как бы между прочим), что Гелена великолепная женщина, что она не только все еще потрясающе выглядит, но и чертовски способная и что нет ничего удивительного, что мы нашли с ней общий язык.

Я чувствовал, как у меня горят щеки: Земанек сделал свое замечание вовсе не наступательно, напротив, он говорил весьма приветливым тоном, но что касается существа дела — сомнений не оставлял даже взгляд девицы Брожовой, которая смотрела на меня выразительно и улыбчиво, словно настоятельно желала выказать мне свою осведомленность и свою симпатию, если не прямо свое соучастие.

Земанек меж тем продолжал рассыпаться в небрежных похвалах по адресу своей жены, пытаясь дать мне понять (обиняками и намеками), что все знает, но что не усматривает в этом ничего досадного для себя, ибо в отношении Геленинои личной жизни он абсолютно либерален; чтобы придать своим словам беззаботную легкость, он указал на молодого человека, несшего магнитофон, и сказал, что этот парень (похожий, дескать, в этих наушниках на большого жука) вот уже два года отчаянно влюблен в Гелену и что я должен в этом смысле глядеть в оба. Девица Брожова засмеялась и спросила, сколько ему было два года назад. Земанек сказал: семнадцать, но для влюбленности это вполне подходящий возраст. Затем в шутку добавил, что Гелена, разумеется, на салагу не падка и что она вообще добродетельная дама, но что с этим малым шутки плохи: чем он незадачливей, тем яростней и не прочь пустить в ход кулаки.

Девица Брожова (в духе ничего не значащей шутливости) заметила, что я, пожалуй, одолел бы мальчишку.

— Не уверен, не уверен,— сказал Земанек улыбаясь.

— Не забывай, что я работал на рудниках. С тех пор у меня крепкие мышцы.— Мне хотелось тоже бросить что-то малозначительное, и я не сразу осознал, что этой репликой выхожу за рамки шутливого разговора.

— Вы работали на рудниках? — спросила девица Брожова.

— Эти двадцатилетние парни,— упорно держался своей темы Земанек,— если навалятся всем скопом, от них пощады не жди — кто им не по душе, как надо отделают.

— И долго? — спросила девица Брожова.

— Пять лет,— сказал я.

— А когда?

— Девять лет тому.

— Ну, так давно, ваши мышцы уже успели обмякнуть,— сказала она, желая поддержать шутливый тон разговора собственной шуточкой. Однако в эту минуту я действительно подумал о своих мышцах и о том, что они у меня совсем не обмякли, а напротив, все время в отличной форме и что блондина, с которым я тут разглагольствую, могу отвалять всеми существующими способами; но вот что самое важное и самое груст-

ное: как бы я ни хотел вернуть ему старый долг, у меня нет ничего, кроме этих мышц.

Я снова представил себе, как Земанек обращается ко мне с добродушной улыбкой и просит забыть обо всем, что было между нами, и меня взяла оторопь: ведь просьбу Земанека о примирении поддерживают сейчас не только его мировоззренческое превращение, не только эпоха и ее лик с высоты птичьего полета, не только девица Брожова и ее сверстники, но и Гелена (да, все теперь стоят бок о бок с ним и против меня!), ибо Земанек, прощая мне прелюбодейство, тем самым покупает и мое прощение. Когда мне (в воображении) представилось это лицо вымогателя, заручившегося столь мощными союзниками, меня охватила такая жажда ударить его, что я просто увидел, как его бью. Вокруг сновали галдящие конники, солнце стояло роскошно золотое, девица Брожова что-то говорила, а перед моим исступленным взглядом была кровь, стекающая по его лицу.

Да, это почудилось в воображении; но что мне делать наяву, если он попросит у меня прощения?

Я с ужасом понял, что не сделаю ничего.

Тем временем мы подошли к Гелене и к ее технику, как раз снимавшему наушники.

— Вы уже познакомились? — Гелена сделала изумленное лицо, увидев меня с Земанеком.

— Мы знакомы очень давно,— сказал Земанек.

— Как так? — удивилась она.

— Мы знакомы со студенческих лет, учились на одном факультете,— сказал Земанек, и мне показалось, что это уже один из последних мостиков, по которому он ведет меня к тому позорному месту (точно на плаху!), где попросит прощения.

— Господи, какие бывают совпадения,— сказала Гелена.

— Да, и такое бывает на свете,— сказал техник, чтобы дать понять, что он тоже существует на свете.

— А вас двоих я так и не представила,— спохватилась Гелена и сказала мне: — Это Индра. Индра Кадлечка.

Я подал Индре (невзрачному веснушчатому пареньку) руку, а Земанек сказал Гелене:

— Мы с мадемуазель Брожовой думали, что заберем тебя с собой, но теперь я прекрасно понимаю, это ни к чему, наверное тебе хочется ехать назад с Людвиком...

— Вы поедете с нами? — тотчас спросил меня парень в техасах, и, действительно, мне показалось, что вопрос прозвучал не очень дружелюбно.

— Ты здесь на машине? — спросил меня Земанек.

— У меня вообще нет машины,— ответил я.

— Тогда поедешь с ними — без всяких хлопот и в наилучшем обществе,— сказал он.

— Но я делаю не меньше ста тридцати в час! Еще страху натерпитесь,— сказал парень в техасах.

— Индра! — одернула его Гелена.

— Ты мог бы поехать с нами,— сказал Земанек,— но думается, ты предпочтешь новую подругу старому другу.

Непринужденно и как бы мимоходом он назвал меня *другом,* и я не сомневался, что унизительное перемирие уже не за горами. Тут Земанек ненадолго умолк, словно на что-то решался, и мне показалось, что он вот-вот отзовет меня в сторону, дабы поговорить с глазу на глаз (я склонил голову, будто клал ее под топор), но я ошибся; Земанек посмотрел на часы и сказал:

— Впрочем, у нас уже нет времени, мы хотим до пяти поспеть в Прагу. Ну что ж, придется распрощаться. Привет, Гелена,— подал он руку Гелене, потом сказал «привет» мне и технику и протянул нам

обоим руку. Девица Брожова тоже обменялась со всеми рукопожатием, взяла Земанека под руку, и они пошли.

Они удалялись. Я не мог отвести от них глаз: Земанек шел выпрямившись, с гордо (победно) поднятой блондинистой головой и рядом с ним возносилась темноволосая девушка; она и сзади со своей легкой походкой была хороша, она нравилась мне; нравилась почти болезненно, потому что ее удаляющаяся красота была ко мне холодно *равнодушна,* так же, как был равнодушен ко мне Земанек (его добросердечность, красноречие, его память и его совесть), так же, как было равнодушно ко мне все мое прошлое, с которым я встретился здесь, на своей родине, чтобы отомстить ему, но которое прошло мимо меня безучастно, словно было незнакомо со мной.

Я задыхался от унижения и стыда. И не мечтал ни о чем другом — лишь бы исчезнуть, остаться одному и стереть всю эту грязную и порочную историю, стереть Гелену и Земанека, стереть позавчера, вчера и сегодня, стереть все, стереть, чтобы от этого не осталось и следа.

— Вы не будете возражать, если я скажу товарищу редактору два-три слова наедине? — спросил я техника.

Затем отвел Гелену в сторону; она хотела мне что-то объяснить, говорила какие-то слова о Земанеке и его девушке, растерянно извинялась, оправдываясь тем, что ей ничего не оставалось, как все ему рассказать; но сейчас меня уже ничего не интересовало; я был переполнен одним страстным желанием: уйти отсюда прочь, прочь отсюда и от этой всей истории; поставить на всем точку. Я сознавал, что не смею дольше обманывать Гелену; она передо мной ни в чем не повинна, а я вел себя низко, превратив ее просто в вещь, в камень, который хотел (и не сумел) швырнуть в кого-то другого. Я задыхался от издевательской незадачливости моей мести и низости собственного поведения и решил покончить со всем хотя бы сейчас — пусть и поздно, но все-таки раньше, чем станет слишком поздно. Но я не мог ей ничего объяснить — не только потому, что ранил бы ее правдой, но и потому, что она вряд ли постигла бы ее. Я прибегнул лишь к решительности констатации: несколько раз я повторил ей, что мы были вместе в последний раз, что больше никогда с ней не встречусь, что я не люблю ее и что она должна это понять.

Но случилось гораздо худшее, чем я ожидал: Гелена побледнела, задрожала — не хотела мне верить, не хотела отпускать меня; я пережил немало мучительных минут, прежде чем наконец освободился от нее и ушел.

## 14

Вокруг были лошади и ленты, и я там осталась стоять и стояла долго, а потом ко мне подошел Индра, схватил меня за руку, сжал ее и спросил, что с вами, что с вами, и я не отняла своей руки и сказала, ничего, Индра, ничего, что со мной может быть, но у меня стал какой-то чужой, высокий голос, и говорила я со странной торопливостью, что же еще мы должны записать, выкрики конников у нас уже есть, две беседы есть, теперь я должна записать еще комментарий, да, я говорила о вещах, о которых вообще не могла в ту минуту думать, а он молча стоял возле и мял мою руку.

Он, кстати, еще ни разу не дотрагивался до меня, был всегда робким, но все знали, что он влюблен в меня, а вот сейчас он стоял и мял мою руку, а я лепетала о нашей готовящейся передаче, но не думала о ней, думала о Людвике и о том, это же просто смешно, еще мелькнуло в голове, как я сейчас выгляжу в глазах Индры, не подурнела ли я от расстройства, но, видимо, нет, я же не плакала, а просто разволновалась, ничего больше...

Знаешь что, Индра, оставь меня здесь ненадолго, я пойду напишу этот комментарий, и мы его тут же наговорим, Индра еще с минуту держал меня за руку и спрашивал ласково, что с вами, Гелена, что с вами,

но я увернулась от него и пошла в национальный комитет, где нам на время отвели помещение, я пришла туда, наконец-то была одна, в комнате ни души, я упала на стул, голову уронила на стол и замерла так на минуту. Дико болела голова. Потом я открыла сумку, может, найдется какая таблетка, впрочем, не знаю, зачем открыла ее, я ведь знала, что никаких таблеток у меня нет, но тут я вдруг вспомнила, что у Индры всегда в запасе любые лекарства, на вешалке висел его рабочий халат, я сунула руку в один, потом в другой карман, и в самом деле, у него там было какое-то лекарство, да, от головной и зубной боли, от ишиаса и воспаления тройничного нерва, от душевной боли это, конечно, не спасает, но хотя бы голове станет полегче.

Я подошла к водопроводу, что был в углу соседней комнаты, налила воды в стаканчик от горчицы и запила две таблетки. Две вполне достаточно, вероятно, мне полегчает, конечно, от душевной боли «альгена» не поможет, разве что проглотить все, «альгена» в большом количестве — яд, а стеклянный тюбик у Индры почти полон, возможно этого бы хватило.

Поначалу это была всего лишь мысль, голый образ, однако эта мысль теперь непрестанно возвращалась ко мне, волей-неволей я стала думать, почему вообще живу на свете, какой смысл в том, чтобы жить дальше, хотя нет, неправда, ни о чем таком я не думала, я вообще в ту минуту не очень-то и думала, я только представила себе, что меня уже нет, и от этого стало вдруг так сладостно, так удивительно сладостно, что мне захотелось смеяться, и, кажется, я действительно засмеялась.

Я положила на язык еще одну таблетку, желания отравиться у меня вовсе не было, я просто сжимала этот тюбик в руке и говорила себе: «Держу в руке свою смерть», и эта простота завораживала меня, казалось, будто шаг за шагом я приближаюсь к глубокой пропасти, но не для того, пожалуй, чтобы прыгнуть в нее, а только чтобы заглянуть туда. Я налила воды в стакан, запила таблетку и снова пошла в нашу комнату. Там было открыто окно, и издалека все время доносилось «гилом, гилом, домашние и пришлые», но в эти выкрики врывался грохот машин, беспощадных грузовиков, беспощадных мотоциклов, мотоциклов, заглушающих все, что есть на свете прекрасного, все, во что я верила и для чего жила, этот грохот был нестерпим, как нестерпима была и эта немощная слабость кричащих голосков, и потому я закрыла окно и снова почувствовала тягучую, нескончаемую боль в душе.

За всю жизнь Павел не оскорбил меня так, как ты, Людвик, как ты в один-единственный миг, я прощаю Павла, я понимаю его, пламя его быстро сгорает, он должен постоянно искать новую пищу, новых зрителей и новых слушателей, он оскорблял меня, но теперь сквозь свою свежую рану я смотрю на него беззлобно и совсем по-матерински, он фанфарон, комедиант, я смеюсь над его многолетней тягой вырваться из моих объятий, ах, Павел, бог с тобой, бог с тобой, я понимаю тебя, но тебя, Людвик, не в силах понять, ты пришел ко мне в маске, ты пришел воскресить меня и воскрешенную уничтожить, тебя, одного тебя я проклинаю и все-таки молю: приди, приди и сжалься надо мной.

Господи, может, это просто какая-то страшная путаница, может, Павел что-то сказал тебе, когда вы остались одни, откуда мне знать, я спросила тебя об этом, заклинала объяснить, почему ты не любишь меня, я не в силах была отпустить тебя, я удерживала тебя сколько могла, но ты ничего не хотел слышать, а только твердил: конец, конец, конец, бесповоротно, неопровержимо все кончено, ну хорошо, пусть все кончено, согласилась я, и голос у меня был высокий, сопранный, словно говорил кто-то другой, какая-то неполовозрелая девочка, и этим высоким голосом я сказала, *желаю тебе счастливого пути,* ужасно смешно, я вообще не знаю, почему я пожелала тебе счастливого пути, но эти слова все время рвались у меня с языка, желаю тебе счастливого пути, желаю тебе, конечно, счастливого пути...

Быть может, ты и не знаешь, как я люблю тебя, наверняка не

знаешь, как я люблю тебя, может, ты думаешь, что я из тех дамочек, что ищут приключений, быть может, ты не знаешь, что ты моя судьба, жизнь, все... Возможно, ты найдешь меня здесь уже лежащей на полу под белой простыней и тогда поймешь, что ты убил самое ценное, что было у тебя в жизни... или придешь, господи, а я еще буду жива, и ты сможешь спасти меня, и будешь стоять возле меня на коленях, и плакать, а я буду гладить твои руки, волосы и прощу, все прощу тебе...

**15**

В самом деле, не было другого выхода, я должен был оборвать эту скверную историю, эту дурную шутку, что, не довольствуясь самой собой, множилась, порождая все новые и новые дурацкие шутки; хотелось вытравить весь этот день, который случился по недоразумению, лишь потому, что утром я поздно проснулся и не смог уехать, но хотелось вытравить и все то, что привело к этому дню, это мое глупое желание овладеть Геленой, порожденное всего-навсего нелепым недоразумением.

Я торопился, словно бы чувствовал за собой настигающие меня шаги Гелены, и вдруг пришла в голову мысль: даже если бы такое было возможно и мне действительно удалось бы вытравить эти несколько никчемных дней из своей жизни, что толку, коли *весь* мой жизненный путь начался с ошибки, с дурацкой шутки на открытке, с этой случайности, с этой бессмысленности? И меня объял ужас, ибо я вдруг осознал, что вещи, возникающие по ошибке, столь же реальны, как и вещи, возникающие по праву и закономерно.

С какой радостью я отрекся бы от своего жизненного пути! Только в моих ли силах было отречься от него, если ошибки, из которых он возник, не были лишь *моими* ошибками? Кто тогда ошибался, когда к глупой шутке моей открытки отнеслись столь серьезно? Кто ошибался, когда отец Алексея (впрочем, сейчас уже реабилитированный, но оттого не в меньшей мере давно покойник) был арестован и казнен? Эти ошибки были так повседневны и всеобщи, что вовсе не были исключением или «ошибкой» во всем порядке вещей, а, напротив, они творили этот порядок вещей. Кто же, выходит, ошибался? Сама история? Божественная и разумная? Но почему, впрочем, это обязательно были ее *ошибки*? Так представляется лишь моему человеческому разуму, но если история и вправду обладает каким-то собственным разумом, то почему это должен быть разум, взыскующий справедливости, разум, домогающийся людского понимания, разум поучительно-серьезный? А что, если история шутит? И тут я осознал, как бессмысленно желание отречься от своей собственной шутки, если я сам со всей своей жизнью втянут в шутку, гораздо более всеохватную (для меня непостижимую) и совершенно неподвластную.

Я увидел на площади (уже затихшей — «Конница королей» объезжала другой конец деревни) прислоненную к стене большую вывеску, сообщающую красными буквами, что сегодня в четыре пополудни в летнем ресторане будет давать концерт капелла с цимбалами. Вывеска была у самой двери в трактир, а поскольку до отъезда автобуса оставалось еще почти два часа и время было обеденное, я вошел внутрь.

**16**

Нестерпимо хотелось еще хоть чуточку подойти ближе к пропасти, хотелось нагнуться над парапетом и смотреть в нее, словно сам ее вид должен был принести мне утешение и примирение, словно там, внизу, хотя бы там, внизу, если нигде в другом месте, словно там, внизу, на дне пропасти, мы могли бы наконец обрести друг друга и быть вместе, без всякой путаницы, без дурных людей, без старения, без грусти и навсегда... Я опять перешла в другую комнату, пока я приняла только четыре таблетки, это совсем пустяк, от пропасти еще очень далеко, еще даже

ее парапета я не коснулась. Я высыпала на ладонь оставшиеся таблетки. Затем услышала, что кто-то в коридоре открывает дверь, я испугалась, и забросила таблетки в рот, и как сумасшедшая проглотила их, это был огромный ком, я почувствовала, как мучительно распирает пищевод, и хоть я запивала водой — не помогало.

Это был Индра, он спросил, как идет работа, и я вдруг стала совершенно другой, с меня спало смятение, уже не было этого высокого чужого голоса, я смогла сосредоточиться, собраться с мыслями. Послушай, Индра, хорошо, что ты пришел, мне потребуется твоя помощь. Он покраснел, сказал, что всегда сделает для меня все и что рад видеть меня в хорошей форме. Да, мне уже хорошо, только подожди минутку, мне надо кое-что написать, и я села, и взяла бумагу, и начала писать. Людвик, мой самый дорогой, я любила тебя безгранично душой и телом, но мое тело и моя душа не знают теперь, зачем им жить. Прощаюсь с тобой, любя тебя, с богом, Гелена. Я даже не прочла того, что написала, Индра сидел напротив, смотрел на меня и не знал, что я пишу, я быстро сложила бумагу, хотела сунуть в конверт, но нигде не нашла его, послушай, Индра, нет ли у тебя конверта?

Индра спокойно подошел к шкафу у стола, открыл его и стал там рыться, в другой раз я бы не разрешила ему копаться в чужих вещах, но сейчас мне нужен был поскорее, поскорее конверт, он подал мне его, на нем был штамп местного национального комитета, я вложила в него письмо, заклеила и на конверте написала «Людвику Яну», послушай, Индра, помнишь ты того человека, что стоял с нами, когда там был еще мой муж и та девушка, ну да, тот черноволосый, я пока не могу отсюда уйти, будь любезен, отыщи его где-нибудь и отдай письмо.

Он снова схватил меня за руку, бедняжка. Что он мог думать, как он мог объяснить себе мою взволнованность, ему и во сне не могло присниться, о чем идет речь, он только чувствовал, что со мной творится неладное, он снова взял меня за руку, и мне вдруг стало бесконечно горько от этого, а он склонился ко мне, и обнял меня, и прижал свои губы к моим, я хотела было отстраниться, но он держал меня крепко, и вдруг меня пронзила мысль, что это последний мужчина, которого я целую в своей жизни, что это мой последний поцелуй, и на меня вдруг нашло безумие, я тоже обняла его, и прижалась к нему, и приоткрыла рот, и почувствовала языком его язык и его руки на своем теле, и в эту минуту меня охватило сумасводящее чувство, что теперь я совершенно свободна и что мне все трын-трава, потому что все покинули меня, и мой мир рухнул, и я совершенно свободна и могу делать все, что мне заблагорассудится, я свободна, как та девушка, которую мы выгнали из студии, меня ничего от нее не отличает, мой мир разбит, и я его уже никогда не слеплю, мне уже не для чего быть верной и некому быть верной, я вдруг стала совершенно свободной, как та девушка-техник, та потаскушка, что каждый вечер лезла в другую постель, останься я жить, я бы тоже каждый вечер лезла в другие постели, я чувствовала во рту язык Индры, я свободна, я знала, что могу любить его, я хотела любить его, любить где угодно, пусть здесь на столе или на дощатом полу, немедля, быстро, сию же минуту, в последний раз любить мужчину, любить перед концом, но вот Индра выпрямился, гордо улыбнулся и сказал, что уже идет и что тотчас вернется.

## 17

По маленькому залу с пятью-шестью столами, густо накуренному и переполненному людьми, промчался официант, держа на вытянутой руке большой поднос с горой тарелок, на которых я разглядел шницели по-венски с картофельным салатом (вероятно, единственное воскресное блюдо), и, бесцеремонно прокладывая себе дорогу между людьми и столами, выбежал из зала в коридор. Я пошел за ним следом и обнаружил, что из коридора ведет дверь в сад, где также подают обеды. В самом конце под липой был свободный столик; я сел.

Издалека по-над крышами деревни неслось хватающее за душу «гилом, гилом», неслось из такой дали, что сюда в ресторанный сад, окруженный стенами домов, доходило уже почти нереальным. И эта мнимая нереальность вселяла в меня мысль, что все вокруг тоже совсем не настоящее, а всего лишь прошлое, прошлое пятнадцати-двадцатилетней давности, что «гилом, гилом» — прошлое, Люция — прошлое, Земанек — прошлое, а Гелена была разве что камнем, которым я хотел швырнуть в это прошлое; все эти три дня были лишь театром теней.

Так ли? Лишь эти три дня? Вся моя жизнь, думается, всегда была слишком перенаселена тенями, а настоящее занимало в ней, по-видимому, не вполне достойное место. Мне представляется движущаяся лестница (это время) и на ней человек (это я), что бежит не в том направлении, в каком движется лестница, однако движется она быстрее, чем я, и поэтому медленно уносит меня от цели, к которой я бегу; эта цель (странная цель, ибо расположена *сзади!*) не что иное, как прошлое политических процессов, прошлое залов, где поднимаются руки, прошлое страха, прошлое «черных» солдат и Люции, прошлое, которое загубило меня, которое я пытаюсь разгадать, размотать, расплести, но которое противится тому, чтобы я жил как подобает человеку, жил с поднятой головой. И вместе с тем это прошлое день ото дня все отдаленнее (поскольку лестница движется быстрее меня), и оттого чем дальше, тем оно менее разгадано и менее распутано, так что усердствую я (с глазами, обращенными к прошлому, и с неутоленным чувством справедливости) в *бесплодном* беге.

И вот я потянул за главную нить, которой хотел было связаться с прошлым, меня гипнотизирующим, нить эта — мщение, однако и оно, как дозелось убедиться на этих днях, оказалось столь же бесплодным, как и бесплоден весь мой бег назад. Да, теперь мне ясно: именно тогда, когда Земанек зачитал в факультетской аудитории отрывки из фучиковского «Репортажа с петлей на шее», я должен был подойти к нему и дать пощечину, да, именно тогда. С затянувшейся отсрочкой мщение превращается в нечто мнимое, в личную религию, в миф, отторгаемый с каждым днем все больше от действующих лиц, которые в мире мщения остаются прежними, хотя на самом деле (лестница в постоянном движении) они уже давно другие: сейчас другой Ян стоит перед другим Земанеком, и удар, который я задолжал ему, нельзя ни воскресить, ни возродить, он окончательно потерян, и стукни я его нынче, спустя годы, мой удар был бы совершенно непонятен, а поскольку непонятен, он приобрел бы затем и совершенно иные, чужие, не продуманные мною значения, он стал бы чем-то другим, чем был в моем замысле, он мог бы обратиться совсем в иную сторону, и я бессилен был бы направить, а тем паче оправдать его.

Я резал на тарелке большую лепешку шницеля по-венски, и снова моих ушей коснулось «гилом, гилом», несшееся слабо и заунывно по-над деревенскими крышами; я мысленно представил себе закутанного короля и его «Конницу», и у меня сжалось сердце от невразумительности человеческих жестов.

На протяжении многих веков в моравских деревнях так же, как и сегодня, выезжают юноши со странным посланием, чьи буквы, начертанные на неведомом языке, они демонстрируют с умилительной верностью, даже не понимая их. Какие-то древние люди определенно хотели поведать что-то очень важное, а сегодня в своих потомках они оживают глухонемыми витиями, говорящими с публикой прекрасными и непонятными жестами. Их послание никогда не будет разгадано не только потому, что к нему не найден ключ, но и потому, что у людей нет терпения прислушаться к нему в пору, когда собрано уже такое неоглядное множество посланий стародавних и новых, что их перекликающиеся вести перестали восприниматься. Уже сейчас история — лишь ниточка запомнившегося над океаном забытого, но время шагает вперед, и наступит век высших летосчислений. какие невозросшая память индивидов вооб-

ще не в состоянии будет постичь; поэтому целые столетия, да и тысячелетия из нее выпадут, столетия живописи и музыки, столетия изобретений, сражений, книг, и это обернется бедой, ибо человек утратит понятие о себе самом, и его история, неосмысленная, неохватная, ссохнется до нескольких, лишенных смысла сокращений. Тысячи глухонемых «Конниц королей» будут выезжать навстречу тем далеким людям с печальными и невнятными посланиями, но ни у кого не будет времени выслушать их.

Я сидел в углу летнего ресторана над пустой тарелкой — даже не заметив, как съел шницель,— и думал о том, что я тоже втянут (уже ныне, уже сейчас!) в это неизбежное и беспредельное забвение. Пришел официант, взял тарелку, взмахнул полотенцем, сметая с моей скатерти несколько крошек, и поспешил к другому столу. Меня охватила жалость к этому дню не только потому, что он был тщетным, но и потому, что даже его тщетность не останется, что он канет в Лету вместе с этим столом и с той мухой, что жужжит вокруг моей головы, и с этой желтой пыльцой, что роняет на скатерть цветущая липа, и с тем медлительным и убогим обслуживанием, столь типичным для нынешнего состояния общества, в каком я живу, что и это общество будет забыто и еще много раньше будут забыты его ошибки, грехи и неправды, от которых я страдал и натерпелся и которые напрасно пытался исправить, покарать и искупить, да, напрасно, ибо то, что случилось, случилось, и того не искупишь.

Да, это так: большинство людей обманывает себя двоякой ложной верой — они верят в *вечную память* (людей, вещей, поступков, народов) и в *искупление* (поступков, ошибок, грехов и неправд). Обе веры ошибочны. В действительности же наоборот: все будет забыто, и ничего не будет искуплено. Задачу искупления (отмщения и прощения) выполнит забвение. Никто не искупит учиненных неправд, ибо все неправды будут забыты.

Я снова огляделся вокруг, так как знал, что будут забыты липа, стол, люди за столами, официант (усталый после дневной суеты) и этот трактир, который (с улицы неприветливый) отсюда, со стороны сада, был довольно симпатично обвит виноградной лозой. Я смотрел в открытую дверь коридора, в которой только что исчез официант (это утомленное сердце теперь уже опустевшего и притихшего заведеньица), но возник молодой человек в кожаной куртке и техасах; он вошел в сад и осмотрелся; затем, увидев меня, направился к моему столу; только минутой позже я сообразил, что это Геленин техник.

Совершенно не переношу ситуации, когда любящая и нелюбимая женщина угрожает своими возвращениями, и потому, когда паренек протянул мне конверт («Это вам посылает пани Земанкова»), первым моим желанием было как-то оттянуть прочтение письма. Я предложил ему сесть рядом; он послушался (сел, опершись локтем о стол, и, наморщив лоб, спокойно уставился на пронизанную солнцем липу), а я положил конверт перед собой на стол и спросил:

— Выпьем что-нибудь?

Он пожал плечами; я предложил ему водки, но он отказался: за рулем, мол; а затем добавил, что если мне хочется, то на здоровье — он с удовольствием поглядит, как я пью. Пить меня совсем не тянуло, но передо мной на столе лежал конверт, открывать который мне не хотелось, и потому я готов был предпочесть любое другое занятие. А значит, попросил официанта, проходящего мимо, принести мне водки.

— А что Гелена хочет, не знаете? — спросил я.

— Откуда мне знать. Прочитайте письмо,— ответил он.

— Что-нибудь срочное? — снова поинтересовался я.

— А вы считаете, я должен был вызубрить письмо наизусть на случай нападения? — сказал он.

Я взял конверт в руки (это был официальный конверт со штампом местного национального комитета); затем я снова положил его на скатерть перед собой и, не зная, что сказать, произнес:

— Жаль, что вы не пьете.

— Речь же идет о *вашей* безопасности тоже,— сказал он. Я понял намек, понял, что сказан он был не без умысла: парень, пользуясь случаем, хочет выяснить, есть ли у него надежда на обратном пути остаться с Геленой тет-а-тет. Он был вполне мил, на его лице (маленьком, бледном и веснушчатом, с вздернутым коротким носом) отражалось все, что происходило внутри него; это лицо было столь прозрачно, видимо, потому, что казалось непоправимо детским (я сказал «непоправимо», ибо эта детскость таилась в ненормальной мелкости черт, которые с возрастом ничуть не становятся более мужественными, а делают старческое лицо всего лишь постаревшим детским). Эта детскость едва ли может быть в радость двадцатилетнему парню, ибо в таком возрасте она унижает его, и ему ничего не остается, как любыми средствами маскировать ее (так же как некогда маскировал ее — о боже, бесконечный театр теней! — мальчик-командир в нашей казарме): одеждой (кожаная куртка парня была с широкими плечами, хорошо сшитой и вполне шла ему) и манерами (парень держался самоуверенно, слегка грубовато и подчас выказывал некое небрежное равнодушие). Но, к сожалению, в этой маскировке он то и дело выдавал себя: краснел, не владел в достаточной мере своим голосом, который в минуты даже самого небольшого волнения слегка срывался (это я заметил уже при первой встрече), не владел глазами и мимикой (хоть и старался выказать равнодушие по поводу того, поеду ли я с ними или не поеду в Прагу, но как только я заверил его, что останусь здесь, глаза его нескрываемо засияли).

Когда минуту спустя официант поставил на наш стол по ошибке не одну, а две рюмки водки, паренек махнул рукой и попросил официанта не уносить ее: так и быть, он тоже выпьет.

— Не оставлять же вас в одиночестве,— сказал он и поднял рюмку: — За ваше здоровье!

— За ваше! — сказал я, и мы чокнулись.

Мы разговорились, я узнал, что парень рассчитывает уехать часа через два, поскольку Гелена хочет записанный материал обработать на месте, а быть может, наговорить еще и собственный комментарий, чтобы все целиком уже завтра пошло в эфир. Я спросил, как ему с Геленой работается. Он снова слегка покраснел и ответил, что Гелена толк в своем деле знает, но держит, правда, своих сотрудников в ежовых рукавицах: готова работать и днем и ночью, и ей плевать, что кто-то, к примеру, торопится домой. Я спросил его, торопится ли он тоже домой. Он сказал, что нет, что лично его это вполне устраивает. А потом, пользуясь тем, что я сам спросил его о Гелене, поинтересовался скромно и как бы невзначай: «А откуда вы, собственно, знакомы с Геленой?» Я сказал ему, а он продолжал допытываться: «Гелена клевая, правда?»

Когда речь шла о Гелене, он напускал на себя демонстративно спокойный вид, и это тоже я приписывал его желанию замаскироваться: о его безнадежном поклонении Гелене, видимо, все знали, и он всячески открещивался от венца незадачливого влюбленного, венца, как известно, весьма постыдного. Хоть я и не относился к самоуверенности парня слишком серьезно, тем не менее она несколько смягчала тяжесть письма, лежавшего передо мной на скатерти, и потому я взял его и открыл: «Мое тело и моя душа не знают теперь, зачем... жить... Прощаюсь...»

В другом конце сада я увидел официанта и закричал: — Получите с меня!

Официант кивнул головой, но не соизволил сойти с орбиты своего действа и снова исчез в коридоре.

— Идемте, у нас нет времени,— сказал я парню. Я встал и быстро пересек сад; парень поспешил за мной. Мы прошли по коридору к маленькому залу до самого выхода, так что официанту поневоле пришлось бежать за нами.

— Шницель, суп, две рюмки водки,— диктовал я ему.

— Что происходит? — спросил притихшим голосом парень.

Расплатившись с официантом, я велел парню как можно скорее проводить меня к Гелене. Мы двинулись быстрым шагом.

— Что случилось? — спросил он.

— Это далеко?

Он указал рукой вперед, и я с ходьбы перешел на бег; бежали мы оба и скоро оказались у национального комитета. Это был одноэтажный домик, выкрашенный в белый цвет и смотревший на улицу воротами и двумя окнами. Мы вошли внутрь. Из темного коридора вела дверь вправо; парень открыл ее; мы очутились в неприветливой канцелярии: под окном стояли придвинутые вплотную два письменных стола; на одном был открытый магнитофон — блокнот и дамская сумка (да, Геленина!); у обоих столов стояли стулья, а в углу комнаты — металлическая вешалка. На ней висели два плаща: Геленина синяя «болонья» и грязный мужской плащ (из баллонного шелка).

— Здесь,— сказал парень.

— Это письмо она вам здесь давала?

— Да.

Однако сейчас канцелярия была безнадежно пуста; я крикнул: «Гелена!» — и сам испугался, так неуверенно и удрученно звучал мой голос. В ответ ни звука. Я крикнул снова: «Гелена!», и парень спросил:

— Она что-нибудь сделала с собой?

— Похоже,— сказал я.

— Она написала вам об этом в письме?

— Да,— сказал я.— В вашем распоряжении не было никакой другой комнаты?

— Нет,— ответил он.

— А в гостинице?

— Оттуда мы еще утром выписались.

— Тогда надо ее искать здесь,— сказал я и услышал сдавленный, срывающийся голос парня: «Гелена!»

Я открыл дверь в соседнюю комнату; там тоже была канцелярия: письменный стол, корзина для бумаг, три стула, шкаф и вешалка (вешалка была такая же, как и в первой комнате: металлический стержень, стоящий на трех ножках, а вверху расходящийся — точно так, как внизу,— на три металлические ветки: поскольку на вешалке ничего не висело, она стояла здесь широко и по-человечески; ее железная нагота и смешно воздетые ручки навеяли на меня тревогу); над письменным столом было окно, а вокруг — лишь голые стены; ни одна дверь никуда отсюда не вела; в домике, вероятно, были только эти две комнаты.

Мы пошли назад в первую комнату; я взял со стола блокнот и перелистал его; но в нем были почти неразборчивые заметки, касавшиеся (насколько мне удалось прочитать отдельные слова) «Конницы королей»; никакой записки, никаких прощальных слов. Я открыл сумку: там оказались носовой платок, кошелек, помада, пудреница, две высыпавшиеся сигареты, зажигалка; никакой упаковки с лекарством, никакого пузырька из-под выпитого яда. Я лихорадочно думал, что же могла Гелена сделать с собой, и наиболее вероятным мне представлялся яд; однако после него должен был бы остаться пузырек или тюбик. Я подошел к вешалке и порылся в карманах дамского плаща; они были пусты.

— Может, на чердаке? — нетерпеливо сказал парень, поскольку мои поиски в комнате, хоть и длились они не более двух-трех секунд, казались ему явно бессмысленными. Мы выбежали в коридор и обнаружили там две двери: одна была в верхней своей трети застеклена, и сквозь стекло неясно вырисовывался двор; мы открыли вторую, ближайшую, дверь — за ней была лестница, каменная, темная, покрытая слоем пыли и копоти. Мы взбежали наверх; нас обступила полутьма, благо, на крыше было одно слуховое окно (с грязным стеклом), сквозь которое сеялся тусклый, серый свет. Вокруг громоздилось полно всякой рухляди (ящики, садовые инструменты, мотыги, заступы, грабли, а еще

горы папок и старые поломанные стулья); мы спотыкались. Я хотел крикнуть «Гелена!», но от страха не смог; боялся молчания, которое ответствовало бы. Парень тоже молчал. Без единого слова мы переворошили всю рухлядь и прощупали все темные закутки; чувствовалось, насколько мы оба встревожены. А наибольшим ужасом веяло от нашего собственного молчания, которым мы признавались себе, что уже не ждем от Гелены ответа, что мы ищем лишь ее тело — висящее или распростертое.

Однако мы ничего не нашли и вернулись вниз, в канцелярию. Я снова оглядел весь инвентарь, столы, стулья, вешалку, державшую на вытянутой руке ее плащ, а затем и во второй комнате: стол, стулья, шкаф и опять же вешалку с отчаянно поднятыми пустыми ручонками. Парень крикнул (впустую) «Гелена!», а я (впустую) открыл шкаф — передо мной были полки, забитые папками, писчебумажными принадлежностями, клейкими лентами и линейками.

— И все-таки здесь должно еще что-то быть! Уборная! Либо подвал! — сказал я, и мы снова вышли в коридор; парень открыл дверь во двор. Двор был маленький; в углу стояла клетка с кроликами; за двориком был сад, заросший густой некошеной травой, из которой поднимались стволы фруктовых деревьев (далеким уголком мозга я успел осознать, что сад прекрасен; что промеж зелени ветвей висят клочья голубого неба, что стволы деревьев шершавые и кривые и что среди них сияет несколько кричаще-желтых подсолнухов); в конце сада, в идиллической тени яблони, я увидел деревянный домик деревенской уборной. Я бросился к нему.

Вращающийся брусочек, прибитый одним большим гвоздем к узкой притолоке (чтобы в горизонтальном положении оно закрывало дверь снаружи), висело вертикально. Я просунул пальцы в щель между дверью и притолокой и легким рывком обнаружил, что уборная изнутри заперта; это означало лишь одно: там Гелена. Я сказал тихо: «Гелена! Гелена!» В ответ ни звука. Лишь яблонька, обдуваемая ветерком, шуршала ветвями о деревянную стенку домика.

Я понимал, что молчание в запертой уборной означает самое страшное и что не остается ничего другого, как выломать дверь, притом сделать это должен именно я. Я снова вложил пальцы в щель между притолокой и дверью и дернул изо всех сил; дверь, запертая не на крючок, а как часто бывает в деревне — на веревочку, без особого сопротивления распахнулась настежь. Напротив меня на деревянной лавочке в зловонье отхожего места сидела Гелена. Бледная, однако живая. Она смотрела на меня испуганными глазами и непроизвольным движением стягивала задранную юбку, которая и при самом большом усилии едва ли достигала до половины ляжек; Гелена тянула ее опушку обеими руками и поджимала под себя ноги.

— Боже, подите прочь! — кричала она в отчаянии.

— Что с вами? — кричал я на нее.— Что вы проглотили?

— Подите прочь! Оставьте меня! — кричала она.

За моей спиной в это время появился и парень, а Гелена кричала: «Индра, уходи прочь, прочь отсюда!»

Приподнявшись над отхожим местом, она протянула руку к двери, но я встал между нею и дверью, так что она, пошатываясь, снова опустилась на круглое отверстие лавки,

Однако в ту же секунду снова вскочила с нее и бросилась на меня с отчаянной силой (в самом деле — отчаянной, поскольку это были уже крупицы силы, оставшиеся у нее после невероятного изнурения). Схватив меня обеими руками за лацканы пиджака, она стала выпихивать меня вон; мы оказались снаружи, перед порогом уборной. «Ты зверь, зверь, зверь!» — кричала она (если можно назвать криком неистовые потуги ослабшего голоса) и трясла меня; потом вдруг отпустила и бросилась бежать по траве в сторону дома. Она хотела убежать, но ей не повезло; выскочив из уборной в панике, она не успела привести себя в поря-

док, и ее спущенные до колен трусики (знакомые мне со вчера — эластичные, выполняющие одновременно и роль пояса для подвязок) мешали ей двигаться (юбка была, правда, одернута, но чулки съехали, их верхняя, более темная кайма с подвязками сползла ниже колен, виднеясь из-под юбки); Гелена сделала несколько мелких шажков или, вернее, прыжков (в туфлях на высоких каблуках), продвинулась метра на три и упала (упала в осиянную солнцем траву под ветки дерева, близ высокого крикливого подсолнуха); я взял ее за руку и хотел поднять; она вырвалась, а когда я снова к ней наклонился, начала, точно невменяемая, шлепать вокруг себя руками; получив таким образом несколько ударов, я схватил ее со всей силой, притянул к себе, поднял и заключил в объятия, как в смирительную рубашку. «Зверь, зверь, зверь, зверь»,— шипела она яростно и била меня свободной рукой по спине; когда я (как можно мягче) сказал: «Гелена, успокойтесь», она плюнула мне в лицо.

Не выпуская ее из кольца своих рук, я твердил:

— Не отпущу вас, пока не скажете, что вы проглотили.

— Прочь, прочь, подите прочь! — повторяла она исступленно, а потом вдруг затихла, перестала сопротивляться и сказала: — «Пустите меня»; сказала настолько другим (тихим и усталым) голосом, что я, разжав руки, посмотрел на нее и с ужасом увидел, что ее лицо морщится от невыносимого напряжения, что челюсти сводит судорогой, глаза становятся какими-то незрячими и тело медленно обмякает и сгибается.

— Что с вами? — проговорил я, но она молча повернулась и снова направилась к уборной; шла она походкой, которую вовек не забуду: медленными мелкими шажками своих спутанных ног, шажками, неравномерно заторможенными; она прошла всего метра три-четыре, но на протяжении этого короткого расстояния несколько раз останавливалась, и видно было (по легким корчам ее тела), что она ведет тяжкую борьбу с беснующимися внутренностями; наконец она добрела до уборной, взялась за дверь (что оставалась распахнутой настежь) и закрыла ее за собой.

Я продолжал стоять там, где поднял ее с земли; а когда из уборной донеслись громкие стонущие вздохи, отошел еще дальше. И только сейчас осознал, что возле меня стоит парень, ее техник.

— Останьтесь здесь,— сказал я.— Надо вызвать врача.

Я вошел в канцелярию; телефон увидел сразу же с порога: он стоял на письменном столе. Хуже было с телефонным справочником; я нигде не находил его; попробовал выдвинуть средний ящик письменного стола, но тот был заперт, равно как и все прочие ящики тумбы стола; запертым оказался и второй письменный стол. Я пошел в другую комнату; там в столе был только один ящик, причем на сей раз незапертый; но, кроме нескольких фотографий и ножа для резки бумаги, в нем ничего не было. Я не знал, что делать; и меня вдруг одолела (теперь, когда стало ясно, что Гелена жива и что ей едва ли грозит смерть) усталость; я постоял немного в комнате, тупо глядя на вешалку (худая металлическая вешалка, поднявшая руки вверх, будто сдавалась кому-то на милость); потом (скорее от растерянности) открыл шкаф; на груде папок лежал сине-зеленый телефонный справочник Брненской области; я подошел с ним к телефону, перелистывая список больниц. Набрав номер, я уж было услышал в трубке гудки, когда в комнату вбежал парень.

— Никого не вызывайте! Не нужно! — кричал он.

Я ничего не мог понять.

Он вырвал у меня из рук трубку и положил на вилку.

— Ни к чему это, говорю вам.

Я попросил его объяснить мне, что происходит.

— Никакая это не отрава! — сказал он и подошел к вешалке; пошарив в кармане мужского плаща, вытащил стеклянный тюбик, открыл его и перевернул: пустой.

— Это то, что она проглотила? — спросил я.

Он кивнул.

— Откуда вы знаете?

— Она сказала мне.

— Так это ваш тюбик?

Он кивнул. Я взял его в руки; на нем было написано «альгена».

— Вы думаете, что анальгетики в таком количестве безвредны? — кричал я на него.

— Там была не «альгена».

— А что же там было? — кричал я.

— Слабительное,— отрубил он.

Я кричал, чтобы он не дурил мне голову, что я должен знать, что произошло, и что мне вовсе не интересны его наглые шуточки. Я приказал ему тотчас ответить мне.

В ответ на мой крик он и сам заорал:

— Я же сказал вам, что там было слабительное! Будто все на свете должны знать, что у меня не в порядке кишечник! — И вдруг я понял: то, что казалось мне глупой шуткой, было сущей правдой.

Я смотрел на него, на его побагровевшую мордочку, на тупой нос (маленький, но при этом достаточно большой для того, чтобы поместить на себе великое множество веснушек), и мне стал проясняться смысл всего: стеклянный тюбик от «альгены» должен был скрыть комичность его болезни, так же как техасы и широченная куртка — комичность его детской физиономии. Он стыдился себя и с трудом нес по жизни свой юношеский удел; в эту минуту я любил его, он спас своей стыдливостью (этим аристократизмом юности) жизнь Гелене, а мне — сон на грядущие годы. С тупой благодарностью я смотрел на его оттопыренные уши. Да, он спас Гелене жизнь; однако ценой ее бесконечно мучительного унижения; я знал это, как и то, что ее унижение — ни за что ни про что, унижение без смысла и без малейшей тени справедливости; я знал, что это новая непоправимость в цепи непоправимостей; я чувствовал себя виноватым, и меня охватило настойчивое (хоть и неясное) желание бежать к ней, бежать как можно быстрее, вытащить ее из этого позора, самому унизиться перед ней и покаяться, взять на себя всю вину и всю ответственность за это бессмысленно жестокое происшествие.

— Чего вы на меня уставились! — гаркнул на меня парень. Я не ответил ему и прошел мимо него в коридор; направился к двери во двор.

— Чего вам там надо? — Он схватил меня сзади за плечо пиджака и попытался притянуть к себе; мы поглядели в глаза друг другу, я сжал его руку за запястье и сбросил со своего плеча. Он обошел меня и преградил мне дорогу. Сделав шаг к нему, я хотел оттолкнуть его. В эту минуту он размахнулся и ударил меня кулаком в грудь.

Удар был слабеньким, но парень отскочил и стал против меня в наивной боксерской позиции; в выражении его лица страх перемешивался с безрассудной смелостью.

— Нечего вам там делать! — крикнул он. Я не двигался. Вдруг пришла мысль, что парень, пожалуй, прав: что непоправимое, верно, уже ничем не искупишь. А парень, видя, что я стою и не защищаюсь, продолжал кричать: — Вы ей отвратительны! Ей наср... на вас! Она так и сказала! Ей наср... на вас!

Нервное перенапряжение делает человека бессильным не только против плача, но и против смеха; реальность последних слов парня вызвала у меня невольное подергивание уголков губ. Это взбесило парня; на сей раз он заехал мне в рот, а другой удар я едва успел перехватить. Затем парень снова отступил на шаг и поднял по-боксерски кулаки перед самым своим лицом — за ними были видны лишь его оттопыренные порозовевшие уши.

Я сказал ему:

— Прекратите! Ну что ж, я пошел!

Он еще кричал мне вслед: — Трус, говнюк! Говнюк! Знаю, что ты приложил к этому руку. Я тебя еще найду! Идиот! Идиот!

Я вышел на улицу. Она была безлюдна, какими бывают улицы после праздника; лишь легкий ветерок вздымал пыль и гнал ее по плоской земле, пустой, как моя голова, моя пустая помраченная голова, в которой долго не возникало ни единой мысли...

Лишь позже я вдруг осознал, что держу в руке тюбик от «альгены»; я присмотрелся к нему; он весь был захватан: должно быть, давно служил парню камуфляжем для послабляющих средств.

Этот тюбик еще долгое время вызывал в памяти другие два тюбика Алексеева «дорминала»; и вдруг я подумал, что паренек вовсе не спас Гелене жизни: будь это даже настоящая «альгена», она едва ли причинила бы Гелене бóльший вред, чем сильную тошноту, тем паче, что мы с этим парнем оказались поблизости; Геленино отчаяние сводило счеты с жизнью на совершенно безопасном расстоянии от порога смерти.



### 18

Она стояла в кухне у плиты. Стояла спиной ко мне. Словно ничего не произошло. «Владимир? — ответила, даже не обернувшись.— Ты же видел его! Как ты можешь так спрашивать?» — «Ложь,— сказал я.— Владимир нынче утром уехал с внуком Коутецкого на мотоцикле. Я пришел сказать тебе, что знаю это. Знаю, почему утром вам так кстати оказалась эта идиотка-редакторша. Знаю, почему мне нельзя было присутствовать при сборах короля. Знаю, почему король соблюдал запрет молчания еще до того, как включили его в «Конницу». Вы все отлично продумали».

Моя уверенность смутила Власту. Но она, быстро обретя присутствие духа, вспомнила, что лучшая защита — нападение. Однако странным было это нападение. Странным уже хотя бы потому, что противники стояли не лицом к лицу. Она стояла ко мне спиной, лицом обращенная к булькающему супу. Голоса не повышала. Он был почти равнодушным. Словно все, что она говорит мне, было какой-то избитой истиной, которую она вынуждена из-за моей непонятливости и чудаковатости излагать сейчас вслух. Ну что ж, коли мне угодно все это слышать, так, пожалуйста, она выскажется. Владимиру с самого начала не хотелось быть королем. И тут нет ничего удивительного. Когда-то мальчишки устраивали «Конницу королей» сами. Сейчас занимается ею с десяток организаций и даже районный комитет партии заседает по этому поводу. Люди сейчас уже ничего не могут делать самостоятельно, по собственному почину. Все спускается сверху. Раньше мальчики выбирали себе короля сами. На этот раз сверху назначили Владимира, чтобы выразить уважение его отцу, вот и извольте-ка все подчиняться. Владимиру стыдно, что его взяли в короли по протекции. Таких протеже никто терпеть не может. «Ты хочешь сказать, что Владимиру стыдно за меня?» — «Ему противно жить по протекции»,— повторяла Власта. «Почему он водит дружбу с семьей Коутецких? С этими недоучками. С этими тупыми мещанами?» — спросил я. «Да. Именно потому,— подтвердила Власта.— Милош из-за деда вообще не может учиться. Только потому, что у деда была строительная фирма. А Владимиру открыты все двери. Только потому, что его отец ты. Владимира это мучит. Ты можешь это понять?»

Впервые в жизни я злился на нее. Они обвели меня вокруг пальца. Все это время холодно наблюдали, как я радуюсь, как волнуюсь, посмеивались, верно, какой я сентиментальный. Спокойно наблюдали за мной и обманывали. «Зачем было меня обманывать?» — спросил я.

Власта, подсаливая лапшу, сказала, что со мной трудно. Что живу я, дескать, в своем мире. Я фантазер. Они не хотят лишать меня моих идеалов, но Владимир другой. Ему чужды мои песенки с этим уханьем. Неинтересно ему. Скучно ему. И я, мол, должен с этим смириться. Владимир — современный человек. Он вылитый ее отец. Тот всегда тянулся ко всему передовому. Он был первым крестьянином в их деревне,

который еще до войны обзавелся трактором. Потом у них, правда, все отобрали. Но все равно, с тех пор как их поле отошло к кооперативу, оно уже не родит столько. «Ваше поле не волнует меня. Я хочу знать, куда делся Владимир. Он поехал на мотогонки в Брно, да? Признавайся!»

Она стояла ко мне спиной, мешала лапшу и пела свою песню. Владимир — вылитый дед. У мальчика и подбородок его, и глаза его. И Владимира не занимает «Конница королей». Да, уж коли мне угодно все это слышать, пожалуйста: он поехал на соревнования. Ему интересно посмотреть. А почему бы и нет? Его больше увлекают мотоциклы, чем кобылы в лентах. Ну и что из того? Владимир — современный человек.

Мотоциклы, гитары, мотоциклы, гитары. Идиотский и чуждый мне мир. Я спросил: «А что это, скажи на милость, современный человек?»

Она стояла ко мне спиной, мешала лапшу и в ответ говорила мне, что нашу квартиру и то не удалось ей обставить хоть чуточку по-современному. Сколько разговоров было из-за этого стильного торшера! И модная люстра тоже мне не по нутру. Однако всем совершенно ясно, что этот торшер очаровательный. Теперь повсюду только такие и покупают. «Замолчи»,— сказал я. Но заткнуть ей рот было невозможно. Она вошла в раж. По-прежнему стояла ко мне спиной. Маленькой, злой, худой спиной. Это, пожалуй, больше всего выводило меня из себя. Спина. Спина, у которой нет глаз. Спина, которая по-идиотски самоуверенна. Спина, с которой нельзя договориться. Я хотел заставить ее замолчать. Обратить лицом ко мне. Но я чувствовал к ней такое отвращение, что не в силах был коснуться ее. Поверну-ка ее к себе иным путем. Я открыл буфет и взял тарелку. Грохнул ею об пол. Она враз умолкла. Но не повернулась. Еще тарелка и еще одна. Она по-прежнему стояла спиной ко мне. Вся съежившись. Я видел по ее спине, что она обмирает от страха. Да, она обмирала от страха, но была упряма и не желала сдаваться. Она перестала мешать лапшу и стояла, сжимая мешалку в руке. Она держала ее как свое прикрытие. Я ненавидел ее, а она меня. Она стояла недвижно, а я, не спуская с нее глаз, продолжал сбрасывать на пол с полок буфета всю посуду подряд, без разбору. Я ненавидел ее и ненавидел сейчас весь ее обиход. Современную типовую кухню с современным буфетом, современными тарелками, современными рюмками.

Я даже не испытывал волнения. Я смотрел спокойно, грустно, почти устало на пол, усыпанный черепками, раскиданными горшками и кастрюлями. Я бросал на пол свой дом. Дом, который я любил, к которому тянулся душой. Дом, в котором я чувствовал ласковую власть своей бедной девочки. Дом, который я заселил сказками, песнями и добрыми домовыми. А вот на этих трех стульях мы сидели за нашим обеденным столом. Ах, уж эти радушные обеды, за которыми похваливают и морочат глупого и доверчивого кормильца семьи. Я брал один стул за другим и ломал у них ножки. И бросал их на пол к кастрюлям и разбитым рюмкам. Я перевернул вверх ногами кухонный стол. Власта стояла у плиты по-прежнему неподвижная и обращенная ко мне спиной.

Из кухни я пошел к себе в комнату. В комнате был розовый шар на потолке, торшер и отвратительный современный диван-кровать. На фисгармонии лежала в черном футляре моя скрипка. Я взял ее. В четыре пополудни мы играем в саду ресторана. Но сейчас только час. Куда идти?

Из кухни донеслись рыдания. Власта плакала. Рыдания разрывали сердце, болезненная жалость пронизывала меня всего насквозь. Почему она не расплакалась десятью минутами раньше? Я, возможно, поддался бы прежнему самообману и снова увидел бы в ней бедную девчоночку. Но сейчас уже было поздно.

Я вышел из дому. Над крышами деревни неслись выкрики «Конницы королей»: «Король наш честный, но очень бедный». Куда мне идти? Улицы принадлежали «Коннице королей», дом — Власте, трактиры —

выпивохам. А где мое место? Я старый, одинокий, изгнанный король. Честный и обнищавший король. Король без наследников. Последний король.

К счастью, за деревней — поля. Дорога. А в десяти минутах ходьбы — река Морава. Я лег на берегу. Футляр со скрипкой положил под голову. Лежал долго. Час, а то и два. И думал о том, что пришел мой конец. Так сразу и неожиданно. И вот он уже здесь! Я не мог представить себе продолжение. Я всегда жил одновременно в двух мирах. Я веровал в их взаимную гармонию. Это был обман. Теперь из одного мира я изгнан. Из реального мира. Остается мне лишь тот, вымышленный. Но невозможно жить лишь в вымышленном мире. Хоть там и ждут меня. Хоть и взывает ко мне дезертир, припася для меня свободного коня и красный покров на лицо. О, теперь я его понимал! Теперь понимал, почему он запрещал мне снимать платок и хотел сам рассказывать обо всем. Только теперь я понимал, почему у короля должно быть закрыто лицо! Не для того, чтобы его не было видно, а чтобы он ничего не видел.

Я не мог даже представить себе, что встану и пойду. Казалось, ни единого шага не сделаю. В четыре меня ждут. Но у меня нет сил подняться и идти туда. Только здесь мне хорошо. Здесь у реки. Здесь течет вода, неторопливо и извечно. Течет она неторопливо, и я, никуда не торопясь, буду здесь долго лежать.

И вдруг меня кто-то окликнул. Это был Людвик. Я ждал следующего удара. Но уже не испытывал страха. Уже ничто не могло застигнуть меня врасплох.

Он подошел ко мне и спросил, не собираюсь ли я на дневной концерт. «Неужто ты туда хочешь идти?» — спросил я его. «Да»,— сказал он. «Ты для этого сюда приехал?» — спросил я. «Нет,— сказал он.— Я приехал сюда не для этого. Но многое кончается не так, как мы предполагаем».— «Да,— сказал я,— совершенно иначе».— «Я уже битый час брожу по полям. Не думал, что здесь тебя встречу».— «Я тоже не думал».— «У меня к тебе просьба»,— сказал он тут же, не глядя мне в глаза. Так же, как Власта. Да, он не глядел мне в глаза. Но это мне не мешало. Даже радовало, что он не глядит мне в глаза. Казалось, в этом скошенном взгляде кроется стыд. И стыд этот согревал меня и лечил. «У меня к тебе просьба,— сказал он.— Не позволишь ли ты мне сегодня с вами играть?»

## 19

До отхода ближайшего автобуса оставалось несколько часов, и я пустился, побуждаемый внутренней тревогой, боковыми улочками вон из деревни, на загуменья, в поле, стремясь освободиться от всяких мыслей о минувшем дне. Нелегко было: я чувствовал, как зудят рассеченные кулачком парня губы, и вновь всплывал перед глазами неясный, всего лишь в общих чертах, облик Люции, напоминавший мне, что везде, где бы я ни пытался расквитаться за несправедливость, от которой страдал, позже сам оказывался в роли чинящего несправедливость. Я отогнал эти мысли — все, что они без конца мне внушали, я и без того отлично знал; хотелось, чтобы в мою свободную от них голову входили лишь далекие (теперь едва различимые) возгласы конников, которые увлекали меня куда-то вовне, за пределы моей мучительной истории, принося тем самым облегчение.

Я обогнул проселочными дорогами всю деревню, пока не подошел к берегу Моравы и не пустился по нему вдоль течения; на противоположном берегу копошились гуси, вдали виднелся равнинный лес, а вокруг — поля, поля. Вскоре я заметил, что впереди, в том направлении, в каком иду, на травянистом берегу лежит человек. Приблизившись, я узнал его: лежал он навзничь, уставившись в небо, а под головой была скрипка (вокруг простирались поля, ровные и далекие, такие же, как и столетия назад, разве что утыканные теперь стальны-

ми мачтами, несущими тяжелые провода высоковольтной линии). Было проще простого обойти его стороной, ибо он пристально смотрел в небо и не видел меня. Но на сей раз я не хотел уйти от встречи с ним, скорее хотел уйти от самого себя, от своих навязчивых мыслей и потому, подойдя почти вплотную, окликнул его. Он поднял ко мне глаза, и взгляд его показался робким и испуганным; только сейчас я заметил (впервые после многих лет увидев его вблизи), что от густых волос, удлинявших прежде на сантиметр-другой его высокую фигуру, осталась лишь редкая поросль, а голую кожу на темени прикрывают несколько печальных прядок; эти пропавшие волосы напомнили мне о долгих годах, что я не видел его, и вдруг стало бесконечно жаль этого времени, этого многолетнего времени, когда мы не встречались, когда я избегал его (вдалеке едва слышно доносился клич ездоков), и сердце сжалось от внезапной и виноватой любви к нему. Он лежал подо мной, опираясь на локоть, большой и неуклюжий, а футляр со скрипкой был черным и маленьким, словно гроб с младенцем. Я знал, что его капелла (когда-то и *моя* капелла) сегодня днем будет играть в деревне, и попросил его позволить мне сыграть с ними.

Эту просьбу я высказал раньше, чем успел сам додумать ее до конца (слова как бы пришли раньше, чем мысль), я высказал ее в общем-то опрометчиво, однако в согласии со своим сердечным порывом; ибо в эту минуту я был исполнен грустной любви; любви к тому миру, который покинул многие годы назад, к далекому и стародавнему миру, в котором конники объезжают деревню со своим замаскированным королем, в котором ходят в белых сборчатых рубахах и поют песни, к тому миру, что сливается у меня с образом родного города и с образом матери (моей загубленной матери) и моей молодости; в течение всего дня эта любовь нарастала во мне и сейчас прорвалась едва ли не плачем; я любил этот давний мир и вместе с тем просил его приютить и спасти меня.

Но как и по какому праву? Разве еще позавчера я не бежал встречи с Ярославом лишь потому, что его вид отзывался во мне противной музыкой фольклора? Разве еще сегодня утром не приближался я к фольклорному празднеству с досадой? Что же вдруг в моей душе ослабило затворы, которые пятнадцать лет мешали мне блаженно вспоминать о молодости, проведенной в капелле с цимбалами, как и растроганно вернуться в родной город? Уж не то ли, что часа два-три назад Земанек зло смеялся над «Конницей королей»? *Он,* пожалуй, внушил мне отвращение к народным песням, и *он* же снова очистил их для меня? Неужто я и впрямь второй конец компасной стрелки, острие которой — он? В самом ли деле я в такой постыдной зависимости от него? Нет, конечно, не только издевка Земанека вновь оживила во мне любовь к миру национальных костюмов, песен и капелл с цимбалами; я снова любил этот мир, потому что еще утром (неожиданно) нашел его в таком убожестве; в таком убожестве и, главное, в такой *покинутости;* его покинули напыщенность, реклама, политическая пропаганда, социальные утопии, его покинули толпы чиновников от культуры, показная приверженность моих сверстников, покинул его *и* Земанек; эта покинутость очищала его; эта покинутость была укоризненной, очищая его, к сожалению, как обычно очищает того, кто уже дышит на ладан; эта покинутость озаряла этот мир какой-то неотразимой *последней красотой;* эта покинутость возвращала его мне.

Выступление капеллы должно было состояться в том самом летнем ресторане, в каком я давеча обедал и читал письмо Гелены; когда мы с Ярославом пришли туда, там уже сидели несколько пожилых людей (терпеливо ожидавших музыкальной программы после обеда), и, пожалуй, столько же алкашей шатались от столика к столику; позади раскидистой липы полукругом стояли стулья, к стволу липы был прислонен в сером чехле контрабас, а возле него стояли открытые

цимбалы — за ними сидел мужчина в белой сборчатой рубахе и тихонько блуждал палочками по струнам; остальные члены капеллы стояли чуть поодаль, и Ярослав подошел представить мне их: второй скрипач (высокий чернявый молодой человек в национальном костюме) — врач местной больницы; очкастый контрабасист — инспектор отдела культуры при районном национальном комитете; кларнетист (любезно обещавший давать мне инструмент и играть со мной попеременно) — учитель; цимбалист — плановик завода; кроме цимбалиста, которого я помнил, компания была совершенно новая. Ярослав торжественно представил меня как старого ветерана, одного из основателей капеллы, а стало быть, и почетного кларнетиста, и мы уселись на стульчики вокруг липы и начали играть.

Я давно не держал кларнета в руках, но песню, с которой мы начали, знал хорошо и потому вскоре освободился от некоторой робости, особенно когда музыканты по окончании песни пошли расточать мне похвалы, отказываясь верить, что я играю впервые после столь долгого перерыва; потом официант (тот самый, которому несколько часов назад я в отчаянной поспешности заплатил за обед) вдвинул под крону липы стол, а на него поставил шесть рюмок и оплетенную бутыль вина, какое мы и принялись не спеша прихлебывать. После двух-трех песен я кивнул учителю; он взял у меня кларнет и снова объявил, что играю я превосходно; я был необыкновенно польщен и, опершись о ствол липы, стал смотреть на капеллу, игравшую теперь без меня; меня заливало почти забытое чувство горячего дружелюбия, и я благословлял его за то, что оно пришло ко мне в конце столь горького дня. И тут снова перед моим взором возникла Люция и мелькнула мысль, что только сейчас дошло до меня, почему она предстала передо мной в парикмахерской, а днем позже в рассказе Костки, являвшемся легендой и правдой одновременно: возможно, она хотела поведать мне, что ее судьба (судьба обесчещенной девочки) близка моей судьбе; что, хоть мы и разошлись, не сумев понять друг друга, наши жизненные истории во многом родственны, схожи, созвучны, ибо обе они — *истории опустошения;* подобно тому как опустошили в Люции телесную любовь и тем самым лишили ее жизнь элементарнейшей ценности, из моей жизни тоже изъяли ценности, на которые я рассчитывал опереться и которые изначально были чистыми и безвинными; да, именно безвинными: телесная любовь, как ни опустошена она в жизни Люции, была все-таки безвинна, как были и есть безвинны песни моего края, как безвинна капелла с цимбалами, как безвинен мой дом, внушавший мне отвращение, как совершенно безвинен передо мною был Фучик, на чей портрет я не мог смотреть без неприязни, как безвинно слово «товарищ», звучавшее с некой поры для меня угрожающе, как безвинны слова «ты» и слово «будущее» и много-много всяких иных слов. Вина гнездилась в другом и была столь велика, что ее тень падала — куда ни кинь глазом — на весь мир безвинных вещей (и слов) и опустошала их. Жили мы, я и Люция, в опустошенном мире; и потому мы не умели сострадать опустошенным вещам, отвернулись от них, причиняя тем самым вред им и себе. Люция, девочка столь сильно любимая, столь плохо любимая, об этом ли спустя годы ты пришла мне сказать? Пришла заступиться за опустошенный мир?

Песня кончилась, учитель протянул мне кларнет; он объявил, что сегодня больше не будет играть, что я играю лучше его и заслуживаю играть по возможности дольше, уж коль неизвестно, когда я снова приеду. Я перехватил взгляд Ярослава и сказал, что был бы весьма рад вскорости снова навестить капеллу. Ярослав спросил, говорю ли я это серьезно. Я уверил его в искренности моих слов, и мы заиграли. Ярослав уже давно играл стоя, немного склонив голову, уперев скрипку (против всех правил) в грудь, а порой похаживал во время игры; мы со вторым скрипачом тоже поминутно вставали со стула,

особенно когда нам хотелось дать как можно больший простор вдохновенной импровизации. И именно в те минуты, когда нас увлекал поток импровизации, требующей фантазии, точности и настоящего взаимопонимания. Ярослав становился душой всей капеллы, и мне лишь оставалось удивляться этому замечательному музыканту, который так же (и он в первую очередь) относится к числу опустошенных ценностей моей жизни; он был отнят у меня, и я (во вред себе и к стыду своему) позволил отнять его вопреки тому, что это был мой самый верный, самый бесхитростный, самый безвинный друг.

Тем временем мало-помалу менялась публика в саду: к нескольким полузанятым столам, за которыми поначалу сидели люди, следившие за нашей игрой с живым интересом, привалила большая толпа парней и девушек (быть может, деревенских, но скорей из города) и заняла оставшиеся столики; молодежь заказала себе (очень громко) пива и вина и немного спустя (в соответствии с количеством выпитого спиртного) начала проявлять безудержное желание быть видимой, слышимой и признанной. А по мере того как менялась обстановка в саду, становясь все более шумной и нервозной (парни сновали меж столами, покрикивали друг на друга и на своих подружек), я стал ловить себя на том, что перестаю сосредоточиваться на игре, слишком часто оборачиваюсь к столам в саду и с нескрываемой ненавистью наблюдаю за лицами подростков. Когда я глядел на эти длинноволосые головы, демонстративно и театрально изрыгавшие слюни и слова, ко мне возвращалась моя былая ненависть к возрасту незрелости и складывалось впечатление, что я вижу перед собой одних актеров, на чьи лица надеты маски, призванные изображать дурацкую смелость, спесивую беспощадность и грубость; и я не находил никакого оправдания в том, что под маской, быть может, другое (более человеческое) лицо, ибо ужасным казалось именно то, что лица под масками истово преданы нечеловечности и грубости масок.

Ярославом, видимо, владели подобные же чувства — он вдруг опустил скрипку и объявил, что ему совсем неинтересно играть перед этой публикой. Предложил нам уйти; причем пойти к городу кружным путем, полем, так, как хаживали мы когда-то, когда-то давно; на дворе чудесный день, скоро начнет смеркаться, упадет теплый вечер, засверкают звезды, где-нибудь у куста шиповника в поле, говорил Ярослав, мы остановимся и будем играть только для себя, ради собственного удовольствия, так, как мы некогда делали; теперь, говорил он, мы привыкли (до чего глупая привычка) играть только на всяких мероприятиях, а этим, дескать, он уже сыт по горло.

Сперва все согласились едва ли не с восторгом, поскольку, вероятно, и остальные чувствовали, что их любовь к народной музыке нуждается в более интимной обстановке, но тут вдруг выступил контрабасист (инспектор по культуре) и заявил, что по договоренности нам положено играть здесь до девяти, что на это рассчитывают товарищи из района и директор ресторана, так, мол, запланировано и надо выполнить взятую на себя задачу, а иначе мы-де нарушим организацию праздника; на природе, сказал он, можно будет сыграть как-нибудь в другой раз.

В саду вдруг загорелись лампы, висящие на длинных проволоках, натянутых между деревьями; поскольку еще не стемнело, а только начинало смеркаться, лампы не рассеивали сияние вокруг себя, а, казалось, висели в сереющем пространстве, как большие неподвижные беловатые слезы, слезы, которые нельзя утереть и которые не могут скатиться; в этом таилась какая-то внезапная и непонятная тоска, какую невозможно было превозмочь. Ярослав вновь повторил (на этот раз почти умоляюще), что он не в силах тут больше находиться, что хотел бы пойти в поле, к кусту шиповника и там играть только ради своего удовольствия, но затем махнул рукой, упер скрипку в грудь и снова заиграл.

Сейчас мы уже старались, не обращая внимания на публику, играть гораздо сосредоточеннее, чем поначалу; чем посетители летнего ресторана становились равнодушнее и грубее, чем больше окружали нас своим шумным безразличием, превращая в покинутый островок, чем нам было тоскливее, тем больше мы уходили в себя; иными словами, играли уже скорей для себя, чем для других; так нам удалось забыть обо всем вокруг и сотворить из музыки некую оболочку, внутри которой мы ощущали себя среди галдящих пьянчуг словно в стеклянной каюте, опущенной в глубь холодных вод.

«Были б реки чернильные меж бумажных гор, и звезды-писалочки повели б разговор, пусть бы милой писал весь белый свет, о моей любви не расскажет — нет»,— пел Ярослав, не вынимая из-под подбородка скрипки, а я чувствовал себя счастливым внутри этих песен (внутри стеклянной каюты этих песен), в которых печаль не игрива, смех не лжив, любовь не смешна, а ненависть не пуглива, где люди любят телом и душой (да, Люция, и телом и душой разом!), где в ненависти тянутся к ножу или к сабле, в радости танцуют, в отчаянии кидаются в Дунай, где, стало быть, любовь — все еще любовь, а боль — все еще боль, где настоящее чувство еще не выкорчевано из самого себя и не опустошены пока ценности; и мне казалось, что внутри этих песен я *дома,* что из них я вышел, что их свет — мой изначальный знак, моя родина, которой я изменил, но которая *тем больше* моя родина (так как самый жалостливый голос у родины, перед которой мы провинились); но следом осознал я и то, что моя родина не из этого мира (а какая же это тогда родина, если она не из этого мира?), что все, что здесь мы поем и играем, это только воспоминание, память, образный сколок того, чего уже давно нет, и почувствовал, как земная твердь этой родины опускается под ногами, как я проваливаюсь, как, держа кларнет у губ, проваливаюсь в бездну лет, в бездну столетий, в необозримую бездну (где любовь — все еще любовь, а боль — все еще боль), и подумал с удивлением, что моя единственная родина — именно это низвержение, это пытливое и взыскующее падение, и я отдавался ему все больше и больше, испытывая сладостное головокружение.

Потом я поглядел на Ярослава, чтобы прочесть по его лицу, одинок ли я в своей экзальтации, и вдруг заметил (его лицо освещал фонарь, подвешенный в кроне липы над нами), что он очень бледен; я заметил, что он, играя, уже перестал себе подпевать, что рот его сомкнут; что его робкие глаза стали еще испуганнее; что в наигрываемой им мелодии слышатся фальшивые звуки и что рука, в которой он сжимал скрипку, опускается вниз. А потом он вдруг совсем перестал играть и сел на стул; я наклонился к нему и спросил: «Что с тобой?» По лбу у него стекал пот, а правой рукой он держался за левую, почти у самого плеча. «Ужасно болит»,— сказал он. Все остальные, так и не поняв, что Ярославу плохо, продолжали пребывать в музыкальном трансе и играли уже без первой скрипки и кларнета, паузой которых воспользовался цимбалист, чтобы блеснуть своим инструментом, сопровождаемым теперь второй скрипкой и контрабасом. Я подошел ко второму скрипачу (помня, что Ярослав представил мне его как врача) и послал к Ярославу. Теперь звучали одни цимбалы с контрабасом. в то время как второй скрипач, взяв Ярослава за запястье левой руки, долго, очень долго держал ее; потом поднял ему веки, поглядел в глаза, коснулся его лба в испарине. «Сердце?» — спросил он. «Рука и сердце»,— сказал Ярослав, позеленевший лицом. Тут уже заметил нас и контрабасист; прислонив контрабас к липе, подошел к нам; теперь звучали лишь цимбалы — цимбалист, ничего не подозревая, был счастлив, что играет соло. «Позвоню в больницу»,— сказал второй скрипач. Я подошел к нему и спросил: «Что с Ярославом?» — «Абсолютно нитевидный пульс. Холодный пот. Без сомнения, инфаркт».— «Черт побери»,— сказал я. «Не беспокойтесь, как-нибудь выкарабкается»,— успокоил он меня и быстрым шагом пошел к зданию ресторa-

на. Он протискивался между людьми, захмелевшими и совсем не замечавшими, что наша капелла перестала играть,— они были полностью заняты собой, своим пивом, болтовней и взаимными оскорблениями, которые кончились в противоположном углу сада потасовкой.

Теперь уже и цимбалы затихли, и все обступили Ярослава; он поглядел на меня и сказал, что это все из-за того, что мы остались здесь, что он не хотел здесь оставаться, хотел пойти в поле, что особенно теперь, когда я пришел, когда я вернулся, мы могли бы так хорошо сыграть на приволье. «Не разговаривай»,— сказал я ему,— тебе необходим полный покой»,— и тут же подумал о том, что, может, он и выкарабкается после инфаркта, как уверяет второй скрипач, но это будет уже совершенно другая жизнь, жизнь без страстной отдачи, без азартной игры в капелле, жизнь под патронажем смерти, второй тайм, вторая половина игры после поражения; и мною овладело ощущение (в ту минуту я никак не мог определить его правомерность), что судьба зачастую кончается задолго до смерти, что мгновение конца судьбы не тождественно мгновению смерти и что судьба Ярослава приблизилась к своему концу. Переполненный великой жалостью, я погладил его по облысевшему темени, по его печальным длинным волоскам, прикрывающим плешь, и с испугом осознал, что моя дорога в родной город, где я хотел сразить ненавистного Земанека, кончается тем, что я держу за руку сраженного товарища (да, я видел сам себя в эту минуту — как я держу его в объятии, как держу его и несу, несу его, большого и тяжелого, как нес бы свою собственную неясную вину, я видел, как несу его сквозь равнодушную толпу и как при этом плачу).

Мы безмолвно стояли вокруг Ярослава минут десять, затем снова появился второй скрипач, сделал нам знак, мы помогли Ярославу встать и, поддерживая его, медленно вывели сквозь галдящую толкотню пьяных подростков на улицу, где с зажженными фарами ждала нас белая карета «скорой помощи».

*Закончено 5 декабря 1965.*

## Писатель и время

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

# БЕГСТВО ОТ РЕВОЛЮЦИИ

*«...Революция — это страна со своими собственными — и вечными — законами!»*

*Марина Цветаева*

### «Мы были людьми. Мы эпохи»

То, что мы сами переживаем, что дипломатически называем динамическими процессами в Восточной Европе, есть кульминация конца нашего столетия.

Вот уж действительно, призрак бродит по Европе...

Хотя многое уже становится ясным, окончательное суждение о сути кризиса «нового мира» предстоит, по-моему, сказать нашим потомкам.

Мы находимся сегодня в его эпицентре.

Положение рискованное, шаткое, неуверенное.

И тем не менее не хотелось бы закрывать глаза и покорно ждать конца эпохи, которая рушится под свист и улюлюканье и тех, кто пророчил ей гибель, и тех, кто мстит ей же за свою долготерпеливую доверчивость.

Не хочется и поспешно примыкать к многочисленным партиям, делающим свою недолгую биографию на похоронах великой мечты.

Трагедии чужда суета.

На одном из писательских пленумов Юрий Черниченко говорил, что в пустыне у Арала нельзя похоронить человека — могилы там насыпные. Я вспомнил кинообраз Анджея Вайды: ветер под Монте-Кассино сдувает песок с трупа павшего поляка, напрасно пытается его друг нагребать песок снова и снова... Символ безродности?

Но, может быть, и — упорства жизни? Неуступчивости ее идее смерти?..

Я всю свою сознательную жизнь писал слово Революция с большой буквы.

Революцией (по привычке?) называем мы и перестройку.

И те процессы, которые привели к изменению государственного строя в казавшемся железным бастионе социализма, именуем мы революционными.

Иногда добавляя эпитеты оксюморонного типа: «нежная революция».

(В словаре дается пример оксюморона: «Живой труп» — Л. Толстой...)

«Защищать» Революцию в наши дни — удел самоубийцы.

Сама идея Революции ныне подвергается гонениям как нечто особо еретическое.

Начнем с веры. В. Турбин пишет («Знамя», № 4, 1990) о «вероуничтожающем терроре» как символе Революции.

Но ведь и делалась эта Революция во имя Веры, но иной. Веры в то, что человек может не быть рабом.

Да и во все времена в той же Руси церковь подвергалась гонениям по причинам далеко не всегда революционным. «Не от татар и ниже от иностранных неприятелей, но от своих домашних, благочестивыми и сынами церкви нарицающихся, церковь и благочестие истребилося»,— говорил Арсений Мацеевич, ростовский архиепископ, питомец Киевской духовной академии в XVIII веке. «Вероуничтожающий террор» Екатерины, укоротившей права церкви, был налицо: царица заточила Мацеевича в Ревельскую крепость. Спор шел о церковном имуществе и землях, синод и епархиальные епископы лишались вотчин и переводились на штатные оклады государства.

Ни о чем ныне не пишут с такой яростью и таким сладострастием, как о разрушении храмов российских. Доморощенные наши специалисты по России — просто невежды. Ткнуть грязным пальцем в «татарина» или «иностранного неприятеля» легче, чем читать книги. А читай они книги, узнали бы,

что уже Илья Муромец, любимец, надо полагать, «истинных патриотов», силушкой играючи, головки церквей сбивал, чтоб попугать Владимира Красное Солнышко, то есть производил на этот раз уже явно «революционные» действия. А потому и в 1917-м и последующих годах, безо всяких подсказок «жидомасонов», новые поколения муромцев крушили церкви и плевали в иконы, демонстрируя свою силушку.

Новое никогда не приходило в жизнь как радостно встречаемое. Все прежде незнакомое вводилось в жизнь либо принуждением, либо хитростью. «Путята крестил Новгород мечом, а Добрыня огнем»,— свидетельствует летопись.

Трудно не согласиться с С. Аверинцевым: «...мы должны сознаться в том, что многие из людей, которые разрушали церкви в начале революции, в своем каждодневном поведении, там, где они забывали о своих идеологических нормах, а просто следовали какой-то человеческой естественности, были порой ближе к навыкам христианской культуры, чем их внуки, которые сегодня возвращаются в храмы».

С одной существенной для меня поправкой: чище, ближе к идее нравственной жизни были мы не в о п р е к и «идеологическим нормам», а б л а г о д а р я идее Революции — идее подлинной соборности людей труда. Во всяком случае так мы восприняли идею, так жили. «Идеологическая норма» ныне воспринимается как сила, противостоящая «человеческой естественности»,— это верно, но жили-то мы не по нормам, а по совести, с той самой в е р о й, которая чаще заменяла нам, увы, знание.

Тут к месту будет напоминание о месте «идеологической нормы» в системе тоталитарного государства, его общественной психологии. Свои «нормы» есть и в религии. Но как отмечает Дж. Оруэлл, если католик, индуист или буддист исповедует свод непременных истин, то эти истины по крайней мере не подвергаются изменениям. В тоталитарном же «вероисповедании» истин вообще не существует, догмы следуют изменчивым прихотям политики. Оруэлл приводит пример, для нас сверхубедительный, ибо он из разряда прожитых нами обстоятельств: «До сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года — восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет (статья написана в начале 1941 года.— *Вл. О.*), с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена». Нормы политики и нормы человеческой нравственности всегда расходились. Но так, как расходились в практике тоталитаризма,— видимо, никогда. В этом смысле слова С. Аверинцева о навыках христианской нравственности и их противоречии с нормами общественного представления о самой нравственности справедливы.

Для искусства «следование какой-то человеческой естественности», может быть, самое главное направление.

## Первое лирическое отступление

*...Я движим был всегда своим чутьем и совестью более, чем идеями. Так я теперь понимаю свой путь, свое место в литературно-общественной жизни 40—80-х годов. Уже потом оказывалось, что меня постоянно относило «влево», что мои позиции, как говорилось, «прогрессивны», а не наоборот — не от «прогрессивных» взглядов спускался я до фактов переменчивых и крутых этих лет.*

*В юности, будучи студентом, я написал поэму под довольно претенциозным названием «Диалектика величия». Твердо помню, садясь писать, я совсем не думал о своей уже проснувшейся к тому времени ненависти к Сталину. Но я думал в этом н а п р а в л е н и и — вот что важно...*

*Совестливость, желание понять время, разобраться в том, где и в чем справедливость и идеал,— живут, видимо, как бы впереди мысли оформленной.*

*Так бывало во сне: упираешься в стену, хочешь и не можешь ее обойти, торопишься, но убеждаешься, что стена уводит все дальше. И вот уж темнеет (сколько же ты шел!), тяжелеют ноги, а ты все не обойдешь стену, и душит страх (ты куда-то опаздываешь!), а ушел так далеко в сторону, дальше, чем был сначала, когда стоял перед внезапно возникшей тенью стены...*

*Не знаю, Фрейд ли это или нет, но что-то ведь жило в подсознании, когда я жадно писал свои наивные, слабые, но искренние строки поэмы о том, что величие не там, где нам его показывают, что ложные ориентиры ведут нас к миражам...*

*...Первое сильное мое детское впечатление было связано со смертью дедушки, который незадолго до этого приехал к нам с Украины. Дедушка приходил в добрых снах. Он оставался для меня самим знаком справедливости, добра, честности, какой-то феноменальной по нынешним временам гордости. Недаром у него была такая фамилия: Гордиенко. Прошло много, много лет, и вот я, уже и сам седой, много повидавший в жизни, листал одну философскую работу и задумался вот о чем...*

*Когда я читаю непонятные мне философемы, я вдруг начинаю чувствовать, что я и х п о н и м а ю, но не могу выразить на том же языковом (философском?) уровне. Они, эти понятия, живут во мне как чувство истины, как ДО-словное, ДО-формулировочное ощущение истины. Мой дедушка не штудировал ни Канта, ни Хайдеггера, как говорится, был простым селянином, не знавшим многих ученых вещей, но знал он нечто более важное — систему нравственных ценностей и никогда не погрешил против нее... Может быть, он еще до Руссо, до Толстого знал, что такое свобода и сколько человеку земли нужно, а те просто сформулировали это за него и таких, как он, неразговорчивых философов?.. Но как же тогда передается через людей эта н е п и с а н а я азбука добрых дел и грамота справедливого мироустройства?..*

*Кстати, я не сказал о причине смерти дедушки и бабушки, последовавшей за ним через месяц, туда же — в глинистую южную землю.*

*Они умерли от голода на Украине. Опухшие, тихие, дожили у нас свои последние дни, не веря в еду на столе. Уже смотря добрыми, ясными глазами своими куда-то далеко, далеко...*

*Отец слишком поздно привез их на Кавказ.*

*Потом его арестовали. Но «ах, это, братцы, о другом»,— как поет Булат Окуджава.*

Главная мораль рассказанного проста, как проста каждая мораль.

Нельзя отделить судьбу человека от судьбы его народа, человечества. «Мы были людьми. Мы эпохи» (Борис Пастернак). Сказано в 1921 году, в самом начале неведомого века Революции.

Да, Революции лишают человека его суверенности. Они разрешают ему стать «эпохой», то есть выражать какие-то из ее сил, общую волю.

Но и освобождение от эпохи не благо, а трагедия. Человек уже обесчеловечен. Он не нужен ни себе, ни другим — всем. Надо начинать с нуля. Это мысль Октавио Паса. «Фрагмент человека». Так назвал он плоды раздвоенности человека, что, в свою очередь,— раздвоенность, разделенность мира («ИЛ», № 1, 1990).

Но разве только Революции являют обезличенность как норму общественной морали?

Суть любой системы — в подчинении индивидуума общей идее.

Другое тут существенно. «Дух системы» означает преклонение перед разобщенностью — как бы парадоксально свидетельствует Октавио Пас. Но как это верно! Система унифицирует людей по своему подобию. Каждая половина раздвоенного мира творит не цельного индивидуума, а как бы свою модель.

Вот еще почему так трудно дается нам перестройка.

«Собрать» человека воедино — значит в первую очередь признать, что существует и иная твоя ипостась, а не упразднить ее как несуществующую.

Гюнтер Грасс говорил, что в XVI веке— в период Ренессанса— Европа являла собой гораздо большее единство, нежели теперь.

Видимо, речь идет об универсальном явлении, не только в масштабе личности.

Собрать человечество — хотя бы в пределах «европейского дома» — значит понять друг друга тем, кто привык считать разделение Европы вечным, как формулу Редиарда Киплинга о Западе и Востоке.

Только я думаю, что «люди-эпохи» останутся и в «общем доме».

Вспомним: освобождение от эпохи — не благо...

В искусстве царят те же законы.

## Голгофа

Подлинный художник связан с миром общей кровеносной системой.

Только ложные дарования существуют как бы параллельно жизни.

Они или врастают в среду, разделяя ее предубеждения, слепо следуя за всеми извивами бесконечного лабиринта существования, или, как им кажется, гордо и свысока наблюдают за ходом часовой стрелки.

И та и другая позиции творчески бесперспективны.

Блага Димитрова («ИЛ», № 5, 1990) выстрадала такое признание: «Творческий дух распят между личным и общественным, между политикой и поэтикой. Если же нет этого распятия, нет и полета, потому что распятие — это растерзанные, окровавленные крылья духа. Нет разрешения этому противоречию».

Она продолжает: «Жаждуемая гармония недостижима. Она — отрицание созидательного импульса. Ее осуществление было бы остановкой созидательного духа личности. Потому и современное творчество не может быть гармоничным, уравновешенным и совершенным. В нем найдет отражение непримиримое противоречие — то есть противоречие человека и мира. Рухнуло идеальное представление о строении мироздания. Именно эта негармоничная, неопределенная, разнообразная структура есть поэтика нашей современности. Гармонизированная поэзия и проза в ясно выраженной симметрии — сегодня вымысел, ложь, в ней не дышит истина бытия. Классически изваянные формы не могут вместить лавы...изменчивого, непредсказуемого мира. Творчество ныне — неразрешимая дилемма, и в этом его движущая сила».

Блага Димитрова заканчивает эссе современным толкованием мифа об Одиссее: он добровольно распял себя на мачте, привязанный к ней, но не закрыл уши, слушая песни сирен политики. Так продолжал он свое бурное плавание к родной Итаке.

Таким курсом следует культура нашего века.

Сегодня не модно вспоминать блоковское: «Слушайте музыку Революции!»

Но Пастернак, выступая на вечере в МГУ 12 апреля 1922 года, сказал о Маяковском: «Революция ему снилась раньше, чем она случилась».

Можно отказаться от своего отца, своей матери, но мать останется матерью, а отец— отцом.

Трагедией или будущей зарей, задержавшейся ли, поторопившейся ли родиться, окажется Революция, она — с нами, в нас, каждом, и нести ее нам всем, пусть и вспоминая Голгофу...

Но крест имеет физический вес. Он тяжел. И, конечно, не всем по плечу. Вот почему отовсюду слышится усталое: «Не донесу...» Или еще определеннее: «Сбросим-ка его, хватит!» Со страниц современной печати несется: долой любую доктрину, кнут любой идеи, отбросим древко любого знамени, да здравствует «ниша истории», тихий дрейф, где можно плыть по воле волн — «просто жить»,— как приходилось читать — «не оправдываясь ежемгновенно перед заветами, принципами, учениями и другими «большими вещами»,— тогда иной смысл обретут и книги нынешних философов жизни... Можно сказать, они предлагают нам не что иное, как вариант спасения» («Октябрь», № 5, 1990). И последнее слово набрано в разрядку.

Какая уж тут Революция духа!

Я слышал, как рассказывал Фадеев. В пи-

сательской парикмахерской 40-х годов легендарный парикмахер Соломон Маргулис обезоруживающе ответил первому секретарю Союза писателей на вопрос, что сейчас, в войну, главное. «Вижить»,— откровенно вздохнул мастер мыльного помазка.

Теперь это называется философией.

«Неслышно живущие в тени исторического процесса». Жизни мышья беготня.

Поистине дети застоя.

Усталость от десятилетий идеологической тирании, насилия мертвых догм не повод для брезгливой атомизации интеллигенции, бегства в «красивые уюты» якобы независимой от всех и вся личности.

Блаженны истинно верующие, нашедшие себя в религиозном спасении. Они хоть верят в самоусовершенствование.

Но сколько фарисеев на одного апостола!

«Бегство от свободы»— ключевая работа Эриха Фромма — напоминает нам, что нет мира под оливами индивидуального сознания, противопоставившего себя сознанию коллективному:

«Культурный и политический кризис наших дней объясняется не тем, что индивидуализма слишком много, а тем, что наш так называемый индивидуализм превратился в пустую оболочку. Свобода может победить лишь в том случае, если демократия разовьется в общество, в котором индивидуум, его развитие и счастье станут целью и смыслом».

Но бегство от общей свободы, кажется, все более становится формой некоего во всех смыслах попятного движения.

В. Солоухин («ЛГ» от 30 мая 1990 года) учит нас, что поскольку страна в тупике, а выехать из тупика движением вперед невозможно, ничего не остается, как дать задний ход. Остроумно.

И дают. Кто во что горазд. Одни — к Сталину, другие — к царю Николаю II, а третьи — так к самому Алексею Михайловичу. Вот только почему-то никто не хочет притормозить на Ленине, декабристах или, на худой конец, на Петре Первом... Выборочное какое-то «возвращение».

В порядке ли тормоза?

О картине допетровской Руси Достоевский писал: «Она потому и хороша, что вдалеке от нас, что ее показывают при искусственном освещении». При искусственном освещении показывают нам сегодня и «русскую идею», славянофильство в целом.

Славянофильство — прежде всего чисто крестьянское явление в духовной жизни русской нации. Общество в понимании И. Аксакова — это общинники-крестьяне и «личные» землевладельцы (дворяне). «Других делений нам не предвидится».

Ну, И. Аксаков еще не дожил до появления в России «среднего сословия», ему простительно неудачное предсказание, но наши-то, сегодняшние пророки Отечества, они-то!..

Как ни парадоксально, славянофилы тоже по-своему «приближали Революцию»: «...чтобы дворянству было позволено: торжественно, перед миром всей России, совершить великий акт уничтожения себя как сословия». Как мы знаем, это как раз было «позволено». Только не так, как думал Аксаков. Он надеялся на Революцию сверху, а она произошла снизу. Революции сверху удаются только тогда и в такой степени, когда в них есть нужда низов.

Как и ныне их последователи, славянофилы видели беду не там, где она была: «Общество заимствует у Запада моды, одежды... молодежь — демонстрации и демократию...» («День», 1861, 28 окт., № 3, с. 2).

Если что мы и взяли из прошлого ленивым своим умом, так это привычку клеймить «буржуазность», то есть именно тот этап, который мы не проходили. С той же страстью, с которой соблазняет она нас на бытовом уровне, шлем мы ей анафемы на уровне «духовном».

Память русского интеллигента все еще разрывает на части противоречие, которому нет аналога в других странах. Основная современная дилемма, оказывается, все та же: колебание между приятностями жизни и виноватостью перед всем миром...

Причем первое заметно перетягивает.

Что же касается проклятой «буржуазности», то чаще всего говорится о «буржуазном благоразумии» как антиподе нашей национальной размашистости. Будто наше трусливое благоразумие рабов, покорно «шагавших» к коммунизму,— не та же самая «золотая середина», лоно посредственности и залог стадности, бездуховности! Но о том ли мечтала Революция?

При весьма «искусственном освещении» показывают нам сторонники попятного «историзма» и идиллию православной народности. Не могу не процитировать писателя Ю. Давыдова: «Вот это стремление изобразить дело так, будто русское общество всегда было монолитным, будто интересы российской государственности всегда совпадали с интересами народа... Я, честно говоря, не устаю поражаться: как люди из «демоса», потомки крепостных, гордящиеся своим происхождением, рассуждают об истории с точки зрения барина или дворового буфетчика, которого взяли из деревни в город и ему смерть как неохота возвращаться к родным осинам!..»

Может, и потому еще захлебнулась революция в России, что буфетчики слишком быстро стали барами? Есть ведь «демос» и «демос».

Рабы не делают Революций.

И судят о них не выше буфетной стойки.

## От империи — к империи

В частности, исказив саму суть понятия «свободы» — то есть вынув душу живую из Революции, люмпенизированная Россия объявила, что Революция — явление нерусское.

Как раз Революция в наибольшей степени явление русское, вытекающее прямо и непосредственно из характера нации и ее истории. Как ни примеряла История фригийские колпаки и прочие французские или английские букли, наша сермяга подошла ей более к лицу!..

Тут к месту оказался и вечный мессианизм, и религиозный характер истовой веры в авторитет вождя, и непризнание законов,

Одним словом, «свое» прочтение идеи свободы и равенства.

Тут и закономерная подмена Революции имперской хваткой, азиатчиной тоталитаризма. Александр Исаевич Солженицын, ненавидя Революцию, замечает между тем: «Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы».

И одно из очевидных проявлений такого духовного ущерба — подавление человека магией авторитарности.

Если в отличие от тоталитарного режима в авторитарном нет решительной идеологической базы или таковая весьма размыта и опирается обычно на национальные традиции и национальную религию, как думают некоторые философы и политологи, то русский пример — это пример универсального слияния тоталитаризма с авторитарностью.

Это в одинаковой степени относится и к наиболее мрачным этапам истории дореволюционной, и к наиболее лично, непосредственно, осознанно воспринятому нами периоду послереволюционной действительности.

Вопреки В. Солоухину, хотя и должны мы оглядываться назад, обдумывая свой путь в завтра, нет у нас другого выхода из тупика, как движение именно в п е р е д. Поверх барьеров.

Мы так напуганы, видно, ложными ориентирами близкого пришествия рая на земле, что вообще перестали смотреть в будущее. О чем только не спорим: надо ли было стричь бороды боярам, сколько после Октября доцентов среди русских и якутов, кто споил русский народ и нужна ли ему вообще была Революция — как будто можно идти вперед с вечно повернутой назад физиономией.

Потешаясь над Маяковским, Революцией, ее идеалами «светлого будущего», не стоит забывать, что и ностальгия по «светлому прошлому» не лучше. Мы никак не научимся верить в наши силы устроить наконец «светлое настоящее». А этим и положено заниматься уму здравомыслящему. «В России не было счастливого настоящего,— скажет и Д. Лихачев,— а только заменяющая его мечта о счастливом будущем» («Вопросы философии», № 4, 1990, с. 5). Теперь вот видим, все пространство мечты русского человека занимает прошлое. Вариант одинаково бесперспективный.

Понять, разобраться, где и куда мы свернули неверно,— вещь полезная, особенно и главным образом для истории. Д л я ж и з н и же — не проигрывать варианты (кабы не Сталин, а Бухарин, кабы не Ленин, а Дума и тому подобное), а с точки с е г о д н я ш н е г о п о л о ж е н и я нашего — и только с нее! — двигаться вперед, признав, что Революция, как уже говорилось,— в нас и мы— ее дети, пусть и брошенные на произвол судьбы.

Но Макиавелли говорил: «...Судьба распоряжается лишь половиной наших дел, другую же половину... она представляет людям».

Русский народ как носитель и жертва имперской идеи — вот тема, по-настоящему еще не раскрытая нами. А в ней — вся суть «национальных» проблем, потрясших страну.

Наши отношения со славянским миром не исключение.

Ошибаются те, кто полагают, что трещина возникла по вине все той же Революции, подмявшей под классовый сапог достоинство национальное, традиции былой государственности и так далее.

Прозрение Достоевского насчет того, что не будет у России врагов более серьезных, нежели славянские страны, Россией же освобожденные,— сбывается на наших глазах.

И причина указана была более ста лет назад — не было у России «полного политического бескорыстия», а была идея отнюдь не благородного «опекунства и надзора», не устоит Россия перед искусом «поддерживать *силою* это опекунство и политическое влияние свое на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное» (Дневник писателя за 1877 г., ноябрь, гл. 3).

Увы, прав оказался Достоевский и тогда, когда предрек: «России надолго достанется тоска и забота... вразумлять их и даже, может быть, обнажать на них меч при случае».

«Случаи» были. «Вразумляли» мы по очереди и чехов, и поляков, пытались и югославов, да не вышло...

Но и тут корни глубоко в истории.

## Зов крови?

Славянский вопрос для России не выглядел только альтруистическим «зовом крови». Надо вспомнить хотя бы судьбу Карагеоргия, сербского князя, судьбу восстания сербов в 1815 году. В то время как Сулейман-паша отрубал головы 115 старейшинам, схваченным в Крагуеваце и Ягодине, а 36 пленников были посажены на кол, протоиерей Матия Ненадович сообщал пославшим его в Вену князьям сербским: «Нейдет, кнезы, наше дело, нейдет». А не шло оно потому, что Венский конгресс созван был не для поддержки восстаний и мятежей. Почти полгода обивал Ненадович пороги посольств России, Австрии, Пруссии, Англии. Русский царь лишил его аудиенции. «Славянская кровь» молчала. И когда Карагеоргий на свой страх и риск вернулся в Смедеревец, чтобы поднять восстание, его убили по приказу такого же славянина — князя Милоша Обреновича, боявшегося потерять власть, данную ему руками султана и его белградского наместника — Марашлы Али-паши, которому сами турки дали прозвище «дубараджи» (плут, хитрец).

А восстание 1804-го? По сути его героические усилия, плоды кровопролитных боев, увенчавшихся изгнанием турок из центральной Сербии, были аннулированы Бухарестским договором между Россией и Турцией. Боязнь Франции толкнула Россию на уступку туркам старых сербских крепостей. Туда снова были возвращены турецкие гарнизоны. Все крепости, построенные сербами после победы восстания, подлежали разрушению. Россия ратифицировала договор 23 июня 1812 года. Итоги 1804—1807 годов были зачеркнуты.

Восстание под руководством Карагеоргия в 1813 году было жестоко подавлено, князь

бежал. Россия молчала, упоенная успехами в подавлении европейского духа якобинства. В 1814 и потом в 1815 годах стихийные восстания захлебнулись. Поддержки от славянского «брата» они не дождались, хотя брат был на высоте победоносной славы, как одно из сильнейших государств Европы. Сильнее «голоса крови» был голос расчета: «Имею основание думать, что революционеры произвели революцию на Востоке с целью разобщить великие державы» [1] (читай Священный союз.— *Вл. О.*). Это слова Александра I. Союз, который победил их в Неаполе и Леванте, продолжал Александр, сопротивлением этому новому испытанию явил свидетельство перед целым светом несокрушимости связей мира и дружбы, существующих между европейскими державами. Ему вторил Меттерних: «На протяжении шести недель мы закончили две войны и задушили две революции. Будем надеяться, что и третья, разразившаяся на Востоке революция не будет более успешной (Дневник, 21 апреля 1821 г.). Говорилось это по отношению к греческому восстанию, которое было залито кровью вслед за революциями в Италии и Испании. Недаром русские исследователи Г. Палеолог и М. Сивинис еще в XIX веке констатировали, что «греческий народ, кроме турок, имел еще другого опасного врага — европейскую дипломатию».

Знаменательное повторение ситуации: так же как в Вене Ненадович просидел в приемных, пока лилась кровь сербов, не будучи принят европейскими «христианами», точно так же не были допущены депутаты греческого правительства в Верону, где заседал конгресс,— они были «представителями мятежников». И только полное падение влияния России в Греции и укрепление английского влияния после удачного дипломатического демарша Каннинга (косвенное признание Греции как государства, объявление нейтралитета, а затем и помощь инструкторами) заставило Россию предпринять шаги навстречу грекам и к восстановлению прав Сербии по Бухарестскому миру.

Аккерманский договор скрепил эти условия в 1826 году.

В мае 1878 года секретное англо-русское соглашение предопределило и судьбу Болгарии — она не только теряла территории, которые ей сулили в Сан-Стефано. Болгары не получили свободы. Дибич в корне пресек попытку поднять восстание в Тырново. Таковы были инструкции двора. Сближение с сильной Портой было выгоднее, нежели освобождение «единокровных братьев-болгар».

«Славянская кровь», «война против неверных» — эти фразы обращались к народу. За ними же стояли реальные интересы — торговые, политические, военные.

...О ревнивом, болезненном отношении к «национальному». Я покривил бы душой, если бы сказал, что меня не уязвил памятник в Варшаве, где шляхтич топчет конем поверженного моего предка — запорожского казака. Солнечный день помрачнел. Подобное чувство испытал я еще раз, когда услышал, что С. Бондарчуку не разрешили экранизацию «Тараса Бульбы». Хотя «Огнем и мечом» Г. Сенкевича перевели на русский.

Мы не должны помнить взаимные «обиды» и бередить раны дурной памятью. Мы должны учиться жить в другом мире, приближая его — терпеливо и благородно.

Главное — в общем нашем будущем.

На новом витке истории виднее ограниченность попятного движения мысли к «национальным истокам», хотя мы никогда и никуда не уйдем от истоков.

Плодотворно такое движение национальной мысли, при котором все они, национальные истоки, сливаются в единый общечеловеческий поток в поисках нового русла жизни — жизни без войн, расовых распрей, насилия духовного, нетерпимости к иной вере.

Когда смерть угрожает человечеству, люди не должны, подобно сверчкам, прятаться по своим запечьям, а род ощущать лишь национально-генетически.

Дом — Земля. Память — История Человечества.

Опасения в этом вопросе надуманны. Ведь преемственность не может выйти за рамки национального ли, идеологического ли мироощущений, если бы кто и попытался сделать это. Художник, даже цитируя великого предшественника другой страны и другой эпохи, опирается на близкие себе, своей вере идеи и образы.

## «...С завитком и неясность»

Где-то прочитал, что у вавилонян понятие «будущего» обозначалось как «смотреть назад». Не идти вспять, как хотят наши ретрограды и трусы, а именно «смотреть», то есть уметь связывать прошлое с тем, что развивается сегодня из этого прошлого опыта.

И когда в воздух чепчики бросают по поводу «реабилитации», скажем, Бердяева, восторженные, срывающиеся голоса производят скорее комическое впечатление. Дамское рукоделие по этой теме на страницах современной печати не может не раздражать своей туманной высокопарностью. «Не только плыть по течению эпохи, но и парить в облаках долго нельзя,— писал словацкий писатель Доминик Татарка.— Однажды может подняться сильная буря — и конец, ты рухнешь на землю». Многие категории у Бердяева, Флоренского, Розанова, С. Булгакова берутся сегодня безо всякой соотнесенности с жизнью духа реального сегодняшнего человека, его «прописанности» в своей среде, своей эпохе, с его уже более поздним опытом.

Как говорил Достоевский, «что ясно и понятно, то, конечно, презирается толпой, другое дело с завитком и неясность. А мы этого не понимаем, значит тут глубина».

Немало критиков сегодня, для которых это «с завитком» становится главным. Подобная форма выражения как нельзя лучше соответствует манере держаться между «лагерей». «Право» и «лево» не говорить. Дурной тон. Ясность и определенность позиции характеризуется как что-то пережиточное, как дань «идеологии», с которой яко-

[1] С. М. Соловьев. Собр. соч. СПб., 1901, с. 699.

бы мы разминулись окончательно и бесповоротно.

Послушаем одного из самых ярких и даровитых наших литераторов:

«В эпоху гласности, когда перегруппировавшиеся вероучители начали сталкиваться под новыми лозунгами, когда на знаменах радикалов появились либеральные лозунги, на знаменах вчерашних атеистов — распятия, а на знаменах бывших интернациональных ортодоксов — лозунги сугубо национальные,— «сыны застоя» вошли с трезвым пониманием того, что все лозунги, призывы, зовы, великие идеи и неуступаемые принципы скорее перейдут в собственную противоположность, чем оставят в покое жизнь как таковую» («Октябрь», № 5, 1990). Пародийное это представление о «вероучителях» весьма показательно для разочаровавшихся в общей вере, но непоследовательно: на смену религии «великих идей» пришла ведь тоже религия — вера в «жизнь как таковую». Допустим, она существует — «как таковая». Но вчерашние атеисты, ставшие под хоругви, как и бывшие интернационалисты, превратившиеся в ярых националистов,— это из области шаржа. Что такие люди есть, всем известно. Но разве, как теперь модно говорить, «корректно» подменять истинные убеждения одних спекулятивной игрой в убеждения других? Наш критик пошел на подстановку, это очевидно, но зачем? Или, сделав собственный выбор в годы после оттепели — выбрав «ничейную» позицию, он опасается, что и его насильно завербуют в один из окарикатуренных им «лагерей»? Или упрекнут в том, что он вовремя не определился? Да нет же! На «особость» сочинений оппонента никто не собирается посягать. Плюрализм так плюрализм.

Но будет позволено и нам, людям попроще, стоящим за радикальное обновление жизни — а значит, занимающим вполне о п р е д е л е н н у ю, без завиточков, позицию,— усомниться в том, что наши «либеральные лозунги» или «радикальные зовы» можно насмешливо ставить на одну доску с вполне определенными же «неуступаемыми принципами» тех, против которых мы боролись всю жизнь и ироническое у р а в н е н и е с которыми нам, буду откровенен, оскорбительно.

Один из самых типичных и кокетливых приемов застоя — прием рыночного взвешивания на безмене «левых» и «правых» — в идеологии, талантливых и не очень — в эстетике, как якобы равноценных тяжестей, где чаши никак не должны находиться в состоянии неравновесия. Покачнулась одна — нагружайте или снимайте груз с другой.

На этом в годы застоя делали себе биографии.

Психологический пережиток того же застоя — глупые опасения «радикализма» в наши дни. Как будто без «радикализма» можно сдвинуть что-то с места.

Обожествление «центра», «центризма», «золотой середины», «взвешенности», «консолидации» и как там еще — именно это и заставляет нас топтаться на месте и заниматься говорильней вместо реального дела. Особенно пуста лицемерная казуистика о христианской «консолидации» в культуре. Возможно ли консолидировать подлость — с честностью, карьеризм — с вдохновением, зависть бездарности — со щедростью таланта?..

Да, «жизнь дороже и мудрее идей, принципов, целей и смыслов», как говорит мой оппонент. Но, добавлю я, без идей, принципов и целей не бывает и самой жизни, ни хорошей, ни плохой. И виноваты перед нами с оппонентом не сами идеи и цели, а плохие идеи и неверные цели.

Я говорю банальности? Конечно. Но зачем на них провоцировать?

Жизнь — как высшая ценность. Общечеловеческие принципы. Идеи европейского общего дома. Да сама перестройка, ее судьба в истории нашей. Все это может остаться красивым сном, не более, очередной маниловщиной русского свойства, если умнейшие люди России будут продолжать игру в завитки мысли, вместо того чтобы решиться признать очевидное: именно в радикальных действиях, в Революции в полном смысле слова — да, бескровной, да, разумеется, духовной, но в массовом сознании,— там, а не в стане уставших от «исторических вспышек» мечтателей о «долгом спасительном дрейфе сохранения жизни» — истина. Иными словами: только революционные процессы способны спасти нас, позволить и России лечь в тот самый «долгий», нет ли, «спасительный дрейф» спокойной жизни для человека. Пока рановато мечтать об этом. И небезопасно. Ибо дрейфовать мы можем только на рифы уже пройденного отрезка океанического пути...

История способна повторяться.

Если нас не поглотит экономическая пропасть до того, как мы осуществим свои планы по переустройству жизни на разумных, а не мистических основаниях, страна наша определит свой новый вариант подлинного спасения.

Каков же он?

## Мы не одни в мире

Из мифов древней Индии: «Но тогда творец огляделся вокруг и увидел, что нет никого, кроме него, во всей вселенной; и ему стало страшно. С той поры страх приходит ко всякому, кто остается один. Но он помыслил: «Ведь здесь нет никого, кроме меня. Кого же мне бояться?» И страх его прошел; ибо страх может быть перед кем-то другим. Но и радости не ведал он; и потому тот, кто пребывает один, не ведает радости».

Вдумаемся в нашу историю. Она полна страха. И страх этот питала внушаемая нам авторитарная сила, у которой только разве что имя менялось,— мы одни во всей вселенной.

Мы не такие, как все,— это почти то же, что мы — о д н и.

Но и радости, как оказалось, нам не испытать, потому что «тот, кто пребывает один, не ведает радости».

Новое мышление открывает перспективу истинных связей с миром.

Мы не одни в мире.

Мы такие же, как другие.

Но сколько же лжи накопилось о «других» о нас!

Вот уж действительно долгий, многовековой «дрейф».

И не надо думать, что мы скоро выйдем из него.

Расслышать гул набата совести и спасения мы сможем лишь тогда, когда отрешимся от эгоизма отдельных интересов во имя торжества общего блага.

На пути нового мышления завалы ложного мифологического сознания.

В Евангелии от Марка (4, 14), в библейской притче «Сеятель слово сеет» говорится о всходах Слова, посеянного при дороге, на камне, в тернии и на доброй земле... Трагедия Революции — и отсюда. Не все семена пали на добрую землю. Как не все семена и в древности — во все времена — ложились в нее.

У Борхеса есть рассказ о незадачливом миссионере, который так упорно вдалбливал Библию тупым гаучо, что те в конце концов распяли его на самодельном кресте, чтобы... «спасти» свои грешные души.

Кажется, Герцен писал о том, что люди усвоили в христианстве не главное — любовь к человеку,— а одни предрассудки.

Фридрих Шлоссер в своей «Всемирной истории» патетически пишет о могучем религиозном одушевлении — крестовом походе детей при Иннокентии Третьем, когда в жертву религиозной идее было принесено тридцать тысяч маленьких жизней... Об этом Анджей Вайда сделал фильм по повести Ежи Анджеевского «Врата рая» [1]. Сегодня, когда под словами «свобода совести» понимается почему-то исключительно право на религию, не мешало бы, во-первых, понять, что свобода совести есть просто свобода совести — в том числе и атеистической, а во-вторых, что религиозный фанатизм уносил и продолжает уносить миллионы жизней. В Иране тоже была революция, но исламская, Ольстер стал символом нетерпимости, не уступающей любой классовой. Ливан, разрезанный на две части, истекает кровью христиан и мусульман. Примерам несть числа... Только вчера прочитал о более чем тысяче жертв очередного «хаджа» в Саудовской Аравии...

Под стать религиозному фанатизму фанатизм национальный. Ничто так не заразительно и не гибельно как «патриотизм», оторвавшийся от всечеловеческих ориентиров.

О Революции теперь чаще всего услышишь: «братоубийственная война». А если брат убивает не «брата», а японца или немца — это не война? Не убийство?

Сотни тысяч капелланов молятся за победу «своего» оружия одновременно, и я, кажется, слышу разноязыкую эту молитву — призыв к убиению себе подобных, но... «чужих».

«Сорок тысяч братьев...»

Стыдно и страшно признать, что война — самая «наисправедливейшая» — всего лишь бесчеловечная реальность для каждого конкретного человека в ней участвующего, в нее втянутого.

Перед новым мышлением встала стена. Имя ей — иное существование.

Проблема в равной мере философская, психологическая, историческая.

Понять иное существование. Принять его. Это ныне — вопрос вопросов.

В одном времени — на разных материках, в разных идеологиях, разных верах и расах.

В истории — тоже. Ведь те, вчерашние, также отличались от нас, будь они и одной с нами веры или расы.

А наши «почвенники» все о том: немцам или евреям нас «не понять» (кстати, мы-то почему-то всех уже «поняли» — судим сплеча), мы — всегда одинаковы. В «Философском словаре» интеллигент (лат. intelligens) — понимающий, разумный. А нам — «умом Россию не понять...» Сегодня тютчевские строки — индульгенция для тех, кто хотел бы «только верить» — в Россию, в Сталина, в «русофобию» — все равно, — только бы верить.

Для «почвенников» человечество есть нечто абстрактное, в то время как национальное — вот оно, можно руками потрогать...

Но разве это доказательство вторичности человечества перед своим, угретым боками понятием нации, подобно клюевской «лежанке» («Маяковскому грезится гудок над Зимним, а мне... кот на лежанке»)?

Да нет конечно.

Тут просто разные уровни культуры, как от этого не уходи.

Общечеловеческое как свое, близкое, родное — удел не всех.

## Видеть перспективу

Родное — от слова род. Новая историческая общность, оказалось, не «советские люди», а род человеческий. Масштаб изменился. А мы готовы к новому «человеческому измерению»? Культура готова?

Мы то ревниво оберегаем Горького, Маяковского, как будто им угрожает чья-то переоценка, то пытаемся «разоблачить» их. Но фигуры такого масштаба сами себя защищают. Или не могут защитить. На то и проверка временем. Не лучше ли понять, как идеи Революции продолжены и развиты сегодня, в условиях нового исторического опыта?

Причем делать это невозможно без учета общего баланса мировой культуры века, вклада Томаса Манна и Иво Андрича, Михаила Булгакова и Габриэля Гарсиа Маркеса, Отара Чиладзе и Яана Кросса, Фридриха Дюрренматта и Чеслава Милоша, ряда других художников — всеми признанных и полупризнанных, названных здесь и неназванных, но чей вклад скажется, если еще не сказался, на самом характере мирового литературного процесса.

Однако мы все еще, как ни стараемся, находимся в плену мерок вчерашней эстетики. Мы плохо чувствуем новое, если оно не похоже на старое.

А оно и не может быть похожим, если оно новое.

Глубочайшая мысль современного романа о памяти рода, например, возникла на

[1] Повесть напечатана в «ИЛ», 1990, № 1. (*Прим. ред.*)

основании долгого человеческого опыта. Но получает иное, тревожное содержание.

Миф — самая универсальная система представлений о жизни на все времена. Самая, так сказать, протяженная цепь устойчивых представлений о мире без начала и конца.

Мы привыкли чувствовать себя овцами Гелиоса из «Одиссеи», что не плодились и не умирали — жили вечно. Культура помогает наше прошлое ощущать как настоящее, а с помощью цивилизации мы постоянно рвемся в будущее. Так мы ощущаем свою иллюзорную вечность.

Но живем мы в переломное время. Над миром нависла реальная опасность конца. Сегодня не может не мобилизоваться вся энергия рода человеческого. Человечество — а значит, и литература — стоят перед невиданным выбором того, что БЫЛО ВСЕГДА, и того, чего МОЖЕТ НИКОГДА НЕ БЫТЬ.

Начало нового романного мышления: ощущение катастрофичности мира, универсальность связей Времени, Человека, Природы. Если поначалу мы воспринимали мифологичность в литературе как явление национальной стихии, то со временем не могли не понять и процесса обратного — от состояния мира идет мировая художественная мысль. И встречается на этом пути — с традициями глубокой древности.

Странно, например, что «Плаху» не все поняли. Именно в этом смысле. Говорят, звери показаны хорошо, идеи — хуже, Христос — вовсе не нов. Но в «Плахе» нет отдельных зверей, людей, идей. Убив Акбару, несчастный Бостон убивает и сына своего. Это не просто литературный ход. Это та же трагическая закономерность самой жизни, в которой сегодня все взаимосвязано, неразрывно — люди, народы, живая природа — воздух, вода, недра земные.

Насилие, смерть — порождение силы, которая становится опаснее всего. Сила не спасает того, кто обладает ею, она искушает его и может привести к роковой развязке, так как чья-либо победа заранее исключена.

Это новое условие человеческого опыта. А значит, и новое — в романном мышлении.

Видеть перспективу, а не поминутно оглядываться. Иначе обязательно будешь спотыкаться на новом.

Мы еще вернемся к революционному искусству 20-х годов по всему фронту. И то, что было насильственно прервано в годы духовных и иных репрессий над истинными художниками, будет восстановлено. Этот процесс уже начался. И здесь мы должны помогать друг другу. Так словак Любомир Фельдек, выпустивший замалчиваемого украинца Антонича, помог «отставшему» Киеву, а мы в журнале «Феникс» планировали помочь нашим друзьям, восстанавливая имена не одного автора из небытия...

Увы, Милош, Крлежа, Голан, Хласко, Грабал, Мрожек, Гавел, Радичков, Динеску, Цветаева, Пастернак, Солженицын, Андрич, Дери, Анджеевский, Вольф — эти и некоторые другие писатели, цвет культуры, классика XX века, достойнейшие представители восточной, центральной и южной Европы, представленные мною в первой книге «Феникса» в годы перестройки, но ранее революции («нежной» и не совсем таковой) в этих странах,— не могли выйти к нашему читателю. В то время как, подобно грибам-поганкам, десятками высыпали на поле отечественной словесности странные издания под эгидой лиц и организаций националистического толка, «Фениксу» было отказано в поддержке на самых разных уровнях.

Я далек от того, чтобы видеть тут только одну причину — равнодушие к идее интернационализма, тут была и перестраховка (Гавел тогда сидел в тюрьме, под домашним арестом находился Динеску, Голан считался «рассыпанным» в московском издательстве, и это еще помнилось, как принималось во внимание и то, что Радичков — полуофициальный автор, к тому же представленный в «Фениксе» рассказами подозрительными, и так далее). Но главным считаю все-таки инерцию старой российской черты — «мы ленивы и нелюбопытны», для широкого круга издателей — сознание «немодности» темы «иного существования»... Если это, конечно, не какой-нибудь Эжен Сю наших дней.

Но лед тронулся. И пусть к выходу первого номера «Феникса» я не досчитаюсь не только «приоритета» (Мрожек, может быть, Гавел), но уже и потерял для журнала Анджеевского и Дери, Ивайло Петрова, чьи повести опубликованы в книгах. Издательства, слава богу, оказываются все более оперативными. А о смелости сегодня уже и говорить нечего. Она просто не нужна.

Я упомянул революционное искусство начала века, говорю о его неумолимом возрождении. Однако одновременно нельзя не заметить процесса отрицания «левых» течений на том основании, что они имели касательство к идее Революции политической, к Октябрю Семнадцатого. Не беря эту тему во всем объеме, замечу лишь, что и тут имеет место антиисторичность, если не та самая критика вульгарно-социологической пробы, на которую как будто бы и ведется атака нынешних «традиционалистов» и радетелей «нравственных» ориентиров.

Особенно зло и несправедливо пишется о Маяковском.

## Кому урок

Маяковский был «человеком-эпохой», а не поэтом «нашей советской эпохи». Он был такой же жертвой великого обмана, как и мы с вами. Только Время обмануло его крупнее, ибо он был крупнее нас.

Ему ставят в упрек отрыв от настоящего во имя утопии будущего.

Это несправедливо уже потому, что он и жил в будущем, в то время как критики его — во вчерашнем.

Когда В. Белов говорил на международной встрече в Белграде о нелюбви своей к Маяковскому, это было понятно. Непонятно доказательство: Маяковский писал о будущем, прошлое — документировано, а будущее — все в фантазии. Но вот эстонец

Леннарт Мери: «Сможем ли мы восстановить прошлое хоть чуточку реалистичнее, чем изображаем будущее?» Он далеко не уверен, что прошлое восстановимо, так как мы в сегодняшнем нашем понимании вещей уже не те, что были вчера; вот почему, описывая, скажем, эпоху Птоломея, мы не можем естественно передать чувства человека, верящего, что земля неподвижна. «Незнающему легче прикинуться знающим, чем знающему притвориться, что он ничего не знает».

Я бы добавил, что мы многого не знаем и в том «высоком» мире исторических фактов, о которых имеем сведения, подготовленные для нас, простых смертных.

Что рейхстаг «брали» дважды — по военным законам и... по журналистским, киношным.

Что речь Гагарина перед стартом была прервана из-за того, что кончилась пленка и пришлось «переговаривать» историческую речь века.

Что прах Маяковского на Ваганьковском опустили раньше, чем успели запечатлеть на пленку кинохроники, и урну... вынули, повторяя процедуру захоронения...

Последнему я сам был свидетель.

Мелочи? Не скажите... Есть и покрупнее.

Историческая акустика — вот термин, которого, к сожалению, не существует в эстетике, а должен бы существовать.

Знать, с кем Пушкин пил чай после свидания с царем,— интересно, но это еще не значит обладать историческим знанием. История для бедных (малевание китчей спекулятивного характера у Ильи Глазунова) не имеет ничего общего с исторической акустикой.

Она была у Твардовского:

Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твою жить чертой.

И за твою мглой безгласной
Мы — здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны —
Иного смерти не дано.

И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чудеса:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.

И как бы ни был провод тонок —
Между своими связь жива.
Ты это слышишь, друг-потомок?
Ты подтвердишь мои слова?..

Идея продолжения, развития жизни, а главное, понимание обогащения опытом, хотя мы в раздражении своем и нетерпении склонны считать правыми лишь пифагорейцев, все чаще в наши дни приводит к отрицанию прогресса. А задуматься бы: как бы человечество выжило, если бы не живое, органическое, врожденное чувство надежды и борьбы за эту надежду?

Между тем «прогресс» — слово, которое мы сегодня чаще встречаем в кавычках. Но прогресс и Революция — это то, что никому не подчиняется. Несут ли они зло или добро — они пока неотменимы.

## Второе и последнее отступление

*К Сталину в семье нашей было странное отношение: некий, я бы сказал, нейтралитет, выражавшийся в фигурах умолчания. Имя это не обсуждалось в семье, хотя у моего отца были свои резоны не очень боготворить «отца народов». В 1937 году было его первое «знакомство» с нахмуренными бровями Системы, первый звоночек — к счастью, отца выпустили сравнительно скоро.*

*Помню, в первый день его возвращения мы отмечали флажками на карте Испании продвижение республиканцев, и отец, уколов палец булавкой с черным флажком, сказал матери, что видел такую же карту «там» и что это «странно» — «им там нет дела до Испании. До Революции — тоже...»*

*Надо сказать, что у отца был «длинный язык» и он умудрился сидеть при Скоропадском и Петлюре, а при власти Советов спас его от очередной отсидки В. Г. Короленко, с которым была знакома мама, учительница.*

*Я по молодости лет не очень вникал в его бунтарские высказывания. Не думаю, что у отца тут имела место сознательная позиция, скорее инстинктивное нежелание подчиняться насилию и произволу в любой форме.*

*Как бы то ни было, но зимой 1942 года, возвратившись после первой контузии долечиваться в черноморский городок, где мы жили перед войной, я узнал, что не огромная воронка на месте родного очага поглотила моих родителей и малолетнюю сестренку, а ...судьба «спецпереселенцев» — они были высланы в Казахстан вместе с армянами и греками в самом начале войны, а мне пришлось проявить немалую военную смекалку, чтобы не разделить их судьбу... Но об этом как-нибудь позже.*

*«То время» осталось в детской памяти таинственными ночными разговорами родителей, что надо поехать за бабушкой и дедушкой на Украину, что они там умрут с голода.*

*«Почему у бабушки такие толстые ноги?» — «Опухли, внучек...»*

*И вот мы уже хороним их, одного за другим — бабушку и дедушку, на кладбище на высоком берегу Черного моря...*

*А на жаркой улице, летом 1932 года, впервые вижу умирающего с мешком за плечами. Люди проходят мимо, кто-то крестится...*

*А отец выводит за ухо оборвыша из нашего сарая, там хранили картошку и свеклу. Ведет в дом и... сажает за стол: «Поля, накорми...»*

*Оборвыш говорит по-украински, и мама плачет.*

*Еще до школы — видимо, мне было лет пять — ездили к дедушке. У него были бахча, пчелы. На песчаном берегу Ворсклы стояла мельница, куда мы ходили с дедушкой — кому-то отдавали «глечик с медом». И жизнь казалась мне, несмышленышу, вся в мальвах и солнечных зайчиках.*

*«То время» было временем ночных шепотов, к которым я не прислушивался — у меня была своя детская жизнь. А голос отца, его вздох: «Перелет... недолет» — мне*

*были непонятны. А означало, однако, это многое: сосед справа, профессор, арестован, сосед слева, адвокат, взят ночью.*

*Шел 1937 год.*

*Я хорошо стрелял в тире в каску и в кружок на груди, слева.*

*У меня была своя программа: футбол, утренняя ловля крабов на берегу, школьный театр, где я играл роль шпиона и падал, пораженный неотвратимой пулей чекиста, уроки музыки, которые я брал у Кости Челикиди на мандолине «за так» и на рояле у астматической дамы из Ленинграда — за большие по тем временам деньги, у меня прорезались некие способности...*

*В 1941 году мне подарили чемодан для нот и смены белья 20-го июня. А 22-го я вынул из чемодана лишние теперь ноты, оставив смену белья и оловянную ложку, с которой мой дедушка, говорят, ходил «на турок».*

*«За Сталина!» я не успел крикнуть ни разу — эшелон разбомбили в степи, двое суток я не видел света, а потом все яснее видел мир и начал понимать кое-что, чему раньше не знал истинной цены.*

*Война окончилась для меня в 1946 году.*

*В резервном полку меня вызывал играть в шахматы офицер из СМЕРШа, и я каждый раз холодел, выигрывая у него. Я скрывал, что родители — в ссылке, и думал, что игра в шахматы подстроена, чтобы я «раскололся».*

*В Литинституте я тоже скрыл, что отец и мать мои — «враги», мучительно ждал «разоблачения»...*

Уже в годы перестройки «Правда» серьезно поправила меня по вопросу о товарище Сталине, о котором я выразился отнюдь не как о великой и сильной личности. Я позволил себе заметить, что мы останемся рабами, пока будем считать, что эту фигуру поймет лишь будущий Шекспир. Н. Потапов уверен, что у Сталина был интеллект, что Шекспир нужен. Н. Федоренко тоже вспоминал Сталина с неким трепетом — дьявол, мол, но крупный человек. Им видней.

Я же полагаю, что политический механизм XX века — отчуждение нас от тайны Власти — способен и ублюдка посадить на престол. И он какое-то время там удержится. Масштабы личности тут ни при чем.

Я никогда не был апологетом режима. Не состоял в партии коммунистов. Все мои близкие так или иначе пострадали в годы репрессий. Себя я тоже не исключаю из этого круга. Если бы я состоял в партии, то разве что в «Мемориале».

Почему же я так яростно-ностальгически пишу о Революции, снова пользуюсь прописной буквой, хотя сам В. И. Ленин предупреждал: «... на этом больше всего ломали себе шею, когда начинали писать «революцию» с большой буквы...»?

Потому, повторяю, что, когда я говорю о революции, я имею в виду не кровь, не насилие над личностью, не геноцид интеллигенции русской, не уничтожение «почвы» народной — крестьянства, не страшный пресс над свободным словом, не самоистребление наконец — все это было, было, было! — а **идеи борьбы именно за свободу, самое** дорогое достояние человечества за все века его существования! Я вижу в Революции — «момент истины», высшую точку реализации права личности на свободу.

Бегство от Революции — бегство от Свободы.

Школьник знает, что робеспьеры начинают революции, а наполеоны их заканчивают. «Сколько революций переродилось, не оставив после себя ничего, кроме безверия, нетерпимости и отброшенного назад общественного развития! Эта глава в истории революций еще по-настоящему не исследована и не написана». Это слова А. Н. Яковлева в связи с двухсотой годовщиной Великой французской революции.

Осознав и отринув все средства насилия в современном мире, в первую очередь войну как средство решения национальных или классовых целей, человечество откажется и от идеализации революционных методов. Но изымать проблему Революции из контекста кровавой истории, видеть в ней исключительно исчадие ада на фоне ежедневного насилия над человеком на земном шаре — подлое лицемерие, обман ничего взамен не предлагающей «истины».

Мы вступаем в новую цивилизацию, где, конечно же, хотим освободиться от затянувшейся на столетия «эпохи войн и революций», оставившей кровавый след на планете людей. Но мы еще в начале пути. И сегодня нам важнее отринуть все формы лицемерия и лжи, выбор рабства, нежели упражняться в пустых проклятиях Революции, принижая величие ее изначальных целей, ибо не требует доказательства вывод: она и впрямь не принесла обещанного счастья.

Революция — война. А война и счастье — несовместимы. Вспомним Бориса Слуцкого:

Тебе, видать,
не нравится
сна?
Попробуй
перевоевать
по-своему!

Почти маниакальная наша страсть к односторонности в критике Революции оборачивается и неверием в возрождение страны, вытекающим из ложной посылки об «изначальной» несовместимости «нравственности» и Революции. Так Б. Васильев в своей по фактам справедливой и горькой статье в «Известиях» ( 14 июня 1990) никак не согласует название — «И все же я уверен, что Россия привержена Добру» с финалом: «Приходится с глубокой горечью признать, что духовная мощь России погибла». «Голый остров», по мнению писателя, «уже не принесет плодов...» Вывод пессимистический и неверный. Общество, нашедшее в себе силы для перестройки — как бы ни оценивать этот процесс в смысле исторических последствий, — **способно** к живому развитию, а значит, и прогрессу.

Мы все говорим сегодня о том, что семьдесят лет отдано мифам.

Но и мифы читают по-разному.

О пошлом прочтении мифов тоже **не** стоит забывать.

Легенда о блудном сыне... Икаров полет. Это не о том, что хороша рутина, что летающий падает, а уходящий к новым го-

ризонтам — посрамлен. А о противоречии, которое существует в мире д в и ж е н и я и п о к о я.

Может быть, скорее грустно, что «блудный сын» — в рубище и на коленях?

Урок? Но кому? Сыновьям или самодовольным отцам?...

Читая комментарии к Плутарху, натолкнулся на неожиданный смысл, казалось бы, известного и ранее: «амнистия» по-гречески — «забвение»....

Так вот откуда эта горечь! Мы прощаем тогда, когда прощаемся. Навеки.

Тогда достанет ли у нас бесстрашия спросить себя: за что мы н е прощаем Революцию? За то ли, что она не дала нам счастья, или за то, что в самом основании ее — кровь, а значит, и выполни она свои обещания, мы не приняли бы ее даров?...

Признав последнее, мы должны будем признать и то, что слишком поздно сводим счеты или лукавим.

Где же раньше была наша совесть — та самая «слезиночка ребенка» по Достоевскому?

Нет уж, будем жестокими к правде, какая она ни есть.

Мы счастья хотели любой ценой.

А когда цена открылась всему миру, стали отрекаться от с а м и х с е б я, от лучшего в себе, называя это отрезвлением от Революции...

В Революции есть два начала. Свободы и насилия.

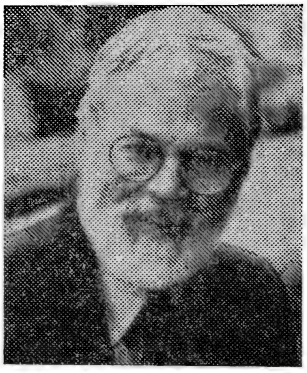
Простимся же — не прощая — с насилием.

«Но жаль того огня...»

■

РОБЕРТ ФУЛГАМ

# ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ Я УЗНАЛ В ДЕТСКОМ САДУ



## Непривычные мысли о привычных вещах

*Перевод с английского А. ВОЛКОВА*

**Эта странная, не относящаяся ни к одному из известных жанров книга (ну что это за жанр — «непривычные мысли») имела в Соединенных Штатах сенсационный, беспрецедентный успех. Больше года продержалась она в списке бестселлеров, причем десятки недель — на самом верху этого издательского Олимпа. Уже из-за одного этого книгу стоило бы перевести: вот, оказывается, что нравится читать американцам. Впрочем, не только американцам — необычное произведение необычного автора издается сейчас во многих странах.**

**Когда Роберта Фулгама спрашивают, чем он занимается, он отвечает: я — философ, а потом поясняет, что ему нравится ломать голову над самыми обычными вещами и затем выражать результат своих раздумий в виде записей, или бесед, или картин — как получится. Ему случалось быть ковбоем, певцом, коммивояжером, художником и учителем рисования, приходским священником, барменом. И еще — автором маленькой книги, разошедшейся по миру миллионными тиражами.**

**В Евангелии сказано: «Будьте как дети». Возможно, в наш усложненный, жестокий век именно такой вот книги нам не хватает: мудрой, бесхитростной и немного сентиментальной. Один из критиков написал: «Прочитав Фулгама, становишься чуть-чуть лучше». Бывает ли для книги оценка более высокая?**

### От автора

Позвольте кое-что сказать, прежде чем вы тронетесь в путь. Дать вам маленький путеводитель — чтобы не заблудились.

То, что вы будете читать, я писал не один год, по частям, писал для друзей, близких, прихожан и для себя и публиковать не собирался. Как это все назвать — даже не знаю. Я бы сказал «личные заметки» — о том, что происходит в моей душе и в моей жизни.

Отрывок о том, что я узнал в детском саду, обошел чуть ли не всю страну и зажил самостоятельной жизнью. И вот однажды один школьник принес его в ранце домой, мама школьника оказалась литературным агентом и написала мне — нет ли у меня еще чего-нибудь в этом роде? Отчего ж нет, найдется... Так одно за другим и пошло — прямо как в сказке.

Вот оно — собрано в книгу — почти в том же виде, как было первоначально написано. Я только изменил кое-какие имена и детали — ради людей праведных, или же обидчивых, или же обидчивых праведников.

И еще: в книге есть противоречия. Станете вы читать и подумаете: «А ведь только что говорил совсем другое!» Да, говорил. Просто у меня много взаимоисключающих мыслей. Например: неосознанная жизнь недостойна человека — верно; неведение — это блаженство; тоже верно... И так далее. В общем, я и сам пока не во всем разобрался.

Что еще сказать?

Читайте по частям, не все сразу — спешить некуда, да и в конце никакой развязки или кульминации не будет.

Да, чуть не забыл: у меня есть официальный Патент Рассказчика —

© 1988 by Robert L. Fulghum

один друг выдал и прикрепил к стене над моим письменным столом. Согласно Патенту, мне дозволяется с помощью воображения как угодно изменять сюжеты, чтобы улучшить рассказ,— лишь бы это служило Истине. Кроме того, в Патенте дано Кредо Рассказчика:

*Я верю,*
*что воображение важнее знания.*
*Что миф могущественнее истории.*
*Что мечты сильнее фактов.*
*Что надежда*
*всегда берет верх*
*над жизненным опытом*
*Что единственное лекарство*
*от горя — смех.*
*И я верю —*
*любовь сильнее смерти,*

Я очень старался писать так, чтобы меня не за что было лишать Патента.

* * *

Вот уже который год, весной, я ставлю себе задачу: написать перечень личных убеждений — Кредо. Когда помоложе был, то перечень этот занимал много страниц, ибо мне хотелось охватить все стороны жизни, без остатка. И он тогда напоминал постановление Верховного суда; как будто словами можно решить все проблемы и вопросы о смысле жизни.

За последние несколько лет текст Кредо сократился и стал в чем-то трезвее, в чем-то легкомысленнее, в чем-то мягче, но я по-прежнему его совершенствую. А недавно решил попытаться свои личные убеждения изложить на одной страничке в самых простых выражениях, хотя прекрасно понимал, как я наивен и самонадеян.

Горячее стремление к краткости пришло ко мне на бензоколонке. Я ухитрился заправить старенький автомобиль супермодным высококачественным бензином класса «люкс». И мой бедный драндулет с подобным изыском не справился — на перекрестках фыркал и чихал, на спусках отплевывался. Тогда я понял, в чем дело. Моя голова порой оказывается в таком же положении. Как только загружу в нее слишком много супермодной высококачественной информации, так не могу справиться с жизнью — начинаю фыркать и чихать на перекрестках, где надо делать важный выбор, потому что знаю либо чересчур много, либо чересчур мало. Жить осознанно — не на пикнике веселиться.

И я понял, что почти все необходимое для полной смысла жизни я уже знаю. Знаю! Что все это не так уж сложно и давным-давно мне известно. А вот как придерживаться этих правил — другое дело, верно? Итак, мое Кредо:

ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ Я УЗНАЛ В ДЕТСКОМ САДУ — как жить, как поступать, каким быть. Мудрость лежит не на вершине школьных знаний, а у подножия кулича в детсадовской песочнице. Вот что я узнал:

**Делись всем, что имеешь.**
**Играй честно.**
**Никого не бей.**
**Что взял, клади на место.**
**Намусорил — убери за собой.**
**Не бери чужого.**
**Извинись, если кого-нибудь обидел.**
**Мой руки перед едой.**
**Спускай за собой в туалете.**
**Теплые булочки и холодное молоко полезны.**
**Живи размеренно — каждый день познай что-нибудь новое, поразмышляй, порисуй, попой, потанцуй, поиграй и потрудись.**
**После обеда ложись соснуть.**
**Когда выходишь на дорогу, следи за машинами, не отставай от спутников и держись с ними за руки.**
**Помни о чудесах. Не забывай о маленьком семечке, которое посадил в пластмассовую плошку: корни ушли вниз, а стебелек потянулся вверх, и ведь никто не знает, как это происходит и почему, но то же самое происходит со всеми нами.**
**Золотые рыбки, хомяки, белые мыши и даже маленькое семечко — все когда-нибудь умрут. И мы тоже.**
**А еще не забывай детские книжки и первое слово, которое узнал,— самое главное слово: СМОТРИ.**

Обо всем важном, что нужно знать для жизни, говорится в этом Кредо — о Золотом Правиле[1], о любви, о простейшей гигиене, об экологии, о политике, о равенстве, о здоровом и разумном образе жизни.

Можно взять любой из этих принципов, переиначить его на «умный», «взрослый» лад и проверить его в семейной жизни, в работе, в государственных делах или в своем личном мире — и он будет все так же истинен, ясен и непреложен. Подумайте только, насколько лучше стал бы мир, если бы люди на всей Земле каждый день, часа в три, пили молоко с булочками, а затем, укрывшись одеялом, ложились соснуть. Или если бы все правительства взяли себе за правило класть на место то, что взяли, и убирать за собой, если намусорили.

И каждому из нас, в любом возрасте, лучше всего не отставать от спутников и держаться за руки, когда выходим на дорогу.

* * *

В нашей семье за стирку отвечаю я, и мне эта работа по душе. Она вселяет чувство исполненного долга. И еще, так сказать, сопричастности с жизнью остальных домочадцев. А еще — возможность побыть одному, без этих самых домочадцев, что тоже иногда неплохо.

Мне нравится перебирать белье — светлые вещи, темные, цветные. Мне нравится настраивать ручки и рычаги — горячая вода, холодная вода, полоскание, время, нагревание. Все это для меня просто и по-

[1] Заключается в том, что с другими надо поступать так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. *(Здесь и далее прим. перев.)*

нятно, я решительно и умело выбираю нужное. Новая стереосистема до сих пор загадка для меня, а вот стиральными машинами и сушилками я пользоваться уже научился. Как только слышится звонок — можно вынимать теплое, мягкое белье, нести его в столовую, сортировать на столе и складывать в аккуратные стопки. Мне ужасно нравится, когда белье сильно наэлектризуется — можно всего себя обвешать носками, они прилипают и не спадают. (Однажды жена застала меня за этим занятием и ТАК на меня посмотрела! Но ведь нельзя же всегда и всем объяснять все, что делаешь...)

Когда стирка закончена, у меня есть чувство исполненного долга. Дело сделано хорошо. Со стиркой я справляюсь неплохо. Хотя бы это умею. Вы не поверите, но в стирке я вижу и космическую сторону. Вода, земля, огонь — противоположности мокрого и сухого, горячего и холодного, грязного и чистого. Великие круговороты, снова и снова — начало и конец — альфа и омега, аминь. Я соприкасаюсь с ЧЕМ-ТО ВЕЛИКИМ. И на миг, всего на миг, жизнь чиста и имеет смысл. А потом — все заново...

На прошлой неделе наша стиральная машина сломалась. Я, наверное, слишком много полотенец в нее заложил, и в режиме вращения барабана все они комом сбились на одну сторону. Машина, сильно кренясь, исполнила какой-то жуткий танец в стиле «прыг-скок» и взорвалась. Мне сначала показалось, что она решила наброситься на меня. Только что она жила, вся содрогаясь, а уже в следующий момент передо мной стоял холодный белый ящик, полный недопереваренных полотенец, с пеной у рта — я, видимо, и мыла слишком много заложил. Через пять минут испустила дух и сушилка. Словно пожилая чета в доме престарелых: они до того тесно переплелись судьбами, что даже умирают почти одновременно.

Машина сломалась в субботу днем, и в доме не осталось ни одного сухого полотенца, ни одной сухой пары моих трусов или носков — что было делать? Я прекрасно знал: если позвонить в ремонтную мастерскую, то придется проторчать дома тридцать шесть часов подряд, ожидая мастера, да еще чтобы при этом рядом непременно стоял директор банка и помахивал уже подтвержденным чеком — в противном случае мастер к вам и на порог не ступит. У меня же на все это времени не было, и я отправился в прачечную самообслуживания.

Со студенческих лет мне не приходилось проводить субботний вечер в прачечной самообслуживания. Кто не бывает в таких местах, тот много теряет, ибо только там можно увидеть чужое белье и услышать массу любопытного. Я видел, как пожилая дама перебирала целую кучу пикантного черного женского белья, и все гадал — ее это вещи или нет? Я слышал, как студент объяснял приятелю отличный способ удалить с замшевого пиджака следы рвоты.

Сидя в ожидании, я изучал коробку с моющим средством. Я пользуюсь порошком «Радость». Мне по душе идея радостной стирки. Был уже поздний вечер; я сел, прислонился к теплой сушилке, принялся жевать сыр и крекеры, потягивая белое вино из термоса (подготовился я основательно), и начал размышлять о смысле жизни и читать надписи на коробке. С ума сойти! Порошок содержит вещества для удаления грязи с одежды (анионовые поверхностно-активные элементы) и смягчения воды (сложные фосфаты натрия). Кроме того, вещества для защиты моющих деталей (силикаты натрия) и для улучшения действия (сульфаты натрия), незначительные добавки — уменьшить образование морщин и предупредить появление желтизны, плюс ко всему отбеливатели, восстановители цвета и ароматизирующие вещества. Вот так! А стоит всего ничего: чайная ложка — один цент. Да, чуть не забыл: остатки легко разлагаются микроорганизмами, оптимально порошок действует в холодной воде, к тому же он экологически чистый. Чудеса в коробке.

Я смотрел, как белье кружится в сушилке, и думал о том, что мир круглый и еще о гигиене. Человечество шагнуло далеко вперед. Раньше считали, что болезни посылает Бог. Но потом поняли — виновато человеческое невежество, и с тех пор стали вычищать все за собой — в буквальном смысле слова. Люди и по сей день удаляют грязь с рук, одежды, тела, еды и из жилища.

Но если б ученые и изобретатели могли найти средство удалить грязь из наших помыслов! Всего один колпачок надежного и устойчивого закрепителя, который удалил бы грязь из нашей жизни, смягчил жестокость ее, защитил наши скрытые части — души и сердца, улучшил наше действие, уменьшил образование морщин и появление желтизны, восстановил наш естественный цвет, сделал нас мягкими, нежными и хорошими...

Кстати, не советую для этой цели есть «Радость». Я пробовал — ужасная гадость. (Зато язык у меня теперь чистый.)

А вот и моя соседка, очень милая дама. Выходит из дому через парадное крыльцо, на работу отправляется; вид и настроение у нее — «на все сто». Запирает дверь на ключ, берет свою обычную кладь: косметичку, пакет с бутербродами, спортивную сумку с причиндалами для аэробики и мусорное ведро — на выброс. Оборачивается, замечает меня, приветливо улыбается, здоровается, делает два-три шага, и вдруг: «А-А-А-А-А-А-А-Г-Х!!!» (Я цитирую.) Почти как включенная на полную мощность пожарная сирена. Паутина! Дама на ходу попала прямо в паутину! И с ужасом думает об одном: неужели паук теперь ползает по мне?

Соседка разбрасывает вещи куда попало и при этом исполняет дикую, судорожную пляску — разновидность шейка, — точь-в-точь аист в разгар брачных игр. Она ощупывает лицо, волосы, и с удвоенной силой раздается: «А-А-А-А-А-А-А-Г-Х!!!» Она пытается без ключа открыть запертую дверь — раз, другой. Затем все-таки вставляет ключ в скважину и ломает его. Бе-

жит к черному ходу, создавая допплеровский эффект затухания звука: «А-А-А-А-а-а-а-а-...»

А теперь посмотрим на происшествие с другой точки зрения — паука, точнее, паучихи: ничем не примечательной, сероватой паучихи средних лет. Еще до рассвета принялась она плести паутину, и все шло чудесно. День выдался погожий, безветренный, росы выпало в меру, и паутина получилась клейкая. Паучиха проверила снасти и уже представляла себе мошек, что попадут к ней на завтрак. Настроение хорошее, и она готова к охоте. И вдруг — все летит в тартарары — землетрясение, тайфун, извержение вулкана! Паутина порвалась и обмоталась вокруг обезумевшей живой копны сена, а огромный кусок сырого, раскрашенного мяса издает такой звук, какого паучиха в жизни не слыхивала: «А-А-А-А-А-А-А-Г-Х!!!». Добыча слишком большая — паутиной всю не обмотать, чтобы съесть потом, и двигается слишком быстро, не удержать. Что же делать? Наброситься? Вцепиться покрепче и висеть — наудачу? Или вонзиться сразу?

Да это же человек! Она поймала человека! И паучиха с ужасом думает об одном: куда он идет и чем займется, когда придет туда, куда ему нужно?

Соседка уверена — паук размером с огромного рака, у него громадные присоски и ядовитые клыки. Дома она наверняка все с себя скинет, примет душ и тщательно вымоет голову — убедится, что от паука она точно избавилась. Белье и одежду сменит полностью — чтобы уж точно не носить на себе никаких насекомых.

А что же станется с паучихой? Ну, если она вообще выживет, то ей будет что рассказать: «ВОТ ТАКАЯ огромная попалась, жаль только — вырвалась! А какая ПАСТЬ — это надо видеть!..»

Удивительные существа — пауки! На Земле живут уже 350 миллионов лет, так что, поди, ко всему привыкли. А сколько их — диву даешься: семьдесят тысяч на полгектара любого пригорода. Больше всего меня восхищает паутина. Вы только подумайте, что творилось бы, если бы у людей, как и у пауков, где-то на конце брюшка имелось крошечное отверстие с шестью каналами, с помощью которого можно было бы делать длинные нити собственного, скажем так, стекловолокна. И вот тогда... Упаковать, связать что-нибудь — никаких проблем! А во что превратился бы альпинизм! И олимпийские виды спорта... Совсем другой размах получило бы произведение на свет потомства и уход за ним. Да вы и сами можете продолжить этот перечень. Даже дух захватывает... Правда, убирать такие огромные паутины замучаешься.

И вспомнилась мне одна песенка. Вы ее тоже, наверное, знаете, да и не только вы, но и родители, и дети ваши:

**Лезет маленький паук**
**В водосточную трубу.**
**Дождик хлынул вдруг**
**На его беду:**
**Паучка на землю смыло.**
**Вышло солнце погулять —**
**Все на свете просушило,**
**Паучок собрался с силой**
**И в трубу полез опять.**

Вы, может быть, даже умеете под эту песенку жестами изображать паучка.

Что же в этой песенке такого? Ведь мы не только сами ее помним, но и детям своим поем. Паучок-то в ней представлен храбрым и веселым. И кто ее поет, тот уже не станет кричать: «А-А-А-А-А-А-А-Г-Х!!!» Кроме того, в ней просто и незатейливо говорится о том, как интересно жить на свете. Крошечный любознательный паучок ищет приключений; ему попадается водосточная труба — длинный тоннель, ведущий наверх, к свету. Но паучок об этом даже не думает и просто лезет в трубу. На него обрушиваются всевозможные напасти — ливень, потоп, слепые силы природы. Его смывает и выбрасывает из трубы еще дальше того места, откуда он начинал свой поход. И что же паучок? Разве он говорит: «А ну это все к шуту!»? Нет! Солнышко вышло, все высушило, и как только сам паучок обсох, он снова направляется к водосточной трубе, заглядывает в нее и решает, что он действительно хотел бы знать — а что же там, наверху? Только теперь он действует осмотрительнее: прежде всего смотрит на небо — нет ли туч? — выбирает маршрут понадежнее и, прочитав паучью молитву, лезет вверх, через таинственную темноту, вперед — навстречу свету и неизвестности.

Издавна все живое на Земле поступало так же. Наперекор напастям, неудачам и бедствиям. Мы с вами — потомки тех, кто выжил. И мы учим своих детей умению выживать и идти вперед. И пауки, может быть, тому же учат паучат — по-своему, по-паучьи.

А соседка моя не только переживет эту напасть — теперь, отправляясь на работу и выходя из дому, она будет осмотрительнее. И паучиха, если останется жива, тоже станет мудрее и осторожнее. Если же ей повезет меньше... Что ж, на свете останется много других пауков, и они об этой истории непременно услышат. Да и как не услышать, когда так кричат: «А-А-А-А-А-А-А-Г-Х!!!»

У жителей Соломоновых островов, что в западной части Тихого океана, есть любопытный способ заготовки дров. Если дерево настолько большое, что топором его не срубить, туземцы валят его криком. (Клянусь, я это вычитал в одной статье, только не помню в какой.) На рассвете лесорубы, обладающие особым даром, осторожно влезают на дерево и неожиданно кричат на него что есть мочи. Так продолжается тридцать дней. Затем дерево погибает и падает. Согласно поверию, крики убивают дух дерева. Туземцы утверждают, что способ действует безотказно.

Ах, эти бедные, наивные туземцы! Какие милые, оригинальные обычаи джунглей! Кричать на деревья — фу, как примитивно... Жаль, у них нет наших преимуществ: современной технологии и научного склада ума.

То ли дело мы. Сам я кричу на жену. На телефон и на машинку для стрижки газонов. И еще на телевизор, на газеты и на своих детей. Иногда, потрясая кулаком, **кричу даже на силы небесные.**

Сосед, к примеру, часто кричит на свой автомобиль. А этим летом я слышал, как он добрых полдня орал на стремянку. Мы — современные, цивилизованные, воспитанные люди — кричим на транспорт, на арбитров, на счета, на банки и — особенно на механизмы. Больше всего достается им и родственникам.

Какой от этого толк — даже и не знаю. На механизмы и прочие предметы все равно не действует. Пинки и то не всегда помогают. Что касается людей, то здесь туземцы с Соломоновых островов, возможно, в чем-то правы. Если кричать на живое существо, то действительно можно убить его дух. Говорят, слово не обух, в лоб не бьет. Верно, не в лоб оно бьет, а в самое сердце...

Видели когда-нибудь счеты? Они похожи на сороконожек с тельцем из деревянных костяшек. В Америке они обычно продаются в сувенирных магазинах среди прочих привозных безделушек, в качестве настенных украшений. Но на самом деле счеты — это арифмометр, калькулятор и даже компьютер. Что, впрочем, тоже не совсем верно. Ведь счеты — всего лишь видимая картина вычислений, которые счетчик производит в уме.

В Азии многие и поныне пользуются счетами изо дня в день. И так — две тысячи лет, а то и больше. Счеты не только полезный, но и красивый предмет обихода, их приятно держать в руках, приятно трогать дерево, латунь, слоновую кость. Чем старее счеты и чем дольше служат, тем приятнее становятся — гладенькие, потемневшие, отшлифованные. Их хватит на всю жизнь, их не нужно усовершенствовать; все необходимое программное обеспечение расположено у вас между ушами; ну а сломаются — их легко починит даже первоклассник, вооружившись простейшим инструментом.

Благодаря счетам можно иначе взглянуть на некоторые стороны технического прогресса. Вспоминается мне один случай. Некий американо-японский компьютерный концерн начал усиленно проникать на китайский рынок. Чтобы показать преимущества своих карманных калькуляторов, концерн предложил устроить соревнование: широко разрекламированную «дуэль» калькуляторов и счетов. Победил конечно же счетовод, китаец из Гонконга по имени Чан Кай Кит — старший клерк в одной из судоходных компаний. Оператор миникомпьютера быстрее — на целых 44 секунды — обработал пакет бухгалтерских документов. Но ответ компьютер выдал неверный. Наверное, оператор спешил продемонстрировать великолепие своей машинки и ввел в нее не те данные. Престиж концерна был подорван.

Только не поймите меня превратно. Карманные калькуляторы есть и будут, они прочно вошли в нашу жизнь. Ведь я же не луддит какой-нибудь! Я же понимаю, что механизмы ни в чем не виноваты. И потом, как знать — может, с карманным калькулятором тот аккуратный и внимательный счетовод-китаец работал бы еще лучше... Просто я всегда умиляюсь, когда вижу, как руки и разум человека творят настоящие чудеса. И разве не отрадно, что и перед мудреной, изощренной, сверхсовременной электроникой не спасовали все те же руки и все тот же разум? И разве плохо, что человечество может двигаться вперед, по-прежнему пользуясь древнейшими и привычными путями?

Как любопытно, что старинные, видавшие виды счеты в XX веке заняли почетное место в наших домах среди произведений искусства и диковинок; и эта безделушка мила нам, потому что и польза в ней есть, и пользоваться такой красивой вещью приятно. У меня есть старая деревянная плошка и старый — хоть и моложе ее — большой столовый нож, и никогда никакой кухонный электрокомбайн с ними не сравнится. В общем, совершенно то же самое.

В конце апреля 1757 года воинский отряд, которым командовал полковник Диего Ортис де Парилья, и пятеро священников отправились из Сан-Антонио в заданный район на берегу реки Сан-Саба среди холмов центральной части земли Tejas, (это твой Техас, гринго). Они прибыли, чтобы расширить границы испанского владычества, обратить в христианство всех встретившихся по дороге язычников. Чтобы истребить индейское племя апачей (естественно, уже после обращения в свою веру). Ну и самое главное — отыскать сокровища, спрятанные, как гласило предание, среди окрестных взгорий.

Построили они на берегу форт и миссионерскую церковь. И стали ждать, когда же придут индейцы — за утешением и успокоением — и принесут сокровища. Испанцы коротали время, выпуская рукописные журналы, которые сохранились и по сей день,— сейчас они в библиотеке Остина. «Скромная красота здешних мест возвышает мой дух,— пишет падре Молина.— Однако где же индейцы?» А вот что пишет Диего Ортис де Парилья: «Страна эта чудесная, но где же индейцы? И где же сокровища?»

Ответ на один из вопросов они получили почти через год, в марте,— когда появились команчи, которых позвали на подмогу апачи. Две тысячи команчей в боевой кроваво-черной раскраске, с недобрыми намерениями.

После этого в Сан-Саба на время воцарилась тишина: форт, церковь и большинство любителей приключений из числа бравых идальго были стерты с лица земли. А оставшиеся в живых, но без сокровищ, в беспорядке бежали назад, в Сан-Антонио, и в Сан-Саба больше не возвращались.

Эту историю мне поведала нынешней весной мемориальная доска на главной площади Сан-Саба. К доске имелось приложение в виде двух пожилых джентльменов, которые пришли посидеть-поплевать на скамейке перед зданием городского суда. Как мне растолковали, техасцы изгнали мексиканцев вместе с индейцами и забрали себе то, что по праву им принадлежало. И в техасском городке Сан-Саба теперь царят мир и спокойствие. «Столица орехов пекан и козьих родео»,— утверждает газета «Звезда Сан-Саба и новости», а она издается вот уже сто одиннадцать лет.

В Сан-Саба я прибыл по простой причине: «припасть к корням». Раньше приезжал из своего родного Уэйко на выходные — повидаться с подругой по имени Луиза. Когда же Луиза совершила большую ошибку и ушла к другому, я по-прежнему еще не раз наведывался по выходным в Сан-Саба. Во-первых, здесь можно было купить пива. У нас в округе действовал сухой закон — впрочем, чего еще ожидать от округа, где уйма баптистов. А во-вторых, здесь было маленькое козье родео, а козье родео — уверяю вас — увлекательнейшее зрелище. Выпущенные из загона козы не бросаются к перегородке на противоположном конце арены. Они скачут как ополоумевшие: то вытанцовывают кругами, то влево метнутся, то встанут как вкопанные, то кинутся вспять, прямо к арканщику. Да еще боднуть норовят, когда их норовят связать. С козами ухо держи востро! Ради козьего родео стоит и дальний путь проделать. И ради пива тоже. Когда тебе восемнадцать. К тому же, как знать — вдруг Луиза одумается.

А еще ведь и танцы после родео! Под открытым небом, на бетонной площадке у самой реки. Устроишься, бывало, поудобнее, смотришь на танцующих, на реку и потихоньку уплетаешь бутерброд с колбаской, потом целый пакет картофельной соломки и целый пакет шоколадного печенья, запивая сразу шестью банками пива «Одинокая звезда». А затем идешь танцевать, уповая на божью милость: авось, обратно не полезет.

Такой он, Сан-Саба, что в Техасе. Родной уголок, где мало что изменилось — потому я, собственно, и приехал сюда нынешней весной. Испанцы и индейцы остались по одну сторону временно́го горизонта — в прошлом. А современные автострады и пешеходные улицы с магазинами отошли далеко по другую сторону — в будущее. И те, и другие ушли бесследно, здесь есть лишь Техас времен 1945 года. Большим событием в городской жизни считают выход в финал первенства штата школьной баскетбольной команды «Броненосцы». Еще одна важная новость — сгорел только что построенный молельный дом, принадлежавший секте свидетелей Иеговы. Говорят, дело рук методистов, но точно не знаю.

Про пожар я услышал случайно у стойки с газированной водой в знакомом магазине Боба Эверетта, на главной площади. Взял себе кока-колу со льдом за тридцать пять центов, а потом соблазнился яблочным пирогом — его испекла жена Боба — и отличным кофе; и за все — лишь восемьдесят девять центов. Затем направился в «универмаг» Гарри, где приобрел новенькие сафьяновые полусапоги фирмы «Тони Лама» с настоящими ковбойскими каблуками. Выписал чек с сиэтлским адресом, но продавщица даже не спросила у меня удостоверения личности. Решила, видно, что уж очень человеку сапоги понадобились. Мало кто аж из Сиэтла сюда поедет ради пары сапог, заметила она, стараясь понять, то ли я надежный клиент, то ли просто олух, и все-таки остановилась на первом.

Потом я заглянул в соседний магазинчик, торгующий всякой всячиной для ковбоев — купить ковбойские перчатки из настоящей оленьей кожи. Лучшие в мире. Пахнут они, новенькие, по-особенному, а уж если придутся впору, то без хирурга не снимешь. Затем зашел в комиссионный магазин — поглазеть на традиционную, проводимую по пятницам распродажу коз и овец — и чуть было не купил козочку. Они здесь идут совсем дешево: козленок, например, стоит всего двадцать долларов. Хорошие животные — козы.

Ночи в техасском городке Сан-Саба необыкновенно тихие. Поужинав жареным цыпленком с «крестьянской» подливой и гарниром из молодой кукурузы, бобов и картофельного пюре, выйдешь из кафе «Аламо» на главную площадь и, пожевывая можжевеловую зубочистку, побредешь мимо городского суда к реке, а вокруг тишина, только сверчки стрекочут да лягушки дают свой весенний концерт. Такие же ночи подарят вам и все другие городишки, разбросанные по центральному Техасу: Крэнфилс-Гэп, Чайна-Спрингс или Вэлли-Миллз. Тишина. Все замирает с заходом солнца. Тихие, старые, бесхитростные, неприметные, исконные американские городишки. Частичка родины.

Вы сейчас, небось, подумали: вот сочиняет! А ведь я все как есть рассказываю, как я вижу. И, уж конечно, тут — не рай на земле. В таких городках одуреешь от скуки, и жить здесь я бы и трех дней не стал. Тогда зачем так расписывать? А вот зачем: все мы откуда-нибудь родом — из самых обычных мест, там — наши корни, там мы стали такими, какие мы есть. Мы свысока, а то и презрительно посматриваем на свои «корни», не ведая, что́ рискуем потерять. Мы отрекаемся от них, хотя потом, может быть, будем осуждать себя за это. Но приходит время, когда потянет вдруг в родные края — тогда никто и ничто уже не удержит. И едешь не обретать отвергнутый когда-то кров — едешь, чтобы душа просветлела.

По крайней мере в одном испанцы не ошиблись: насчет Сан-Саба. Не знаю, поймете ли вы меня, но предание то оказалось сущей правдой. Сан-Саба и впрямь полон сокровищ.

* * *

Русские — народ грубый, дикий, злобный, коварный и безжалостный — словом, пропащий; для них нет ничего святого. Из-за русских много бед на земле. У нас, американцев, с ними ничего общего.

Приблизительно такими, если кратко, предстают русские в ежедневных сводках новостей. Только нет-нет да и проскользнет через сеть предубеждений крошечный факт — но до того ясный, простой и правдивый, что сразу раздвигает ржавеющий «железный занавес»; и сквозь эту щель становится видно: там не враги, а братья, и все мы — члены единого Товарищества Земных Радостей и Бед.

Есть такой человек — Николай Пестрецов. Знаю я о нем немного, где он сейчас — не ведаю, но расскажу то, что мне известно.

Тридцатишестилетний Николай служил в Советской Армии в должности старшины. Службу нес далеко от родного дома, в Анголе. К нему приехала жена — навестить.

24 августа в Анголу вторглись воинские части ЮАР — они преследовали отступавших партизан Фронта национального освобождения. В населенном пункте Нжива нападавшие вступили в бой с группой советских военных, четверо из которых были убиты в перестрелке, а остальным удалось спастись. Всем, кроме старшины Пестрецова. Он попал в плен, как сообщалось в донесении военного командования ЮАР. В нем говорилось: «Старшина Николай Пестрецов остался рядом с трупом жены, погибшей при атаке Нживы».

Похоже, даже командование с трудом верило в случившееся, потому что повторно передало: «Он направился к убитой, где и остался, хотя женщина была мертва».

Странно. Почему же Николай не сбежал, спасая собственную шкуру? Почему вернулся? Из любви к жене? Или чтобы обнять ее в последний раз? Может, хотел побыть с ней, в скорби и слезах? Может, вдруг понял бессмысленность войны? А может — несправедливость судьбы? Или подумал о детях — родившихся и неродившихся? Или же ему просто стало безразлично, что с ним будет теперь?

Так почему же? Как знать. Точно никто не скажет. Но догадаться можно, если судить по поступку Николая.

Пестрецов оказался в одиночной камере южноафриканской тюрьмы. Не «советский», не «коммунист», не «солдат», не «враг» и тому подобное. Просто мужчина, для которого просто женщина просто была на миг дороже всего на свете.

Я поднимаю бокал за Вас, Николай, куда бы Вы ни попали и где бы ни были. Ведь благодаря Вам клятва, которую все люди на земле дают одинаково, наполнилась истинным смыслом; благодаря Вам преисполнились торжественности слова, которые произносят все, только каждый — на своем языке: «...в счастье и в несчастье, в радости и в горе, в болезни и в здравии любить и уважать и беречь до самой смерти — клянусь перед Богом». И Вы сохранили верность клятве, Вы сохранили ее величие, Вы сохранили ее высокое назначение. Да хранит Вас Бог!

(Ах, эти русские! Народ грубый, дикий, злобный, коварный и безжалостный — словом, пропащий; для них нет ничего святого. Из-за русских много бед на земле. У нас, американцев, с ними ничего общего.)

Ясное дело.

То, о чем пойдет речь, отчасти личное. Предупреждаю — может показаться сентиментальным. Сначала я поведал эту историю в письме к жене. А потом подумал: ведь и у вас, пусть не у всех, есть мужья, жены, и вы, возможно, меня поймете. Поэтому решил рассказать и вам — тем более что история эта не обо мне, а о Чарлзе Бойере.

Помните его? Галантный, изысканный, элегантный красавец. Любовник многих очаровательных кинозвезд — на экране. Но таким он представал перед камерой и на страницах иллюстрированных журналов. В жизни все было иначе.

Все сорок четыре года Чарлз любил только одну женщину — свою жену Патрицию. По словам друзей, то была любовь на всю жизнь. И через сорок четыре года супружества Чарлз и Патриция относились друг к другу так же нежно, преданно и заботливо, как и в самом начале.

И вдруг у Патриции обнаружили рак печени. Чарлз знал правду — от врачей,— но ей сказать не сумел. Он сидел у постели жены, ободрял, утешал. Сидел и днем и ночью — и так полгода. Остановить неизбежное он не мог. Никто уже не мог. Патриция умерла на руках у мужа. А через два дня не стало и его: ушел в мир иной по своей воле. Чарлз говорил, что не хочет жить без Патриции: «В ее любви — смысл моей жизни».

Это уже не из фильма. Такова, как я сказал, подлинная история Чарлза Бойера.

Не мне судить, верный ли путь он избрал, чтобы справиться с горем. Одно скажу твердо: меня эта история поразила и, как ни странно, принесла мне облегчение. Поразила глубокой любовью, таившейся за фасадом липовых голливудских страстей. А облегчение пришло оттого, что я увидел, как сильно и как долго способны два человека любить друг друга.

Не знаю, как бы я справился с таким горем. Не дай Бог оказаться на месте Чарлза. (Это уже личное — потерпите.) Но иногда, среди будничной суеты, я смотрю внимательно в другой конец комнаты, где та, которую зову женой, другом и спутницей. И тогда понимаю, почему Чарлз поступил так, а не иначе. Все же есть на свете сильная и верная любовь! Я-то знаю. Мне ли не знать!

Однажды я наблюдал, как ко Дню святого Валентина[1] украшали витрину универмага. Была середина января, но ведь торговцам, наверное, надо упредить обмен любовными посланиями. Не поймите меня превратно: торговцы — прекрасные люди. Они дают нам возможность сделать выбор и всегда сообщают о приближении больших праздников. Как еще, если не их стараниями, мы бы вспомнили, что близится День матери, канун Дня всех святых[2] или День святого Валентина? Да еще вовремя, чтобы успеть с поздравлениями.

Есть и другая категория надежных, на мой взгляд, в таком деле людей — воспитательницы в детских садах. О праздниках они никогда не забывают. А уж что касается открыток и прочих знаков любви, то никакой торговец не сравнится с детсадовской воспитательницей. Ибо она вызывает к жизни то, чего торговец предложить не может — нет этому цены, и в продаже этого не бывает.

Под «этим» я имею в виду «комок всякой всячины», как я его называю. Началось все с коробки из-под обуви, которую

---

[1] День св. Валентина (14 февр.): в этот день принято выбирать возлюбленных и посылать им открытки или шуточные письма.

[2] День матери (второе воскресенье мая), канун Дня всех святых (31 окт.) — общенациональные праздники в США.

разрисовал и подарил мне старший сын. А потом коробка превратилась в хранилище прочих детских реликвий, подаренных остальными моими ребятами. Со временем она стала моей сокровищницей. Содержимое ее самое обычное: листочки из набора «Сделай сам» трех цветов — розового, красного и белого,— теперь уже поблекшие; серебристая фольга; оранжевая папиросная бумага; десяток одноразовых салфеток; макароны трех видов; круглые леденцы; драже из сухого желе; белые сердечки (по вкусу похожие на конфеты «Тамс» с надписями),— и все это слепилось в комок не без помощи большого куска белой замазки, которую на вкус не отличишь от конфет.

Вообще-то теперь вид у коробки отнюдь не привлекательный: кое-где помялась, а вокруг драже и леденцов слегка заплесневела. Местами коробка пока еще липкая, красные и белые стенки почти всюду превратились в бурые. Но стоит снять крышку — и сразу становится ясно, зачем я храню эту коробку. На сложенных пожелтевших, хрупких страничках из школьной тетради в широкую линейку выведено: «привет папачка», «знем световвалинтина», «я тибя люблю». Целая уйма «я тибя люблю». К дну приклеено двадцать три крестика и нолика, составленных из макарон. Сколько раз я их пересчитывал! А еще тут и там видны каракули: три детских имени.

Сокровища Тутанхамона — ничто по сравнению с моими.

А у вас есть что-нибудь вроде моей коробки со «всякой всячиной»? Знаки любви из числа самых незатейливых и искренних? Можно прожить долго-долго. Можно получить ценные и великолепные подарки. Можно пользоваться всеобщим уважением и вниманием. Но ничему не веришь так, как «всякой всячине». Она дает силы продолжать бег по жизни — наперекор всему.

Мои дети уже давно выросли. Любят меня по-прежнему; правда, подчас стесняются напрямую выразить сыновние чувства. И любовь их затуманилась возрастом, опытом и противоречивыми принципами. Безусловно, любовь жива. Только не простой она стала. Такую не положишь в коробку из-под обуви.

Реликвия — «всякая всячина» — хранится у меня на верхней полке стенного шкафа. Никто про нее не знает. Знаю только я и каждое утро, когда одеваюсь, думаю о ней — о талисмане, о своеобразном маленьком монументе. Иногда снимаю коробку с полки и открываю. Для меня она — нечто настоящее, ощутимое, истинное, особенно когда жизнь не радует, а детские ручонки уже не обовьют шею, как прежде.

Ну вот, растроганный папаша несет душещипательную чушь — хуже некуда, скажете вы. Наверное, от моего рассказа нам обоим теперь неловко. Но как утешение такая исповедь действует потрясающе — лучше любого заклинания и любой молитвы.

Я не оправдываюсь. «Комок всякой всячины» — это для меня воплощение любви. Пусть его положат со мной в могилу. Пусть он всегда и всюду будет рядом.

Расскажу о доме, в котором мне однажды довелось жить. Старенький коттедж на берегу озера, построен в конце дороги в конце девятнадцатого века. Летний домик для семьи, добиравшейся из Сиэтла верхом и на легкой двухместной коляске через чащобы лесные и горы крутые, по тропам лесорубов. Места там тогда были глухие, они и до сих пор глухие.

Дом стоял на кирпичных опорах, в зарослях ежевики и пурпурного вьюнка, твердо решившего до конца бороться за жизнь. И хотя теперь до центра ближайшего городка — рукой подать, территорию вокруг дома давно уже самовольно захватили белки, кролики, одичавшие кошки и еще какие-то зверушки, которых я никогда не видел, но зато часто слышал.

И — еноты. У нас водились еноты. Крупные. Несколько штук.

По причинам, известным лишь Богу и гормонам енотов, они предпочитали спариваться под нашим домом. И так — каждую весну. По причинам, известным опять-таки лишь Богу и гормонам енотов, они предпочитали спариваться под нашим домом в три часа ночи.

Если под вашей спальней в три часа ночи никогда не играли своих свадеб еноты, то считайте, что вы пропустили один из самых волнующих моментов в жизни. Явление это, мягко говоря, весьма необычное. Слышали когда-нибудь ночные кошачьи поединки? Вот что-то вроде этого, только в десять раз громче и пронзительнее. Чувственными или эротическими их не назовешь, они больше напоминают три пожарные сирены сразу.

Хорошо помню, как это было впервые. Поскольку условия не слишком располагали ко сну, я поднялся. Если уж я говорю, что поднялся, то значит я ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОДНЯЛСЯ. Чуть ли не на метр, вертикально вверх. Вместе с одеялом.

Когда же я совладал и с собой, и с новым уровнем адреналина в крови, то взял фонарь, вышел во двор и заглянул под дом. В углу, приняв боевую стойку, ощетинились енотиха и ее поклонник, все в грязи и в крови, и вид у них был ничуть не сексуальный.

Ни мое присутствие, ни луч фонаря не могли помешать тому, что привело сюда этих енотов. Неистовое свидание шло своим чередом и сопровождалось рычанием, тявканьем и взвизгиваниями. Я продолжал смотреть; в конце концов брачные отношения были осуществлены и исчерпаны. Еноты не испытывали стыда. Произошло то, чему суждено было произойти. И они ушли, отупевшие, со стеклянными глазами,— готовиться к какому-нибудь следующему событию, которое может случиться в жизни енота.

А я сидел под дождем, и мой фонарь все еще освещал место свидания. Почему в любви и в жизни столь часто приходится продвигаться с такой болью, грязью и мучениями? Скажите — почему?

И я подумал о своей жене, которая спала сейчас в доме, прямо надо мной, и о том, как и у нас шум ссоры не отделить от проявлений любви. Интересно, что́ подумали бы еноты, услышь они звуки, производимые ночью супругами и похожие на «если-б-ты-меня-любил-то-не-стал-бы-в-ванной-

разводить такую грязь», и вслед за этим: «АХ, ТАК? А САМА-ТО ТЫ...»

Почему любить трудно?

Я не знаю. А еноты не скажут.

* * *

Cassida rubignosa — так по-научному называется маленький жучок-щитоноска. В стадии личинки он таскает на спине мешочек с фекалиями. На конце брюшка есть вилка с острыми зубцами, и когда личинка линяет, старая шкурка зацепляется за вилку и получается своего рода мешочек. Анальное отверстие расположено там же, поэтому экскременты попадают прямо в мешок. Биологи долго ломали голову: зачем щитоноске понадобилось такое приспособление?

Все разъяснилось, когда они наблюдали за муравьем. Этот муравей-охотник не прочь полакомиться личинкой щитоноски. Но он, кроме того, весьма привередлив по натуре, любит чистоту и опрятность. (Смекаете, к чему все идет?)

И вот муравей, схватив личинку, начинает ощупывать свой будущий обед; в ответ личинка ударяет муравья мешочком. Муравей отскакивает и принимается счищать с себя отвратительную грязь, а личинка тем временем скрывается. Биологи такое поведение называют «экскрементной защитой».

И хотя лично мне не доводилось наблюдать подобный поединок у насекомых (просто прочитал в какой-то книге — а ведь зря не напишут), он кое-что напоминает.

Я недавно был на вечеринке и видел, как мужчина и женщина точь-в-точь повторили поединок муравья и личинки.

Так уж устроено природой, что для каждого наступает черед получить по заслугам — кому что причитается. Не ко всем слабым и кротким судьба благосклонна, поэтому некоторые из них позаботились о себе сами.

На прошлой неделе ко мне приезжал друг из Калифорнии: он гостит у меня каждое лето. На этот раз его сопровождали две девицы лет восемнадцати и небольшой удав — боа-констриктор. Они прибыли в худосочном «фольксвагене» с надписью «МИР — ЛЮБОВЬ — СВЕТ» на боку. Внутри пикап своим убранством напоминал декорацию для постановки «Приключений Алисы в Стране Чудес». Другу сорок семь лет. Жена, четверо детей, дом в престижном пригороде Беркли, хорошая должность в крупной фирме (он юрист) — в общем, весь убийственный набор...

Я дружу с ним, потому что он всегда хоть немного опережает время. Он перепробовал все — буквально ВСЕ. Просто ходячий социологический эксперимент в области американской культуры эпохи 60-х и 70-х годов. Движение за гражданские права, Вьетнам, хиппи, трансцендентальная медитация, вегетарианство, дзэн-буддизм, массаж, ЛСД, хиромантия, десять разновидностей йоги, макраме, психоанализ, туристические походы в горы, сауна, нудизм, гадание с помощью «магического кристалла», все известные и неизвестные религиозные учения, плюс витаминные диеты. У него есть все необходимое: смесители, курительные трубки, ступки, велосипеды, спортивные костюмы для бега трусцой, мази, снадобья и новейшие сведения — труды наставников.

Теперь он увлекается «примитивной жизнью». «Кругом все дерьмо и вранье,— говорит он.— Всюду — вранье. Нас обманывают собственные чувства, нам врет президент; чем больше ищешь, тем меньше находишь; чем больше стараешься, тем хуже выходит. Примитивная жизнь — вот блаженство. Надо просто ЖИТЬ. Ни о чем не думать, ничего не делать — просто ЖИТЬ! Ведь МИР идет к КОНЦУ!»

Накануне отъезда он прямо в одежде прыгнул с озерной пристани в воду — ему показалось, что ребенок, заплывший слишком далеко, тонет. А еще он признался, что в город наведывался ради съезда Национального профсоюза юристов, поскольку он член комиссии по социальной справедливости.

И я спросил друга:

— Если кругом все дерьмо и вранье и высшее блаженство — это «примитивная жизнь», тогда зачем же ты...

— Ну, возможно, я ошибаюсь,— был ответ.

В наши дни на берегах самых разных пляжей можно найти вынесенные приливом щепки здравого смысла. А сомнения и трезвый взгляд на окружающее вовсе не равнозначны цинизму и мрачному восприятию мира. Я об этом вспомнил лишь потому, что для восьмидесятых годов, по-моему, есть неплохой лозунг: «Возможно, я ошибаюсь».

Мои хорошие знакомые собрались наконец-то с духом и обзавелись ребенком. Крестным отцом выбрали меня, и к своим обязанностям я отношусь всерьез.

Я уже познакомил малыша с кое-какими радостями жизни: с шоколадом, пивом, сигарами, музыкой Бетховена и непристойными анекдотами. Бетховен его, по-моему, не интересует, но малышу всего полтора года, и шоколад, пиво, сигары и анекдоты ему скоро наскучат. О сексе я пока ничего не рассказывал, хотя у малыша уже есть некоторое представление и личный опыт. Не буду вдаваться в подробности, но если вы помните своих детей маленькими или помните себя в детстве, то поймете, о чем речь.

А еще я познакомил его с восковыми цветными карандашами. Купил набор для начинающих — коротенькие, толстые карандаши со специальными опорными колесиками. Время от времени я вкладывал карандаш ему в ручонку и показывал, как можно этой штуковиной сделать отметину. Малыш большей частью просто держал в руке карандаш, уставившись на меня. В другой руке у него была сигара, и он, похоже, не понимал, какая между ними разница. Затем последовал этап втыкания в отверстия: карандаш побывал у него во рту, в носу и в ушах. И вот на прошлой неделе я наконец взял его руку в свою и

провел карандашом большую красную линию на газетном листе. Оп! И до малыша дошло! В голове у него соединились два конца — ему открылся мир рисования. Он провел еще одну линию — сам, без моей помощи. Теперь, радуясь и досадуя одновременно говорит его мать, малыша невозможно остановить.

Цветные карандаши и воображение (способность создавать образы) — вот и все, что нужно ребенку для счастья. До чего же удивительная штука — цветные карандаши! Немного воска, немного краски, оболочка — вроде ничего особенного. Но стоит только добавить воображение... Каждый год фирма «Бинни», что в Пенсильвании, производит почти два миллиарда этих желанных восковых палочек и поставляет их во все страны — сколько их ни есть в ООН. Немного есть на свете вещей, объединяющих человечество, и цветные карандаши из их числа. Зеленая с желтым коробка не меняется уже полвека. Разве что «телесный» цвет переименовали в «персиковый». А это признак прогресса.

Я о превращении «телесного» в «персиковый» узнал, потому что купил вообще-то два набора: крестнику — для начинающих, а второй — большой, из шестидесяти четырех карандашей, с точилкой, встроенной прямо в коробку,— себя побаловать. У меня еще никогда не было собственного набора — так уж получилось: то мал еще был для рисования, то уже вырос. А теперь до того увлекся, что даже лишних накупил. Один набор подарил родителям малыша и объяснил, что это им, а не крестнику.

И вот что любопытно: кому ни даришь набор карандашей — хоть ребенку, хоть взрослому,— каждый сразу немножко глупеет. Дети улыбаются, взгляд их туманится, они высыпают все карандаши из коробки и любуются. А потом пробуют рисовать на ближайшей ровной поверхности и нарисуют все что ни попросишь. У взрослых на лицах всегда расцветает самая что ни на есть милая и глупая улыбка, в которой сквозит и восторг, и воспоминания о детстве, и смущение. Тут же начинаются рассказы о случаях из детской жизни, связанных с цветными карандашами: кому когда впервые их подарили, кто каким цветом что рисовал, и как, бывало, ломал их, и как пытался уложить в коробку по цветам, и как рисовал целым пучком, и как прислонил к горячим предметам и следил — плавятся карандаши или нет, и как настругивал их на вощеную бумагу, и как разрисовывал ими витражи, и как пробовал их есть, и прочее, прочее, прочее... Хотите, чтобы вечеринка наверняка удалась? Тогда предложите гостям вместе с коктейлями новенькие коробки цветных карандашей.

Ведь, если подумать, цветными карандашами даже чисто по количеству художественных творений создано больше, чем любыми другими орудиями живописца. В любой стране в миллиардах коробок, ящиков, шкафов и чуланов лежат миллиарды бумажных листов с миллиардами рисунков. Целый океан воображения Землян. Я уверен — Рональд Рейган и Михаил Горбачев тоже когда-то рисовали карандашами. И Фидель Кастро, и японский император, и Раджив Ганди, и госпожа Тэтчер, и президент Мубарак, и даже, может быть, Аятолла. Да все, наверное, кого ни назови.

А что, если создать новое секретное оружие — межконтинентальную карандашную ракету? Оружие массового счастья. Ракету, сеющую Красоту. И как только где-нибудь назревает конфликт, надо послать туда эту ракету. Она мягко, тихо взорвется высоко-высоко в небе, и в воздухе поплывут тысячи и тысячи крошечных парашютиков. И на землю будут спускаться коробки с цветными карандашами. И мы не поскупимся: отправим не маленькие наборы из восьми штук, а самые большие, со встроенной прямо в коробку точилкой, из шестидесяти четырех цветов: тут тебе и серебряный, и золотой, и бронзовый, и алый, и персиковый, и лимонный, и янтарный, и шоколадный — все что душе угодно! И люди будут смущенно и радостно улыбаться и разрисуют весь земной шар.

Дурацкая затея, верно? Безумная, никчемная и совершенно пустая. Однако из сегодняшней газеты я узнал, сколько средств советское правительство и американский конгресс выделяют на вооружения. И я подумал: а что принесут миру эти вооружения? И у меня нет сомнений, какую из затей можно назвать безумной, никчемной и совершенно пустой. И у меня нет сомнений в том, как всюду и всем необходимо воображение, как нам его не хватает. А потому — дайте, пожалуйста, друг другу цветные карандаши.

Исход лета наводит меня на глубокие раздумья. Я размышляю над человеческими желаниями — затаенными и очень личными, при исполнении которых чувствуешь огромное удовлетворение. Вслух о них стараются не говорить, опасаясь оказаться непонятыми. Но для большей доверительности наших с вами отношений поведаю об одном из моих тайных пристрастий — жарком из говядины.

Кто хоть что-нибудь в этом деле понимает, тот хорошо знает, как готовится мое любимое блюдо: нужно взять кусок крепкой говядины, выбить из него кухонным молотком всю душу, обмакнуть в яйце и обвалять в муке, бросить на глубокую сковородку, обильно смазанную свиным жиром, и поджарить. Затем мясо вынуть, а на сковородку плеснуть молока, добавить муки, соли и перца — получится солидная подлива. На тарелку рядом с жарким накладывается гарнир из горошка и картофельного пюре, а сверху надо все окатить подливой. Еще к жаркому полагаются кукурузные лепешки, масло и литровая кружка холодного молока. Ну а потом остается лишь взять в одну руку вилку, а в другую — нож, устроиться поудобнее у самых яслей с кормом, поднять глаза горе, восславить Господа за ниспосланную благодать и — уплетать все подчистую до последней капельки подливы, до последней кукурузной крошки.

«Фу, гадость какая!» — воскликнете вы. Очень может быть. Но ведь у вас тоже, наверное, есть любимое блюдо, олицетворяющее — для вас — домашний уют и счастье. А я к вашему угощению без противогаза и миноискателя, может, и близко не подо-

шел бы. Ну и что же? Каждому, как говорится, свое: вам — ваше лакомство, а мне — мое. На том и поладим.

У каждого есть тайная цель в жизни. Вот и я все время, можно сказать, начеку — не дай Бог упустить жаркое из говядины, приготовленное по редкостному рецепту. А для этого приходится заглядывать в закусочные на автостоянках и в провинциальных городишках вдалеке от магистралей. В эти маленькие храмы божественных яств, разбросанные среди американских просторов.

Если хотите, могу рассказать о результатах изысканий нынешним летом. Наград удостоены:

ордена Звезды — гриль-бар «Торрес» (город Уизер, штат Айдахо), где, кстати, вволю зубочисток — бесплатно;

двух орденов Звезды — кафе «Фэйруэлл Бенд» (город Фэйруэлл-Бенд, штат Орегон), кафе удостоено также поощрительной премии за гарнир под названием «рагу а-ля погост», который на самом деле — всего-навсего молочные оладьи; впрочем, об этом надо рассказывать особо;

двух орденов Звезды — кафе «Синее ведро» (город Уматилла, штат Орегон), где после обеда дают мятную резинку — бесплатно;

трех орденов Звезды — кафе «Петушиный хвост» у автостоянки на Шестой южной авеню в Сиэтле; официантка в свое время водила грузовики по Алабаме и знает все тонкости приготовления жаркого из говядины;

ПЯТИ орденов Звезды и букета цветов — кафе «Мод Оуэнс» (город Пейетт, штат Айдахо), где жаркое аж свисает с тарелки, и к нему подают петрушку, маринованные персики, два корнишона в укропном рассоле и глазунью из одного яйца. И еще зубочистки — бесплатно. И еще мятную резинку — бесплатно. И еще под тарелку кладут карту города Пейетт.

На прощание хозяйка кафе пожала мне руку, а официантка поцеловала в щеку. Я дал ей два доллара чаевых. Вряд ли кто-нибудь кроме меня когда-либо прежде ухитрялся съесть все. Я и через три дня ощущал во рту вкус того жаркого.

И чего ради он так распинается, подумали, наверное, вы. Да потому, что все вокруг твердят: мир — дрянной, добра от людей не жди. Надоело! Что за разговоры такие? Я, например, знаю в Пейетте кафе, где и повар, и официантка, и хозяйка всю душу вкладывают, выполняя простой заказ на жаркое из говядины.

У «Роллинг стоунз» есть слова, ставшие крылатыми: «Чего хочется — получишь не всегда. В чем нуждаешься — быть может. Иногда». А вот вам мои слова: бывает, что счастье улыбается в большом и в малом сразу, а в придачу — бесплатные зубочистки, мятная резинка и — на десерт — поцелуй!

Ранние сумерки погожего октябрьского дня, суббота. Местные дети играют в прятки. Когда же я-то в последний раз играл? Лет тридцать назад, может, и больше, но до сих пор помню как. И сейчас только позови — сразу согласился бы. Взрослые в прятки не играют. Во всяком случае, забавы ради. А зря.

Был в нашей компании один мальчишка: вечно так спрячется, что не найдешь. И в вашей, наверное, был. Мы его ищем-ищем, а надоест — убежим: пусть сидит, пока не протухнет. Наконец он вылезет, злой-презлой: чего ж не ищете?! Ну и мы в ответ тоже злимся: а ты чего не по правилам играешь?! Прятки — это когда прячутся, но находятся. А он нам: прятки — это когда прячутся и ищут, а не когда прячутся и не водят. Потом начнутся крики: это кто так придумал?! А какая разница, кто?! А мы не будем с тобой больше играть, раз ты такой! Без тебя обойдемся! И тому подобное — словом, крики вместо пряток. И что же? В следующий раз он опять так спрячется, что не найдешь. Он и по сей день, наверное, сидит где-нибудь — я так думаю.

Пишу эти строки, а дети на улице все играют. Вон один зарылся в кучу листьев, прямо под моим окном. Давно уже сидит; остальных нашли, все собрались у места, где водят, и вот-вот исключат его из игры. Может, выйти и подсказать, где он? Или поджечь листья и выкурить его оттуда? В конце концов я просто гаркнул из окна: «Эй, пацан! Выйди, чтоб тебя нашли!» Бедняга до того испугался, что заплакал и побежал домой — маме жаловаться. Поди, и в штанишки со страху напустил. Иной раз стараешься как лучше сделать, а получается наоборот.

В прошлом году один мой знакомый, врач, обнаружил у себя скоротечный рак. Он знал, что умрет, но не хотел, чтобы родные и близкие тоже мучились из-за него, и никому не сказал. Так и умер. Все говорили: какой молодец — ведь мучился в одиночку, других берег и прочее в том же духе. Но в разговорах между собой родственники и друзья возмущались: выходит, без них обошелся, не верил в их поддержку. И еще обидно было, что даже не попрощался.

Он слишком хорошо спрятался. Для него найтись означало бы играть дальше вместе со всеми. Те же прятки, только взрослый вариант. Когда хочешь спрятаться. Когда хочешь, чтобы искали. Когда боишься — вдруг найдут? «Пусть никто не узнает». «Что обо мне подумают?» «Зачем понапрасну беспокоить?»

Есть игра, которая мне нравится больше пряток. Называется «Сельди в бочке». В нее играют так: Первая Сельдь прячется, остальные ищут. Если кто найдет, то останется с Сельдью, и они сидят вдвоем. И вскоре получается, что сидят уже все вместе, набившись, как сельди в бочку. И обязательно кто-нибудь прыснет со смеху, кто-нибудь захихикает, и последний — кто останется — находит всех.

Даже средневековые теологи говорили о Боге «по-пряточному», называя его Deus Absconditus [1]. Только я думаю, что настоящий наш Бог скорее похож на игрока в «сельди». И найти его можно точно так же: услышав смех сбившихся в кучу.

Ребята на улице орут: «Эй, где ты там? Выходи! Новый кон начинаем!» Вот и я хочу сказать всем, кто слишком хорошо спря-

[1] Бог скрытый *(лат.)*.

тался: «Выходите, чтобы вас нашли! Новый кон начинаем!»

А теперь поговорим о хорошем — для разнообразия. О чем стоит вспомнить, когда думаешь: не жди от людей добра!

Есть расхожая фраза: «Сейчас никому нельзя верить». Ни врачам, ни политикам, ни бизнесменам, ни продавцам. Все только и ищут, как бы тебя облапошить. Так ведь?

Оказывается, не совсем.

Один американец по имени Стивен Брилл провел эксперимент — над нью-йоркскими таксистами. Брилл выдавал себя за богатого иностранца, который не понимает по-английски. Он проделал это десятки раз, чтобы выяснить, сколько же таксистов его надует. Друзья Стивена предрекали: так или иначе «иностранца» постарается обмануть большинство.

Из тридцати семи обманул один. Остальные отвезли точно по адресу и плату взяли строго по таксе. Некоторые водители отказывались ехать, если названное место было совсем близко — через один-два квартала. Они даже выходили из машины и показывали Стивену — тут дойти два шага. А самое смешное, что иные еще и предупреждали: в Нью-Йорке полно проходимцев, и надо смотреть в оба.

Мы с вами и дальше будем узнавать о мошенниках и ворах, о том, как лгут и крадут полицейские; как жнут там, где не сеяли, врачи; как берут и дают взятки политики. Но это не должно обескураживать: такие истории и попадают в прессу, поскольку они — исключения из правил. Факты говорят: людей, которым можно доверять, гораздо больше, чем кажется. Факты говорят: так думают многие. По последним данным института Гэллапа, 70% опрошенных считают, что в большинстве случаев большинству людей верить можно.

Кто сказал: не жди от людей добра?! И что за мысли такие?

О машинах и поездках говорят много и часто — вы тоже, наверное, заметили. Преданность автомобилю превратилась в настоящий культ. Эрик Берн назвал такие разговоры на вечеринках «устной игрой «Дженерал моторс».

Но что бы ни говорили, экономическая сторона здесь не самое главное. Главное — твоя репутация, представления окружающих о тебе. В Америке так: скажи мне, какой у тебя автомобиль, и я скажу тебе, кто ты. Загляните в свой гараж — сразу все поймете.

Моему разбитому драндулету пришел черед примкнуть к числу калек на четырех колесах. А на смену ему идет новый автомобиль — и моя новая репутация.

Лично мне был бы по душе серебристо-серый «мерседес» с сиденьями мягкой кожи и прочим «люксом». Но вот моему банку эта идея вовсе не по душе. Я бы обрадовался сверкающему черным лаком мотоциклу марки «БМВ» с коляской для пассажира. Но вот жена этой идее вовсе не обрадовалась — особенно варианту с коляской для пассажирки. Меня вполне устроил бы «лендровер» с полочкой для ружей и сиденьем для охоты на ходу. Но вот изобилующих дичью вельдов вокруг городов что-то не наблюдается. Солидный журнал для потребителей на первое место ставит модель под названием «Кролик» фирмы «Фольксваген», но какой же из меня кролик? Назови они эту модель «Морж» или «Тюлень», глядишь — и подошла бы. Наидвухместнейший наизакрытейший «крайслер» тоже не годится — кому ж хочется выказывать свою отсталость?

Один из моих студентов посоветовал мне потратить все деньги на наркотики. Сиди дома и «катайся» сколько пожелаешь. Но это не по мне: из таких «поездок» пустыми возвращаются.

Я понял, что мне нужно: изысканное, модное чудо техники — нечто роскошное и при этом практичное и экономичное. Например, пикап «порш» с двигателем на бумажных салфетках. И, конечно, серебристо-серого цвета.

На самом деле машина нужна мне не для репутации, а для радости.

Помню, как однажды в конце мая мы ехали домой на стареньком «форде-пикапе». За рулем — мой дядя Роско, а сзади — я в обществе двух племянниц восьми лет. Мы возвращались после купания и, чтобы согреться, сели на теплые от работающего мотора трубы, укрылись потертыми пледами, а у ног пригрелся пожилой мохнатый пес. Мы жевали шоколадное печенье, запивая его сладким молоком из термоса, и во всю мочь горланили бесконечную песенку о том, как сто бутылок пива стояли на стене, и одна из них упала, и уже девяносто девять стояли на стене. Над нами сияли звезды, луна и Бог; а в конце пути мы уснули и видели хорошие сны.

Вот для чего нужны машины. Вот такие поездки я люблю, потому что я сам такой. Коли знаете, где взять такую машину,— обязательно скажите мне.

* * *

Однажды мне довелось жить в довольно ветхом летнем домике на склоне крутого холма. Агент по продаже недвижимости утверждал, что у домика есть свой «шарм» — проще говоря, из этой халупы был неплохой вид.

Я решил сохранить дух этого пристанища и оставить во дворе все как есть — пусть растет и цветет само, без моего участия. Помню, вышел я на крыльцо и объявил всему живому во дворе: «Даю вам полную свободу. Желаю удачи!»

На том же склоне, выше меня, обитал мистер Вашингтон. Его ладный кирпичный дом, крытый черепицей, был не хуже иного ранчо, а ухоженный двор — предмет его гордости — напоминал сочетание площадки для гольфа и древесного питомника.

Мистер Вашингтон был старше меня, работал страховым агентом. А как он умел готовить жаркое на вертеле — ребрышки, челышко и грудинку! А еще он был негр — сам-то я белый (точнее, желтовато-серый — как воск).

Тогда, в конце шестидесятых, я испове-

довал идею всеобщего равенства и с маниакальной настойчивостью проявлял терпимость буквально ко всем и вся. А мистер Вашингтон исповедовал — впрочем, приведу лучше его доподлинные слова: «Эй, Фулгам, хоть у тебя и белая задница, а все равно оказался ты ниже меня, черномазого! Вот и вышло тебе равенство!» Скажет — и ну хохотать.

Всякий раз, когда он так говорил, я вздрагивал: не из-за «белой задницы» — шут с ней, из-за того, другого слова. Но он именно так себя называл и при этом всегда смеялся.

На мой запущенный двор он со своего крылечка посматривал с презрительной усмешкой. По его признанию, с таким соседством он мирился лишь потому, что я лучше его готовил острую приправу из красного перца и имел лучший в округе набор электромеханических инструментов.

Иногда мы играли в покер; нас сближала любовь к изысканным сигарам, как и нелюбовь к ним наших жен. Мы с ним шагали в одной колонне во время модных тогда маршей за мир и справедливость. И музыкальные пристрастия у нас были схожи: как-то раз мы целый вечер сравнивали соло Джона Колтрейна и Джонни Ходжеза.

А еще он всегда смеялся — даже если жизнь становилась мрачнее и суровее, он все равно находил в ней смешные стороны.

Как это ни странно, мы служили друг другу советчиками во всевозможных житейских делах — об этом я еще расскажу.

Теперь он умер, и мне его очень недостает. До сих пор помню его смех и в трудные минуты слышу как наяву...

А самое главное — у меня остался его рецепт соуса для жаркого на вертеле.

За моим соседом водилась странная и порочная привычка превращать лужайку возле дома в пустошь. Четкой границы между нашими дворами не было. Каждый год соседа охватывало нечто вроде мании травоубийства. И тогда он принимался наусь-кивать свою машинку для стрижки газонов, готовил ядовитые зелья для травы и разливал их по канистрам в гараже. Что обычно только портило наши и без того испорченные отношения.

Само собой, однажды утром я застал соседа на моем газоне — за опрыскиванием одуванчиков.

— А я думал, ты не будешь возражать,— прикинулся он.

— «Не будешь возражать»! Нет, как вам это нравится?! Ты же погубил мои цветы!— Я едва сдерживал негодование.

— Да какие это цветы?! Мусор один, сорняки.— И он небрежно махнул рукой на мои одуванчики.

— Сорняки — это трава, которая мешает людям. Другими словами, кому что́ сорняк, как посмотреть. Лично для меня одуванчики не сорняки, а цветы!

— Хороши цветы — дерьмо собачье,— пробурчал сосед и пошел домой, не желая связываться с таким идиотом.

А мне вот нравятся одуванчики — и все тут. Каждую весну мой двор безо всякого моего участия сплошь покрывают прелестные желтые головки. Цветы занимаются своим делом, а я — своим. Из молодых листьев одуванчика можно приготовить пряный салат. Цветки, добавленные в марочное белое вино, придают ему тонкий вкус и изысканный цвет. Если обжарить, размельчить, заварить и настоять корешки — получится вкусный кофейный напиток. Из самых нежных ростков можно приготовить тонизирующий чай. Высушенные старые листья богаты железом, витаминами А и С; они хороши как слабительное. Одуванчики привлекают пчел, и благодаря их совместному труду у нас есть превосходный мед.

Одуванчики живут на Земле около тридцати миллионов лет: найдены их окаменелости. Ближайшие родственники — салат-латук и цикорий. Ботаники относят одуванчики к однолетним травам подвида Taraxacum семейства asteraceae. Название растения по-английски — «дэндилайн» — пришло из французского, где звучит как «дэндельон» и в переводе означает «львиный зуб». Одуванчики встречаются по всей Европе, Азии и Северной Америке, и всюду они попали сами. Устойчивы к воздействию болезней, вредителей, засухи, заморозков, ветров, дождей и людей.

Будь одуванчики растением редким и капризным, люди, желая их заполучить, вывернулись бы наизнанку: платили бы аж по четырнадцать долларов девяносто пять центов за кустик рассады, собственноручно выращивали бы их в теплицах, создавали бы клубы любителей одуванчиков и так далее. Но цветы эти растут везде, в нас не нуждаются и даже, можно сказать, делают что хотят. Потому-то мы зовем их «сорняками» и уничтожаем при первом же удобном случае.

Ну а я все равно — Бог тому свидетель — утверждаю, что они цветы! Притом очень даже красивые. Считаю за честь иметь их у себя во дворе, где они мне нужны. Вдобавок ко всем их достоинствам одуванчики еще и волшебные. Желтый цветок превращается в пышную белую шапку, и тогда стоит только дунуть — и полетят крошечные парашютики, а если подуть хорошенько — чтобы ни одного не осталось,— то загаданное желание сбудется. Вот вам и волшебство! А влюбленные могут плести из одуванчиков красивые венки и надевать их на голову друг другу.

Пусть сосед попробует найти у себя во дворе что-нибудь лучше одуванчиков!

Если же и этого вам мало, тогда позвольте вот еще что напомнить: одуванчики свободны — они ничьи. Рвите сколько угодно — никто вам сло́ва поперек не скажет. И берите сколько под силу унести. Замечательные сорняки!

Вчера у себя во дворе сосед чистил сточные канавы. И водосточные трубы тоже. Он и прежде чистил. Помню, в прошлом году, например. Поразительно! Лично я только к сорока годам узнал, что канавы и трубы, оказывается, чистят. А сам этим заняться так ни разу и не удосужился.

Я благоговейно взираю на тех, у кого трубы и канавы в порядке. На тех, кто живет размеренно и правильно. Кто всегда делает то, что надо и как надо. Знаю и та-

ких, кто буквально каждый месяц свои счета в банке сверяет. Не поверите, наверное, но честное слово — это правда.

У таких для хранения документов имеются специальные шкафчики (а не коробки из-под обуви), где все папки — аккуратные, со свежими данными — разложены по гнездам. Эти люди могут сразу найти у себя в доме понадобившуюся вещь. У них полный порядок под раковинами, в платяных шкафах и в багажниках автомобилей. Они каждый год — как полагается — меняют фильтры в дымоходах. Все механизмы смазывают соответствующей смазкой. Случись что — все гарантийные документы у них действительны. Ручные фонарики всегда исправны — более того, владельцы их даже знают, где лежат эти фонарики!

Спросите их, когда в последний раз проходила техосмотр машина — точно скажут! Инструменты в гараже разложены по полочкам — каждый строго на своем месте. Налоги они платят, основываясь на строго проверенных данных, а не на смеси интуиции и надежды. Спать ложатся со спокойной душой: в листочке «Что сделать сегодня» — сплошь галочки. А утром встают — халат на стуле, возле кровати, чистый и свежий. И носки на месте, в ящике, сложены попарно, по цвету и размеру. Да-да! А когда эти люди выходят из дома навстречу новому дню, они точно знают, где ключи от машины, и не волнуются: исправен ли аккумулятор? хватит ли бензина доехать до работы?

Да, есть такие люди. У которых все, всегда и всюду в порядке. На них не распространяется власть Хаоса и действие законов энтропии. Я с такими людьми сталкиваюсь каждый день. Они спокойны и уверены в себе; они — столпы общества. Это их портреты красуются на страницах школьных учебников; это они служат примером юношеству — те, кто чего-то добился в жизни.

Ну а я не из их числа. Сначала «из огня да в полымя», а потом «слезами горю не поможешь» — вот это, пожалуй, обо мне. Будни большей частью похожи на бесконечную и беспорядочную ловлю цыплят в гигантском курятнике. Не жизнь, а занятие по гражданской обороне во время «воздушного налета». Тут уж не до мелочей.

Только мне постоянно приходит в голову одна фантазия, благодаря которой на душе становится легче. Я выдумал историю про отшлифованную палку: явится однажды в мой дом совет старейшин, и скажут старцы, что пришла пора исполнить обряд шлифования палки — испытание для рассеянных и несобранных, но добрых сердцем.

А обряд этот вот каков. Для испытания отбирают тех, у кого душа полна самых благих намерений и кого надо освободить от всевозможных житейских пут. Прежде всего избраннику дается целая неделя свободы — никаких обязанностей. Все дела отменяются: никаких комиссий, никаких заседаний, никаких задолженностей — будь то счета, письма или телефонные звонки. Избранника отвозят в прелестное местечко: кругом тишина и покой, и все располагает к созерцанию в духе «дзэн». Избранника окружают заботой, вкусно кормят и всячески поддерживают морально. От него же требуется всего-навсего целую неделю шлифовать палку, для чего дадут и наждачную бумагу, и цитрусовое масло, и ветошь. Ну и конечно палку — аккуратную, ничем не примечательную деревяшку. Требуется только одно — отшлифовать ее, но уж чтобы на совесть. А заниматься этим можно когда захочется. Надо лишь отшлифовать палку — и все!

Через неделю снова явятся старейшины. Серьезно и внимательно оценят работу. Похвалят за мастерство, тонкий вкус и глубину творческой мысли. «Отлично отшлифовано! Второй такой не сыскать!» — воскитятся они.

Избранника покажут по телевидению, его фотографии замелькают в газетах. А комментарий будет гласить: «У этого человека доброе сердце и самые благие намерения, и он прекрасно, изысканно, полностью отшлифовал палку!» И прославленного избранника с почетом доставят домой. Родственники и соседи будут смотреть на него с уважением. А прохожие, узнавая его на улице, будут улыбаться, приветственно махать рукой и поднимать большой палец: молодчина! И начнется у него совсем другая жизнь.

Но это еще не все. Отныне ему можно забыть о водосточных трубах и канавах, как и о чековой книжке, документах, бланках, платяных шкафах, ящиках, налогах и даже о багажнике — обо всем за него позаботятся другие. Отныне он освобожден ото всех забот. Он получает вольную — насовсем,— и нет больше рабской зависимости от листочка «Что надо сделать». Еще бы! Ведь он отшлифовал палку! Вот она, полюбуйтесь: висит над камином. Ему есть чем гордиться, нашему шлифовальщику. Ведь он многого достиг! Всего, чего хотел.

Эх, вот было б здорово...

Мы с соседом поглядываем друг на друга с опаской. Мне он, например, напоминает мусоро- и снегоуборочную машину. Возмутитель естественного спокойствия природы. Потомок покорителей Дикого Запада. Он на мой счет выражается проще: «Лодырь!»

Понимаете, осенью, в пору листопада, сосед каждую неделю собирает листики в кучки. А когда выпадает снег, тревожит своей лопатой белое царство. Как-то раз — то ли переусердствовав, то ли обозлившись — умудрился даже иней соскрести. «Мать-природа не должна брать верх над человеком»,— поясняет он.

Тогда я говорю ему, что в пень Бог и то больше разума вложил. Но говорю деликатно. Вот смотри: листья падали и падали тысячелетиями, так ведь? И Земля прекрасно обходилась без грабель и людей, так ведь? Куда матери-природе хотелось, туда листья и падали, там перегнивали, и земли становилось больше. А нам и надо, чтобы было больше, так ведь? Потому что почва истощается, так ведь? Ну а снег — разве он мне враг? Снег — это знак людям от Бога: мол, угомонитесь, отдохните, полежите денек в постели. К тому же снег и без нас растает. Перемешается с опавшей

листвой, и земли будет еще больше, так ведь?

Двор у соседа, надо признать, чище некуда. Если, конечно, именно это важно. Недавно, после снегопада, сосед не навернулся, когда шел к машине, чего не скажешь обо мне. И человек он все-таки неплохой — ничего, что он сродни уборочной машине. Я на это смотрю без предвзятости.

Зато мой двор покрыт восточным ковром — красно-желто-зелено-коричневым. А его двор — нет. Пока сосед расчищал дорожки, я набрал снега в бутылки — летом, в июле, смешаю с апельсиновым соком; и еще записал на магнитофон звук падающего снега, а потом обвязал этой пленкой рождественские подарки (снегу можно найти много разных применений).

На Рождество я преподнес соседу бутылочку марочного снега, обвязав ее пленкой, а он подарил мне грабли. Теперь учим друг друга, как пользоваться этими подарками. Сосед, по-моему, не придерживается никакой религии, и я стараюсь обратить его в свою веру. Он же считает, что я чересчур набожен, и старается отторгнуть меня от церкви.

Но в конце концов, в са́мом конце всех концов — победа за мной. Ибо и он, и я — да и вы тоже — все станем тем, чем становятся опавшие листья и снег, и уйдем туда, куда уходят листья и снег,— те, кто скребет и кто не скребет, те, кто гребет и кто не гребет.

Спросите моего соседа, чем он зарабатывает на жизнь, и в ответ услышите, что он «профессиональный игрок, вовлеченный в организованную преступность». На самом деле он — страховой агент. К работе своей питает вполне понятное пренебрежение, и этот скепсис охватывает его взгляды на жизнь вообще. «Все мы — игроки. Все до одного! А жить — это без конца играть: в покер, в кости или на скачках,— говорит он и добавляет: — Лично я обожаю играть!»

Однако сосед неизменно предпочитает беспроигрышные двойные сделки: если шансы почти равны, то он для подстраховки ставит на обе стороны. Свои принципы он изложил в виде правил и этот список повесил на стену у себя в кабинете.

Вот эти правила:

**Всегда и всем доверяй. Но не забывай подснять карты.**
**Всегда надейся на Бога. Но дом строй где повыше.**
**Всегда люби соседа своего. Но хорошее соседство подбирай сам.**
**В скачках не всегда побеждает быстрейший, а в поединке — сильнейший. Но ставить лучше на него.**
**Делай ставку на среднее между «подставь другую щеку» и «хорошего понемножку».**
**Делай ставку на среднее между «тише едешь — дальше будешь» и «промедление смерти подобно».**
**О выигрыше: не это главное. Главное — как играешь.**
**О проигрыше: не это главное. Главное — как играешь.**
**О том, как играть: стремись выиграть!**

Всерьез ли сосед относится к этим правилам? Следует ли им? Как знать... Но в покер я с ним играю. И застраховался у него же. Меня его правила устраивают.

Волосы вырастают за месяц на сантиметр с лишним. Уж не знаю, откуда мистер Вашингтон черпает свои познания, но про волосы он мне рассказал, когда мы обсуждали парикмахеров. Выходит, за последние шестнадцать лет с моей головы и лица было сбрито почти два с половиной метра волос.

Я над этим особо не задумывался, пока однажды не зашел, как обычно, постричься к своему парикмахеру и вдруг узнал, что он уволился: устроился здания какие-то ремонтировать. Не может быть! Как же он *мог?! Мой* парикмахер! Да это все равно что получить весть о смерти кого-то из родных. Ведь нас связывало нечто большее, чем просто стрижка и бритье.

Вначале мы друг для друга были безликими: он — «мастер», я — «клиент». Потом появились и прочие определения: он — «невежа», «грубиян», «цирюльник», а я — «умник», «либерал», «церковник». Раз в месяц мы делали обзор мировых событий и собственной жизни, при этом каждый выяснял точку зрения другого. Мы спорили о гражданских правах, о войне во Вьетнаме и о всевозможных предвыборных кампаниях. Мы превратились в своеобразные зеркала, в наперсников, исповедников, психотерапевтов и приятелей. Вместе разменяли четвертый, а потом и пятый десяток. Мы беседовали, спорили, шутили, но никогда не переступали известных границ. Он всегда помнил, что я не кто-нибудь, а клиент. А я всегда помнил, что у него в руках не что-нибудь, а бритва.

Из этих разговоров я узнал, что он сын сельского полицейского, рос в бедности, в глухой провинции и в детстве не слишком жаловал индейцев. Он в свою очередь узнал, что и я родом из маленького городка и раньше не слишком жаловал негров. Дети наши были одногодки, так что трудные этапы отцовства мы с ним выстрадали вместе. Мы обменивались новостями о женах и детях, сетовали на неисправные автомобили и неухоженные газоны. Оказалось, что по выходным он бесплатно обслуживает престарелых из интернатов. А он, я так думаю, и обо мне узнал кое-что хорошее.

Кроме парикмахерской я ни разу с ним нигде не встречался, не познакомился ни с женой его, ни с детьми, ни разу не был у него в гостях и ни разу не разделил с ним трапезу. И все-таки он прочно вошел в мою жизнь, чего могло и не произойти, будь он хоть самым близким соседом. А ведь хорошие отношения у нас сложились, пожалуй, еще и оттого, что знакомство наше так и осталось шапочным. И вот теперь нет моего парикмахера, и я будто что потерял — безвозвратно. Мне даже кажется, что я больше никогда не пойду ни к какому другому парикмахеру, хотя с трудом представляю себе, как жить с двухметровыми волосами.

Мы многое значим друг для друга, сами того не подозревая. Подумайте, каково будет священнику без паствы? Каково будет

нам без бакалейщика из магазина на углу, без механика из местного гаража, без семейного врача, без учителя, соседей, сотрудников... Добрые люди, которые всегда готовы помочь, на которых можно положиться в нужных, важных мелочах. Они учат, благословляют, ободряют, поддерживают нас, скрашивают наши серые будни. Но мы им в этом никогда не признаемся, а почему — не знаю.

Конечно, мы и сами всегда кому-то нужны. От нас зависят, к нам присматриваются, у нас учатся, с нас берут пример. Только мы о том даже не подозреваем. Поэтому не надо недооценивать себя. Возможно, вам никто напрямую не скажет, как вы важны для него, но помните: людям вы гораздо нужнее, чем вам кажется.

Есть у суфиев — членов арабской секты — древняя-древняя легенда о том, как одному хорошему человеку Всевышний обещал исполнить любое желание. И человек тот сказал: «Я хочу делать добро незаметно для себя». Всевышний исполнил его просьбу. А потом понял, насколько прекрасно это желание, и решил одарить им всех людей. И с тех пор оно — в каждом из нас.

* * *

Мы играли в «великанов», «волшебников» и «карликов».

Мы — это я и почти восемьдесят детей от семи до десяти лет, оставленных на мое попечение, пока их родители занимаются своими взрослыми делами. Я собрал мое войско в большом зале при церкви и объяснил правила игры. Она похожа на широкомасштабный вариант игры «камень, ножницы, бумага» и подразумевает некоторое интеллектуальное усилие — надо ведь выбирать. Ну а вообще-то самое главное — вволю пошуметь и набегаться в догонялки так, чтобы все перепуталось и уже не понять, кто за кого и кто победил.

Разделить ватагу неуемных младших школьников на команды, растолковать им правила, договориться с командами о составах — задача не из легких. Но мы постарались, успешно с ней справились — и можно было начинать.

Когда возбуждение носившихся по залу детей достигло критической массы, я крикнул:

— А теперь каждый выбирает, кто́ он: ВЕЛИКАН, ВОЛШЕБНИК или КАРЛИК!

Ребята, разбившись на кучки, оживленно зашептались на своем совещании — и тут кто-то вдруг дернул меня за брючину. Малышка — стоит и смотрит на меня снизу вверх.

— А где место для Русалок? — слышу я озабоченный детский голосок.

— Место для Русалок?

Наступила долгая пауза. *Очень* долгая.

— Место для Русалок? — переспрашиваю я.

— Да, где? Потому что я — Русалка.

— Но у нас же нет Русалок!

— Есть! Это я!

Девчушка не могла стать ни Великаном, ни Волшебником, ни Карликом, ибо твердо знала: она — Русалка. И не хотела выходить из игры, не хотела отойти к стенке, где собирались проигравшие. Есть по правилам Русалки или нет — не важно: участвовать она все равно будет. Именно в своей роли и на равных с остальными. Она была уверена: место для Русалок, конечно, есть, а где оно, я, конечно, знаю и скажу.

Так где же все-таки место для Русалок? Для всяких «русалок» — для тех, кто не похож на других, кто не хочет стандартных ролей, кто отказывается занять уготованные ячейки в коробках и ящиках.

Найти ответ — значит найти основу, на которой можно создать теорию, общество или даже целый мир.

Что же я тогда ответил? Признаюсь, время от времени я способен и на умную мысль:

— Место для Русалок как раз здесь, рядом с Царем Морским!

(Точно — как раз здесь, рядом с Дураком и Шутом придворным, подумал я.)

И мы стояли, взявшись за руки и обозревая полчища Волшебников, Великанов и Карликов, а те бесились в диком восторге.

Кстати, неправда, что русалок в жизни не бывает. С одной по крайней мере я знаком лично. И даже за руку ее держал.

* * *

Однажды на Рождество мне почти никто не прислал открыток. И как-то отвратительным февральским вечером я по-настоящему понял всю гнусность этого факта, воспоминание о котором вдруг выплыло из тех уголков моего сознания, что забиты всяким хламом. Наверное, мне просто понадобился повод, чтобы оправдать поганое настроение,— вот и вспомнились открытки. Но я смолчал. Я стерпел. Я сильный. Подумаешь, горе! Так называемые друзья не удосужились какую-то несчастную рождественскую открытку прислать! Ну и пусть! Обойдусь и без их внимания!

Как-то в августе я возился на чердаке, пытаясь навести порядок в этом бедламе, и среди мишуры, гирлянд и прочих украшений откопал целую коробку нераспечатанных поздравлений к прошлогоднему Рождеству. Должно быть, я покидал их в коробку — думал, прочту на досуге, а потом так закрутился в предпраздничной суете — какой уж там досуг! И открытки пали жертвой синдрома «сейчас-не-до-них-положу-на-чердак-в-новом-году-разберем».

Я спустился с коробкой, а дальше — представьте себе такую картину: середина августа, жаркий летний день, я в плавках и темных очках сижу в шезлонге на веранде; рядом на столике — шоколадное масло и литровая кружка с охлажденным чаем; в душе у меня — полная сумятица. Распечатываю один за другим конверты, а чтобы создать подходящее настроение, включаю на всю катушку переносной магнитофон с записями рождественских гимнов.

Вот они — ангелы, сугробы, волхвы, свечи, еловые ветви, лошади и сани, Святое семейство, эльфы и Санта-Клаус. И мно-

жество пожеланий счастья, радости, мира и благополучия. А в придачу, словно этого мало, от руки написаны добрые, нежные слова от моих «так называемых» друзей, которые, как оказалось, сделали все, что могли, чтобы порадовать меня на Рождество.

Я заплакал. Мне стало и приятно, и тошно, а такое случается нечасто. Раскаяние смешалось с признательностью, печаль была тонкой и светлой, и что-то вспомнилось, и о чем-то взгрустнулось... Одним словом — сентиментальность завладела мною.

Как обычно бывает по закону подлости, в самый неподходящий момент появилась соседка: ее привлекли громкие рождественские песнопения. Увидев меня в таком состоянии, она засмеялась. Я показал ей открытки — и она заплакала. И мы вдвоем устроили нежданный рождественский праздник прямо там, на веранде, в середине августа, распевая вместе с церковным хором мормонов гимн «О, Священная Ночь!» вплоть до мощного апофеоза: «Ста-а-нь-те на ко-ле-е-ни, слу-у-шай-те а-а-н-ге-лов го-о-ло-са-а-а!»

Ну что тут сказать? Наверное, у каждого где-то в дальних уголках сознания таится и благоговение, и трепет, и радость; пробудить их вовсе не трудно. А Рождество, по-моему, все-таки *всегда* какое-то нежданное — хоть в декабре, хоть в августе.

Случилось это воскресным днем, незадолго до Рождества. Было дождливо, ветрено, холодно. Зимняя непогода. Список дел получился длинным и рос, как плесень в укромном уголке. Настроение — хуже некуда. Жизненная активность — нулевая. Заглянул в гороскоп — там только совет «помнить об осторожности». Заглянул в воскресную газету — там только нудный перечень биржевых отчетов, смертей и разрушений. Где же вы, дни утешенья и радости?

Тишину этого святого часа воскресного блаженства нарушил барабанный стук в дверь. Ну что еще там такое? Глубоко вздыхаю, иду открывать, приготовившись к любой дурной вести. Но такого я не ожидал: на пороге стоит маленький человечек в дешевенькой маске Санта-Клауса, в руках у него — большой, широко раскрытый пакет из коричневой бумаги. «УГОЩАЙ, НЕ ТО ПРОУЧИМ!» — кричит Санта-Клаус. Что-что? «УГОЩАЙ, НЕ ТО ПРОУЧИМ!» — снова ухает он. Я, лишившись дара речи, дивлюсь на это чудо. А оно настойчиво трясет пакетом, и я, по-прежнему в полном изумлении, достаю из кармана бумажник, вынимаю из него доллар и бросаю в пакет. Санта-Клаус снимает маску — и я вижу мальчика-азиата: лицо его расплылось в широченной улыбке.

— Хочешь послушать рождественские гимны? — спрашивает он на певучем английском.

Теперь я узнал парнишку. Он из семьи переселенцев, «лодочных» беженцев из Вьетнама. В прошлом году квакеры помогли им обосноваться по соседству. Мальчуган заходил ко мне вместе с сестрами и братьями в канун Дня всех святых, и я давал им гостинцы. Зовут мальчика Хон Дук, ему лет восемь. Тогда он был в наряде волхва: в купальном халате и с кухонным полотенцем на голове.

— Ну так хочешь послушать гимны?

Я кивнул и поискал глазами остальных юных беженцев — те, наверное, спрятались в кустах и готовы присоединиться к своему предводителю, чтобы исполнить октетом торжественную песнь.

— Конечно, хочу! Хор-то твой где?

— А хор — это я.

И он громко — что было сил — заверещал про звонкие бубенцы и сани с лошадкой. Затем с не меньшим усердием исполнил свою интерпретацию гимна о поющих ангелах. И наконец прозвучала «О, тихая ночь» — нежно и благоговейно. Последние слова — «Спите в божественном покое» — он вывел, закрыв глаза, запрокинув голову — вложив всю душу в песню, которая лилась в надвигавшуюся ночь.

Глаза мои увлажнились, я был потрясен выступлением. Вынул из бумажника пять долларов и опустил в пакет. В ответ он извлек из кармана наполовину обломанный леденец на палочке и величаво протянул мне. Состроив напоследок веселую рожицу, он повернулся, сбежал с крыльца, прокричал «БЛАГОСЛОВИ ТЕБЯ БОГ!», потом «УГОСТИ, НЕ ТО ПРОУЧИМ!» — и был таков.

Что же за малыш в маске Санта-Клауса приходил ко мне? Это Хон Дук — солист, поющий за весь хор и несущий Рождество из дома в дом.

Откровенно говоря, к этому празднику я отношусь с легкой иронией. Не нахожу в нем особого смысла. Выдумка — и больше ничего. Давным-давно, когда впервые услышал о Санта-Клаусе, не поверил этой сказке и с тех пор в душе всегда посмеиваюсь над ней. Ну что за глупость — петь про какую-то лошадку, запряженную в какие-то там сани. Лично я никогда не видел таких саней и уж тем более не ездил в них. И каштаны на огне никогда не жарил. А дай мне каштаны — даже не знал бы, что с ними делать. Между прочим, говорят, ничего хорошего в них нет. Странствующие волхвы, по-моему, публика весьма сомнительная, а пастухи, которые всю жизнь бродят со своим стадом, мне кажутся большими чудаками. Ни разу не видел я ни одного ангела, да и дев непорочных не слишком много встречал. Рождение нового царя меня не волнует; меня вполне устроил бы новый президент. От младенцев и северных оленей только вонь: уж я-то занимался и с теми, и с другими и знаю, что говорю. А городишко Вифлеем, по словам побывавших там, просто дыра.

Как воспевать то, чего никогда не видел, не делал или не хотел? Как грезить о белоснежном Рождестве, которого в жизни своей не знал? Рождество больше похоже на сказку. Но все же... Я уже стар и потому не верю в эту сказку — но молод еще и потому не могу разувериться в ней совсем. Не могу радоваться этому празднику, потому что я циник,— но и стоять в стороне не получается, потому что даже мне этот праздник нужен.

«Угости, не то проучим!» Маленький Санта-Клаус убежал, а меня душили смех и слезы сразу и охватывало особое, ни с чем

не сравнимое чувство, что ко мне снова, как когда-то, пришло настоящее Рождество. Среди зимы в мой домишко прямо по дымоходу спускается волшебник — Хон Дук. Он, как и я, не слишком хорошо понимает все тонкости Рождества, но дух праздника он уловил безошибочно: можно отдыхать и веселиться, радоваться и праздновать — где бы ты ни жил и как бы ты ни жил. «А хор — это я»,— говорит Хон Дук. «Рождество-то твое где?» — спрашиваю себя мысленно. «Рождество — это я»,— отвечает эхо. Это я. Оно — во мне самом. Я запрокидываю голову, закрываю глаза и, решившись, громко, сколько есть сил, пою все, что могу припомнить.

По преданию, однажды ночью Бог послал на Землю младенца, чтобы люди смогли познать надежду и радость. Я не сказал бы, что верю в это без оглядки или что верю во все, чем обросла эта легенда за две тысячи лет. Но я твердо верю в Хон Дука, что поет за весь рождественский хор и кричит «Угости, не то проучим!» то на одном пороге, то на другом. Не знаю, кто или что послало его нам. Но знаю, что прихотливая проказница-судьба меня проучила, заманив в хор, где и я запел о радости и надежде. И явился мне младенец, и угостил меня Рождеством.

Раз уж речь зашла о подарках, напомню об одном правиле. Вообще это правило даже не мое. Впервые я о нем услышал на рождественском вечере в каком-то учреждении от очень раздраженного и недовольного человека с ярко выраженными симптомами бурно прогрессирующего стяжательства. Развернув свой изящно упакованный, простенький подарок, что лежал среди прочих под учрежденческой елкой, он, ни к кому не обращаясь, сокрушенно изрек:

— Нет, неправду говорят, будто дорог не подарок, дорого внимание. Неправда все это! Мать тоже мне все голову морочила про дареных коней да их зубы. Сколько же у меня скопилось всякого «подарочного» барахла! Купленные наспех дешевые безделушки, преподнесенные потом под благочестивым прикрытием «самого искреннего *внимания*». Дорог все-таки *подарок* — ей-же-ей! Ведь у кого *внимание* настоящее, тот и *подарок* сделает хороший! Надо бы ввести такое правило — Медное Правило Обмена Подарками.

И он направился к мусорной корзине, держа свой подарок, словно дохлого таракана.

Что ж, возможно, он прав. Сказано резковато, и оттого становится не слишком радостно. Но с рождественскими подарками с незапамятных времен все ясно. Бог — а Он, говорят, и положил всему начало — постарался и послал на Землю самое лучшее и поступал так не единожды. Да и волхвы принесли в дар младенцу не какие-нибудь леденцы. Даже старик Санта-Клаус всегда хорошенько думает — кому что подарить. И ангелы явились с благой вестью,— а это вам не уцененный товар.

Я хорошо знаю, что́ хотел бы получить на Рождество. Знаю с тех пор, как мне стукнуло сорок. Я хочу заводные игрушки. Забавные такие — тарахтят, жужжат, крутятся-вертятся. Но только чтобы без батареек. Чтобы время от времени им моя помощь требовалась — выбраться откуда-нибудь. Старомодные игрушки из раскрашенной жести, какие были у меня в детстве. Вот чего я хочу. Никто не верит, но, ей-богу, этого я и хочу!

Ну ладно, пусть не совсем этого, а как бы приблизительно. Хочу же я на самом деле радости и простоты. Веселых, шумных детских игр. Ангелов и кудесников, удивления и непосредственности, а еще — волшебства. Вот чего я хочу на самом деле!

А чего же я на самом-самом-самом деле хочу на Рождество, в том признаться еще труднее. Но попробую. Итак:

— Хочу хоть на час снова стать пятилетним мальчишкой.

— Хочу смеяться до упаду и лить слезы в три ручья.

— Хочу, чтоб еще хотя бы раз меня взяли на руки и укачивали, пока не засну, а потом уложили в кроватку.

Я знаю, чего хочу на Рождество.

Я хочу, чтобы вернулось детство.

Такое мне никто не подарит. Разве что сам себе: если постараюсь, могу детство свое хотя бы воскресить в памяти. Понимаю, как это бессмысленно. Но с каких это пор Рождество отмечают глубокомысленно? Его празднуют в честь младенца, жившего давным-давно и далеко-далеко; его празднуют в честь всякого младенца, живущего ныне. В честь того ребенка, что живет в каждом из нас, в глубине наших душ, и ждет чуда. Этот ребенок не ведает корысти и не знает жизни, он простодушен и открыт малейшей радости. Ему не нужны, не желанны и не понятны такие подарки, как пара носков или прихватка для сковородок.

Выходит, Медное Правило истинно.

Всю жизнь мечтал о часах с кукушкой. Большая старинная штуковина немецкого производства со всевозможными резными украшениями, а внутри сидит птичка, которая каждый час выскакивает и возвещает о том, что прожит еще один отрезок бытия. Наконец мне удалось купить часы с кукушкой в подарок своему лучшему другу, который к тому же доводится мне женой и живет со мной под одной крышей. Расчет мой был, как всегда, прост и верен: дело в том, что жене все равно мои рождественские подарки не нравятся и в конце концов они достаются мне. Вот я и решил: подарю-ка ей такую вещицу, которая нужна мне самому; а когда жена вернет ее мне, то я не только не обижусь, но буду даже доволен и благодарен. Жене — внимание, а мне — подарок. Конечно, грешно так поступать, но зато практично и без претензий. (Только не надо меня осуждать — можно подумать, вам такое в голову не приходило. Да разве кто признается? Но меня не проведешь — уж я-то видал виды!)

Так или иначе, я мечтал о часах с ку-

кушкой — настоящих, старинных. А они стоят уйму денег. Однако я разыскал-таки магазин, где часов этих навалом. Правда, не старинных, а современного производства, зато дешево — в общем, можно сказать, повезло. Короче, купил. На картонной коробке мелкими буквами были написаны две фразы, которые я попросту не заметил: «Сделано в Южной Корее» и «Требуется дополнительная сборка».

В коробке лежало пять полиэтиленовых пакетов с разнообразными деталями. И, кроме того, псевдобаварская хижина альпийского пастуха с маленькой пометкой «изготовлено из натурального искусственного дерева». А еще, в качестве конька для крыши, пластмассовая оленья голова, похожая на мамашу олененка Бэмби. Я собрал из этих деталей — слава Богу, ни одной не потерял — часы и повесил их на стенку. Потом оттянул вниз гири, качнул маятник и отошел назад — взглянуть. Часы уютно затикали: тик-так, тик-так. Впервые в жизни подобного рода затея не просто удалась мне, а удалась с блеском. Надо же — злосчастная штуковина и впрямь заработала!

Но вот стрелки достигли часовой отметки, отворилась дверца — и никакой птички! Лишь откуда-то из недр ее жилища послышалось дребезжащее, приглушенное «ку-ка-а! ку-ка-а! ку-ка-а!». Всего три «ку-ка-а!»? Не может быть! Ведь часы показывали полдень!

Я заглянул внутрь баварской хижины альпийского пастуха, сделанной «из искусственного дерева»: птичка на месте. Тогда, орудуя шилом и палочкой для еды, я стал проталкивать кукушку наружу. Она вроде бы поддалась. Я перевел стрелки на три часа. Часы затикали, а потом раздался звон. Дверца распахнулась и — никакой птички. Из темноты, царившей в хижине, послышалось «кы-кх», но без «у» и даже без «а».

Тогда, следуя принципу «не работает само — заставь силой», я воспользовался кианкой с резиновым покрытием и вешалкой, а в довершение всего хорошенько потряс часы. Затем перевел стрелки — часы пробили. Открылась дверца, и — тишина.

При тщательном осмотре я обнаружил лежащий на боку трупик с пружиной вокруг шеи. Да, мало кому доводилось убить кукушку из часов, я же вот ухитрился. Мне уже рисовалась картина рождественского утра: «Вот, дорогая, часы с кукушкой — тебе подарок. Правда, кукушка сдохла...»

Так все и произошло. Я преподнес жене эти часы и рассказал о своих злоключениях. Она посмеялась. А часы приняла — уж какие были, с убитой кукушкой,— и, хоть и недолго, хранила их.

Часов тех давно уже нет в нашем доме. И, подобно тем часам, много рождественских праздников приходило в наш дом и покидало его. Но каждый год, когда декабрьским вечером мы встречаемся с друзьями, снова и снова вспоминается эта история. Друзья смеются. А жена поглядывает на меня и понимающе усмехается, и я усмехаюсь в ответ. «Там не только с кукушкой не все в порядке было»,— всякий раз говорят ее глаза. «Да уж я-то помню»,— отвечают мои.

Ну а что касается меня... Часов с кукушкой так до сих пор у меня и нет. Зато осталось кое-что другое. Я запомнил фразу на той рождественской коробке: «Требуется дополнительная сборка». Другими словами, надо собрать все лучшее, что есть в душе, и раздать. А еще собраться с теми, кого любишь, и возрадоваться. Привет тебе, кукушка, и веселого Рождества, где бы ты ни была! Ку-ку!

* * *

Соседи напротив — люди передовые. Бегают трусцой, питаются проросшей фасолью и всему находят новое применение, кроме, пожалуй, воздуха. А еще они ярые сторонники эмансипации — как мужской, так и женской. Они не женаты, они «заключили брачный договор», и у каждого своя, свободная жизнь. Самосознание у них такое высокое, что они прямо-таки парят. Милейшие люди. Задают современный тон всей округе. Вот какие соседи!

Купили себе 18-скоростной горный велосипед. Тандем. «Это экономично и удобно». Каждый день куда-нибудь ездят на нем. В одинаковых спортивных костюмах и кожаных шлемах, прихватив термосы и прочие причиндалы. Как ни погляжу, он всегда спереди. И рулит всегда он. Всегда. Вот тебе и эмансипация.

Я разговаривал с каждым по отдельности, и открылись старые истины. В глубине души он считает себя сильнее и компетентнее в поиске нужного пути. Она не возражает, потому что тогда ее дело — спокойно смотреть по сторонам и любоваться природой; тогда она может и не крутить педали — он все равно не заметит! А если врежутся, он послужит хорошим буфером.

Извечный тандем. Мужчины — впереди, женщины — позади. Наверное, мужчины и впрямь сильнее. Но женщины — во всяком случае моя соседка — хитрее. По-моему, эмансипация — это когда каждый получает то, что, как ему кажется, он хочет, но не все знает о вожделенном предмете. Иначе говоря, эмансипация в конце концов сводится к тому, чтобы освободиться от нежеланного и стать рабом желанного. Оттого и существует извечный тандем.

В дверь постучали — резко, нетерпеливо, настойчиво: тук-тук-тук, тук-тук-тук... Не иначе что стряслось. Я — опрометью к двери, дергаю замок; уровень адреналина в крови бешено подскакивает, я приготовился к худшему. Открываю — на пороге стоит мальчуган. Выражение лица странное. Протягивает бумагу-гармошку, на ней коряво выведено: «Меня зовут Донни. Могу убрать листья у вас во дворе. Беру 1 доллар. Я глухой. Ответ напишите. Я умею читать. Работаю хорошо».

(Позади нашего дома есть аллея развесистых кленов, похожих на солидных дам. Начинается один сезон — и они одеваются в роскошный наряд с бесчисленными золотыми листьями-блестками. И когда начинается другой сезон, эти блестки с них слетают. Дворик наш укромный, ветер по нему не гуляет, и потому листва не-

подвижно лежит под ногами у дам, точно платье, которое те скинули, готовясь к погружению в зиму.

Мне эта картина нравится. Очень-очень нравится. А жене — нет. И журнал по садоводству тоже был бы недоволен. Листья полагается убирать. По определенным правилам. Листья мешают траве. Они замусоривают двор. Они преют и скользят под ногами. Но мне нравятся листья — однажды я весь свой кабинет в школе по щиколотку ими засыпал.

Все-таки листья есть зачем оставлять. А траву стричь совершенно незачем. Вот вам мое слово.

Жена считает иначе. Вокруг меня витают невысказанные упреки в лени. Так было и раньше. Но в этом году мы заключили договор во имя Науки. Половина двора тщательно убирается, а другая остается на попечение природы. Придет лето — тогда посмотрим, кто прав. Поэтому женина часть двора убрана, а моя — нет. Как договорились.

Мальчик пристально смотрит мне в лицо, пытаясь угадать ответ; так попавшие в туман летчики смотрят на единственную надежду — приборы. Мальчик знает, что у меня во дворе листья есть. Он видел. Мой двор вообще *единственный* неубранный во всей округе. Знает мальчик и что цену назначил справедливо. Он важно протягивает карандаш с бумагой — для ответа. Ну как ему объяснить, что у меня во дворе идет серьезный научный эксперимент?

(Между прочим, деревья растут отчасти благодаря листьям. В щедром изобилии мириады семян спускаются с неба на землю, словно десантники-парашютисты, и покрывают землю зеленым. Следом летят листья, они покрывают, защищают, обогревают и вскармливают новое поколение деревьев. Каменистый грунт, гниль, плесень, микробы, птицы, бёлки, жуки и люди — все грозят семенам, но некоторые все равно прорастают. И эти немногие упрямцы, раз ухватившись, стойко-стойко держатся — за благословенную жизнь. В темной осенней тиши они крепнут, укореняются, выживают и становятся новым поколением деревьев. Процесс этот длится веками, он бесконечен, и вмешиваемся мы в него на свою погибель. Такое мое слово. *Это не шутки.*)

«Меня зовут Донни. Могу убрать листья у вас во дворе. Беру 1 доллар. Я глухой. Ответ напишите. Я умею читать. Работаю хорошо». Мальчик протягивает карандаш с бумагой — терпеливо, выжидающе и доброжелательно.

Бывают такие моменты, когда пустячное дело заставляет задуматься о жизненных принципах. Как бы я поступил, не будь мальчик глухим? Как он воспримет мой отказ? И как воспримет согласие? Что это для него значит? Мы оба долго молчим, но по разным причинам. И одновременно он поворачивается уходить, а я беру карандаш, бумагу и пишу с важным видом: «Согласен. Пусть мой двор будет убран». Внимательный маленький бизнесмен степенно кивает.

«Мокрые листья тоже убираешь?» — пишу я.

«Да»,— отвечает он.

«А грабли у тебя есть?»

«Нет».

«Двор большой, листьев очень много».

«Знаю».

«Тогда можно и второй доллар добавить».

Улыбается.

«А третий?» — читаю в записке.

Усмехаюсь.

Итак, контракт заключен. Донни — мой глухой дворник, специалист по листьям — получает грабли и приступает к работе в быстро надвигающихся ноябрьских сумерках. Он молча сгребает листья, а я молча наблюдаю за ним из окна погруженного в темноту дома. Интересно, слышит ли он хоть что-нибудь своим внутренним слухом? Или в голове у него только бесконечный гулкий шум моря, какой бывает, если крепко-крепко зажать уши.

Мальчик старательно собирает листья в большую кучу, как его учили. (Ничего, я снова раскидаю их по двору, когда он уйдет; я от своего не отступлюсь.) Мальчик старательно обходит двор, руками подбирая оставшиеся листья, и несет их в общую кучу. Он от своего тоже не отступится. Сгребать — так все без остатка.

Написав, что ему надо идти домой, потому что уже темно и пора ужинать, мальчик оставляет работу недоделанной. Я заплатил вперед и теперь гадаю — вернется ли? К сорока пяти годам я стал циником и притом закоренелым. Но наутро мальчик вернулся и первым делом проверил, нет ли на убранном участке новых, напáдавших за ночь листьев. Своей работой он гордится. На дворе — ни листика. Я заметил, как мальчик подобрал несколько самых ярких желтых листьев и сунул их и еще целую пригоршню крылатых кленовых семян в карман курточки.

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! Мальчик стучит в дверь, показывает записку: «Работа сделана». Вот он вышел на улицу и зашагал прочь, по одному бросая вверх семена. Кленам представляются льготы. Я стою у двери и молча улыбаюсь, глядя на великодушного мальчугана. Кленам предоставляются льготы.

Завтра пойду и скину эти листья в компостную кучу, что на дне оврага за домом. Скину молча. В этом году листьям и семенам придется побороться за жизнь там. Ну как можно испортить работу мальчика! А научному эксперименту придется потесниться ради чего-то более человеческого. Листья никому не мешают, и семена никому не мешают, и мне тоже надо хоть иногда никому не мешать и скрестить свою судьбу с судьбой еще одного из несовершенных, но упорных творений природы, победителей в борьбе за жизнь.

Крепись, Донни! Крепись!

Разговариваю по телефону с одной приятной дамой. Она страдает сезонной (стоит середина зимы) депрессией. И еще — с первого сентября — хронической простудой.

— На вас, наверное, тоска никогда не находит? — хрипит она в трубку.

— Скажете тоже! Да у меня иной раз настроение до того падает, что без раздвижной лестницы его из такой ямы и не достанешь.

— И что же вы тогда делаете? В смысле, как с хандрой справляетесь?

Вот так пригвоздила! Такого в моей практике еще не было. Всегда просят посоветовать, что делать *им*.

Утешает меня не религия, не йога, не алкоголь и даже не глубокий сон. Утешает меня Бетховен. Да-да, тот самый Людвиг, который еще и ван. Вот кто мне порох в пороховницы добавляет. Я ставлю на стереопроигрыватель пластинку с его Девятой симфонией, надеваю покрепче наушники и ложусь на пол. И музыка рождается, как первый день сотворения мира.

А я думаю о старине Бетховене. Уж он-то знал, что такое депрессия и каково быть несчастливым. Он переезжал с места на место, пытаясь найти себе пристанище. С женщинами у него никак не ладилось, с друзьями постоянно ссорился. Сильно огорчал его паршивец племянник, которого он искренне любил. Господин Б. хотел стать виртуозным пианистом. И еще — хорошим певцом. Но уже в молодости начал терять слух. А для пианистов и певцов это конец. В 1818 году, когда ему исполнилось сорок восемь, он совершенно оглох. И тем более поразительно, что пять лет спустя он закончил знаменитую Девятую симфонию. Ведь он вообще ее *не слышал!* Он мог лишь *представить* себе ее звучание!

И я лежу в наушниках и думаю: может быть, Бетховен так и слышал свою музыку, как я сейчас, в голове? Звуки все нарастают и эхом отдаются в моей груди. Когда же литавры последним ударом заглушают все эти гремящие «фа», я вскакиваю и на тарабарском немецком пою что есть сил вместе с мощным хором, подпрыгивая на месте; а в это же время знаменитейший маэстро Роберто Фулгамини дирижирует своим оркестром, исторгающим заключительные волшебные аккорды КОНЦА СВЕТА С ПРИШЕСТВИЕМ БОГА И ВСЕХ ЕГО АНГЕЛОВ. АЛЛИЛУЙЯ! АЛЛИЛУЙЯ! ПУ-У-У-М-ПА-РУ-У-ПАМ-ПА-А-А!!! Боже!

И воспрянул я, и возликовал, и воодушевился, и укрепился в вере, и преклонился! ЖИВЧЕЛОВЕК! Из глубины всех печалей и тревог, всех неудач и разочарований, из его тишины, полной и пожизненной, родилось это великолепие, это излияние РАДОСТИ и восторга! Он *ликуя бросил вызов судьбе — и победил!*

Как не проникнуться раскрывшейся истиной и красотой! Разве усидишь на куче пепла от сгоревшей зимней тоски, горестно ломая руки и жалея себя, когда рядом ТАКАЯ МУЗЫКА! Она не только душу исцеляет, но, наверное, и простуду лечит.

Так стоит ли жаловаться на зиму и дождь, долги и налоги? Кому нужны разговоры о неудачах, сомнениях и разочарованиях? *Стоит ли* жаловаться, что, мол, от жизни и от людей добра не жди?

В самые черные дни музыка Бетховена придает мне невиданную силу. Когда сердце сковано холодом, она поселяет в груди моей жаркое летнее солнце. Я мечтаю о том, что когда-нибудь я сказочно разбогатею, арендую великолепный зал, найму большой хор и мощный оркестр, и однажды декабрьским вечером поднимусь на сцену и мы исполним Девятую симфонию. Я сам буду дирижировать и возьму на себя партию литавр — от начала до победного конца — и при этом буду петь что есть сил. А затем наступит торжественная тишина, и я возблагодарю всех богов, какие только есть, за Людвига ван Бетховена, за его Девятую симфонию и за его Свет.

ЖИВЧЕЛОВЕК!

* * *

Есть в Британском музее глиняная табличка из Вавилона, датируемая около 3800 годом до нашей эры. Она содержит отчет о переписи населения, которую проводили, чтобы подсчитать доходы от налогов. Древние египтяне и римляне тоже вели учет населения. Есть в музее и знаменитая кадастровая книга Вильгельма Завоевателя — земельная опись Англии, сделанная в 1086 году.

У нас же, в США, перепись впервые проводилась в 1790 году. Скоро будет еще одна, новая. Пересчитывая людей, узнаешь немало любопытного. А в наши дни это особенно интересно, ибо благодаря компьютерам можно предсказывать развитие событий. Возьмем такой пример: если население планеты будет расти с теперешней скоростью, то к 3530 году общая масса человечества сравняется с массой Земли, а к 6826 году общая масса человечества достигнет массы известной на сегодняшний день Вселенной.

Уму непостижимо!

Или другой пример: во времена Юлия Цезаря землян было всего 150 миллионов. А теперь столько же составляет лишь *прирост* населения планеты за два года.

Или рассмотрим ту же ситуацию, но в масштабе помельче: пока вы читаете эту главку, почти 200 человек умрет и почти 480 родится. Столько жизней и смертей приходится на две минуты бытия.

Статистики утверждают, что за все время на Земле родилось и жило, вместе с живущими сейчас, около 60 миллиардов человек. Как я уже говорил, никто не знает, сколько появится еще, но, похоже, что очень и очень много. Притом — и это наивысшая из всех статистик — всевозможных вариантов сочетаний родительских половых клеток столько, что можно сказать наверняка: каждый из числа этих миллиардов был совершенно отличен от любого другого, и так будет и впредь, пока на Земле есть жизнь.

Иными словами, если на одном из полушарий выстроить всех до единого людей из прошлых и будущих поколений и хорошенько взглянуть на эту пеструю шеренгу, то *второго себя не найти!*

Не спешите изумляться — это еще не все.

Если выстроить на другом полушарии *все до единого* живые существа из прошлых и будущих поколений, то станет ясно, что любой на «человеческой» половине *больше* похож на вас, чем *кто-либо* на другой половине.

И наконец — последнее: был такой известный французский криминолог Эмиль Локар; полвека назад он предложил нечто

вроде «лэкаровского принципа обмена», который гласит следующее: каждый человек, проходя через комнату, обязательно что-то оставит в ней и что-то унесет с собой, причем совершенно неосознанно. Современной наукой это доказано. «Фулгамовский принцип обмена» расширяет это правило: каждый человек, проходя через наш мир, обязательно что-то оставит в нем и что-то унесет с собой, причем совершенно неосознанно. Это «что-то» в большинстве случаев нельзя ни увидеть, ни услышать, ни сосчитать. И переписи это «что-то» не поддается. А без него любые подсчеты мало что значат.

Илия Шварц чинит обувь. Илия — маленький, толстенький, лысенький холостячок средних лет, еврей. «Старомодный сапожник»,— говорит он о себе. Ни больше, ни меньше. Но сдается мне, что на самом деле он — сто сорок пятое воплощение Хайхо-Ламы.

Хайхо-Лама, если помните, умер в 1937 году, и с тех пор монахи из обители Са-скья сорок лет безуспешно ищут его перевоплощение. Об этом прошлым летом поведала «Нью-Йорк таймс». В статье сообщалось и о том, как узнать ламу: он ходит по белу свету, говорит и поступает мудро и мудрость свою несет людям незаметно и загадочно; он исполняет волю Бога, сам того не осознавая.

Где-то на небесных отборочных пунктах, видимо, случилась невообразимая ошибка, и в результате дух Хайхо-Ламы переселился в Илию Шварца — тут у меня сомнений нет.

Впервые я об этом догадался, когда понес в починку свои старые туфли из мягкой кожи. Их надо было полностью обновить. Работенка немалая. Илия тщательнейшим образом осмотрел туфли и с сожалением в голосе объявил, что чинить их уже бесполезно. Пришлось, увы, принять этот горький приговор. Потом Илия взял туфли и скрылся где-то в глубине мастерской. Я ждал и недоумевал. Илия вернулся с коричневым пакетом, в котором лежали мои туфли. Наверное, чтобы мне нести было удобнее, подумал я.

В тот же вечер дома я заглянул в пакет и обнаружил гостинцы и записку. В каждой туфле лежало по шоколадному печенью, завернутому в вощеную бумагу. А записка была такая: «То, что делать бесполезно, можно делать кое-как. Поразмыслите над этими словами. Илия Шварц».

Вот вам и послание от Хайхо-Ламы.

А монахи пусть продолжают поиски. Потому что им я ни за что не скажу — ламы нам самим нужны, все, какие только есть.

Переезд больно ударяет по моему представлению о себе. Не скрою: приятно думать, что я вполне опрятен и аккуратен. Но вот наступает прощальный момент, когда все вещи и мебель уже вынесены; я возвращаюсь взглянуть напоследок, не забыл ли чего, и вдруг вижу, что на полу всюду полно ПЫЛИ! И где стоял письменный стол, и где стоял книжный шкаф, и где стояла кровать, и в углу, где стоял комод.

Пыль. Свалявшаяся в серые, безобразные мохнатые комки пыль.

Посмотри-ка, сколько грязи, говорю я себе. Выходит, не такой уж я опрятный и чистый. А что сказали бы соседи? А что сказала бы мама? А если *они* это все увидят? Надо скорее тут подмести! Надо все вымести. Всякий раз, когда переезжаешь, *обязательно* остается Пыль. И *откуда она только берется!*

Я вычитал в одном медицинском журнале, что в какой-то лаборатории проводили анализ этой Пыли. И хотя там исследовалась аллергия, результаты по-своему интересны не только врачам.

Установлен состав пыли: частички шерстяной и хлопчатобумажной ткани, а также бумаги, останки насекомых, остатки пищи, растений, листьев деревьев, пепел, микроскопические споры грибков, одноклеточные организмы и множество всяких мелких частиц, в основном, естественного, органического происхождения.

Но тут перечислены лишь второстепенные компоненты; основных же источников всего два: *люди* — их волосы и чешуйки отмершей кожи — и *метеориты,* распавшиеся на мельчайшие кусочки при столкновении с атмосферой. (Кроме шуток — они действительно каждый день тоннами падают на Землю.) Иными словами, то, что есть под кроватью, книжным шкафом, туалетным столиком и комодом,— главным образом я сам и звездная пыль.

Один ботаник рассказал мне, что если набрать в колбу Пыли, добавить воды, посадить семечко и поставить колбу на солнце, то семечко будет расти прямо на глазах. А если ту же колбу поставить в темное, влажное место, в ней вырастут грибы. Ну а кто их съест, у того сразу в глазах и темно станет, и звезды засияют.

Если же очень хочется увидеть целое облако настоящей звездной пыли, нужно снять с кровати простыню, хорошенько ее встряхнуть в темной комнате, а затем включить электрический фонарик. Вот она! Переливается, как снеговичок в стеклянном шаре у бабушки на камине. Падает Лондонский мост, падаю я, падают звезды. Говорят, все на свете падает, чтобы потом возродиться.

Ученые доподлинно установили, что люди рождены от звезд. Люди — это звездная Пыль. Значит, там, под письменным столом, я незаметно возвращаюсь к своим истокам. Воссоединяюсь с Пылью нашей Вселенной и превращаюсь в нечто новое и неведомое. Теперь я с особым уважением отношусь к тому, что происходит в укромных уголках и щелях моей — именно моей — комнаты. Там не мусор и не просто пыль. Там — мой союз с космосом.

Священник обязан, кроме всего прочего, быть рядом с умирающими и усопшими. В больничной палате, в морге, в похоронном бюро, на кладбище. То, что я знаю об этом, наложило особый отпечаток на мое восприятие остальных сторон жизни. То, что я знаю об этом, объясняет, почему я не стану тратить жизнь на то, чтобы, скажем, подстригать газон, или мыть машину, или подметать опавшую листву, или убирать

постели, или чистить обувь, или мыть посуду. По той же причине я не стану гудеть и сигналить, если при зеленом свете замешкался водитель стоящей впереди машины. И по той же причине не убиваю пауков. Зачем, да и когда все это делать? На кладбищах и в подобных им местах я кое-что понял и именно поэтому иногда заглядываю в таверну под названием «Бизон».

По сути, таверна «Бизон» олицетворяет собой беспородную Америку. По субботам таверна от нее просто ломится. К одиннадцати вечера масса элементарных частиц американского общества становится критической. Катализатором служит их любимый ансамбль «Огневые парни». Восемь хиппи, словно мухи в янтаре, застывшие в эпохе своего расцвета — в конце шестидесятых. Они играют донельзя заводной фолк-рок, да с такой страстью, что и хромой пустится в пляс. Беспородная Америка заходит в «Бизон» выпить пива, сразиться в бильярд и — самое главное — «поразмяться», то есть потанцевать. Потрястись, попрыгать, потопать, покуражиться, погорланить, да так, чтобы взмокнуть,— словом, *потанцевать*. Субботним вечером, когда «Огневые парни» заходятся в роке, а посетители — в танце, смерти просто нет.

В один из таких вечеров в таверну нагрянули местные рокеры. Обличьем им очень хотелось быть похожими на «Ангелов ада», и в этом они преуспели. Таких нарядов ни в одной костюмерной не сыщешь. Кроме того, и от них, и от их дам исходил такой аромат, что становилось ясно: мыло и вода в их жизни — гости не частые и не почетные, во всяком случае не ежедневные. Вслед за компанией явился индеец: постарше их, волосы заплетены в косички, на груди болтаются бусы, одет в безрукавку и безразмерные солдатские штаны, на ногах — спортивные тапочки. Лицо — страшнее не бывает. Запас слов у меня, конечно, большой, и я мог бы с фотографической точностью описать это лицо, если надо. Но как ни описывай — все сведется к одному: страшнее не бывает. Индеец не спеша потягивал пивко. Когда же «Огневые» с визгом и воем грянули «Тюремный рок», индеец встрепенулся. Подрулил к одной из рокерш и пригласил ее на танец. Любая дама на ее месте наверняка отказалась бы, но эта, пожав плечами, приняла приглашение дивного кавалера.

Без лишних слов скажу: индеец — эта шатающаяся образина — т а н ц е в а л. Как он двигался! Без кривляний и выкрутасов, легко и свободно, в такт музыке, с уверенностью настоящего танцора. Он вертел партнершу и так и сяк, и до того непринужденно, что поневоле залюбуешься. Остальные пары постепенно уступили им место в центре. Но вот музыканты один за другим стихли, и только ударник продолжал выстукивать ритм. Рокеры вскочили и шумно потребовали, чтобы ансамбль играл дальше. И те снова заиграли. И индеец танцевал еще. В конце концов рокерша «сломалась» и рухнула кому-то на колени. А индеец продолжал танец в одиночку. Зрители хлопали в такт мелодии. Индеец начал танцевать со стулом. Зрители взревели от восторга. Ансамбль смолк. Благодарные зрители орали, топали, свистели. Индеец вскинул руки, требуя тишины, словно собирался произнести речь. Он взглянул на музыкантов, на зрителей и крикнул:

— Эй, чего ждете-то? ТАНЦУЙТЕ!

«Огневые» грянули по новой, и все точно ополоумели. Плясали кто где был: между столиками, у стен, у стойки бара, в туалетах, вокруг бильярда. Плясали на радость себе, индейцу, Богу и мамоне. Наперекор больничным палатам, моргам, похоронным бюро и кладбищам. И при виде такого танца смерть отступила.

— Эй, чего ждете-то? — крикнул индеец.— Танцуйте!

— Эй, дружище! Соединительного провода не найдется?

— Найдется! Еще как найдется!

Так я повстречался с учителем английского языка и его прелестной женушкой. Как потом выяснилось, они из штата Айдахо, из города Нампа, в Сиэтл добрались в своем чудно́м автомобильчике иностранной марки. Утром стоял сильный туман, и пришлось включить фары, а выключить забыли, так весь день и ездили по городу... Аккумулятор теперь, конечно, на нуле. Нужен соединительный провод. Нужно подзарядиться. Нужен добрый самарянин, нужен милосердный помощник, который — сразу видно — знает, что́ с этими проводами надо делать. И добрая волшебница-Судьба послала им меня.

Настоящий мужчина должен об этих проводах знать все, правильно? Ведь это в генах заложено. Но среди мужчин попадаются недоразвитые и дегенераты, и ковыряться в моторе они не способны, ибо автомобильное нутро для них — китайская грамота.

Кроме того, меня спросили только об одном: «Не *найдется* ли соединительного провода?»; а умею я им *пользоваться* или нет — никто не спрашивал! Я-то думал, что как раз *он* знает, что́ с этим проводом делать: спрашивает уверенно, приехал аж из Айдахо, да и вид впечатляющий — бейсбольная кепочка и ковбойские сапоги. *Такие* люди уже в колыбели все знают о соединительных проводах. А он, должно быть, решил, что солидному, седобородому дяде в спортивных туфлях, да к тому же владельцу старенького «фольксвагена», просто на роду написано пользоваться соединительными проводами. В общем, достал я свои провода, и мы принялись важно расхаживать и, как подобает настоящим невозмутимым мужчинам, рассуждать о делах автомобильных. Под капот его драндулета заглянули — а аккумулятора-то и нет!

— Черт возьми! — сказал я.— Аккумулятор у тебя умыкнули — вот в чем загвоздка.

— Черт побери! — воскликнул он.

— Аккумулятор не здесь, а под задним сиденьем,— раздался голосок прелестной женушки.

— Ах, да, верно...

Мы весь багаж вынули, само сиденье оттащили на стоянку, а под ним действительно был аккумулятор — на своем месте, в целости и сохранности. Осталось только соединительные провода приладить куда

следует. Я засомневался в автопознаниях этого горемыки, когда он, поглядывая на жену и глупо ухмыляясь, громко прошептал, что в школе, в старших классах, автодело и вопросы половой жизни он проходил одновременно и у него так все в голове перепуталось, что до сих пор не знает, где что находится и куда что прилаживать, чтобы заработало. Мы захохотали. Мы — но не жена. Ей было не до смеха. Она молча взяла инструкцию и начала перелистывать.

В конце концов наши познания свелись к следующему: важную роль играют положительные и отрицательные полюса, двигатели обеих машин или хотя бы одной должны быть включены, и тогда вроде бы заработают батареи емкостью шесть, двенадцать и еще сколько-то там вольт. Я думал, что он сам во всем разбирается, а мое дело — помогать. Он же, видимо, решил, что помогать — *его* дело. Мы с превеликим усердием все ко всему подсоединили и одновременно включили зажигание в обеих машинах. От образовавшейся электрической дуги сгорела его система зажигания, соединительные провода припаялись к моей батарее, а бейсбольную кепку с его головы как ветром сдуло. Звук был такой, словно самая большая в мире муха врезалась в экран электрической ловушки: «З-З-ЗИЩ!» Добавьте *жутчайшую* синюю вспышку и немного дыма. Электричество — удивительная штука.

Мы сели прямо на заднее сиденье его автомобиля — оно все еще лежало на стоянке — в изумлении от сотворенного. Жена его, прихватив с собой инструкцию, отправилась на поиски хоть в чем-то разбирающегося помощника. Мы же невозмутимо философствовали, стараясь не обращать внимания на всякие малоприятные обстоятельства.

— Невежество, электричество и гордыня — смертельно опасное сочетание,— рассуждал он.

— Правильно! — поддержал я.— Это все равно что спички в руках трехлетнего малыша. Или автомобиль в руках шестнадцатилетнего оболтуса. Или вера в Бога в сознании святого или маньяка. Или ядерный арсенал в руках киногероя. Или же соединительные провода и аккумуляторы в руках дураков. (Мы пытались сделать фундаментальные, глобальные выводы, исходя из собственного, хотя и весьма плачевного, опыта обращения с электричеством.)

Некоторое время спустя я получил посылку из города Нампа, штат Айдахо. Подарок от прелестной женушки того бедолаги. Знак милостивого прощения с увещеванием идти с миром и не грешить более. Она прислала идиотонепроницаемые, не образующие сгибов соединительные провода с электронным автоматическим включением. С дополнением в виде инструкции на английском и испанском языках, в которой о проводах этих сказано все необходимое и даже больше. Конструкция проводов просто замечательная: когда все что надо подсоединено, маленький контрольный переключатель определяет, правильно ли соединена электроцепь, прежде чем по ней пойдет ток. Так что есть время *подумать*, действительно ли нужно пускать ток. Наверное, каждому из нас пригодился бы такой приборчик, когда приходится иметь дело с любой — не только электрической — силой. И хорошо, что здесь возможен прогресс, наперекор невежеству и гордыне. Прогресс — возможен!

Эй, друзья, кому соединительные провода нужны? У меня найдутся, еще как найдутся! Хотите, подсоединю вас к самой большой электростанции? Или к Всевышнему? Или к любым силам, какие только есть в природе? *Да будет так!*

* * *

ИЮНЬ 1783 ГОДА, ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА — более двух веков назад. Базарная площадь французской деревушки Анноне, что под Парижем. На специальном помосте дымит костер — в него подбрасывают влажную солому и шерстяное тряпье. Над костром, натягивая сдерживающие веревки, колышется огромный — метров десять в поперечнике — мешок из тафты: balon [1].

В присутствии «почтеннейшего общества, а также множества прочего люда», под громкие одобрительные крики крепежные веревки перерубили, и высвобожденный шар — machine de l'aerostat — величественно поднялся в полуденное небо. Он достиг почти двухкилометровой высоты, а затем спустился на поле в нескольких милях от старта. Воинственно настроенные крестьяне приняли его за орудие дьявола и разорвали вилами на части. Так прошел первый принародный запуск воздушного шара, первый шаг в истории аэронавтики.

Старина Франклин был тогда во Франции в качестве полномочного представителя недавно образовавшихся Соединенных Штатов Америки. Тот самый — с ключом, воздушным змеем, молнией, двухфокусными очками и печатным станком. Когда один из стоявших рядом с Франклином спросил, какая польза от этого самого шара, Франклин дал ответ, вошедший в историю: «А какая польза от новорожденного?» Такой человек, как Франклин — любознательный и с богатым воображением,— прекрасно отвечал на собственные вопросы, и в его дневнике появилась запись: «Этот шар откроет человечеству небо». Следует заметить, что и крестьяне оказались по-своему правы. Ибо шар стал предвестником великого зла: через много лет деревня будет стерта с лица земли бомбами, падающими с неба. Но не будем забегать вперед.

Итак, за несколько месяцев до того памятного июньского дня некто по имени Жозеф-Мишель Монгольфье коротал вечер у камина. Он пристально смотрел на огонь, на то, как искры, увлекаемые дымом, летят вверх по дымоходу. Тут начался полет и его фантазии, увлекаемой дымом. Раз дым идет вверх, то почему бы не перехватить его и не набрать в мешок? Вдруг мешок тоже поднимется, да еще с чем-нибудь или с кем-нибудь в придачу?

Мужчина средних лет, сын преуспевающего владельца бумажной фабрики, привер-

[1] Воздушный шар *(франц.)*.

женец великой религии XVIII века — Науки, натура яркая и страстная, к тому же располагавшая свободным временем,— таков портрет господина Монгольфье. И он взялся за дело вместе с практичным, рассудительным младшим братом Этьенном; да и отцовские средства пригодились. Сначала пробовали бумажные пакеты, затем шелковые мешки и, наконец, остановились на тафте с покрытием из смол. И пожалуйста вам — вуаля! Настал день, когда с площадки в Версальском парке взмыл вверх воздушный шар, поднявший в небо овцу, петуха и утку. Все вернулись целы-невредимы, а это означало, что там, в вышине, никаких ядовитых газов нет, как того опасались раньше.

Активнее других поддержал братьев Монгольфье молодой химик Жан-Франсуа Пилатр де Розье. Ему не хотелось делать шары — ему хотелось полететь на одном из них. Братьев интересовали научные эксперименты. Братья были умудренные жизненным опытом наблюдатели — и только. А Пилатр хотел *летать*. Он был молод и жаждал приключений. И вот осенью, 21 ноября того же 1783 года его мечта сбылась. В парке королевского дворца в Ля-Мюет, в Булонском лесу, ровно в 13.54 его мечта воплотилась в великолепном шаре размером с семиэтажный дом, разукрашенном знаками зодиака и монограммой короля. Все выше и выше поднимался Пилатр — далеко внизу остались верхушки деревьев и колоколен; он пролетел пять миль и приземлился на другом берегу Сены.

Жозеф-Мишель и Этьенн Монгольфье прожили долгую и плодотворную для науки жизнь, смерть встретили тихо, в своих постелях, на родной земле. Жан-Франсуа Пилатр де Розье через два года после своего исторического полета пытался пересечь Ла-Манш с запада на восток, но его воздушный шар загорелся, и совсем еще молодой воздухоплаватель упал с неба и разбился. А много лет спустя его праправнук одним из первых во Франции стал летать на аэропланах.

К чему я это все рассказываю? А к тому, что поистине велика сила (и цена) воображения. «Воображение важнее знаний». Это слова Эйнштейна, а уж он зря не скажет.

А еще мой рассказ о том, как люди с богатым воображением встают на плечи друг другу, и тянется цепь: от земли до воздушного шара, до человека в корзине шара и к человеку на Луне. Все правильно: одним суждено быть наземной командой — крепить стропы, разводить костры, мечтать и грезить, отправлять шар в полет, смотреть, как он поднимается в небо; другие же созданы, чтобы летать и бросать вызов неизведанному. Об этом в нашем рассказе тоже говорится.

Такое приходит на ум в переломные моменты в жизни наших детей, когда те поднимаются на следующую ступеньку: прощаются со школой, с колледжем, с родительским гнездом. Чем напутствовать их, что дать с собой в дорогу? Воображение, а еще — дружески подтолкнем вперед и вверх и благословим.

Подойдите-ка сюда, дети. Сюда, к краю. Хочу показать вам кое-что. Страшно, отвечают, но очень интересно. Ну подойдите же, заставьте работать воображение! И дети подходят. И заглядывают за край. Мы подталкиваем их. И они летят. Нам — доживать свой век и уснуть вечным сном дома. Им — покинуть отчий кров и погибнуть вдали от дома, где-нибудь в дороге. И воодушевлять тех, кто будет после, тоже подойти к своему краю и — взлететь.

Такое приходит на ум и в переломный момент — в середине — собственного жизненного пути. Вообще-то я собираюсь жить долго, с пользой и спокойно уснуть вечным сном в своей постели, на родной земле. Просто оказалось, что день рождения мой совпадает со столь памятным для деревушки Анноне днем. И двухсотлетний юбилей этого события я отметил собственным полетом на воздушном шаре: старт состоялся на поле, неподалеку от деревушки Скаджит-Вэлли, что в Ла-Коннер.

Летать *никогда* не поздно!

А теперь я бы хотел рассказать о Ларри Уолтерсе, это мой герой. Уолтерсу тридцать три года, он — водитель грузовика. Он сидел в шезлонге у себя во дворе, позади дома, и жалел, что не может летать. Потому что, сколько себя помнил, страстно желал подняться ввысь. Взять и подняться прямо в небо и увидеть все вокруг — далеко-далеко. Чтобы стать летчиком, нужны время, деньги, образование и возможности, а у Ларри ничего этого не было. Планеризмом он заниматься не хотел: дело опасное, да и места подходящие все не близко. Так и просидел Ларри много-много летних дней у себя во дворе в стареньком шезлонге — простой такой металлический стульчик с заклепками и натянутым полотном, какой, наверное, стоит в любом дворе — хоть в вашем.

Следующую главу этой истории поведали газеты и телевидение. Вот он, дружище Уолтерс, в небе над Лос-Анджелесом! Полетел-таки. Поднялся ВВЫСЬ! По-прежнему сидя в своем шезлонге, только теперь шезлонг прикреплен к сорока пяти метеорологическим зондам, наполненным гелием. Ларри прихватил с собой парашют, рацию, шесть банок пива, немного арахисового масла, бутерброды с джемом и духовое ружье — стрелять по шарам, когда надо будет спускаться на землю. Но вместо того чтобы подняться над округой, скажем метров на шестьдесят, Ларри взмыл на три с лишним километра, прямо через взлетно-посадочную зону международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Уолтерс — человек неразговорчивый. Когда журналисты спросили его, зачем он это сделал, то услышали в ответ: «А чего на месте сидеть?» На вопрос, страшно ли было, Ларри ответил: «Страшно, но здóрово!» На вопрос, полетит ли еще, он сказал: «Не-е». А когда спросили, доволен ли, что слетал, Ларри расплылся в улыбке: «Ага. Очень!»

Человечество сидит на земном стуле. И, казалось бы, всем понятно, что больше ничего не остается делать. А такие земляне, как Ларри, привязывают свои стулья к воздушным шарам и взлетают, подчиняясь воле мечты и воображения.

Человечество сидит на земном стуле. И,

казалось бы, всем понятно: таков уж удел человека — оставаться на Земле. А такие земляне, как Ларри, взмывают ввысь, ибо верят — все осуществимо! И шлют с трехкилометровой высоты иную весть: «Взлетел! Смотрите, я взлетел! Я ЛЕТАЮ!»

Сила духа — вот что важнее всего. Быть может, ждать придется долго. Быть может, средство окажется необычным или неожиданным. Но если мечта проникла в самую душу, а воображение упорно ищет любое доступное средство — то и невозможное становится возможным.

Стоп! Сейчас какой-нибудь неисправимый пессимист из числа вечных сторонних наблюдателей, конечно, заявит, что все равно *по-настоящему* люди летать не могут. Во всяком случае, как птицы. И он прав. Но наверняка живет где-нибудь одержимый мечтой человек с лихорадочно блестящими глазами; и он, запершись в своей маленькой мастерской, глотает витамины и минеральные добавки и отчаянно машет руками, как крыльями,— быстрее, еще быстрее, как можно быстрее!

* * *

Первый раз это произошло в квартире тети Виолетты в посольском районе Вашингтона — в то лето мне исполнилось тринадцать. Поездом добрался я из далекого Уэйко (штат Техас) посмотреть Город на Потомаке. Тетя Виолетта — матерая карьеристка, очаровательная верхоглядка и честолюбивая гурманша — считала мою мать «язвой» и всем этим вместе взятым полюбилась мне. Мы с ней прекрасно ладили. Но в вечер «большого приема» все кончилось.

Состав гостей впечатлял: сенатор, два генерала, избранные иностранцы со своими избранными дамами. Для провинциального мальчишки — целое событие; тетя Виолетта по такому случаю обрядила меня в костюм из легкой полосатой ткани и галстук-бабочку. Très chic![1] Я великолепен!

Но не во всем. Меня попросили помочь приготовить кое-что к обеду, вручили бумажный пакет, велели помыть содержимое и тонко-тонко порезать — для салата. А в пакете лежали — грибы! Противные, бурые в крапинку, с волнистыми краями — бр-р-р!

Уж я-то грибы видел и хорошо знал, где они растут — в темных, покрытых слизью уголках сарая и курятника. Однажды поселились даже в моих теннисных тапочках, которые я на все лето забыл в шкафчике в раздевалке спортзала. Есть еще грибки — я это знал, потому что у меня самого они появились на ногах между пальцев, когда я целый год носил, почти не снимая, одни и те же теннисные тапочки. Но мне никогда и в голову не приходило *трогать*: грибы и уж тем более мыть, резать и *есть* их! (Отец говорил мне, что Вашингтон — город странный и нехороший, и теперь я понял, почему он так говорил.) И я потихоньку спустил пакет в мусоропровод — думал, с мальчишкой-провинциалом хотят сыграть «городскую» злую шутку.

Те грибы, наверное, были какие-нибудь дорогие и редкие — ведь старая тетя Виолетта просто взбеленилась, когда обнаружила пропажу. Я и поныне убежден, что именно из-за той истории она исключила меня из завещания, как выяснилось после ее смерти. Я не был комильфо. Признаться, до сих пор к грибам и тем, кто их ест, я отношусь весьма подозрительно. Хотя при необходимости я, конечно же, проявляю показную цивилизованность и притворную утонченность — можете быть уверены, ее вполне достаточно, чтобы на приемах есть что предлагают, а отвращение оставить при себе. Внешне я нормальный, спокойный гость, но я так и не понял,— по крайней мере, до конца,— что́ же такое грибы и те, кто их ест.

Вообще много всего на свете такого, чего я до конца не понимаю — и мелочи, и кое-что покрупнее. Я даже составил список, и чем старше становлюсь я, тем длиннее становится список. Вот, например, несколько вопросов, которые добавились в нынешнем году:

Почему у магазинных тележек одно колесо — само по себе и двигается боком по отношению к трем остальным?

Почему многие закрывают глаза, когда чистят зубы?

Почему люди думают, что если кнопку лифта нажать несколько раз, то он придет быстрее?

Почему нельзя писать слова, особенно иностранные, как слышишь — так же проще?

Почему многие, бросив письмо в почтовый ящик, приподнимают крышку и проверяют — упало ли оно на дно?

Почему зебры — в полоску?

Зачем многие ставят в холодильник пакет молока, в котором молока осталась самая малость на донышке?

Почему нет традиционных гимнов в канун Дня всех святых?

Почему на каждом дереве найдется хотя бы один упрямый сухой лист, который не опадает вместе с остальными?

Означают ли что-нибудь модные нынче одеколоны для собак?

Конечно, все это не назовешь секретами промышленной мощи. Самое важное и трудное из непонятного мне с давних пор находится в начале списка. Например, что такое электричество? И как голуби находят обратный путь к дому? И почему нельзя добраться до конца радуги? А в самом-самом начале списка всего непонятного мне находятся действительно важные вопросы. Например, отчего люди смеются? И для чего вообще существует искусство? И почему Бог не хочет что-нибудь исправить или завершить свои труды? И наконец, среди первых стоят вопросы типа: зачем жизнь? И как это мне придется умереть?

Вот тут-то самое время вспомнить о грибах. Недавно на Новый год я был в гостях, и нам подали салат с грибами. Я снова вспомнил о них и призадумался. А после достал энциклопедию и кое-что оттуда вычитал о них. Грибы имеют тело, спорофор гриба. Они принадлежат к малодоступному для глаз темному миру — составная часть смерти, болезни, разложения, гниения. Живут за счет того, что питаются раз-

[1] Шикарно! *(франц.)*

лагающимися веществами. Дрожжи, головня, ложномучнистая роса, плесень, грибковые образования — может, сто тысяч различных видов, а может, и больше, точное их число неизвестно.

Они есть всюду: в почве, атмосфере, озерах, морях, реках, пище и одежде, внутри вас, меня и любого человека. И всюду они вершат свои дела. Без грибов не было бы ни ломтя хлеба, ни кувшина вина, ни даже вас, любезный читатель. Хлеб, вино, сыр, пиво, хорошая компания, вкусные бифштексы, изысканные сигары — всюду плесень. Грибы, как сказано в умной книге, «отвечают за распад органических веществ и попадание в почву или атмосферу углерода, кислорода, азота и фосфора, которые в противном случае навсегда оставались бы в погибших растениях, животных, а также людях». Грибы — повивальные бабки, существующие на границе жизни и смерти, смерти и жизни, и так далее, и так далее, и так далее.

Здесь скрыт жуткий и удивительный закон, а именно: любой живой организм живет лишь тогда, когда с его дороги уходит другой живой организм. Нет ни жизни, ни смерти, ни исключений. Все должно приходить и уходить: люди, годы, мысли — все. Вертится колесо, и отжившее уходит, питая собою новое.

Я тыкал вилкой в тот новогодний салат и ел грибы с признательностью и чуть ли не с восхищением. Размышляя о том, что уходит и приходит. Погружаясь в благоговейное молчание от того, что понимаю, но не могу выразить. Уносимый благодатью все дальше и дальше туда, где я вижу, но сказать ничего не могу.

* * *

В. П. Менон был крупным политическим деятелем в Индии во время борьбы за независимость после второй мировой войны. Среди приближенных вице-короля он был самым высокопоставленным индийцем, и именно к нему лорд Маунтбеттен обратился для выработки окончательного проекта хартии независимости. В отличие от большинства лидеров освободительного движения Менон всего добивался только сам. На стенах его кабинета не красовался диплом Оксфорда или Кембриджа, и на пути к цели он не опирался ни на кастовые, ни на родственные связи — их не было.

Менону, старшему из дюжины детей, в тринадцать лет пришлось оставить школу; он был чернорабочим, трудился в шахте и на фабрике, торговал, учительствовал. Он упросил, чтобы его взяли на работу мелким государственным служащим. Начался его стремительный взлет — Менон был честен и умел сработаться как с индийскими, так и с британскими чиновниками. Он был одним из тех, кто принес подлинную свободу своей Родине, и о нем с высочайшей похвалой отзывались и Неру, и Маунтбеттен.

Всем особенно запомнились две его черты: бесстрастная, отстраненная деловитость и постоянное личное участие и душевность. После смерти Менона его дочь поведала о том, откуда взялось это милосердие. Когда Менон приехал в Дели искать места в правительственном учреждении, то на вокзале его обокрали: вещи, деньги, документы — все исчезло. Домой бедняге пришлось бы возвращаться пешком. Отчаявшись, он рассказал о своих бедах старому сикху и попросил у того взаймы пятнадцать рупий — продержаться, пока не подыщется работа. Сикх дал ему денег. Когда же Менон спросил, по какому адресу вернуть долг, старик ответил, что отныне Менон должен любому незнакомцу, который обратится к нему в беде. Помощь пришла от незнакомца, значит, и вернуть долг надо незнакомцу.

Всю жизнь помнил Менон об этом долге — и о помощи, и о пятнадцати рупиях. Его дочь рассказывала, что накануне смерти в дом Менона в Бангалоре постучался нищий — ему не на что было купить сандалии, и ноги его были изранены. Менон попросил дочь взять из кошелька пятнадцать рупий и отдать их нищему. То был его последний сознательный поступок.

Все это я узнал от совершенно незнакомого человека — мы стояли рядом у камеры хранения Бомбейского аэропорта. Мне надо было забрать багаж, а рупий совсем не осталось. Дорожные чеки в кассе не принимали, и я запросто мог так и не получить багаж, а значит, и на самолет опоздать. И вот этот человек, сосед в очереди, оплатил мою квитанцию — центов восемьдесят,— а поскольку я все приставал, как же вернуть ему долг, рассказал мне эту историю. Его отец был помощником Менона, сам проникся участием к людям и сына тому же научил. И сын везде и всегда считал себя должником всех незнакомцев.

Вот так — от безызвестного сикха — к государственному деятелю Индии, от него — к помощнику, от того — к сыну, а от сына — ко мне, белому чужеземцу, оказавшемуся в почти безвыходном положении. Деньги, конечно, небольшие, да и положение было не из безвыходных, но смысл этой помощи бесценен, и с тех пор я — счастливый должник.

Несколько раз, размышляя над библейской притчей о добром самарянине, я думал о том, что осталось за рамками притчи. Каким стал ограбленный и избитый человек, познав милосердие и добро? Что запомнилось ему — жестокость грабителей или же тихая доброта самарянина? И на чем строил он свою жизнь дальше — на мести или же на сознании вечного долга перед незнакомыми? И если ему встречались совсем чужие люди, попавшие в беду,— чем оделял их он?

Самым значительным событием нынешнего лета стала для меня неделя, проведенная в городке Уизер, штат Айдахо.

Наверное, поверить в это трудно, потому что, взглянув на карту штата, видишь, что Уизер — страшная глухомань. Но для тех, кто играет на скрипке, Уизер в штате Айдахо — центр Вселенной. Здесь в последнюю неделю июня проводится Всеамериканский фестиваль игры на скрипке в старом стиле. Когда-то я этим делом тоже баловался, вот и решил съездить.

Вообще в городке проживают четыре ты-

сячи жителей. На фестиваль съезжаются с гор, из прерий и лесов еще пять тысяч. И тогда Уизер бурлит круглые сутки: прямо на улицах играют скрипачи, в самом большом зале устраивают танцы, в местном ресторанчике «Вигвам сохатого» предлагают жареных цыплят, а на стадионе для родео шумит бесплатный кемпинг.

Музыканты и слушатели прибывают отовсюду: из Поттсборо, штат Техас; из Сепульпы, штат Оклахома; из Фиф-Ривер-Фолс, штат Миннесота; из Колдуэлла, штат Канзас; из Три-Форкс, штат Монтана, и еще из многих и многих крошечных американских городишек и деревушек. И даже из Японии!

В прежние годы фестиваль собирал в основном жителей глубинки — публику исключительно «натуральную»: короткие стрижки, церковь по воскресеньям, «бабы должны знать свое место» — ну и так далее. Затем начали появляться длинноволосые хиппи — «извращенцы». Но вот на скрипке играть эти самые «извращенцы» умели так, что дух захватывало. А это главное.

И городок принял «волосатиков», предоставив для прослушивания школу и двор возле нее. Члены жюри сидели в отдельной комнате, откуда они могли лишь слышать музыку. Исполнителей они не видели и имен их не знали — только слышали скрипку. Один пожилой слушатель выразился так: «Вот что, парень: мне все равно — пусть ты выйдешь хоть в чем мать родила, хоть с костью в ноздре. Раз играть умеешь, значит, наш человек. Главное — не какой ты, а какая у тебя музыка».

И вот я стою посреди ночи в залитом лунным светом городке Уизер, штат Айдахо, а вокруг почти тысяча людей, и все они пощипывают струны, водят смычками и поют. У кого-то лысина, а у кого-то волосы до колен; у кого-то в руках сигарета с марихуаной, а у кого-то бутылка пива с узким длинным горлышком; на ком-то бусы, а на ком-то майка с надписью «Арчи Банкер»; кому-то восемнадцать, а кому-то восемьдесят; на ком-то корсет, а на ком-то даже лифчика нет — а музыка парит в ночи надо всеми, точно фимиам, поднимаясь все выше, к неведомым богам мира и согласия. Я стою среди этой толпы, и вдруг полицейский — настоящий, обыкновенный уизерский полицейский, который рядом со мной *бренчит что-то на банджо* (клянусь!) — говорит мне: «Все-таки иногда мир не так уж плох, а?»

И я согласен с ним, еще как согласен! Ведь он прав.

Бренчи, брат, на своем банджо, и пусть не умолкает музыка...

В Сан-Диего есть зоопарк и заповедник — считается, один из лучших в мире. Я недавно провел там целый день — ведь я большой любитель зоопарков. Взрослый в зоосаду себя чувствует прекрасно, там так хорошо хоть ненадолго отвлечься от обыденности.

Вот вы, например, присматривались когда-нибудь к жирафу? Ведь это какое-то невероятное создание! Если рай существует и мне удастся туда попасть (хотя я не очень-то верю ни в первое, ни во второе), если *все-таки* удастся, то среди прочего обязательно спрошу о жирафах.

Рядом со мной у вольера стояла маленькая девочка, и она спросила свою маму как раз о том, о чем я думал: «А зачем он нужен?» Мама не знала. А сам жираф знает, зачем он нужен? Или ему все равно? И задумывается ли он вообще о своем месте в окружающем мире? Хоть язык у жирафа черный и очень длинный — 27 дюймов: почти 70 сантиметров! — голосовых связок у него нет. Жирафу нечего сказать. Он просто продолжает свое жирафье житье-бытье.

Кроме жирафа я видел вомбата, утконоса с утиным носом и орангутанга. Они невероятные! Орангутанг — точь-в-точь мой дядя Вуди. Дядя в общем-то тоже существо невероятное. Ему место в зоопарке. Так его жена говорит. И это наводит меня на мысль: а что, если бы в зоопарках и в самом деле держали *человеческих* особей?

Об этом я подумал, когда смотрел на львов: благородного вида самец и шесть львиных дам. Похоже, в зоопарке им живется совсем недурно. Львы настолько плодовиты, что львицам вынуждены были установить внутриматочные спирали. Львам особенно и делать-то нечего — знай себе ешь, спи, блох чеши да львиц ублажай без особых осложнений. Зоопарк обеспечивает питание, размещение, медицинское обслуживание, присмотр в преклонном возрасте и достойное погребение. Мечта, да и только!

Мы, люди, очень гордимся, что человек — единственное разумное, мыслящее существо, и делаем заявления типа «неосознанная жизнь недостойна человека». А я смотрю на жирафов, львов, вомбатов и всяких там с утиными носами и думаю, что я тоже не прочь пожить неосознанной жизнью. Понадобись зоопарку экземпляр человека — я бы согласился. Меня, безусловно, можно считать представителем вида, которому грозит исчезновение. А осознавать свою жизнь иной раз бывает ой как муторно!

Представьте себе: идете вы с детьми мимо огромной, обжитой клетки, в ней повсюду разбросаны окурки сигар, пустые коньячные бутылки и обглоданные косточки — остатки пиршества, а на солнцепеке похрапывает старина Фулгам в окружении шести очаровательных дам. Ваш малыш покажет на меня пальчиком и спросит: «Зачем он нужен?» А я зевну, приоткрою один глаз и скажу: «Не все ли равно — зачем?» Я же говорил: в зоопарке хорошо отвлекаешься от обыденности.

И лев, и жираф, и вомбат, и все остальные просто живут как живется и всегда остаются такими, какие они есть. И при этом все же умудряются вести свою неосознанную жизнь там, в клетке. Но быть человеком — это знать, думать, спрашивать. Беспрестанно трясти клетку существования и кричать камням и звездам: «Зачем вы нужны?» — а из эхом возвращающихся ответов создавать тюрьмы и дворцы. В этом — наши поступки, в этом — наша суть. Оттого-то интересно в зоопарк сходить, ну а жить там — нет уж, увольте!

Эту историю я назвал «Загадка Двадцать пятой северо-восточной авеню». Она

раскрывает фундаментальные, чуть ли не вселенские законы. А говорится в ней просто-напросто о том, как мы жили одно время в самом конце тупиковой улочки — всего два квартала домов,— упиравшейся в подножие холма.

Прежде всего надо сказать, что улочка была малопривлекательная — то есть, *никак не манила* пройтись или проехать по ней: узкая, извилистая, загроможденная. Фургон Эда Уэтерса, принадлежащая его брату двухтонка производства «Дженерал моторс», старый автоприцеп Диллсов — вот лишь малая часть автопрепятствий. Но с Девяносто пятой улицы она все же просматривалась до самого конца.

На Девяносто пятой висели два указателя — по одному на каждой стороне. Огромные желтые щиты с черными буквами. На обоих — одинаковая надпись: «ТУПИК». А дальше, уже в конце нашей улицы, висел еще один указатель: огромный, черный, с белыми буквами, с полосками, со световыми отражателями — в общем, все как надо. И на нем надпись: «ТУПИК». О тупике знак предупреждал четко, ибо висел прямо по центру и виден был издалека.

И что же вы думаете? Люди *все равно* ехали дальше, до самого конца. Не чуть-чуть дальше, заметьте, и не до того места, где уже и дураку понятно, что указатель не обманывает. Нет, мой читатель! Они проделывали весь путь, подъезжали прямо к указателю — огромному, черному, с полосками, тому самому, что предупреждал: «ТУПИК».

Они читали надпись: раз, другой, третий. Словно иностранцы, которым нужно перевести — тогда поймут. Они смотрели направо и налево: искали — нельзя ли где объехать. Некоторые потом еще сидели две-три минуты в машине: соображали, в чем дело. Затем давали задний ход и пытались развернуться как можно ближе к знаку. При этом занимали все пространство между нашей лужайкой, клумбой ярких ноготков соседки, миссис Полски, и кустами ежевики на противоположной стороне и, как правило, мяли всего понемногу. Но вот машина развернулась, и теперь водитель, казалось бы, должен медленно, в задумчивости тронуться в обратный путь. Не тут-то было! Машина с ревом срывается с места и мчится так, будто удирает от какой-то ужасной опасности. И так — всегда и абсолютно все, кто бы и на чем бы ни приехал, и средь бела дня, и непроглядной ночью. Полицейские машины и те раза два побывали, а однажды и огромная пожарная припожаловала.

Что это — врожденная недоверчивость или врожденная глупость? Честно говоря, я и сам не знаю. Мой друг-психиатр сказал, что это пример подсознательной потребности отрицать — каждому хочется, чтобы дорога, то есть Путь, *никогда* не кончалась. Потому-то едут и едут дальше, сколько можно — даже наперекор четкому указателю. Каждому хочется верить, что для него дорога не кончится, что он исключение. Но, увы, дорога кончается для всех...

Теперь я это вспоминаю и думаю: а что, если бы я тогда напечатал слова друга-психиатра на карточках, карточки положил бы в ящичек, прикрепил его к указателю «ТУПИК» и оставил рядом такую записку: «Бесплатные памятки для всех желающих узнать, почему они сюда заехали». Так вот, сделай я тогда так, что было бы? Заинтересовались бы? Прочитали? Если да — то что изменилось бы? Поберегли бы люди лужайку, ноготки и ежевику? И ехали бы назад помедленнее?

А может, надо было на вершине холма повесить указатель с такой надписью: «В КОНЦЕ УЛИЦЫ — ПРИДОРОЖНАЯ СВЯТЫНЯ. ПРИЕЗЖАЙТЕ ВЗГЛЯНУТЬ НА ВЫСШИЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ». Интересно, что произошло бы с уличным движением?

И сделай я так, стал бы я тогда знаменитым гуру? По имени Свами Тупиками.

Но мы оттуда переехали, и узнать мне об этом — не судьба.

Пришел как-то к своему раввину один человек — горем поделиться. Раввин тот был старый, мудрый и добрый — такими стремятся стать все раввины.

— Равви! Я несчастен! — воскликнул человек, ломая руки.— Мне удается меньше половины всех дел, за которые берусь.

— Вот как?

— Что мне делать? Прошу вас, научите, как быть!

Раввин надолго задумался, а потом ответил:

— Сын мой, вот тебе мудрый совет: возьми альманах «Нью-Йорк таймс» за тысяча девятьсот семидесятый год, открой страницу девятьсот тридцать, прочти — может, и найдешь утешение.

— Ага...— удивился человек, ушел и сделал как сказано.

И что же он там прочитал? Среднестатистические данные о результативных ударах прославленных бейсболистов за всю их спортивную жизнь. Тай Кобб, которому по силе и меткости не было равных, набрал всего 0,367 очка. А Малыш Рут — и того меньше.

Человек снова пришел к раввину и недоуменно спросил:

— Неужели у Тая Кобба так мало очков?!

— Да, так мало. Из трех его ударов успешным бывал лишь один. Кобб даже до половины не дотянул. Так чего же *ты* хочешь?

— Ага...— удивился человек: ведь он себя в неудачники записал оттого, что только половина всех дел, за которые брался, получалась.

Теология — великая сила, и священных книг на свете — не счесть.

Интересно, доводилось ли вам, будучи в гостях — на званом обеде, на вечеринке или еще как,— заходить в ванную? А там, в ванной, заглядывали вы когда-нибудь в аптечку? Так, просто любопытства ради? Не пробовали вы хотя бы однажды рассмотреть все в ванной хорошенько?

Один мой друг всегда так поступает. Он проводит социологическое исследование, чтобы получить докторскую степень. Он

рассказывал, что многие делают то же самое, хотя вовсе не собирают материал для диссертации. Говорят об этом редко — каждый считает, что он один так делает, а кому же хочется, чтобы о нем Бог знает что подумали?

Мой друг утверждает, что если тебе интересно знать правду о человеке — обязательно зайди к нему в ванную. Достаточно заглянуть в ящики, в шкафчики и на полки; достаточно взглянуть на халаты, пижамы и ночные рубашки, висящие на крючках за дверью,— сразу все станет ясно. Друг утверждает, что все привычки, надежды, мечты, печали, болезни, комплексы и даже сексуальные особенности — все открывается в одной-единственной комнатке.

Друг утверждает, что по натуре большинство людей — неряхи. И что глубочайшие тайны человечества распиханы по укромным уголкам и щелям ванной комнаты — сюда мы приходим, чтобы побыть наедине с собой, поспорить с отражением в зеркале, причесаться, поскрести и почистить щеткой шкуру, привести в порядок перышки, подготовить к новому дню и обласкать стареющие и слабеющие тела, смыть с себя грязь и усталость, накраситься и надушиться, поразмышлять и посоветоваться со своим оракулом и попытаться изменить свою судьбу к лучшему.

Друг утверждает, что ванная может сказать обо всем. Обо всем скажут баночки, флаконы, тюбики, коробки, склянки. Микстуры, мази, снадобья, аэрозоли, приспособления, лосьоны, духи, мыло, пасты, таблетки, кремы, салфетки, порошки, лекарства и всевозможные приборы — электрические и обыкновенные. Чудеса всех времен.

Друг утверждает, что, по его наблюдениям, ванные часто похожи друг на друга, отчего у него возникает мысль об удивительном единстве рода человеческого.

Я вовсе не призываю к массовым занятиям спелеологией в чужих ванных. Но зато я пошел в свою и взглянул на нее повнимательнее. И мне сразу все стало ясно. Да так, что хоть смейся, хоть плачь.

Зайдите в свою — и взгляните хорошенько. А отныне, если соберетесь ко мне в гости, будьте так добры, попользуйтесь перед тем, как отправиться, собственной ванной. Ибо моя для посторонних — закрыта.

Клялся и божился, что никогда не пойду на встречу одноклассников, и все-таки пошел — как-никак тридцатилетие выпуска. «Ребят» из своей родной школы, что в самом центре Техаса, я последний раз видел на прощальном вечере.

Стоило лишь мельком взглянуть на них — и худшие мои опасения подтвердились: лысины, седины, морщины, отвислые животы и признаки больной печени.

Старики. Мы превратились *в стариков,* подумал я. Так скоро! И теперь уж все идет на убыль. Впереди только немощь, болезни, дряхлость — а там и смерть не за горами. На меня вдруг навалилась усталость. Я замедлил шаг, начал заметно прихрамывать. В голову полезли мысли о завещании, о том, что к погребению надо что-то подготовить...

Недуг этот длился ровно полминуты. А затем как рукой сняло — до того ярко вспомнились двое мужчин, которых повстречал тем летом на автостоянке в Бернсе, штат Орегон.

Одного звали Фред Истер, а второго — его хорошего друга — Лерой Хилл. Фреду — шестьдесят восемь, Лерою — шестьдесят два. Они ехали на велосипедах из калифорнийского городка Пизмо-Бич в канадскую провинцию Альберта, чтобы посмотреть родео в Калгари. Сидели они однажды на скамеечке, на пляже, читали газету, а там как раз про родео было написано. «Едем!» — предложил один из них, и они собрались да поехали. И вот теперь на обратном пути прибыли в Бернс, где я их повстречал,— в ярких спортивных костюмах, на модных гоночных велосипедах со всеми причиндалами. Я спросил Фреда Истера, как же они решились, и тот засмеялся: «А очень просто, сынок! Хе-хе! Приспичило нам — вот и все!»

Им предстояло проехать почти шесть тысяч миль — через Колорадо и Большой Каньон. Домой рассчитывали попасть не раньше октября, если, конечно, по пути не встретится еще что-нибудь занимательное. Куда да и зачем спешить?

Эта встреча «выпрямила» меня: я будто стал выше, стройнее, моложе, красивее. Я начал прикидывать на будущее: чем заняться, где побывать, в чем попробовать свои силы за те долгие годы, что у меня впереди.

Так что до встречи на родео в Калгари в 2004 году. Узнаете меня по велосипеду с такой надписью: «ЛИБО В ПИЗМО-БИЧ, ЛИБО НА ТОТ СВЕТ!»

* * *

Летний вечер. Крыльцо загородного дома моего деда. При свете старого шипящего фонаря идет ожесточенная игра в «бабульку»[1] — я сражаюсь с пятью матерыми картежниками, каждый из которых не старше десяти лет. Это мои племянники и их друзья. Я выполняю обязанности «няньки» — так мне кажется, но для них я — «новенький», самый слабый в компании игрок.

Мы лакомимся воздушной кукурузой с виноградным джемом и запиваем сласти молоком, нажимая на картонный пакет так, чтобы струйка била прямо в рот, и потом торжественно передаем пакет дальше по кругу. На голове у каждого ковбойская шляпа, и мы все пожевываем спички и ковыряем ими в зубах. Шляпы и зубочистки должны быть обязательно, ведь когда играешь в карты, вид должен быть *очень* серьезный.

А партнеры у меня и впрямь сильные и ужасно хитрые — в общем, махровые картежники. Я три раза подряд был «бабулькой», и мне почти нечего на кон ставить — осталось лишь девять конфет и четыре цента. Все мы жухаем, как только можем. У одного из них, по-моему, есть лишняя колода, и он под столом меняет карты себе и остальным. Доказательств у меня нет,

[1] Простая карточная игра наподобие «акулины».

но я в этом почти уверен. Как бы там ни было, от полного разорения в компании этих преступных элементов меня спасли мотыльки.

Они целой стайкой кружили вокруг старого фонаря. То и дело какой-нибудь из них обжигался, слышалось «з-з-ш-ш-ш», мотылек отделялся от остальных и падал, как истребитель в плохо снятом боевике. В конце концов один из них рикошетом отлетел в ближайшую паутину; паук схватил бедного мотылька, обмотал его липучкой и тут же принялся высасывать из него соки, да так быстро и безжалостно, что игра наша сразу прекратилась. Любому головорезу из числа «зеленых беретов» стоило бы поучиться у этого ядовитого акробата о восьми ногах, как пользоваться удавкой-гарротой.

Детям эта жуткая сцена убийства очень понравилась. Один из мальчишек до того вдохновился, что встал из-за стола, скатал газету в трубку и устроил Варфоломеевскую ночь оставшимся мотылькам. Точно заправский бейсболист, отрабатывающий подачу, он на лету сбивал их и одним ударом приканчивал, размазывая по столу крошечные пушистые останки.

Я бросился защищать мотыльков. Мало того, что они летят на свет фонаря и гибнут, словно камикадзе! Мало того, что пауки ловят их себе на обед! А тут еще и мальчики решили на них поохотиться с газетами — куда же несчастным мотылькам деваться?! Спрашиваю одного малыша:

— Зачем же ты убиваешь бедных мотыльков?

— А они *плохие!* — отвечает он.

— Да, это *все* знают! — подхватывает другой.

— Да! Они *одежду едят!*

И я не мог их переубедить. *Все* мотыльки *плохие.* А *все* бабочки *хорошие.* Вот так. Мотыльки и бабочки — разные. Мотыльки противные, они везде ползают и потихоньку, в темноте, грызут свитер. А бабочки красивые, они всегда летают днем и любят цветы. Ничего другого малыши и слушать не хотели — что есть полезные мотыльки-шелкопряды, которые дают людям шелк, и есть опасные ядовитые бабочки. С непреклонностью, какой позавидовал бы Жан Кальвин, мотыльков приговорили к смерти раз и навсегда, аминь! Устами младенца глаголет не только истина, но и всякая дрянь.

Игра окончательно распалась. Я ушел, заявив напоследок, что не хочу играть в карты с убийцами, а они в ответ кричали, что тоже не хотят со мной играть, потому что я съел весь виноградный джем, пока никто не видел. Я ложился спать и думал: если будущее в руках таких маньяков — плохи наши дела.

На следующее утро самый младший из бандитов принес мне большого мертвого мотылька и увеличительное стекло.

— Посмотрите! — сказал он.— Этот мотылек похож на маленького плюшевого медвежонка с крылышками, а на голове у него — перышки!

— А тебе нравятся плюшевые медвежата?

— Нравятся...

— А летающие плюшевые медвежата с перышками на голове?

— Да, тоже нравятся...

Так я еще раз оказался «бабулькой».

Каждому из нас надо хотя бы иногда самому поступать так, как учишь других; если уж по-доброму, милосердно относишься к мотылькам, то придется и к малышам быть великодушнее. Есть такие мотыльки, что дают нам шелк. Есть такие малыши, что дают нам благоразумие.

В прошлый вторник позвонил мой дед Сэм и спросил, не отвезу ли я его куда-нибудь на футбол. Дед любит смотреть, как играют старшеклассники из провинциальных городков или же дворовые команды — эти ему особенно по душе. Дед болеет за любителей и на большее не замахивается. Одни все думают: почему это плохим людям так везет; другие — почему это хорошим людям так не везет. А вот моему деду интересно, отчего это с обыкновенными людьми происходят *чудеса.* Дед и здесь верен себе: на большее не замахивается.

Когда не ахти какие ребята из не ахти какой команды из не ахти какого городка бросают вызов — а им терять нечего — первоклассным, прекрасно экипированным спортсменам из состоятельных семей и обрушивают на противника град мячей уже от линии своих ворот, а их тщедушный вратарь-новичок ловит три мяча подряд и приносит команде победу, тогда — ну как не порадоваться!

Как говорит дедушка Сэм, закон Мерфи действует не всегда. Порой основополагающие законы природы словно теряют силу, но все идет не просто хорошо, а так, будто ничто не может помешать благополучному исходу. Конечно, эффектно смотрится, когда забивают голы через все поле, а замухрышка отражает все атаки и побеждает, но бывают примеры и поскромнее.

Случалось ли вам, моя посуду, так уронить стакан, что он двадцать раз о раковину ударится — и ни одной щербинки! Случалось ли вам, подойдя после работы к своему автомобилю, вдруг обнаружить, что утром вы забыли выключить фары и теперь аккумулятор сел, но зато вы оставили свою колымагу на возвышении, откуда она — лишь толкни — легко скатывается, а потом с первого раза заводится, и вы, дав полный газ, мчитесь с легким сердцем! Случалось ли вам, выдвигая ящик письменного стола, полный годами копившегося хлама, в спешке дернуть его на себя так, что еще миг — и он изрыгнет содержимое по всей комнате; но в этот самый миг вы успеваете подставить под ящик колено и прыгаете на одной ноге, пошатываясь и балансируя не хуже великого Дзуккини,— и трюк удается! И еще: избежали неминуемого столкновения на перекрестке; задели стакан с молоком — но тот, провальсировав по столу, все-таки не опрокинулся; забыли вовремя внести вклад в банк, и ваши чеки чуть было не оказались недействительными, но срок оплаты пришелся на выходной, о котором вы совсем забыли, и у вас есть лишний день — вы спасены; у вас в груди обнаружили опухоль — а она оказалась доброкачественной; испугались сердечного приступа — а это всего-навсего живот бо-

лел; выбрали правильный, как потом выяснилось, ряд в транспортной пробке — раз в кои-то веки; с первой попытки открыли крючком от вешалки заклинившую дверцу машины, просунув вешалку через боковое окно. И так далее, и так далее, и так далее.

Маленькие чудеса! Изо дня в день они происходят с обычными людьми. Тогда не только не случается самое худшее, но иной раз вообще не происходит ничего особенного, или же просто самая малость удается на славу. Есть благодать в том, когда вдруг минуешь неминуемую напасть — ну разве плохо хотя бы однажды легко отделаться! Есть восторг в том, когда вдруг становится возможным невозможное — ну разве не здорово, хотя бы для разнообразия победить значительно превосходящие силы! Есть тихая радость в том, когда видишь, что с самого утра день задался, хотя был он обычным — просто все шло своим чередом.

Мой дед говорит, что каждый вечер перед сном он благодарит Бога за то, что и в этот день дед *ел,* но *не был съеден.* Вот его молитва: «А теперь я отправляюсь на покой. Блаженный покой тех любителей, кому предназначено так много благословений. Благодарю тебя, Господи, за все, что было хорошо! Аминь».

Мы пристрастились к каталогам и рекламным проспектам. Мы — это я и моя жена. С каталогами ведь как бывает: если уж приходят, то все, какие только есть. Особенно осенью — почтовый ящик просто ломится от них. Вечерами, после ужина, мы с женой садимся у камина и добросовестно перелистываем все каталоги, изумляясь обилию красивых и нужных вещей, которых у нас нет и о существовании которых мы даже не подозревали. Вот так же в былые дни от каждого нового каталога «Сиэрс» разгоралось пламя желания приобретать еще и еще.

Жена спросила, чего у меня нет из того, что хочется *по-настоящему.* Я назвал не все, что пришло на ум, и когда мысленно отбросил всякую смехотворную ерунду, предназначенную для удовлетворения жадности, чревоугодия и сладострастия, то настроился на более серьезный лад. Итак:

Мне бы хотелось хотя бы один день смотреть на мир другими глазами, побыть в шкуре другого человека.

Мне бы хотелось, чтобы вернулось одно счастливое для меня летнее утро 1984 года.

Мне бы хотелось в совершенстве владеть десятью иностранными языками, чтобы оценить дух и юмор других народов.

Мне бы хотелось побеседовать с Сократом и посмотреть, как Микеланджело ваял своего «Давида».

И так далее, и тому подобное. Увлекшись разговором, мы засиживаемся до глубокой ночи. А ведь ни один рекламный проспект не возбудит таких желаний, ибо рождены они воображением и тоской по недосягаемому и хранятся в тех же уголках души, откуда появляются сны и мечты.

Ну а больше всего — больше всего мне бы хотелось, чтобы был жив мой дед. Оба моих деда для меня — загадка. Деда по отцу в 1919 году застрелили в техасской пивной. В том же году пропал без вести и дед по матери: однажды утром он пошел на работу — и не вернулся. Как и почему это случилось — я до сих пор не знаю, а те, кто знает, молчат. Мое буйное воображение рисует портрет такого деда, *будь* он у меня: мудрый и по-настоящему величественный старик, немного философ, немного кудесник и даже немного шаман.

И тогда дед позвонил бы мне, например, на этой неделе и спросил: «Слышал новость? Новую солнечную систему сфотографировали!» А затем рассказал бы, что в центре системы находится звезда в два раза больше и в десять раз ярче нашего Солнца — Бета Живописца. А вокруг нее вращается огромное скопление твердых частиц, имеющее форму диска диаметром около сорока миллиардов миль. И возможно, некоторые из этих частиц — планеты. От Земли до этой системы почти пятьдесят световых лет — *страшно далеко,* целая вечность. А потом дед велел бы мне заехать за ним, и мы вместе отправились бы наблюдать звезды и проговорили бы ночь напролет.

Мы бы полюбовались Венерой и Юпитером при наибольшем их сближении с яркой Лямбдой Стрельца. А вон там, высоко-высоко в юго-западной части небосвода, скачет огромный крылатый конь — Пегас. Почти прямо над нами виднеется пятно: туманность Андромеды. А вот и Млечный Путь — он еще с лета дугой раскинулся на запад и восток. А случись нам заметить падающую звезду, то дед пустился бы в воспоминания о комете Галлея 1910 года, о той ночи с 18 на 19 мая, когда он был среди свидетелей, вероятно, крупнейшего в истории события, общего для всего человечества. Дед вспомнил бы, как это событие разделило людей на две половины: одни ликовали, другие дрожали от страха. Дед наверняка взял бы с меня обещание обязательно понаблюдать — за него — комету, когда та снова приблизится к Земле.

До самого рассвета мы бы толковали о великане-охотнике Орионе, что властвует в небе прямо над нами; наверху у него — звезды Бетельгейзе и Беллатрикс, на поясе — туманность, а у ног — звезды Ригель и Саиф, и указывает он на Сириус — ярчайшую из звезд. И мы бы с дедом удивлялись: вот ведь сколько людей жило на Земле, а смотрели все на одни и те же звезды и думали об одном и том же. А еще мы бы помечтали о том, что где-то там тоже есть жизнь и оттуда тоже смотрят — на нас. Интересно, какими они нас видят? Может, и мы для них — сверкающая на ночном небе точка? Может, и они мечтают о нас и говорят о нас? Дед сказал бы, что он уверен — так оно и есть. Что наша планета — частица чего-то удивительного, и прекрасного, и гораздо более величественного, чем кажется: даже представить себе невозможно. Что нам надо обязательно выйти в далекий космос и время от времени любоваться им — дабы не затеряться во Вселенной. А потом дед лег бы спать.

Вам бы мой дед понравился. И, мне кажется, вы ему — тоже. С Днем дедушек тебя, дед! Где бы ты ни был. Если повстречаете его, то как-нибудь вечерком обя-

зательно понаблюдайте вместе с ним звезды.

И передайте ему, как я жду, что на Рождество он вернется домой.

Рассказывать о своем деде мне как-то неловко. Он вроде есть, а вроде его нет — смотря что понимать под «действительностью». Вас, наверное, немного обескуражили предыдущие заметки. *Меня,* во всяком случае, обескуражили. Но ведь невелика беда, если жажда чего-либо столь сильна, что желаемое становится действительным и живет где-то в глубине души. Пикассо говорил: «Все, что рождается в вашем воображении, действительно существует». И мне понятна его мысль.

Если разобраться, все наши родственники — плод нашего же воображения. Отцы, матери, братья, сестры и все остальные. Особенно когда их нет в живых или когда они далеко. Мы берем за основу то, что знаем о них — а знаем, как правило, не все,— и добавляем то, о чем мечтается и чего хочется: собираем лоскутки для, так сказать, семейного стеганого одеяла, в которое и укутываемся на ложе воображения.

Мы и сами-то плод собственного воображения: смешиваем действительный образ с желаемым и получаем требуемый. Почему так происходит — не знаю, но факт остается фактом. И понимать это — отрадно. Думая о деде, которого *хотел бы иметь,* я невольно рисую себе образ деда, каким *хотел бы стать сам* — то есть, взяв за основу себя сегодняшнего, дорисовываю свой образ до желаемого и требуемого. Это, можно сказать, подготовка.

Когда-нибудь, теперь уже скоро, детский голосок позовет меня: «Дедушка!» — и не застанет врасплох.

* * *

Есть на свете женщина, которая давно и надолго перевернула многие мои представления о жизни. Мы даже незнакомы, но она, как и прежде, помнит и заботится обо мне. У нас очень мало общего. Она уже старая женщина, албанка по национальности, выросла в Югославии; теперь — католическая монахиня, живет в Индии, очень скромно, если не сказать бедно. Я не согласен с ней по некоторым фундаментальным вопросам — по контролю народонаселения, о месте женщин в мире и в церкви; мне претят ее простодушные высказывания о том, что «угодно Господу нашему». Она стоит на перекрестке великих противоречивых идей и мощных сил, определяющих судьбы человечества. Она сводит меня с ума. Всякий раз, когда я слышу ее имя, читаю ее высказывания или вижу ее лицо, я теряю покой. Я даже говорить о ней не хочу.

В моей рабочей студии есть раковина, а над ней — зеркало. Несколько раз в день я подхожу к раковине умыться, руки помыть и посмотреться в зеркало. Рядом с ним висит фотография возмутительницы моего спокойствия. И я всегда бросаю взгляд не только в зеркало, но и на ее лицо. И в лице этом я видел и вижу нечто такое, чего не выразишь словами; и мне открывается такое, чего не объяснишь словами.

Снимок был сделан в Осло, в Норвегии, 10 декабря 1980 года. И вот что там произошло.

Маленькая сутулая женщина в линялом синем сари и стоптанных сандалиях получила награду. Из рук короля. Награду, присуждаемую по воле изобретателя динамита. В огромном сверкающем зале, среди бархата, золота и хрусталя. В окружении титулованных особ и знаменитостей в черных фраках и элегантных вечерних платьях. В присутствии богатых, влиятельных, благородных, талантливейших людей со всего света. А в центре внимания — маленькая старая женщина в сари и сандалиях. Мать Тереза из Индии. Слуга нищих, больных и умирающих. Ей присуждена Нобелевская премия мира.

Ни шах, ни президент, ни король, ни генерал, ни ученый, ни папа римский, ни банкир, ни бизнесмен, ни промышленник, ни нефтяной магнат, ни аятолла — никто не владеет такой силой, какая есть у нее. Она богаче любого из них. Ибо обладает непобедимым оружием против всякого зла на Земле: любящим сердцем. Ибо обладает неистощимым, величайшим для человека сокровищем: исполненной сострадания душой.

Пробиться сквозь густую завесу отчаяния и цинизма; воевать единственным оружием — безграничной любовью; показать всем, что можно излечить раны человечества; воплотить в жизнь притчу о добром самарянине; жить истинно, ярким светочем сияя на убогих улицах Калькутты,— для этого нужно такое мужество и такая вера, которых у многих из нас нет и без которых нам не прожить.

Ее языка я не понимаю. Но зато мне понятна красноречивость самóй ее жизни. И на меня одновременно снисходят очищение и благословение. Я не верю, что в одиночку можно многое сделать в нашем мире. Но она стояла там, в Осло, и одна изменяла весь мир. Я не верю в ее Бога. Но я пристыжен силой ее веры. И я верю в нее — мать Терезу.

Декабрь, Осло. Послание всем народам накануне святок —о покое, о мире. Не о том мире, в каком пребывал в древнем Вифлееме спящий младенец в яслях. И не о том мире, в каком пребываем мы за рождественским обедом и во время дремы возле камина после него. О другом мире — твердом, ясном, живом, исходящем из необыкновенного поступка, совершенного нынешним вечером простой женщиной в линялом сари и стоптанных сандалиях. О духовном мире и покое, наступающем после сделанного доброго дела.

Несколько лет спустя, на представительной конференции по проблемам квантовой физики и религиозной мистики, проходившей в бомбейском отеле «Оберой тауэрс», я вновь увидел это лицо. Я притулился у дверей в конце зала и вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Это была она. Одна. Ее пригласили выступить в качестве гостя конференции. Она взглянула на меня и улыбнулась. И лицо это до сих пор стоит у меня перед глазами.

Она поднялась на трибуну, и в повестке дня научные исследования уступили место нравственной деятельности. Мать Тереза

твердо сказала притихшему собранию: «Мы не можем делать великие дела, мы можем делать только маленькие дела с великой любовью».

Противоречия ее жизни и веры ничтожны по сравнению с моими. Я тщусь побороть разочарование из-за слабости одиночки, а она в это же самое время просто изменяет окружающий мир. Я *мечтаю* о большой силе и способностях, а она в это же самое время *тратит* свои силы и способности, чтобы сделать все, что только может.

И я теряю покой, я обескуражен, я пристыжен. *Что же у нее есть такое, чего нет у меня?*

Если на Земле наступит настоящий мир и человечество заживет по закону добра, то это произойдет благодаря таким людям, как мать Тереза. О мире нечего *мечтать* — его надо *приближать*, его надо *делать своими руками*, его надо *иметь внутри себя* и его надо *нести людям!*

* * *

Больше всего мне нравится такой конец книги, который на самом деле вовсе не конец. Как у Джеймса Джойса в «Поминках по Финнегану» — все обрывается на полуфразе, ни знаков препинания, ни объяснения. Некоторые исследователи полагают, что последнее предложение является началом первого, отчего получается бесконечный цикл. И хорошо, если они правы. Лично мне такое толкование по душе. Но сам Джойс тайны так и не раскрыл, и тут уж каждый волен думать по-своему.

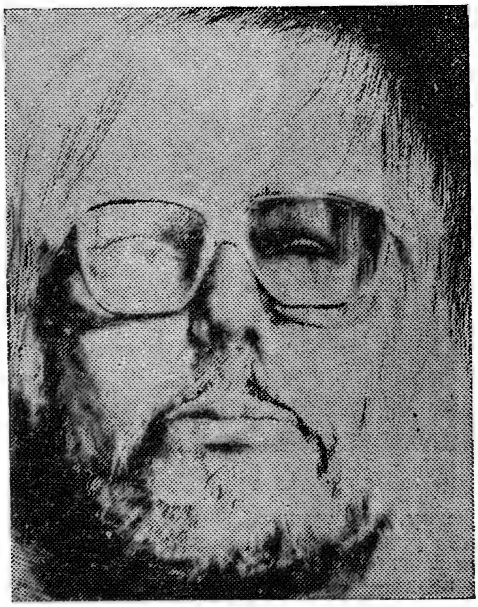
Мне же все это немного напоминает те часы, что я провел у кроватки старшего сына, рассказывая — не слишком умело — ему перед сном сказки и всякие истории. Не успеешь начать, а ему уж хочется знать, что случилось раньше, *до того;* и всякий раз, когда рассказ кончится — совсем кончится,— само собой, из темноты сонный голосок пищит: «Папа, а *дальше* что было?»

Еще в предисловии я, помнится, говорил об одной женщине, литературном агенте: она задала мне вопрос, с которого все и началось: нет ли у меня еще таких заметок? Есть, ответил я тогда. А много позже на вопрос: «Нет ли новых заметок?» — я опять ответил: «Есть». Еще сколько! И чем больше живу, тем больше их появляется.

Однако пора сделать передышку. Даже если полотно жизни бесконечно, ткачам все-таки нужно и отдыхать.

А в следующий раз я вам расскажу о лягушках; о мисс Эмили Фиппс; об объявлении в бакалейной лавке в городе Покателло, штат Айдахо; об ужаснейшей в истории человечества свадьбе; о греческом выражении «асбестос гелос» («неиссякаемый смех»); о «Флоте спасения»; о человеке, который заранее знал то, что узнал потом; о самом маленьком цирке в мире; о том, что на самом деле представляют собой старшие классы школы; и о том, как однажды я лег в горящую постель; и о том, как

# *К нашим иллюстрациям*



## *Ханс-Георг Раух*

Что прежде всего бросается в глаза в творчестве Рауха — это радость, которую приносит художнику сам процесс рисования, процесс игры линиями и плоскостями. Как-то ему привелось рассказать об этом телезрителям Федеративной Республики Германии. Увидев фильм о художнике в нью-йоркском филиале Института имени Гёте, один из американских издателей пришел в такой восторг, что предложил Рауху сделать книгу о своем творчестве. Годом позже, в 1978 году, вышли в свет американское и немецкое издания. «Штрихи идут» — написано на титульном листе, подзаголовок — «Об удовольствии рисовать».

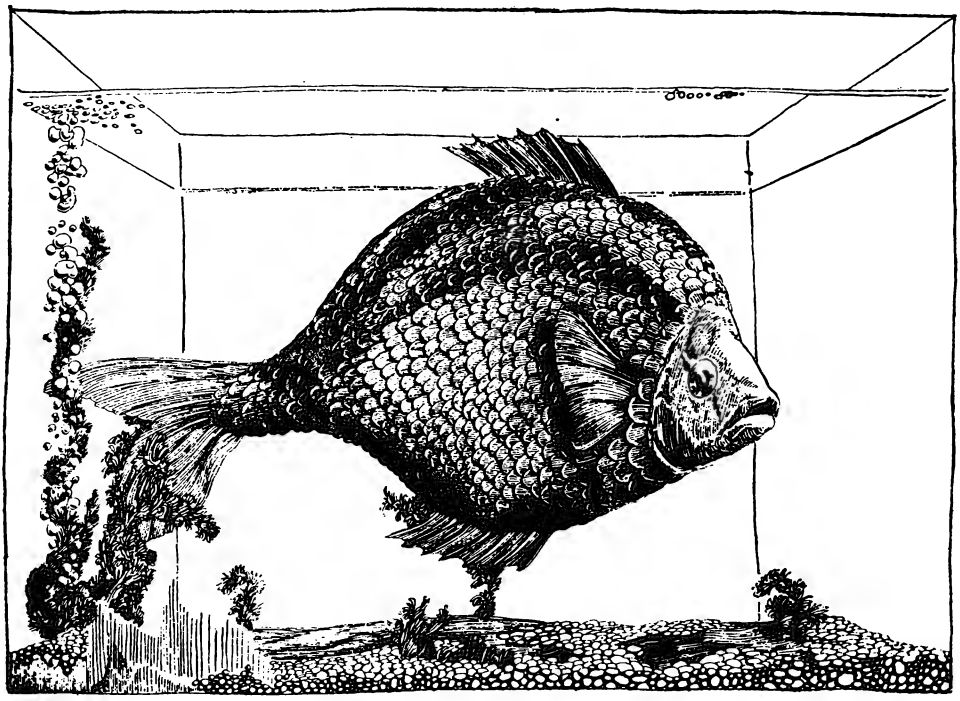
В этой книге легко, в заразительной своей беспечностью манере рассказывается, во что можно превратить простую линию: тонкую, жирную, прямую, ломаную. В игре линий возникают деревья, небоскребы, солнечные закаты. Книга задумана отнюдь не как пособие по изучению рисунка. В кратком предисловии Раух рассказывает о своем восприятии, о том, что́ открывается его взгляду в облаках, деревьях и о том, что́ из этого можно сделать. Кому-то другому вовсе не обязательно видеть все именно так. Каждый видит свое, и рисует по-своему, и решать должен сам для себя, что же он хочет нарисовать; растолковать ему этого никто не сможет. «Иногда это просто здорово — заниматься чем-то таким, где тебе никто не сможет давать советов».

Эта фраза, которой заканчивается предисловие к книге «Штрихи идут», может послужить девизом всей жизни Рауха — человека и художника. Ханс-Георг Раух родился в Берлине 21 июня 1939 года. Его молодость прошла в городке Вильгельмсхафене, где после окончания школы он какое-то время работал художником — оформителем витрин. И — рисовал. Его карикатуры публиковались в местной ежедневной газете.

В начале шестидесятых Раух несколько лет проводит в Гамбурге, в Высшей школе изобразительных искусств. Однако его взгляды на искусство входили в постоянное противоречие с мнениями профессоров. В 1964 году он надолго уехал в Южную Францию — рисовать, рисовать, рисовать.

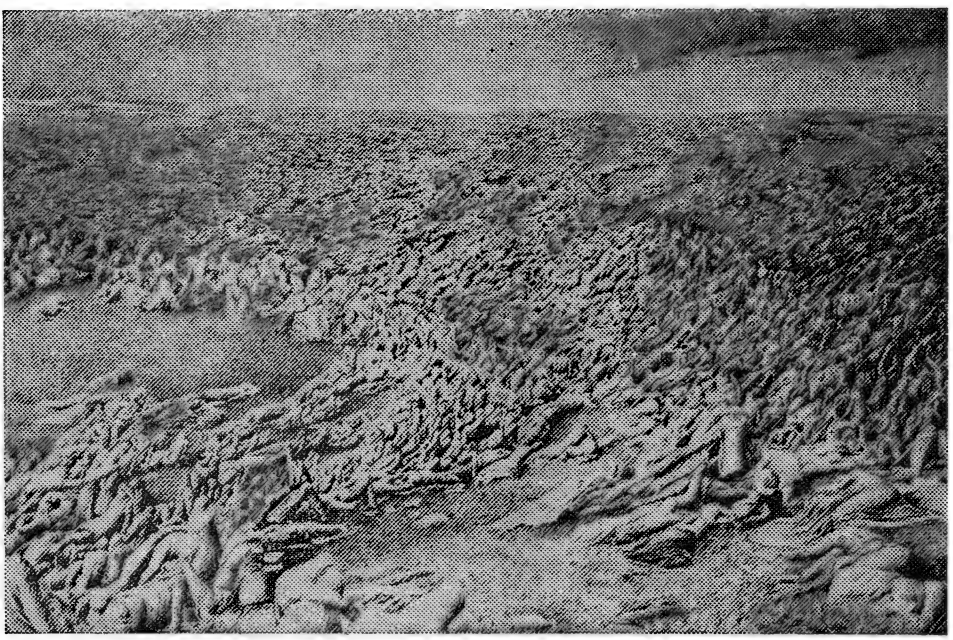
Вернувшись в Германию, художник чувствует себя достаточно уверенно, чтобы представить свои произведения на суд публики. Многие из его работ публикуются в таких влиятельных изданиях, как «Шпигель», «Штерн», «Цайт», «Лук», «Нью-Йорк таймс», «Обсервер». Скоро его имя приобретает известность. В 1968 году творчество Рауха отмечается премией Фонда критической графики имени Генриха Цилле. В ФРГ, во Франции и США выходят альбомы его рисунков. Во многих странах мира проводятся выставки работ Рауха, в которых нередко участвует его жена Уши, снискавшая себе известность как художник-керамист. Автор зачастую присутствует на открытии своих выставок, так как он придает большое значение общению, дискуссиям и даже полемике со зрителями. За эти годы художник получил множество наград. Среди них — и наиболее престижная премия Международного салона карикатуры в Монреале.

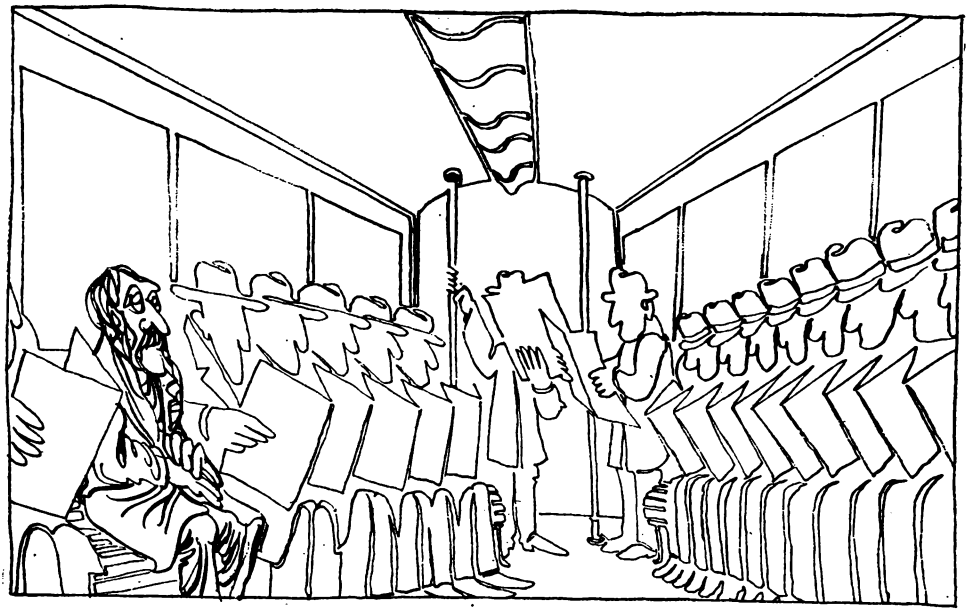
В рисунках Рауха восхищает прежде всего их профессионализм. Для художника не существует технических трудностей в выражении своего художественного видения. Раух работает не только в черно-белом, но и в цветном рисунке. Делает он также и офорты. Никогда не довольствуясь тем



приемом, или техникой, которые уже принесли успех, художник вновь и вновь уходит в поиск новых возможностей. И он находит их — благодаря своей изобретательности, дисциплине и выдержке. Именно это огромное разнообразие и делает его творчество таким захватывающим.

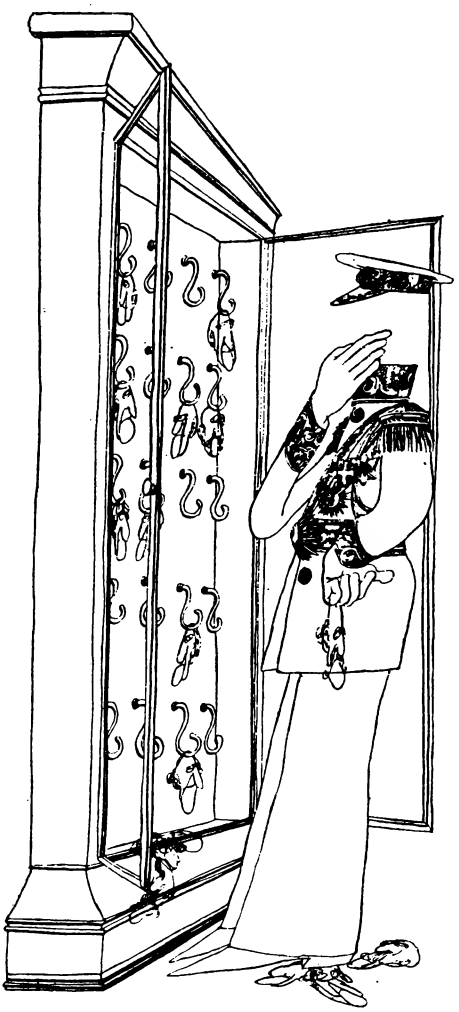
Рисунки Рауха — это нечто большее чем карикатура. Несомненно, он и карикатурист, пытающийся средствами гиперболизации обнажить общественную и политическую реальность. В редакциях газет и журналов много рисовальщиков, которые занимаются этим изо дня в день. Однако Рауху нужно большее: он хочет проникнуть в самую суть вещей. Развитие его творчества показывает, что художник непрерывно ищет, что же в действительности происходит под пок-



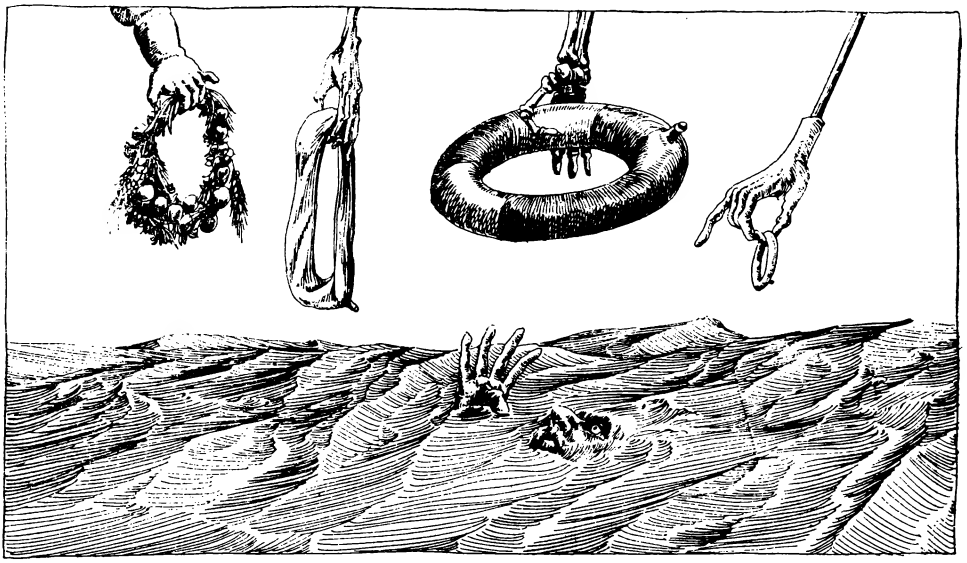


ровом внешнего, видимого. В определенном смысле Раух — рисующий философ, которого занимают основные вопросы человеческого бытия. И в этих поисках для него характерна та самая «обстоятельность», которая, как считают, отличает именно немцев. Случись американцу заняться той же самой проблемой, рисунок, вероятно, будет более прагматическим, более легковесным, если не легкомысленным.

Рисунок Рауха — полная противоположность. В том мире, который возникает перед нами — черно-белом или расцвеченном,— не видно проявлений интеллекта и здравого смысла. На первый, поверхностный взгляд некоторые из его полихромных рисунков еще могут вызвать впечатление, что с этим миром все в порядке. Отсутствие резких, кричащих цветов создает иллюзию спокойствия. Но если присмотреться, все оказывается иным; возьмем, к примеру, рисунок «Воскресенье» — семейство, выехавшее на машине за город. Машина плюс семейство — идеал современной организации досуга. Или —мир «Генетического сада», где мы видим робота, занятого в садике выведением новых модификаций homo sapiens. В своих цветных работах художник безжалостно запечатлевает явления конца XX века — обезличивание, оглупление человеческого общества («Северный поворот», «Поп-фестиваль», «Фанаты»). О каком-то человеческом чувстве уже не может быть и речи, личность растворилась в массе. «Массовое сознание» распространяется и на архитектуру, предмет, глубоко волнующий художника. В 1986 году вышла книга его рисунков «Архитектура», где дается очерк развития архитектуры и градостроительства нашего времени, которые переносят зрителя в мир внушающих ужас видений.



Тема человеческой массы, толпы с самого начала заняла в творчестве Рауха немало



важное место. У толпы нет мыслей, нет мнения, нет чувств. С пустыми глазами следует она за своими вождями и идолами. Во времена китайской культурной революции художник сделал рисунок для обложки еженедельника «Шпигель»: портрет Мао Цзэдуна, составленный из сотен маленьких фигурок китайцев. Важно здесь не только блистательное исполнение, не только высочайшая техника, но прежде всего точная формула того, *как* «великий кормчий» воспринимал народ — материал для создания образа вождя.

Взаимоотношения индивидуума и толпы, личности и общества могут проявляться и в малом масштабе, например, когда речь идет о положении меньшинств в жизни общества, тема, ставшая злободневной во многих странах мира. На родине Рауха, в Федеративной Республике Германии — это «гастарбайтеры». И эти вопросы художник не обходит стороной. В еженедельной газете «Цайт», где Раух с начала 1982 года ведет рубрику «Знаки времени», он по-своему откликнулся на проблему этнического меньшинства в ФРГ. Где-то в общественном транспорте (в автобусе ли, трамвае, в вагоне метро) сидят и стоят пассажиры без лиц, погруженные в свои газеты. Среди них — один-единственный обладатель лица: это — чужак.

Сила художника — в его способности чувствовать и понимать то, что движет людьми; в его умении с предельной остротой и убедительностью показать, к чему это может привести. Ханс-Георг Раух принадлежит к числу тех немногих, кого называют художником милостью божией. Кто внимательно всмотрится в его рисунки, за виртуозной легкостью формы ощутит их пророческий пафос.

**Москва, 1 мая 1990 г.**

**КОСС ВАН ВЕРИНГ**

*Перевод с нидерландского И. ЛАНИНА*

■

# Авторы этого номера

**АЛЬБЕР КАМЮ (ALBERT CAMUS;** 1913—1960) — французский писатель, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии. Родился и провел детство в Алжире. Получил философское образование. В годы второй мировой войны А. Камю был участником французского Сопротивления. Многие его произведения переведены на русский язык, в том числе роман-притча «Чума», повесть «Падение», пьеса «Калигула». В «ИЛ» напечатана повесть «Посторонний» (1968, № 9), пьеса У. Фолкнера и А. Камю «Реквием по монахине» (1970, № 9), главы из книги «Человек бунтующий» (1990, № 5—6). На русском издано также «Избранное» (М., 1969 и М., 1989), том «Сочинения» (М., 1989).

Пьеса «Осадное положение» была издана во Франции в 1948 году ("L'Etat de siège". Paris, Gallimard).

**РИЧАРД УИЛБЕР (RICHARD WILBUR;** род. в 1921 г.) — американский поэт, лауреат многих литературных премий, член Американской академии и Национального института искусств и литературы. Участник второй мировой войны. Преподавал в Гарвардском, Веслианском и др. университетах. Автор восьми сборников стихов, переводчик французской и в последнее время русской поэзии (стихотворных пьес Расина и Мольера; стихов Вийона, Лафонтена, Ахматовой, Бродского, Вознесенского и др.). В русском переводе стихи Р. Уилбера печатались в «ИЛ» (1966, № 9; 1979, № 10), в антологиях американской поэзии.

Публикуемые стихи взяты из книг: «Земное» ("Things of this World", New York, Harcourt, Brace and Company, 1956; Пулицеровская и Государственная премии), «Собрание стихотворений и новые стихи» (New & Collected Poems, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1988).

**ОГНЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ** (род. в 1923 г.) — советский писатель, критик. Автор многих книг по проблемам поэзии — отечественной и зарубежной, в том числе «Югославский дневник» (1975, 1986), «Горизонты поэзии» (избранные работы в двух томах, 1975), «Семь тетрадей. Этюды о литературе социалистических стран Европы» (1987), «Сюжеты» (1989). Заслуженный деятель культуры ПНР, Председатель Совета по литературам восточноевропейских стран, главный редактор журнала «Феникс», координатор писательской Ассоциации «Европейский форум».

## Переводчики:

**КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА** — советский переводчик с французского. В ее переводах публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, романы А. Ланжевена «Пыль над городом», С. Пру «Терраса Бернардини», эссеистика А. Моруа, А. Мальро.

**ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ** (род. в 1962 г.) — советский переводчик с английского и французского языков. Его переводы рассказов и статей зарубежных авторов печатались в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

## Если вы хотите

с беспрецендентной быстротой и неподражаемой оригинальностью подготовить к изданию любой вид полиграфической продукции,

## пользуйтесь

сверхъестественными возможностями современной техники.
Электронные типографии на базе PC AT 286/386,
поставляемые

## СП «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»,

обеспечивают максимальные удобства
пользователя-неспециалиста.
Высочайшее качество тексто-графического материала
гарантируется цветными графическими дисплеями
с высоким разрешением
и печатающими устройствами различных типов,

СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

## "CROCUS INTERNATIONAL"

поставляет программно-аппаратные комплексы
в любой конфигурации.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКТА
С ЦВЕТНЫМ МОНИТОРОМ И ШИРОКИМ ПРИНТЕРОМ
1590 долларов США.

## СП «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

выполняет установку
локальных и вычислительных сетей различных конфигураций.

При

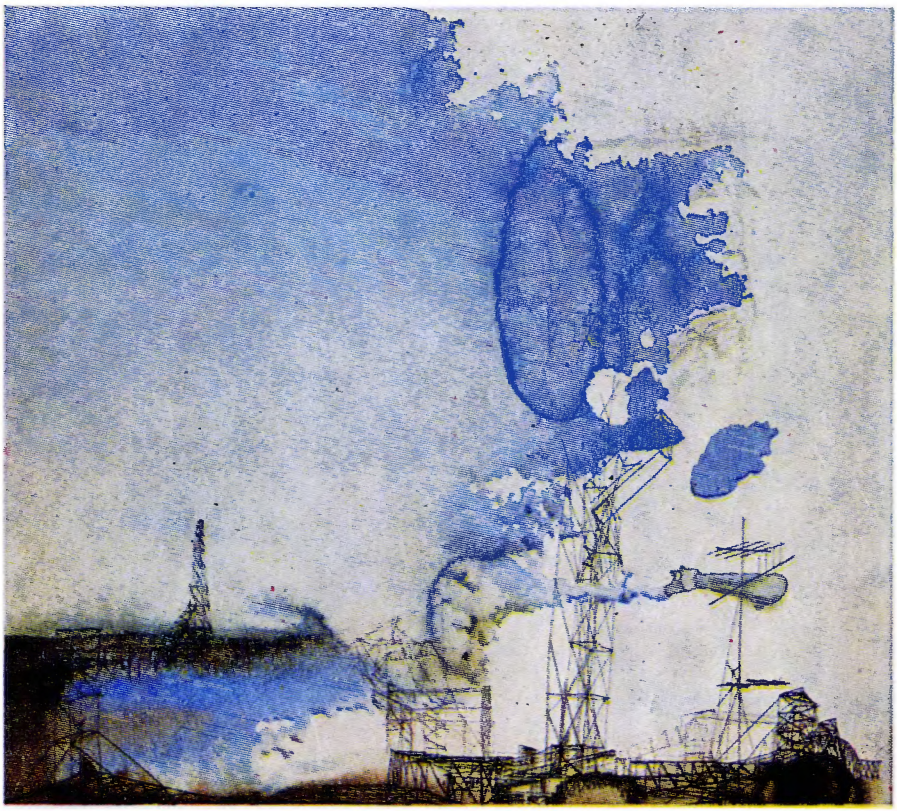
## СП «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»,

функционируют курсы повышения квалификации
специалистов в области вычислительной техники.

## СП «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

обеспечивает техническое обслуживание.

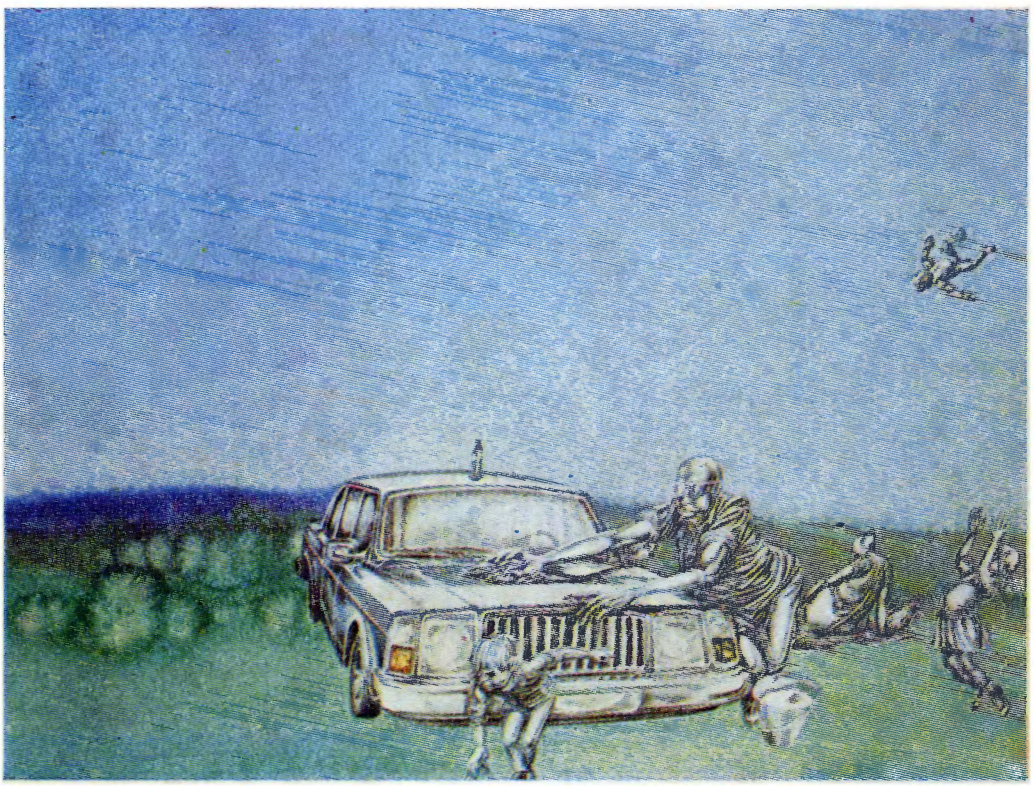
Обращаться по адресу:
117484, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 37а;
телефоны: 335-14-44
330-32-19
факс.: 420-22-65



**Конец света.**

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394



ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 10, 1—256